Эдит Пиаф

Симона Берто

SHOUT
SHARE
IT

- Симона Берто
-
- Часть первая
- Глава первая. Из Бельвиля в Верней
- Глава вторая. «Моя консерватория — улица»
- Глава третья. Четверо в одной постели
- Глава четвертая. Папа Лепле
- Глава пятая. Реймон Ассо
- Глава шестая. Рождение «священного идола»
- Глава седьмая. Поль Мёрисс — «равнодушный красавец»
- Глава восьмая. «Биду-бар»
- Глава девятая. Эдит открывает Ива Монтана
- Глава десятая. Завоевание Америки
- Глава одиннадцатая. С Марселем Серданом «Жизнь в розовом свете»
- Глава двенадцатая. Эдит занимается спиритизмом
- Часть вторая
- Глава тринадцатая. В Булони никто не задерживается
- Глава четырнадцатая. Начало «черной» серии
- Глава пятнадцатая. Праздник любви с Жаком Пилсом
- Глава шестнадцатая. В омуте наркомании
- Глава семнадцатая. «Нет, я не жалею ни о чем»
- Глава восемнадцатая. «Вот зачем нужна любовь!»
- Глава девятнадцатая. «Теперь я могу умереть, я прожила две жизни»
- Фото
- Примечания

Симона Берто

В память о тебе, моя Эдит, написала я эту книгу; здесь все честно, откровенно, здесь и смех твой и твои слезы.

Последние твои слова все еще звучат в моих ушах: «Не дури, Момона».

С тех пор я жду, что ты снова поведешь меня за руку, но, Боже, как это ожидание затянулось!

Я выражаю благодарность Марселле Рутье, которая любезно согласилась оказать мне помощь.

Симона Берто

«Жизнь её была так печальна, что рассказ о ней почти неправдоподобен — настолько он красив.»

Саша Гитри

Часть первая

Глава первая. Из Бельвиля в Верней

У моей сестры Эдит и у меня общий отец — Луи Гассион. Он был неплохой малый и большой любитель женщин — и надо сказать, их было у него немало. Всех своих отпрысков отец признать не мог, да и его партнерши далеко не всегда могли с уверенностью сказать, кто отец ребенка. Своих он насчитывал около двух десятков, но поди знай!.. Все это происходило в среде, где ни перед тем как сделать ребенка, ни после люди не ставят в известность чиновников мэрии. У меня, например, был еще один отец, тот, кто значился в документах,— Жан-Батист Берто. Но он дал мне не жизнь, а только свое имя. У моей матери — она вышла замуж в пятнадцать, а в шестнадцать уже развелась — было еще три дочери от разных отцов.

В какой-то период она жила в пригороде Фальгиер в одной гостинице с папашей Гассионом. Его мобилизовали. Я появилась на свет после его приезда в отпуск во время затишья на фронте в 1917 году. Их встреча не была случайной, они давно нравились друг другу. Однако это не помешало матери подцепить только что приехавшего в Париж восемнадцатилетнего парня Жана-Батиста Берто. И он, не задумываясь, повесил себе на шею двадцатилетнюю женщину, троих ее дочерей и меня впридачу, только находившуюся в проекте.

В день, когда ему исполнилось двадцать, Жан-Батист отбыл на фронт, имея на своем иждивении пятерых детей. Я не успела еще подрасти, как в доме оказалось уже девять душ, и не все были детьми папы Берто, как мы его называли. Как это ни покажется странным, они с матерью обожали друг друга. Это не мешало ей время от времени — хвост трубой — исчезать из дому на несколько дней. Уходила она с полным кошельком, возвращалась с пустым, зато с новым ребенком в животе.

По чистой случайности я родилась в Лионе, но уже через одиннадцать дней мать вернулась со мной в Париж. Она торговала цветами на улице Мар, напротив церкви Бельвиля.

Я почти не ходила в школу. Никому это не казалось нужным. Но все же изредка меня туда отправляли… Главным образом в начале учебного года, чтобы получить деньги на оплату электричества, и 1 января, когда выдавали обувь.

По мнению матери, это была единственная польза от школы. Что касается остального, она говорила: «Образование, как деньги, его нужно иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно». Поскольку в то время посещать школу было не так уж

обязательно, моей школой стала улица. Здесь, может быть, не приобретают хороших манер, но зато очень быстро узнают, что такое жизнь.

Я часто ходила к папаше Гассиону в пригород Фальгиер. В эти дни я всегда радовалась, так как была уверена, что любима. Он находил, что я на него похожа. Миниатюрная, гибкая, как каучук, с большими темными глазами, я была вылитый отец! Он заставлял меня делать акробатические упражнения, угощал лимонадом со льдом и давал мелкие деньги.

Я очень любила отца.

Он называл меня Симоной без всяких уменьшительных вариантов — ярлыков, которые родителям полагается наклеивать на своих деток. Отец был рад мне. Он видел, что я расту, этого ему было достаточно, чтобы считать, что мать кормит меня и смотрит за мной. Правда, в один прекрасный момент расти я перестала, набрав всего полтора метра.

Отец был акробатом, не ярмарочным, не цирковым, не мюзик-холльным, а уличным. Его сценой был тротуар. Он чувствовал улицу, умел выбрать самый выгодный участок тротуара, никогда не работал где попало. Среди своих он слыл человеком бывалым, знающим хорошие места — словом, профессионалом. Его имя имело вес. Если я говорила: «Я дочка Гассиона», то могла рассчитывать на определенное уважение.

Когда на улице или на бульваре попадалась площадка, достаточная, чтобы на ней можно было удобно расположиться артисту и публике, и отец расстилал свой «ковер» (кусок ковровой ткани, вытертой до основы), люди знали: их ждет серьезное представление. Он начинал с того, что отпивал глоток вина прямо из горла. Это всегда нравилось публике: если ты пьешь перед работой, значит, собираешься хорошенько попотеть. Потом отец зазывал зрителей. Эдит, которая таскалась с ним шесть лет, с восьми до четырнадцати, очень хорошо его передразнивала.

Эдит вообще любила подражать. Она откашливалась, как отец, и вопила хриплым голосом:

«Дамы-господа, представление начинается. Что увидите — то увидите. Без обмана, без показухи. Артист работает для вас без сетки, без страховки, даже без опилок под ногами. Наберем сто су и начнем».

Тут кто-нибудь бросал на ковер десять су, другой — двадцать.

«Среди вас есть любители, есть ценители, есть настоящие знатоки. В вашу честь и для вашего удовольствия я исполню

номер, равного которому нет в мире,— равновесие на больших пальцах. Великий Барнум, король цирка, сулил мне золотые горы, но я ему ответил: «Парня из Панама[1] не купишь!» Не правда ли, дамы-господа? «Заберите ваши деньги, я выбираю свободу!» Ну, раскошеливайтесь, еще немного, сейчас начинаем представление, от которого с ума сходят коронованные особы всех стран и остального мира. Даже Эдуард, король Англии, и принц Уэллльский, чтобы посмотреть мой номер, вышли однажды из своего дворца на улицу, как простые смертные. Перед искусством все равны!

Ну, смелее, синьоры, начинаем!»

И, надо сказать, деньги они тратили не зря, потому что предок был отличным акробатом.

Я едва научилась ходить, как он стал меня гнуть. Моей матери, которой на это было наплевать, он говорил: «Нужно дать Симоне в руки ремесло, в жизни пригодится…»

Я жила на улице. Мать возвращалась домой поздно или не возвращалась вовсе. Чем она занималась, я не знала, была слишком мала. Иногда она брала меня с собой в кабачок. Сама танцевала, а я спала, сидя на стуле. Иной раз она обо мне забывала, и я оказывалась в детском доме, позднее в исправительном. Государство всегда обо мне заботилось.

Когда мне было пять лет, мать служила консьержкой в Менильмонтане в доме 49 по улице Пануайо.

Я часто виделась с отцом, но не знала Эдит. Она на два с половиной года старше меня, и тогда жила в Бернейе, в департаменте Эр, в Нормандии. Я только слышала о ней. Отец ее любил больше, чем меня. «Естественно,— говорил он,— ведь у тебя есть мать, а у нее нет».

Да, если угодно, у меня была мать. Во всяком случае, я долго так считала. У других ребят в Менильмонтане дела в семье обстояли не лучше, а таких, кто мог сказать: «Моя мама делает то-то и то-то», мы называли «воображалами» и с ними не водились, они не принадлежали нашему миру.

Я родилась в больнице, Эдит — на улице, прямо на тротуаре.

«Эдит появилась на свет не как другие,— рассказывал мне отец.— Это было в самый разгар войны, после боёв на Марне. Я воевал в пехоте, был одним из тех, кому говорили: «Иди вперед или подыхай»; «лучшие места» всегда достаются беднякам, их ведь больше. Моя жена, мать Эдит, Лина Марса, а по-настоящему Анита Майар, была певицей. Она родилась в цирке и была прирожденной актрисой. Она мне написала: «Собираюсь рожать,

проси отпуск». Мне повезло, я его получил. Уж год как цветы засохли в ружьях.[2] В легкую, веселую войну больше никто не верил. Берлин — это очень далеко, если топать туда пешком.

Приезжаю. Прямо домой. Пустота: ни угля, ни кофе, ни вина, только хлеб пополам с соломой, а вокруг моей хозяйки кудахчут соседки:

— Вот беда-то — война, а мужик на фронте.

— Вы свободны, дамочки,— говорю я им.— Я сам все сделаю».

Это было 19 декабря 1915 года.

Когда о своем появлении на свет рассказывала Эдит, она добавляла: «Три часа ночи не самое подходящее время, чтобы высовываться на свет божий. Где лучше — снаружи или внутри?..»

«Не успел я оглянуться,— продолжал отец,— как Лина начала меня трясти за плечо:

— Луи, у меня схватки! Рожаю!» — Вся белая, щеки ввалились, краше в гроб кладут. Вскакиваю, натягиваю штаны, хватаю ее за руку, мы выбегаем на улицу. В этот час там не было ни одного полицейского, либо они уже ушли, либо еще не вышли на дежурство. Лина хрипит:

— Не хочу мальчика, его заберут на войну…

Идет, переваливаясь, держит живот обеими руками…

Вдруг останавливается у газового фонаря и садится на тротуар:

— Брось меня, беги в полицию, пусть присылают «скорую»…

Полицейский комиссариат находится в нескольких шагах, я влетаю как сумасшедший и ору:

— У меня жена рожает прямо на улице!

— Ах, мать твою…— отвечает бригадир с седыми усами.

Ажаны хватают плащи и бегут за мной, словно они дипломированные акушерки.

Вот так под фонарем против дома номер 72 на улице Бельвиль на плаще полицейского родилась моя дочь Эдит».

Да, в смысле рекламы будущей исполнительницы реалистической песни трудно придумать более удачное появление на свет! Это был знак судьбы.

«Мать захотела, чтобы ее назвали Эдит в память молодой англичанки Эдит Кэвелл, которую боши расстреляли за шпионаж за несколько дней до 12 декабря. «С таким именем,— говорила Лина,— она не останется незамеченной!»

Нельзя сказать, чтобы при рождении Эдит не было недостатка в предзнаменованиях или исторических параллелях. Они впечатляли сильнее, чем гороскоп.

Когда отец уехал, его жена еще оставалась в больнице. «А через два месяца Лина,— она была настоящая актриса, но у нее не было сердца,— пояснял отец,— отдала нашу дочь своей матери, которая жила на улице Ребеваль».

Семья Эдит по материнской линии отнюдь не была похожа на семьи из книжек с картинками для хороших детей. И сама бабка и ее старик были настоящими подонками, распухшими от красного вина. «Алкоголь,— говорила старуха,— и червячка заморит и силенок придаст».— И разбавляла красненьким молочко для Эдит. Эдит звала ее «Мена». Она не знала ее фамилии, но думала, что это и есть настоящая семья.

А тем временем солдат Луи Гассион кормил в траншеях вшей вместе с другими такими же героями, как и он. Лина давно перестала ему писать, сообщив об отставке без громких фраз: «Луи, между нами все кончено. Я отдала малышку матери. Когда вернешься, меня не ищи».

Как бы там ни было, но отец не собирался бросать своего ребенка. В конце 1917 года, получив последний отпуск, он едет повидать Эдит и застает ужасное зрелище: головка, как надувной шар, руки-ноги как спички, цыплячья грудь. Грязна так, что прикасаться к ней следовало бы в перчатках. Но наш отец не был снобом. «Что делать?— подумал он.— Нужно поместить малышку в более подходящее место. Когда чертова война кончится, я ведь снова стану уличным акробатом, а улица — не ясли для ребенка. Как быть?»

В то время не было всех тех видов благотворительной помощи, которые существуют теперь. Впрочем, предку и в голову бы не пришло ими воспользоваться. Ни бедность, ни беспорядочная жизнь никогда не заставили бы его отдать своего ребенка в приют, как собаку на живодерню. Папаша Гассион усаживается в бистро и заказывает себе для храбрости абсент. Когда у него водились денежки, он не пренебрегал «зелененьким»[3], но напивался только красным вином, считая, что это дешевле и менее вредно для здоровья. Он решил написать письмо своей матери, которая служила кухаркой у Мари, ее двоюродной сестры. Славная баба Мари могла бы быть хозяйкой на ферме, но стала хозяйкой «заведения» в Бернейе, в Нормандии. Ответ пришел сразу — от матери и от «мадам»: «Не беспокойся, выезжаем за деткой».

И вскоре десант в составе бабушки Луизы и «мадам» Мари

вырвал Эдит из рук бабки с материнской стороны.

«Крошке было хорошо, ей у нас было хорошо…» — хныкала Мена.

Малышку привезли в Верней, девицы в восторге: «Ребенок в доме, это к счастью»,— говорили они.

Эдит отмывали в двух, трех, четырех водах, грязь сходила пластами, приходилось отскабливать. От крика звенело в ушах.

Эдит рассказывала: «Бабка Луиза купила мне все новое и выбросила на помойку старые вещи, но когда она захотела снять с меня ботинки, я заорала как резаная: «Это выходные!» А из них пальцы торчали наружу».

Когда девочку отмыли, оказалось, что глаза у нее залеплены гноем. Решили, что это от грязи. И только месяца два спустя «девицы» заметили, что Эдит на все натыкается, она смотрит на свет, на солнце, но не видит их. Она была слепа.

Это время Эдит помнила очень хорошо. Она говорила о нем со страхом, который так никогда окончательно не прошел.

Девицы обожали ее, баловали.

«Они были очень добры ко мне. Я для них была талисманом, который приносит счастье… Хотя я ничего не видела, но понимала все. Это были славные девушки. В «заведениях» не такие отношения, как на панели. Это два разных мира; они друг друга презирают.

У меня появилась привычка ходить, выставив руки вперед, чтобы оберегать себя,— я обо все ушибалась. Мои пальцы стали необыкновенно чуткими. Я различала на ощупь ткани, кожу. Прикоснувшись к руке, могла сказать: «Это Кармен, а это Роза». Я жила в мире звуков и слов; те, что не понимала, без конца повторяла про себя.

Больше всего мне нравилось механическое пианино, я предпочитала его настоящему; оно тоже было в доме, но на нем играли только в субботу вечером, когда приходил пианист. Мне казалось, что у механического звук богаче.

Так я жила во мраке, в ночном мире, но очень живо на все реагировала. Одну фразу запомнила на всю жизнь. Она касалась кукол; мне их приносили, но когда хотели подарить, бабушка говорила: «Не стоит, девочка ничего не видит. Она их разобьет».

И тогда «девушки» — для них я была ребенком, подобным тому, который у кого-то из них где-то был или о котором кто-то из них мечтал,— шили мне тряпичные куклы. Целыми днями сидела я на маленькой скамеечке с этими куклами на коленях. Я их не видела, но старалась «увидеть» руками.

Самым лучшим временем дня был обед. Я болтала, смеялась,

и все смеялись вместе со мной. Я рассказывала разные истории. Они не были слишком сложными, но это были мои истории, те, что случались со мной.

Приученная бабушкой с материнской стороны к красному вину, я ревела, когда в Бернейе вместо него давали воду: «Не хочу воды. Мена говорила, что это вредно, что от воды болеют. Не хочу болеть».

…Сидя на скамеечке, в окружавшем меня мраке, я пыталась петь. Я могла слушать себя часами. Когда меня спрашивали: «Где ты научилась?» — я отвечала с гордостью: «На улице Рампоно» (там был кабачок, куда ходила Мена). Чтобы выпить за чужой счет, бабка водила меня на танцульки в кабачки, в трактиры. Она говорила:

— Спой, малышка, спой им «Ласточку из предместья».

Ее звали ласточкой из предместья,
А она была просто девушкой для любви.[4]

Все вокруг смеялись, и Мена получала свою рюмку».

Эдит часто вспоминала свою жизнь в Бернейе. «Девицы» по вечерам веселились, в комнатах приятно пахло сигаретами и вином, с шумом взлетали пробки от шампанского. До слуха девочки, правда, доносились лишь звуки веселья — бабушка считала, что ей не место в гостиной.

Некоторых клиентов Эдит знала. Она их делила на две группы: на тех, у кого был интеллигентный голос, а колени обтянуты тонким сукном, и на тех, кто был грубее и у кого кололась борода.

«Дамы», как их называла Эдит, были ласковы, и от них хорошо пахло. Эдит с ними больше никогда не встречалась, кроме одного раза — несколько человек приезжали на похороны отца.

«Папу я тогда не знала. Никогда не слышала, поскольку не могу сказать: видела.

Мне было года четыре, когда меня впервые повезли к морю. Непонятная музыка и незнакомые запахи. Я сидела на песке. Это была не земля, про которую мне говорили: «Не пачкайся». Я набирала его полные пригоршни, и он сыпался, сыпался… Как вода, которую можно удержать.

И вдруг слышу незнакомый голос:

— Мне сказали, что тут есть маленькая девочка, которую зовут Эдит.

Я протянула руки, чтобы потрогать, и спросила:

— Ты кто?

— Угадай.

Я закричала:

— Папа!

Увидела я его только два года спустя.

Я всегда считала, что этот период жизни во мраке дал мне способность чувствовать не так, как другие люди. Много позднее, когда мне хотелось как следует понять, услышать, «увидеть» песню, я закрывала глаза. Я их закрывала и тогда, когда хотела «исторгнуть песню» из глубины моего существа или мне нужно было, чтобы голос зазвучал как бы издалека».

Я была еще совсем маленькая, когда мать, болтая при мне с подругами, сказала: «У Симоны есть сестра, ее зовут Эдит, она слепая».

Моя слепая сестра, которая жила где-то у матери моего отца, меня нисколько не интересовала. Дома было полным-полно сестер и братьев. Чем она лучше? Все мы, правда, от разных отцов. Подумаешь!

Как потом выяснилось, у Эдит вскоре после рождения выросла катаракта, но никто этого не заметил. Она не видела в течение трех лет.

Бабушка Луиза повезла ее как-то в Лизье, в департаменте Кальвадос, куда паломники отправляются на богомолье к святой Терезе. И Эдит прозрела. Это было настоящим чудом, она верила в него всю жизнь. С этого момента она стала поклоняться святой Терезе: носила ее образок, а на ночном столике у нее всегда стояла ее иконка.

Надо сказать, что «чудо» произошло довольно любопытным образом. Уже не помню, кто рассказал об этом Эдит, наверное, отец. В семь лет у нее уже были воспоминания. Эдит очень хорошо обо всем помнила.

В Бернейе жизнь была иной, чем на улице Ребеваль. Через бордель проходит много разных людей, попадаются и образованные господа. Слепого ребенка здесь не воспринимают как наказание, его лечат. Даже если это стоит денег. А эти «дома» имели большой доход.

В Лизье врач сказал: «Шансов на излечение мало». Однако бабушка регулярно возила к нему Эдит. Лечили ее ляписом, глаза жгло, но малышка терпела, мечтая увидеть свет, солнце. Она старалась вспомнить, как выглядела улица Ребеваль в Париже. Но она была тогда совсем крошкой, и у нее всегда было плохо с глазами, все расплывалось, было мутным.

В округе и в «доме» все поклонялись святой Терезе из Лизье. Однажды Кармен сказала:

— Дождь из роз она сделать может, а почему бы ей не совершить чуда для нашей детки?

Все в борделе с ней согласились, даже те, у кого не было особых оснований верить в чудеса. Бабушка и «мадам» нашли мысль разумной. В перерывах между двумя клиентами девушки стали возносить молитвы.

Молитва, как деньги, запаха не имеет, и «мадам» дала обет: если девочка прозреет, она пожертвует церкви десять тысяч франков — в 1921 году это была большая сумма. Чтоб заключить сделку, нужно было ударить по рукам с маленькой святой, как это положено в Нормандии,

Поездку к ней назначили на 19 августа 1921 года. 15 августа был праздник, «заведение» должно было работать. Но все пребывали как в лихорадке. И «мадам» сказала:

— Девочки, собирайтесь! Все поедем, а «дом» закроем. Вам полезно подышать воздухом.

Начались сборы: «Я тебе дам свою черную шляпу, а ты мне — то платье, ну, знаешь, приличное!»

Бабушка и Эдит, разумеется, тоже собирались. Девочку одели во все новое, девицы же выглядели как дамы-благотворительницы: шляпы, перчатки и никакой косметики.

Утром в гостиной «мадам», по привычке хлопая в ладоши, произвела смотр. Обувь подкачала — слишком много лакированных туфель на высоком каблуке. Девушки так редко выходили на улицу, что у них не было другой обуви, кроме той, В которой они работали.

Когда они проходили по Бернейю, вслед им на окошках колыхались занавески. Но хозяйки напрасно беспокоились за своих «петушков» — «курочки» отправились на богомолье.

В Лизье в этот день можно было видеть совершенно удивительную процессию: девицы шествовали одна за другой, опустив глаза, как монахини на молебен. Они вошли в собор вместе с малышкой и провели там почти весь день, ставили свечи, перебирали четки, заодно что-то просили и для себя. Вздыхали, смахивали слезы. Они купались в атмосфере чистоты. Выйдя из собора, почувствовали себя очищенными, вот только ноги очень болели: из-за каблуков.

Вечером усталые, измученные «дамы» возвратились домой и закатили пир без мужчин, но с шампанским. Спать легли с прекрасным ощущением исполненного долга. И стали терпеливо ждать чуда, которое назначили на 25 августа, день святого Людовика, день рождения отца Эдит.

Бабушка молила:

— Святая Тереза, сделай так, чтобы малышка прозрела в день святого Людовика.

Чудо состояло в том, что оно действительно свершилось в этот день.

«Дамы» встали поздно, бродили в пеньюарах по кухне, запах тел смешивался с горячими запахами соусов, они зевали и следили за Эдит припухшими со сна глазами. Заглядывая ей в лицо, спрашивали:

— Ты знаешь, сегодня солнце?

А девочка протягивала руку.

— Да, я чувствую, тепло.

К семи часам вечера весь дом впал в уныние. Чудо запаздывало. Больше в него уже не верилось.

«Ей пора ложиться спать. Может, завтра…» — сказала бабушка.

Пошли за Эдит. Она сидела в гостиной, положив руки на клавиши пианино. Одним пальцем наигрывала песенку «При свете луны». Это ей нравилось и никого не удивляло.

— Пойдем спать.

— Нет! То, что я вижу, так красиво!

У всех замерло дыхание; они ждали чуда, надеялись, но когда оно свершилось, не смели поверить.

Бабушку била дрожь:

— Что красиво, мое сокровище?

— Вот это.

— Ты видишь?

Она видела. И первое, что увидела,— клавиши пианино.

Все упали на колени, осенили себя крестным знамением и закрыли «заведение». Тем хуже для клиентов! Нельзя все сразу — и доходы, и чудеса!

Эдит было семь лет.

Приехал папа Гассион. Он был счастлив. Эдит такая, как все, она видит! У него нормальный ребенок.

Около года Эдит ходила в школу. Ей столько нужно было узнать. Но «приличные» люди были шокированы.

Когда отец приехал в Верней, кюре прочел ему мораль.

— Нужно увезти ребенка. Вы должны понять, ее присутствие — скандал! Пока девочка не видела, ее еще можно было держать в «доме» такого рода, но теперь! Какой пример для маленькой невинной души! Этого нельзя допустить.

И вот «маленькая невинная душа» выброшена на улицу. Теперь ей предстоит жить с отцом. Эти годы не были для нее счастливыми. Эдит часто мне рассказывала о них с горечью. Отцу

же все казалось забавным, и он охотно вспоминал об этом времени.

С восьми до четырнадцати лет он таскал за собой Эдит по кабачкам и бистро, по улицам и площадям, городам и деревням.

Позднее, возвращаясь к этому периоду своей жизни, Эдит рассказывала:

«Я столько исходила с папой дорог, что у меня ноги должны были бы стереться до самых колен.

Моя работа состояла в сборе денег. «Улыбайся,— учил отец, — тогда больше дадут».

Чего только он ни придумывал, чтобы заработать на выпивку. Мы заходили в кафе. Он высматривал женщину, которая выглядела не слишком злой, и говорил мне:

— Если ты что-нибудь споешь этой даме, у тебя будут деньги на конфеты.

Я пела, он меня подталкивал к женщине. Тогда и другие что-нибудь давали. Потом, правда очень ласково, он все отбирал:

— Дай-ка мне, я спрячу.

Так и жили.

Отец мне никогда этого не говорил, но я знала, что он любит меня. Я ему тоже ничего не говорила.

Однажды вечером я пела в кафе в каком-то шахтерском поселке, в Брюэ-ле-Мин, кажется. За одним столиком сидела супружеская чета, они слушали меня, но их лица выражали явное неодобрение. Женщина обронила:

— Она сорвет себе голос.

Нужно сказать, что уже в то время я пела во всю силу легких.

— Где твоя мама?— спросила женщина.

— У нее нет матери,— ответил отец.

Тут они стали очень ласковы и начали давать всякие советы, а через час, угостив отца вином, а меня лимонадом, объявили отцу, что готовы взять на себя все заботы обо мне: отправят в пансион, будут учить петь, меня удочерят, а отцу дадут много денег. Отец так разозлился, что, казалось, разнесет все вокруг.

— С ума сошли? Моя девочка не продается. Матери у нее, может, и нет, зато тетенек — хватает.

Действительно, недостатка в них не было. Отец все время их менял.

Наглости ему было не занимать. Он придумал трюк, который всегда удавался. Закончив выступление, он поднимал платок, лежавший на «ковре», вытирал руки и объявлял:

— Теперь малышка соберет деньги, а затем, чтобы вас поблагодарить, сделает три сальто-мортале вперед и назад!

Я обходила зрителей по кругу, возвращалась к отцу, и тогда, дотронувшись до моего лба, он восклицал:

— Дамы-господа, у кого из вас хватит жестокости заставлять малютку делать сальто с температурой сорок градусов? Она больна. На ваши деньги я поведу ее к врачу. Но я честный человек, и то, что обещано, будет сделано. Если хоть один из вас потребует, она будет прыгать.

И медленно обходя зрителей, продолжал:

— Пусть тот, кто на этом настаивает, поднимет руку.

Однажды это чуть не кончилось плачевно. Кто-то стал ругаться:

— Деньги уплачены, пусть прыгает. Знаем мы ваши штучки.

Но отца нелегко было сбить с толку:

— Хорошо. Пусть будет по-вашему. Она вам сейчас споет «Я потаскушка».

Через три недели после его отъезда
Я спала со всеми его друзьями.
Да, меня надо было высечь.
Я потаскушка.

Мне было девять лет.»

Так Эдит спела на улице в первый раз. Отец отказался от мысли сделать из нее гимнастку. Он говорил: «У этой девочки все в горле и ничего в руках!»

Нет, он был неплохим отцом, он делал больше, чем мог. Он, может быть, и плохо поступал: у Эдит была целая куча мачех. Вероятно, с одной ей было бы лучше, но среди них попадались и хорошие женщины. В детстве Эдит чаще меня наедалась досыта. Я бы предпочла быть на ее месте, жить с моим отцом, а не с матерью. Он бы охотно взял меня, но не мог же бедняга таскать с собой еще одного ребенка? И с Эдит ему хватало забот!

Глава вторая. «Моя консерватория — улица»

Пока Эдит работала с папашей Гассионом, я мало что знала о ней. Мне было лет пять-шесть, когда я услышала о чуде. В зависимости от настроения моя мать то смеялась над ним, то возмущалась.

Я знала также, что раньше сестра жила в «доме», у шлюх. Что такое «шлюхи», мне было известно. Я их видела каждый день, разговаривала с ними, но что такое «дом», не представляла. Мать объяснила: «Дом» — это гостиница, где шлюхи живут взаперти». Мне казалось, что глупо жить взаперти, когда так свободно, так хорошо на улице, но я в это не вникала. В двенадцать лет у меня было о чем думать, помимо сводной сестры, которой стукнуло уже пятнадцать.

Я знала, что Эдит жила у отца, а потом сбежала от него. Мама сказала: «Как ее мать, та тоже смылась».

Я в этом не разбиралась, но поступок Эдит вызвал у меня восхищение.

Мы по-прежнему часто встречались с отцом, он продолжал заниматься со мной акробатикой на квартире своего друга Камиля Рибона, которого звали Альверном. После каждого упражнения, которое мне удавалось, отец говорил: «А вот твоя сестра так не умеет». Я гордилась, но не более.

Альверн часто виделся с Эдит, он с ней занимался гимнастикой. Отец, хотя она и ушла от него, все-таки заставлял ее тренироваться, это входило в его понятие о воспитании дочери. Он обучал ее также истории Франции. Если не знал какой-либо даты или путался, то говорил: «Это было так давно, что сотня лет не играет роли».

Улица Пануайо была рядом с улицей Амандье, и я часто заходила к Альверну. Однажды отец сказал моей матери:

— Пусть Момона заглянет как-нибудь после работы познакомиться с сестрой.

В двенадцать с половиной лет я уже работала: собирала автомобильные фары на заводе Вондера, зарабатывала восемьдесят четыре франка в неделю. Я стояла у станка десять часов в день, закатывала фары в оправу. Тогда использовать детский труд не считалось преступлением. Другие соседские девочки из нашего квартала, мои ровесницы, работали на заводах Люксора и Трезе, которые были поставщиками Вондера. Это было

нормально, такова была жизнь.

Как-то мать мне сказала:

— Послушай, сегодня к Альверну пришла твоя сестра Эдит. Сходим посмотрим на нее?

Я была рада пойти к Альверну. У него всегда было грязно, но можно было хорошо поесть. Он часто нас звал. Я ни о чем другом не думала, до Эдит мне не было никакого дела.

Когда мы пришли, в проеме двери на кольцах болталось что-то бесформенное в мальчишеских трусах. Если бы не две маленькие белые ручки, я бы никогда не подумала, что это и есть моя сестра.

— Ты Эдит?

— Да.

— Значит, ты моя сестра.

Мы стали разговаривать, присматриваясь друг к другу. Каждая что-то из себя строила. Вдруг она спросила:

— А ты сумеешь так сделать?

Мы с отцом этим занимались, поэтому я тотчас проделала упражнение, и гораздо лучше, чем она. У Эдит всегда была потребность кем-нибудь восхищаться. Чтобы любить, она должна была восхищаться. Мои способности произвели на нее впечатление. Она была не только рада, но удивлена. Подумать только, у нее есть сестра, которая умеет делать то, что не удается ей! Это потрясающе! В дальнейшем наши роли переменились, потом она не переставала меня поражать.

Мы разговорились по-настоящему. Она спросила:

— Чем ты занимаешься?

Я ответила:

— Ничем особенным, работаю на заводе, зарабатываю восемьдесять четыре франка в неделю.

Я ей завидовала. Мне показалось, что она довольно хорошо одета. Свитер и юбка по росту, похоже, куплены для нее!

Когда кто-то интересовал Эдит, она стремилась принять в нем участие. Мне она сказала:

— Бросай работу. Будешь ходить со мной.

— А ты чем занимаешься?

— Пою на улице.

Я остолбенела.

— И зарабатываешь?

— Спрашиваешь! И сама себе хозяйка. Работаю, когда хочу. Я тебя приглашаю!

Эдит меня потрясла. Я пошла бы за ней на край света. Что, впрочем, и сделала.

Эдит решила петь на улице, потому что с отцом она уже пела

в казармах и на площадях. Отец предпочел бы, чтобы она исполняла акробатические танцы. Он считал, что акробатикой девчонка расшевелит публику скорее, чем песнями. Но к акробатике у Эдит действительно не было способностей.

Отец любил. Версаль и часто работал в районе Версальских казарм. Они поразили воображение Эдит, и с тех пор она полюбила солдат, в особенности из колониальных войск и из легиона.[5]

Когда мы сидели у Альверна на скамеечке, Эдит мне объяснила:

— Понимаешь, отец научил меня ремеслу. Я знаю хорошие места. Я знаю, что и как нужно делать.

— Но ты ведь ушла от отца?

— Да. Мы друг другу надоели. Он забирал весь мой заработок. И потом, я не могла больше выносить его баб, особенно ту, которая у него сейчас. Чуть что, хлещет по щекам, а я уже вышла из этого возраста. В последний раз она меня отколотила за то, что меня поцеловал парень. Понимаешь?

Я понимала.

Мы еще немного поговорили.

— Я ушла от отца, потому что мне до смерти надоело все случайное, захотелось чего-то постоянного. Но на улицу нельзя выйти вот так одной и начать петь. Нужно быть вдвоем и чтобы была музыка, иначе выглядишь жалко, тебя не принимают всерьез. Будто ты не работаешь, а попрошайничаешь.

— И что же ты сделала?

— Прочла объявление в «Ами дю пепль».[6] Я выбрала эту газетку из-за ее названия. Обошлось мне это в пятнадцать сантимов. Устроилась на работу в молочную на авеню Виктора Гюго. Ну и каторга! Вставала в четыре утра, разносила молоко, мыла лавку. У тех, кто там живет, денег куры не клюют, но лишней монетки не получишь. Дело имеешь только с прислугой, а они все зажимают для себя, дряни!

Я, конечно, не могла удержаться, чтобы не петь во время работы. Мой голос не понравился хозяину, он меня выгнал. Поступила в другую молочную и поняла, что это не для меня.

— И как же ты все-таки начала петь?

— Один парень уговорил, Рэймон. Ему нравилось, как я пою. У него была подружка, Розали. Получилась труппа: Зизи, Зозет и Зозу. Работали на площадях и в казармах. Потом мы расстались, но я не бросила петь, и дело пошло. Я аккомпанирую себе на банджо. Научилась.

Наступил вечер, пора было расставаться. Погода, помню, стояла хорошая. Эдит сказала моей матери:

— Ну, так если вы не против, Симона будет работать со мной. Вот увидите, пением на улице можно неплохо заработать.

Матери было все равно, чем я занимаюсь. С тем же успехом я могла выйти на панель. Главное — чтобы я приносила деньги…

В тот же вечер мы отправились. Нашей первой улицей была улица Вивьен. Мы принесли около ста франков. Когда мать увидела, что я могу заработать больше, чем у Вондера, она подскочила от радости. Эдит сказала:

— Выручку делим пополам.

Мы с матерью пошли на бал на улицу Тампль, она это любила. Не нужно думать, что балы, на которые мы ходили, были настоящими. Жалкие танцульки с подонками и сутенерами… Пол в зале был посыпан опилками, двое-трое ребят играли что-то на аккордеоне и банджо.

Пахло потом и вином…
Бумажные воротнички…
Грязные шелковые шарфы…

За вечер мать спустила те пятьдесят франков, что ей дала Эдит. На обратном пути она называла меня «своей дорогой Момоной». Даже поцеловала, хотя терпеть меня не могла.

В ту ночь я впервые заметила, что сплю вчетвером на раскладушке, без простыней и одеяла. Но теперь я познакомилась с Эдит, а она-то ведь свободна! Значит, есть и другая жизнь? Мысли не давали мне заснуть.

Проснулась я как от толчка: опоздаю к Эдит! Вскочила с кровати (я спала одетая), на ходу всунула ноги в туфли и помчалась сломя голову.

Эдит велела мне прийти к десяти часам утра. Я опаздывала. Я могла бы ее упустить, и все бы пропало. Я пропустила бы самое важное свидание в своей жизни. Ведь Эдит была моей удачей.

Когда-нибудь мы, может быть, снова бы встретились, но все уже было бы по-другому. Я бы вернулась на свой завод и осталась в своей семье среди пьяниц, бездельников и шлюх.

Для них я была только источником денег. А Эдит — я это чувствовала — полюбила меня. Для такой девчонки, как я, верить, что тебя любят, значило много.

Она меня увидела, и лицо ее просияло. Бывают в жизни такие мгновения счастья, которые охватывают все твое существо… Мы обнялись, будто не виделись десять лет.

Она взяла меня за руку, и мы пошли петь. Моя работа состояла в том, что я собирала деньги, у меня это получалось.

Вечером мы пошли к матери и снова отдали ей половину. Так продолжалось несколько дней. Потом Эдит сказала:

— Я ушла от предка, чтобы жить своей жизнью, как хочу, а не для того, чтобы каждый вечер отчитываться перед твоей матерью. С меня хватит, больше ей деньги носить не будешь. Чтобы работать как мы, нужно быть свободными. Будем жить вместе.

От счастья я не могла выговорить ни слова.

Мы пошли к матери. Эдит набралась храбрости и сказала:

— Я окончательно решила нанять вашу дочь. У меня есть комната — она будет жить со мной, я буду о ней заботиться.

Моя мать, женщина практичная, ответила:

— Я согласна, но нужно оформить бумагу.

Эдит не растерялась. Она составила договор, и это был первый контракт, который она заключила.

Это было очень смешно, потому что мать едва умела читать, а Эдит — писать. Но она все-таки справилась:

«Я, Эдит Джованна Гассион, родившаяся 19 декабря 1915 года в Париже, проживающая в доме номер 105 по улице Орфила, актриса по профессии, заявляю, что нанимаю на работу Симону Берто на неограниченный срок, обеспечиваю ее жильем и питанием и плачу 15 франков в день. Составлено в Париже… в 1931 году».

Мать долго хранила эту бумажку в ящике буфета и показывала всем и каждому.

Меня точно оглушило, я в себя не могла прийти. Пятнадцать франков в день было много, гораздо больше, чем я получала у Вондера. И там воскресенья не оплачивались.

Кем мы тогда были? Две девчонки — каждая метр пятьдесят роста, сорок килограммов веса.

Каждый день Эдит отдавала матери пятнадцать франков, отсчитывая монеты по одной прямо в руку. Спустя некоторое время мы стали приходить раз в два дня, потом раз в три, а потом и вовсе перестали. Так в двенадцать с половиной лет я окончательно рассталась со своей матерью, которой, надо сказать, на это было совершенно наплевать.

Не следует думать, что наша жизнь с Эдит была беспорядочной. Эдит всегда умела все организовать. Она обладала талантом распоряжаться людьми. И могла от них требовать все, что угодно, самые немыслимые вещи. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь ей отказал. Ни у кого не поворачивался язык сказать Эдит «нет». Это было просто невозможно.

Начинала петь всегда я. И пела плохо. По правде говоря, я

лишь совсем недавно поняла, насколько это было плохо. Мне всегда казалось, что Эдит не давала мне петь из ревности. Бывают же иногда идиотские заблуждения… Вообще-то для меня важно было не петь, а жить рядом с Эдит. Тем не менее я так считала…

И вот недавно, когда я была одна, я бросила взгляд на магнитофон и устроила себе прослушивание. Какое разочарование!.. Я не верила своим ушам. Я знала, что никого нельзя сравнить с Эдит, она была гениальна. Но все-таки могли же у меня быть хоть какие-то данные, хоть небольшой, но приятный любительский голосок. Но чтобы это было до такой степени плохо!..

Тем не менее, в известном смысле я даже была довольна: единственное маленькое сомнение, которое оставалось во мне, рассеялось.

Итак, я начинала петь первой, потому что Эдит всегда было трудно петь с утра. Просыпалась она совершенно без голоса. Приходилось ждать, пока он к ней вернется. Для этого она должна была выпить кофе, прополоскать горло каким-то составом. А на это нужно было десять франков. Так вот эти первые десять франков зарабатывала я. До чего же время тянулось долго! Но как только она выпивала кофе и прополаскивала горло, можно было идти работать в любой квартал. Теперь она могла петь день и всю ночь напролет. Я хочу сказать, что она была в состоянии столько петь. И самое удивительное, что уже тогда у нее был тот голос, который потом узнали все, голос, который потом стоил миллионы.

Она пела так громко, что перекрывала уличный шум, гудки автомобилей. Она говорила:

— Посмотри, Момона, я сейчас запою, на седьмом этаже и на восьмом откроются окна, меня услышат даже на самом верху. Даже на Эйфелевой башне.

Я смотрела и, правда, нам бросали монеты, казалось, с самого неба. Эдит собирала на улице целые толпы. Однажды полицейский в штатском сказал ей:

— Послушай, это мой участок, и я не имею права разрешить вам здесь оставаться. Ступай на противоположную сторону и спой мне «Шаланду». Это моя любимая песня. Никто ее не поет так, как ты…

Мы перешли на другую сторону, Эдит для него спела, и он дал ей пять франков. Вечером она показала монету нашим друзьям: «Мне ее дал фараон… Это ли не слава?»

Тогда мы еще не ходили по дворам. Этим мы стали заниматься много позднее, когда вечерами работали в кабаре. В ту пору Эдит по утрам чувствовала себя очень усталой, а во дворе

можно было присесть на мусорный ящик. Она даже иногда так засыпала!

Во дворах публика трудная, ведь не она приходит вас слушать, а вы ее заставляете, значит, есть люди, кому это нравится, но есть и другие… Некоторые прогоняют, приходится упрашивать, и не всегда это проходит мирно. У Эдит не хватало терпения, она посылала их к черту. Поднимался крик, окна открывали, но не для того, чтобы бросать монетки.

Как только становится холодно, хозяйки сидят в тепле, не высовывают носа на улицу, они скупее мужчин. На одну, у которой в сердце затеплится чувство, что-то всколыхнется в груди и на глаза навернутся слезы, когда она услышит песню о любви (а это еще вовсе не значит, что она станет щедрой), приходится множество, у кого сердце зачерствело, покрылось коростой; любовная песня не заставит их мечтать, она даже не вызовет у них воспоминаний. Они все забыли!

На улице совсем другое дело. К вам подходят и, если нравится, остаются. Эдит не протягивала руку. Это была моя работа. Я смотрела людям в глаза, пока они не брались за кошелек. Эдит мне говорила:

— Смотри, никого не пропускай. С твоими-то гляделками!

С мужчинами было проще, их легче пронять, чем женщин. Им трудно пройти мимо двух девочек, ничего им не дав.

У нас не было какого-то своего квартала. Мы их часто меняли, хотелось побывать в других местах. Первое, что делали, приходя в новый квартал, спрашивали полицейского, где находится комиссариат, чтобы петь подальше от него. У нас не было разрешения, и то, чем мы занимались, называлось «групповым попрошайничеством». Впрочем, нас не раз задерживали, но всегда отпускали. С нами были даже ласковы, ведь мы были еще очень маленькие, почти дети, нас не принимали всерьез. К тому же мы придумывали разные истории. Рассказывали, что живем с родителями, что они не богаты и скупы, что мы поем просто так, для забавы, чтобы купить себе туфли или сходить в кино. Что только не болтали! И нам верили. Единственное, чего нельзя было им сказать, это правду. Я была несовершеннолетней, Эдит тоже. Этого было достаточно, чтобы оказаться у «Доброго Пастора»[7] или в другом таком же «детском саду». Две девчонки целыми днями болтаются на улице, разве это допустимо? Как будто надзирательницы в приютах — надежная стража.

Мы были одеты не как нищие, но недалеко от них ушли. У меня был берет, с которым я обходила публику. Мы причесывались одинаково, с челкой — стригли ее сами. Эдит

считала, что будет лучше, если нас с первого взгляда будут принимать за сестер.

— Понимаешь, когда я говорю легавым, что ты моя сестра, а документов у нас нет, мы должны быть похожи, чтобы они нам поверили.

Я не возражала, наоборот, мне нравилось быть похожей на Эдит. Я ее полюбила, и не потому, что она была моей сестрой (голос крови, когда вы сестры только наполовину, звучит не слишком громко), а потому, что это была Эдит.

Мы жили в гостинице «Авенир» на улице Орфила, дом 105. Она еще существует. Каждый раз, проходя мимо, я останавливаюсь и смотрю на окно четвертого этажа, окно нашей комнаты. В ней не было водопровода, был стол с умывальником, кровать, дряхлый шкаф, кажется, еще тумбочка,— и больше ничего.

Я с иронией говорила, что на «Авенир»[8] — наша единственная надежда.

Но Эдит, когда мы возвращались под утро на метро, падая от усталости, приоткрывала сонный глаз и говорила:

— Не унывай, Момона. Мы станем богаты. Очень богаты. Я заведу белую машину и черного шофера. И мы будем одинаково одеты!

Она в это верила. Эдит не сомневалась, что станет знаменитой, но для верности шла в церковь помолиться дорогой святой Терезе. Она говорила:

— Момона, дай двадцать монеток, я поставлю свечку.

Эдит никогда не держала при себе денег. Деньги всегда были у меня.

А пока что мы пели на улицах. Когда набирали достаточно денег, шли в ресторан и все проедали. Потом снова пели и шли в кино. Мы никогда не думали, что нужно оставить наутро десять франков. К вечеру мы всегда были без гроша. Мы стремились потратить все. Такой Эдит оставалась всю жизнь!

Иногда мы зарабатывали до трехсот франков в день, это было много, ведь шел 1932 год!

Когда мы встретились, Эдит уже знала мужчин… Это произошло в пятнадцать лет. Первого она не вспоминала… Со вторым познакомилась у Альверна. Он был уличным актером, умел играть на банджо, на мандолине. Он научил ее песенке «Флотские ребята». Она всегда ею начинала под банджо. Играла она плохо. Но тогда на банджо, как теперь на гитаре, все немножко умели наигрывать…

Наш репертуар состоял из «Шаланды», «Открывателя» и «Моей красивой елочки», но в богатых кварталах нужно было петь

что-нибудь получше, и здесь мы исполняли репертуар Тино Росси, потому что в этом… был уровень! Еще мы пели «Дети нищеты». Для шестнадцатого округа[9] это не подходило, но это был наш «гимн»!

Мы дети нищеты,
Бедняги без гроша в кармане…

Нужно уметь подобрать репертуар для каждого квартала. В сущности, это как в мюзик-холле. Улица — хорошая школа. Именно здесь сдаешь экзамен по мастерству. Ты видишь публику — она перед тобой. Ты слышишь, как бьется ее сердце, понимаешь, что она хочет. Понимаешь, что она любит и что — нет. И если она иногда плачет, значит, заплатит много.

В одних кварталах мы ходили босиком, в других публику это шокировало, и мы надевали матерчатые тапочки, иначе это отражалось на заработке. Чтобы их не снашивать, мы связывали их за шнурки и вешали на шею. По сути, если подумать, мы были первыми битниками, такими же неопрятными, только у нас вместо гитары было банджо. В остальном то же самое: поэзия, надежда, желание прожить свободными молодые годы.

Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывала голод или холод. У меня такое впечатление, что в те годы не было зим… Конечно, они были, но я их не помню… По-моему, и дожди не шли!

Мы исходили весь Париж от Пасси до Монтрей. По субботам в богатые кварталы было незачем ходить, люди в этот день заняты покупками, им некогда, им не до нас. В обычные дни можно пройти Елисейские поля. В Пасси, в шестнадцатый округ лучше приходить утром, женщины еще дома; они видят, что на улице поют две девочки, открывают окна, бросают деньги, но тут же их закрывают. Холодно! Эта публика — благотворители, а не любители.

По субботам надо ходить в рабочие кварталы, здесь дают меньше, но чаще. И дают, потому что получают удовольствие, потому что вам рады, а не только потому, что хотят делать добро. Для этих людей Эдит пела «Титанию».

Мой хозяин Сатана посылает меня обойти людей по кругу,
У меня огромные запасы радости и удовольствий.
Я могу удовлетворить все пороки мира,
И мое сердце готово ответить на любое желание.

Мы хорошо зарабатывали на жизнь, у нас было на что купить

одежду, но одевались мы плохо. Свитер и юбка, вот и все. Время от времени покупали другой свитер, другую юбку, когда прежние становились слишком грязными. Мы никогда ничего не стирали.

Вокруг Эдит кружилось много парней, много мужчин. Она очень нравилась, она была старше меня. Но мы были так грязны, что это охлаждало их пыл.

Год спустя — Эдит было шестнадцать лет, мне — тринадцать с половиной — мы начали петь в казармах. Чаще всего это бывало зимой, чтобы укрыться от холода. Эдит уже тогда нравились солдаты. Для входа в казармы нужно было получить разрешение полковника. На это уходило много времени.

Выступали обычно в столовых. Эдит пела, я показывала свои трюки. После выступления ребята назначали свидания. Так Эдит побывала во всех бистро, в которых собирались солдаты Иностранного легиона, колониальных войск и моряки.

Солдат — это нечто безликое, обмундирование. Ты ему ничем не обязана, и он от тебя ничего не требует.

В этой среде мы чувствовали, что нравимся, что живем…

Даже когда мы не работали в казармах, мы ходили в их бистро.

Если на тебя смотрит парень, ты уже не пустое место, ты существуешь. С ними можно и похохотать и побеситься, солдаты — легкий народ.

Глава третья. Четверо в одной постели

Как-то вечером в одном бистро возле форта Роменвиль мы встретили Луи Дюпона. Он пришел за вином. Он жил в Роменвиле, где у его матери была лачуга. Эдит ему понравилась — это была любовь с первого взгляда. В тот же вечер он перебрался к нам.

Луи, светловолосому пареньку, было восемнадцать лет, Эдит — семнадцать. Я не находила в нем ничего особенного, мне он казался ничем не примечательным. До него у нее были отличные парни из колониальных войск…

Не спросив разрешения, Луи присел за наш столик, поставил на него бутылки с вином, которое купил для матери, и сказал, глядя на Эдит:

— Ты из нашего квартала?

— Нет,— ответила она,— я из Менильмонтана.

— Потому-то я тебя никогда не видел.

— Да, наверно.

— Ты придешь еще?

— Не знаю. В зависимости от…

— От чего?

— Ну, от моего желания.

— А у тебя оно будет?

— Не знаю.

— Хочешь выпить? Дайте два перно.

— А моя сестра, что — не пьет?

— Три!— заказал он.

— Что ты делаешь?

— Пою. Я артистка.

— А,— поразился он,— и выгодное дело?

— Как сказать. А ты?

— Я каменщик, это моя настоящая профессия, но сейчас работы нет, и я развожу продукты на велосипеде. С чаевыми выходит сто шестьдесят франков в неделю. Мы расхохотались, он обиделся.

— В чем дело? Это неплохо, мне ведь всего восемнадцать.

— Мы в хорошие дни зарабатываем до трехсот. Но это не важно. Ты мне нравишься. Не имеет значения, что у тебя нет денег.

И они продолжали рассказывать о себе, как будто от этого

зависела их жизнь. Я отключилась, они мне надоели, и потом я привыкла к таким разговорам. Но на этот раз все закончилось не как обычно.

Луи понес матери вино. Пока его не было, Эдит извелась:

— Как ты думаешь, Момона, он вернется?

— Конечно, он в тебя влюбился.

— Ты думаешь, я ему нравлюсь?

Она взбивала волосы, как в кино, мазала губы немыслимой красной, как бычья кровь, помадой, обтягивала на себе свитер, еще сравнительно чистый, а в глазах была тревога — тревога любви…

Эти жесты, эти слова… Сколько раз я их видела и слышала в течение нашей жизни! Казалось бы, для меня они должны были потерять и искренность и свежесть. Каждый раз, когда Эдит любила, ей снова становилось восемнадцать лет. Каждый раз она сгорала от первой и последней любви, единственной в жизни, любви до гроба. Она в это верила, и я верила вместе с ней.

Каждый раз она терзалась, кричала, ревновала, тиранила, подозревала своих любимых, запирала их на ключ. Она была нетерпимой, требовательной, невыносимой, и в отместку она им изменяла. Они тоже не сдерживались, но это и было для нее любовью. От сцен, от криков Эдит расцветала, она была счастлива.

— Когда любовь остывает, Момона, ее нужно или разогреть, или выбросить. Это не тот продукт, который хранится в прохладном месте!

Год ли она любила или один день — разницы не было.

— Любовь это не вопрос времени, а вопрос количества. Для меня в один день умещается больше любви, чем в десять лет. Мещане растягивают свои чувства. Они расчетливы, скупы, поэтому и становятся богатыми. Они не разводят костра из всех своих дров. Может быть, их система хороша для денег, но для любви не годится.

Она ждала Луи не находя себе места.

— Если он не придет, подонок, я наделаю глупостей.

Глупостей нам и так хватало. Чтобы забыть измену, она пила или искала другого мужчину.

Сидя за столиком, стиснув руки, устремив на дверь глаза, мы ждали. И вот он вошел. Нет, это был не он — его брат или какой-то родственник! До этого он был в синей рабочей куртке, волосы торчали. Теперь он был в пиджаке и при галстуке, волосы смазал растительным маслом и сделал себе великолепный пробор. Он представился:

— Меня зовут Луи Дюпон. Мое прозвище Луи-Малыш. Давай

жить вместе.

— Хорошо,— сказала Эдит, погружаясь в водоворот любви.

Все было именно так просто. Разумеется, об этой встрече рассказывали потом целые истории; будто он услышал, как она поет, и пришел в восторг. В действительности же Луи не любил, когда она пела, это его бесило. Он не считал пение профессией. И он отчаянно ревновал Эдит: когда она пела, на нее смотрели другие парни. В глубине души он боялся, что песня отдалит Эдит от него. Как и все остальные, он хотел, чтобы она принадлежала ему одному.

Они сидели и смотрели друг на друга. Лицо Эдит менялось. Глаза становились огромными, нежными и горячими. Это была любовь. Это был трепет страсти.

В нашу гостиницу мы вернулись втроем. Никому и в голову не пришло, что я могу ночевать в другом месте.

Снимать две комнаты нам было не по карману, кроме того, мы не видели в этом ничего дурного. В Эдит был неисчерпаемый запас чистоты, которую ничто никогда не могло запятнать. Конечно, трое в одной постели — это, может быть, и не нормально, но когда вам всего семнадцать и вы бедны. любовь так чудесна, «сто совершается в полной тишине. Я заснула, как ребенок.

Эдит стала жить вместе с Луи-Малышом, потому что он был первым, кто ей это предложил.

— Видишь,— говорила она мне,— вот я и устроила свою жизнь. В семнадцать лет это не так уж плохо. Ты думаешь, он на мне женится?

— А ты согласишься?

— Наверное.

Луи-Малыш не посмел жениться на ней. Его мать никогда бы ему не разрешила; ей были нужны его деньги.

Дальше все пошло быстро: два месяца спустя Эдит забеременела.

— У меня будет ребенок, Момона, у нас будет свой собственный ребенок. Ты рада?

Я не больно-то понимала, что об этом следует думать, хотя мне было ясно, что это осложнит нашу жизнь. Ни Эдит, ни я не представляли, что это такое. Мы настолько ничего не понимали, что ничего не приготовили для ребенка. Нам в голову не пришло, что новорожденный может в чем-то нуждаться!

В течение нескольких дней Эдит ходила с гордым видом. Она важно заявляла подругам:

— У меня будет ребенок.

Оценки расходились, но Эдит не колебалась: она живет с

Луи-Малышом, у нее будет от него ребенок, это правильно, это в порядке вещей. Луи-Малыш был, скорее, доволен, но и он не знал, что в этом случае полагается делать.

Для нас ничего не изменилось. Луи работал, мы пели. Но он хотел, чтобы Эдит сидела дома. Он нам твердил с утра до вечера:

— То, чем вы занимаетесь,— нищенство. И вообще, разве это профессия — актриса? Это несерьезно. Ты скоро станешь матерью. Матери на улицах не поют!

Простачок! Оказалось, что поют!

Верхом мечтаний для него было видеть Эдит в двухкомнатной квартирке с туалетом на лестничной клетке. И чтобы у нее была какая-нибудь рабочая специальность. И эта мечта чуть было не осуществилась. Беременная Эдит не могла больше петь на улице, мы и впрямь выглядели нищенками. Мы стали работать в мастерской, где изготовляли траурные венки с фальшивым жемчугом. Нам приходилось выполнять все заготовки, красить жемчуг из пульверизатора в черный цвет. Мастерицы же делали венки из цветов, вплетая в них нитки бус. За работой Эдит пела, это всем нравилось.

Луи Дюпон был доволен:

— Видишь, как хорошо. Каждую неделю у тебя получка. Это надежно. Ты в тепле, и поешь. Как тебе такая перемена?

Особой перемены мы не ожидали, жили по-прежнему в нашей клетушке, ели прямо из консервных банок, сидя втроем на кровати, потому что стульев не было. Луи-Малыш стал обзаводиться хозяйством. Он стащил у своей старухи три вилки, три ножа и три стакана. Тарелок Эдит не захотела.

— Я никогда не буду мыть посуду.

И она никогда ее не мыла.

— И потом, я предпочитаю есть в ресторанах.

Но с заработков от пения можно было ходить по ресторанам, от венков — нет. Луи мог сколько угодно твердить: «Венки — хорошая работа, с покойниками перебоев не бывает».

Убедить Эдит было нельзя. Она хотела улицы, хотела свободы. Улица затягивает. Петь на улице потрясающе интересно. В те годы для нас это было как чудо.

А Луи-Малыш ревновал ее к этой жизни. Они ссорились, даже дрались. Их часто забирали в полицию. Так не могло продолжаться. Он был простым рабочим, а она стала уже Эдит Пиаф. Правда, она этого еще не знала, это еще не бросалось в глаза, но она уже ею была.

Луи ревновал, и не без оснований. Эдит ему изменяла, несмотря на то, что им дорожила. Не знаю, любила ли она его еще… Ей всегда нужен был мужчина в доме. В этом она видела

залог надежности. С Луи-Малышом Эдит поступила так, как поступала потом со всеми своими мужчинами, в этом она не менялась.

Беременность у Эдит была легкой. Если бы она не располнела, она бы ничего не чувствовала. В срок, который нам назвали, мы пошли в больницу Тенон. Она там осталась, а я вернулась к венкам. Девушки меня спросили:

— Когда роды?

— Уже.

— Вы все приготовили для младенца?

— Нет, ничего. А что нужно?

— Ну, пеленки, подгузники, свивальники. Это же не Иисус Христос!.. Он не может ходить с голым задом.

Мы об этом не подумали. Девушки были потрясены. Подобная беспечность ни у кого в голове не укладывалась.

— Вы что, его в газету заворачивать будете? Давай быстрее, все неси сестре.

— Да на что я куплю?

Они остолбенели. Я тоже.

— Ладно, не беспокойся,— сказала большая Анжела,— что-нибудь придумаем.

Работницы сложились, накупили приданого и еще всякой всячины. Они были по-настоящему добрыми женщинами.

Эдит была счастлива, что у нее родилась дочь. Она назвала ее Марсель. Она любила это имя. Оно несколько раз встречается в ее жизни. Тех, кто его носил, она очень любила: Марсель, ее дочь, Марсель Сердан, Марсель, мой сын, ее крестник. Имя Луи тоже значило не меньше: Луи — папаша Гассион, Луи-Малыш, Луи Лепле, Луи Барье…

Сесель была чудным ребенком. Луи был доволен. Он тотчас же ее признал, но о женитьбе не заговорил, и правильно сделал. Время было упущено — Эдит сказала бы «нет».

Луи вообразил, что раз есть ребенок, Эдит у него в руках. Он будет командовать. Но Эдит тут же заявила:

— Я возвращаюсь на улицу. На Сесель нужны деньги, и я должна их зарабатывать. А с твоими венками катись ты знаешь куда?

Теперь нас было четверо в комнате, четверо в одной кровати. Эдит согревалась в объятиях Луи. А у меня была Сесель. Я ложилась спать в толстом свитере, а ее прижимала прямо к телу. И так мы спали. Впоследствии нашлись люди, которые брезгливо поджимали губы и осуждали поведение Эдит. Но в семнадцать лет бедная девочка не представляла, что принесет с собой появление ребенка.

Мы не знали даже, что молоко нужно кипятить, и давали его сырым. Споласкивали соску, подогревали молоко, клали в него сахар, потому что Эдит считала, что это питательно, это укрепляет, и так кормили ребенка.

Когда мы шли на улицу, мы закутывали девочку и брали ее с собой. Она вообще всегда была с нами. Ни за что на свете Эдит не согласилась бы с ней расстаться. Это была ее манера любить. Она никогда не оставила бы свою дочку в отеле одну.

Где мы только ее не таскали! На дальние расстояния всегда садились в метро и никогда в автобус, потому что в автобусе дует.

Если девочка пачкалась, мы «делали» еще одну улицу и покупали ей все необходимое, чтобы переодеть. Мы ее одевали только в новое до двух с половиной лет. И никогда ничего не стирали. Это был верный метод. Да мы и не умели стирать. Эдит умела петь, а стирать — нет! Мы жили неплохо. Жили сегодняшним днем, безбедно!

Луи-Малыш почти ничего не зарабатывал. Иногда доставлял на дом покупки на своем велосипеде. Эдит пела на улицах, он сидел дома с ребенком. Мы возвращались поздно, Луи ругался. Эдит его иногда будила, иногда оставляла в покое, но когда мы возвращались, всегда поднимался шум, и девочка плакала. Иногда мы вообще не приходили домой ночевать. Эдит от него крепко влетало, но характер ее не менялся, она всегда делала что хотела.

В этот период с Эдит произошло нечто существенное. Она начала осознавать свое призвание, еще смутно, но уже отдавать себе в этом отчет.

Она многому научилась, знала улицу, знала свою работу. Правда, она не сделала еще настоящих успехов, не стала петь лучшее, но подобрала себе репертуар: песни предместья, уличные куплеты, да и кое-что получше.

Она разглядывала афиши настоящих артистов, выступавших в мюзик-холлах «Пакпа», «Эропеэн», «А. В. С», «Бобино» и «Ваграм». Это были Мари Дюба, Фреэль, Ивонна Жорж, Дамиа — словом, «великие». На бульварах мы заходили в кафе, опускали монетки в автоматы и слушали их. Эдит вся превращалась в слух.

— Я как будто их вижу,— говорила она.— Не смейся, слушая, я вижу. Это у меня осталось с тех пор, когда я была слепой. Звуки имеют форму, лицо, жесты, голоса — как линии на руке, одинаковых не бывает.

Вот это и было новым. Эдит начинала понимать, что пение — это профессия. Это сознание пробуждалось в ней.

Когда мы с ней встретились, я смогла ее многому научить.

Она, например, не подозревала о существовании Елисейских полей. А я их знала. Еще совсем маленькой, на улице Пануайо в доме у своей матери, я поняла, что кроме Менильмонтана должно существовать и что-то другое. Для меня Менильмонтан был деревней, и со своей детской логикой я рассудила, что рядом с деревней должен находиться город. Мне было семь лет, когда я решила отправиться на Елисейские поля… Пошла туда случайно, просто чтобы посмотреть, зашла в отель «Кларидж» и увидела такое, чего не видела никогда. Какая красота! И чистота! До этого я знала только отель в предместье Фальгиер, где жил отец. Елисейские поля! После того как я их увидела, для меня на свете не было ничего лучше!

Я показала Эдит все роскошные кварталы Парижа. Сделала это ради развлечения, а также для того, чтобы попробовать заработать деньги там, где они водились. И потом, мне хотелось, чтобы Эдит увидела, что на свете существуют не только наши жалкие дома по уши в грязи. Это было необходимо. Если бы не было ничего другого, тогда и жить бы не стоило. Все, что нас окружало, отнюдь не было прекрасным. Мне не хотелось, чтобы Эдит с этим смирилась. Она любила приключения, но имела и свои твердые привычки и держалась за Менильмон-тан. В ней крепко сидели ее мещанские взгляды, она боялась нового.

И я повела ее на площадь Тертр.[10] С момента когда мы стали ходить на Монмартр, Эдит начала двигаться вперед как певица. Атмосфера заставила ее поверить в свои силы. На площади Тертр она увидела людей, которые вкалывали всерьез, а зарабатывали немного, гроши. Приходила Эдит, пела и тотчас же собирала деньги — гораздо больше тех, у кого в руках была профессия. Они смотрели на нее и завидовали. Эдит это заставило призадуматься. В такие минуты Луи-Малыш исчезал из ее жизни. Он больше не принимался в расчет. Она утверждалась в своих мыслях: песня — это не только улица, песня — там, где «великие».

Однажды вечером, идя по улице Пигаль, мы прошли мимо кабаре «Жуан-ле-Пэн». У дверей стоял швейцар Чарли, он же зазывала. Чарли заговорил с нами. Он видел, что мы простые девчонки, да и лицом не вышли. Мы не были похожи на клиенток, к которым он привык. Как обычно, у нас был не слишком аккуратный вид. Ему захотелось с нами поболтать. Он спросил:

— Чем вы занимаетесь?

Эдит ответила:

— Я пою!

В этот момент из дверей выбежала хозяйка, Лулу, руки в боки, злая, одетая в мужское платье. Похожа на голубого.

Она набросилась на Чарли:

— Что ты тут делаешь?

Он ей спокойным тоном:

— Болтаю с девочками. Вот эта вроде поет,— указал он на Эдит. Хочет стать артисткой.

— Так ты поешь? А ну зайди на минутку, покажи, что ты умеешь.

Прослушав Эдит, Лулу сказала:

— С тобой порядок. Хорошо поешь. А эта?

— Это моя сестра.

— А мне она на что?

— Она танцует. И акробатка.

— Пусть разденется.

Когда я сняла свитер, юбку, трусики и на мне ничего не осталось, она сказала: «Ладно, годится». Мне бросили воздушный шар, заиграла музыка. Стоя лицом к публике, я прикрывала главное шаром, а поворачиваясь спиной, держала шар над головой. Обыкновенный стриптиз.

Я себе нравилась, я подросла, но была тоненькой. У меня не было никаких округлостей — ни груди, ни бедер, ничего. Доска.

— Ты похожа на мальчишку. Это моим клиентам понравится. Выглядишь несовершеннолетней. Сколько тебе лет?

— Ей пятнадцать. Это моя сестра, и я за нее отвечаю.

Мне было четырнадцать с половиной, но законы о несовершеннолетних мы знали. На панели их знает каждая девочка. Новеньким о них сейчас же рассказывают. Из солидарности.

У Лулу был первый ангажемент Эдит. Так с улицы она перешла в помещение. Не следует думать, что все в корне переменилось. Эдит пела, она нравилась, но не больше. Особенно праздновать было нечего. Мы тогда еще не поняли, какое это имело значение. Лулу деньгами не швырялась, благотворительность была не в ее стиле. Она не выбрасывала денег ради искусства, и раз наняла Эдит — значит, та того стоила.

Не радовался этому событию только Луи-Малыш.

— Это кабак для шлюх! Тогда между нами все кончено. Ты что, хочешь, чтобы мы расстались?

Эдит не сказала «да». Ей нужно было, чтобы кто-нибудь оставался с Сесель по ночам. Но было ясно, что это ненадолго.

Мы переехали в другой отель, в тупик де Бо-зар. Это было удобно для работы. И место нравилось Эдит. Теперь можно обойтись и без Луи. Девочке почти полтора года, она спокойная и послушная.

Мы не брали Сесель в заведение Лулу. Днем по дворам мы ее таскали, но на ночь оставляли одну в нашей комнате, в отеле. Конечно, она очень осложняла нашу жизнь.

Эдит вспомнила о моей матери. Вот кто мог бы взять ребенка на воспитание.

У нас были неплохие отношения. Когда Эдит перестала давать деньги, мать отнеслась к этому спокойно, она и не рассчитывала, что Эдит долго будет соблюдать договор. Как-то Эдит мне сказала:

— Если платить твоей матери, она могла бы взять ребенка.

Мы с девочкой пошли к матери, но она дала нам от ворот поворот.

И мы стали жить, как прежде: днем пели на улицах, а вечером шли к Лулу. Иногда так уставали, что засыпали под скамейками. Девушки у Лулу были славные. Они садились так, чтобы ногами прикрыть нас. Среди официантов был один, с которым мы дружили. Если на тарелках оставалась еда, он, проходя мимо, говорил нам: «А ну быстро, кушать подано!»

Мы бежали в подвал, куда он незаметно приносил нам тарелку, и мы ели. Это была хорошая сторона работы у Лулу. Но была и другая. По договору она должна была платить Эдит пятнадцать франков, но мы их никогда не получали. Она штрафовала нас по малейшему поводу. Работа начиналась в девять часов. Если мы приходили в пять минут десятого — уже штраф. И так почти каждый вечер. Штраф пять франков… Нас было двое — получалось десять. Утром мы уходили, унося в кармане один франк. Приходить точно, когда у тебя нет часов и когда не имеешь ни малейшего представления о времени, нелегко. И потом, Лулу всегда орала на нас, особенно на меня. Так и не знаю почему. Наверно, ей нравилось.

На чем у Лулу можно было заработать, так это на «пробках». Садишься с клиентом за столик, болтаешь и стараешься заставить его выпить как можно больше шампанского. Пробки забираешь, а перед закрытием выкладываешь их в ряд, как кошка мышей. Хозяйка подсчитывает и платит с пробки. Но для этого нужны данные: если у тебя нет ни бедер, ни всего остального — ничего не получится. Девушки у Лулу такие красивые! И ухоженные! В то время сильно красились: на ресницах тонны туши, губы кровавые, волосы белые крашеные — в глазах рябило! Никому и в голову не пришло бы пригласить за свой столик таких грязнуль, как мы. В зал мы выходили в том, в чем выступали: Эдит в матросском костюме не по росту, брюки из голубого сатина, рубашка темно-синяя с матросским воротником.

Как нам ни было плохо, мы все-таки не уходили от Лулу.

Если мы не кимарили, то «украшали зал своим присутствием» — картина не из Лувра! Однажды Эдит выставила клиента на газированную воду — мы полгода об этом говорили. Эдит делилась со мной: «Понимаешь, ведь не на улице же, не на панели я могу стать артисткой. Здесь у меня все-таки есть шанс. В один прекрасный день сюда зайдет какой-нибудь импресарио. Он меня заметит и пригласит на работу».

Я до сих пор помню атмосферу этого заведения — тяжелую, прокуренную, полную безысходной тоски! Мы должны были оставаться там с девяти вечера и до ухода последнего клиента, который спал, уронив голову на стол перед пустой бутылкой. Пианист что-то наигрывал, вокруг него сидели девушки, уставшие от того, что им нечего было ждать. Я думаю, теперь уже многих нет в живых, если не всех!

Для Эдит, которая пела вполголоса, пианист играл:

Музыкант играл
Ночью в кабачке
До утренних лучей,
Убаюкивая чужую любовь.

Между тем светало. Уходил последний клиент. Уходили девушки. Уходил пианист. Наконец, уходили и мы…

Эдит вдыхала чистый воздух улицы Пигаль. Она брала меня за руку и говорила:

— Ну, Момона, пойдем петь.

Ею владело только одно желание — петь на улицах.

Эдит было необходимо ощущение чистоты, которое ей давала только публика улицы. Она хотела видеть, как открываются окна, как в них выглядывают женщины, спавшие ночью в своих постелях. Они бросали нам монетки, нужные на кофе, на завтрак, на полоскание для Эдит. Как только мы собирали достаточно денег, можно было идти спать.

Эдит была со мной очень строга у Лулу, просто очень, очень строга. Она оберегала мою девственность, как будто я могла ее долго сохранить. Не прошло и полугода, как я с нею рассталась. Когда это произошло, мне было, кажется, пятнадцать лет и три месяца. Я даже и не заметила, как это случилось. Ни в мире, ни в нашей жизни ничего не изменилось. Но Эдит не бросала слежку.

«Момона — руки прочь!» «Момона — запрещено!» «Момона — сестричка!» Даже когда она с кем-то спала, она брала меня с собой. Мне это не мешало, я так уставала, что сразу же засыпала.

Так как мы расстались с Луи-Малышом и у нас в семье не стало мужчины, мы больше не снимали постоянной комнаты, а

кочевали из отеля в отель на улице Пигаль. Дешево и удобно: мы снимали комнату на двенадцать часов. Двенадцать часов девочка спала ночью в номере, а потом мы ходили с ней по городу. Но как-то у нас совсем не было денег и мы не спали семь ночей, а потом вместе с ребенком заснули на скамейке прямо на улице.

Сесель росла здоровой, красивой и веселой. Она все время смеялась. Луи-Малышу не нравилась наша жизнь. Где бы мы ни селились, он постоянно околачивался возле нашего отеля, у него на это был удивительный нюх. И хотя Эдит с ним порвала, она говорила:

— Отец моей девочки занимается торговлей!

Вокруг нее вертелось много мужчин. Если посетителей Лулу она не устраивала, то в других местах не было отбою. Простым ребятам мы нравились.

Люди, которые приходят на Пигаль ночью,— не сливки общества. Но таким мы были по вкусу. С нами было просто, нам с ними тоже. У нас оказывалось очень много общего, мы принадлежали к одной породе — «пригородной». С нами им было весело, не то что с девушками, которые на них работали и которых они отправляли на панель прямо с поезда из Бретани. Они говорили о нас: «Славные девчата, веселые».

Наши друзья — это взломщики, сутенеры, торговцы краденым, шулера. А подруги — их постоянные женщины.

Блатной мир, дно. Но нам оно нравилось. Мы здесь хорошо себя чувствовали. Никто ни к кому не приставал. Входишь — «здравствуй», уходишь — «до свидания». Никто тебя не спросит: «Откуда ты? Куда идешь?» Эдит вообще терпеть не могла, когда ей задавали вопросы и требовали отчета.

На улице мы были свободны, поэтому Эдит так дорожила ею. С нас хватало ночей у Лулу.

Зарабатывали мы не всегда. И не всегда бывало нам весело.

Мы пели. Сесель лежала в коляске. Ей уже было года два, когда однажды у церкви Мадлен мы встретились с одним моряком. Эдит всегда питала слабость к морякам. С ними ей казалось, что она тоже путешествует. Заочно…

Это был красивый парень — берет с красным помпоном, матросский воротник. Он выслушал все наше пение и, когда мы закончили, положил мне в берет двадцать франков и сказал:

— Вы хорошо поете, вы такие милые. Надо ловить удачу.

Мне было смешно, я понимала, что «вы» — значило только «Эдит».

Видно было, что у него хорошее воспитание. Дома небось спал на чистых простынях. Он продолжал:

— Но знаете, на улице вы за собой не следите, плохо одеты.

И вдруг выпалил:

— Грязные.

Эдит все это приняла с улыбкой: он ей нравился. С высоты своего крошечного роста она смерила его взглядом с ног до головы (у него, наверно, было метр восемьдесят) и произнесла тоном королевы:

— Не думайте, что я такая в жизни. Это для публики. Я сейчас работаю, но вечером я совсем другая. Если вы увидите меня в другом месте, ни за что не узнаете.

Моряк только того и ждал. Он хотел бы встретиться с Эдит, но чтобы она иначе выглядела. Надо сказать, вида мы были самого непривлекательного. И он назначил ей свидание вечером, на улице Руаяль.

Мы бегом понеслись в отель. Все трое вымылись в тазике. Не знаю, как это нам удалось, но мы стали еще грязнее, чем утром. Эдит напялила красный бархатный костюм цвета театрального занавеса (чей-то подарок) — словом, вырви глаз, отделанный мехом, наверно, кошачьим. Волосы она смазала и приклеила к голове. Накрасилась в стиле того времени: цвет лица смертельно бледный, губы кровавые… Она была похожа на актрису из плохого фильма немого кино. У нашей хозяйки, мадам Жезекель, она одолжила туфли на каблуках.

— Понимаешь, когда мы с ним будем идти под руку, нельзя, чтобы я была такой маленькой.

Ноги у нее были тридцать четвертого размера, а у хозяйки — доброго сорокового, и Эдит напихала в туфли газетной бумаги. Все, чтобы только понравиться моряку. Мы отправились в метро, я с ребенком на руках. Прибыли к министерству морского флота. Эдит мне говорит:

— Пойди к «Максиму»[11], спроси, почем там пиво. Кажется, это шикарное место. Он с ума сойдет., когда там нас увидит.

Я иду, бармен мне называет цену — что-то около пяти франков. Я решила, что он надо мной издевается, потому что мы плохо одеты, и стала с ним ругаться. Но Эдит утащила меня:

— Момона, не скандаль. Пошли. Не важно, купим газету.

Мы купили газету, расстелили ее под аркадами министерства и уселись, чтобы не испачкаться. И стали терпеливо ждать. Он, наверно, сказал своим ребятам: «Я встретил двух девушек, увидите, какие они хорошенькие».

Когда он пришел и увидел нас на газете с ребенком, то сказал с нескрываемым ужасом:

— Не может быть. Вы сейчас еще грязнее.

И оставил нас.

Это была печальная история. Нам стыдно было глядеть друг

на друга. Мы были так уверены, что все получится, что он влюбится в Эдит!.. Мы ее и одели получше…

Когда мы туда ехали, Эдит всю дорогу повторяла:

— Какой он хороший, да? Видела, у него ресницы, как у девушки? А шея — красивая, правда? Вот он удивится, когда меня увидит в таком наряде… В себя прийти не сможет.

Он и не пришел… По дороге обратно я видела, что она мучилась. У нее было тяжело на сердце и у меня тоже. Такое причиняет боль. Она сказала:

— Видишь, вернулся в свое министерство, а нас бросил. Не получилось.

В отеле мы съели консервы из сардин, не говоря ни слова. И отправились к Лулу. Часа в три ночи Эдит мне сказала:

— Все к лучшему. Что он о себе воображает? Все равно ничего бы не вышло.

Никогда больше она мне о нем не говорила, но я знаю, что она про это не забыла.

Судьба нам не очень улыбалась!

Однажды утром, когда мы вернулись в отель, где спала девочка, нас встретила мадам Жезекель; интересно, когда она вообще спала, она всегда сторожила в дверях, чтобы получить плату за номер.

— Для вас новость.

— Плохая?

— Не знаю, как вы посмотрите. Приходил ваш муж и забрал девочку. Он приехал на велосипеде, погрузил ее в багажник и увез. Я не могла ему помешать. Это же его дочь.

— Все правильно, мы с ним договори лись,— успокоила ее Эдит, которая всегда знала, что нужно сказать.

Это никого не обмануло, но произвело хорошее впечатление.

Увозя ребенка, Луи сказал:

— Я забираю свою дочь, потому что это не жизнь для ребенка. Если мать захочет ее получить, пусть придет за ней.

В этом и было дело. Он надеялся таким образом заставить Эдит вернуться к нему, вернуться в отель на улицу Орфила. Для него она была матерью его ребенка, его женой. Она должна вернуться. Но с Эдит такие способы не годились. Впрочем, никаких способов вообще не возникало, если она решала, что все кончено.

Она ничего не сказала. Честно говоря, девочка мешала нам работать.

Девочка стала жить у Луи, но он ею не занимался, она оставалась одна целый день. С нами ей было лучше, несмотря ни на что, мы неплохо смотрели за ней. Она много находилась на

воздухе и была здорова.

Вначале нам ее не хватало. Мы не говорили об этом, но без нее стало пусто. Часто мы работали лишь для нее. Эдит говорила; «У девочки нет того-то и того-то. Момона, пошли петь. Сесель не должна ни в чем нуждаться».

С того дня, как Луи забрал Сесель, Эдит не произнесла о нем ни одного слова: никакой оценки, никакого воспоминания — вычеркнут.

Однажды вечером, когда жизнь казалась нам такой мерзкой, хоть в петлю лезь, появился Луи. Без громких слов он сказал:

— Малышка в больнице, она тяжело больна.

Мы побежали к «Больным детям». Девочка металась по подушке. Эдит прошептала:

— Она меня узнала. Видишь, она меня узнала…

Я не хотела лишать ее иллюзий, но менингит в два с половиной года… Крошка была уже в том мире, куда нам не было доступа.

Эдит пыталась поговорить с профессором, заведовавшим отделением, но он нас не принял… Это не изменило бы ничего. Потом я часто думала, что если бы тогда она уже была «Эдит Пиаф», все могло оказаться по-другому. Когда наутро мы пришли в больницу, сестра спросила Эдит:

— Вы к кому?

— К Марсель Дюпон.

— Она скончалась в шесть сорок пять.

Эдит захотела еще раз увидеть Марсель.

Нас направили в морг. Эдит хотелось оставить себе на память прядку волос. Отрезать ее было нечем и сторож: одолжил нам пилку для ногтей. Головка ребенка качалась из стороны в сторону… Такое нельзя забыть.

Нужно было достать денег на похороны. Луи-Малыш сказал, что у него ничего нет. Он был неплохим человеком, но очень молодым. Ему, наверно, не было и двадцати, когда девочка умерла, Эдит — исполнилось девятнадцать. Как дети…

Надо было всем заниматься. Эдит не придумала ничего лучше, как напиться. Я думала, она умрет. Я нашла гостиницу поблизости, мне помогли ее втащить наверх, я еле-еле ее уложила. На следующий день ей стало лучше, и мы пошли к Лулу. Мы рассказали о том, что у Эдит умерла дочка. Лулу и девушки сложились и дали денег на похороны, но нужно было восемьдесят четыре франка, не хватало еще десяти. Эдит сказала: «Тем хуже… я это сделаю». И пошла на бульвар. Это было в первый раз.

На бульваре Шапель к ней подошел мужчина. Они пошли в

отель. В номере он спросил, зачем она это делает. Эдит ответила, что ей нужно похоронить дочку, не хватает десяти франков. Он дал ей больше и ушел. И все это ради того, чтобы служащий похоронного бюро взял крошечный гробик под мышку, как пакет, и отнес его на кладбище!

То были черные дни, может быть, самые черные в нашей жизни. Но прошли они быстро. Через несколько дней мы уже забыли о том, что Марсель умерла. Это ужасно… О ней мы больше не думали.

Глава четвертая. Папа Лепле

Улицы днем, Лулу ночью — наша жизнь продолжалась, как прежде.

Мы уже целый год выступали у Лулу, а долгожданный импресарио все не появлялся.

Этот период был исключительным в жизни Эдит. Всегда она металась в поисках любви, а сейчас и не помышляла о ней. Она ждала своего места в песне. А его все не было.

У Лулу Эдит пела, как умела. У одного издателя мы покупали дешевые издания сборников со словами песен. Она не знала ни одного нотного знака. Не знала, что музыку надо транспонировать в свою тональность. Так как она этого не знала, то и не ломала себе головы. У нее была необыкновенная музыкальная память. Пианист, который ей аккомпанировал, играл, как бог на душу положит, а Эдит, со своей стороны, пела, не очень обращая на него внимания. Удивительно, что у них все-таки получалось.

Выступления у Лулу все же расширили круг любителей ее пения; на Эдит появился спрос, ее иногда приглашали в другие места, например в «Турбийон», в «Сирокко». Все это было не бог весть что, но все же. Мы были даже, пожалуй, счастливы. У некоторых сложилось об Эдит неправильное мнение. В обычной жизни она не была грустной, наоборот, обожала смеяться, все время шутила. Кроме того, была уверена, что пробьется. «Не беспокойся,— говорила она, обняв меня за плечи.— Придет время, мы выберемся из этой грязи».

А пока что мы сидели в ней по уши. Жалкие кабачки и забегаловки в скучных серых пригородах. Улицы… Не трамплин для прыжка на Луну. Чтобы это понимать, достаточно было капли здравого смысла.

Оставалась любовь, но она тоже не была красивой, со случайными людьми! Эдит было наплевать. Ей было все равно с кем.

Она любила блатной мир. Любила тех, кто вне закона, но не фраеров, не желторотых, которые прикидываются бывалыми, а на поверку — слабаки. Ей нравились крепкие парни, те, о ком здесь говорили: «Это мужик». У нас были хорошие друзья среди сутенеров, они нас никогда не оставляли в беде. Коты были старыми, я хочу сказать, старыми для нас, в возрасте между тридцатью и сорока. К нам они относились заботливо и честно.

Их дела нас не касались. Как профессионалы, они понимали,

что для них от нас проку не будет. Правда, среди них были двое, Анри Валетт и Пьеро, которые брали с нас деньги, но не за работу на панели. Это им и в голову не пришло бы, а за наше пение на улице. Они взяли нас «под свое крыло». Если вы под защитой кота и к тому же он «мужик», у вас создается репутация в этом мире. А наши покровители здесь котировались.

Они сопровождали нас, когда Эдит пела на улицах, стояли на страже на углах, предупреждали о появлении фараонов; выступали в роли «баронов», то есть бросали нам бумажки в пять или десять франков, чтобы другие раскошеливались. Они не рисковали, мы возвращали им деньги, прибавляя и свою «плату». Это продолжалось недолго: им надоело, нам тоже! Они не могли таскаться за нами из улицы в улицу, это превращалось в работу, что их унижало. Где это видано, чтобы коты вставали в восемь утра и дежурили на углах! До чего скатиться! Анри и его напарник Пьеро носили фетровые шляпы легче пуха, шляпы с полями или кепки мышиного цвета. Нам нравилось, как они выглядят, когда мы с ними входили в рестораны. У нас все же был вкус… Они единственные, кто не посылал к нам клиентов — как женщин они нас всерьез не принимали. Перестав на них работать, мы не расстались с ними, а продолжали жить среди них. Это был наш мир.

Однажды без всякой причины мы решили пойти к Елисейским полям. «Сделали» несколько улиц, но сборов не было. Эдит повторяла:

— Если так пойдет, бросим. Не везет.

Но именно на этот раз нам повезло.

Мы пели на улице Труайон — и здесь в жизнь Эдит вошел Луи Лепле.

Это был очень элегантный господин — не наш жанр,— седеющий блондин, изысканно одетый. И вот этот слишком ухоженный господин в перчатках не сводил глаз с Эдит. Он так на нее смотрел, что я подумала: «Как только она перестанет петь, он сделает ей предложение. Так одет, что хоть сейчас под венец. Даже в перчатках».

Господин приблизился и сказал:

— Не хотели бы вы петь у меня в кабаре «Жернис» на улице Пьер-Шаррон? Зайдите завтра.

И дал нам десять франков. Эдит не осознавала, что происходит. Он написал адрес на уголке своей газеты и ушел. Эдит отдала мне бумажку, говоря:

— Смотри не потеряй, это может стоить целое состояние.

Через каждые пять минут она останавливалась и спрашивала:

— Адрес у тебя?

На обратном пути Эдит была вне себя от счастья. Мы пошли посмотреть на вход в «Жернис».

— Шикарное место! Он мной займется. Уверена, что здесь-то можно найти импресарио. Это же Елисейские поля! Ты хоть не потеряла бумажку?

Этот клочок газеты решил судьбу Эдит.

Мы вернулись домой, не помня себя от радости. В тот же вечер мы выпили, даже очень выпили, и рассказывали на Пигаль всем, что с нами произошло.

Мы познакомились с певицей Фреэль. Она, как и мы, заходила в «Табак Пигаль». Мы ее уважали: имя ее печаталось на афишах. Она ездила в Россию. Для нас она была «в порядке». Это не мешало ей водиться с сутенерами. А как она надиралась! До чего она могла дойти… Но как пела! «Серый цвет», «Мой мужчина», «Какой ни есть, но я его люблю…». Там еще был мальчик, Мишель Варлон, скрипач, игравший у «Одетт». Он рассказал, что Эдит пригласили в «Жернис». Он нам верил, а Фреэль — нет. Она отговаривала Эдит:

— Не ходите туда, он вас замучит… Думаете, нет белых рабов? Не нужно туда ходить. Просто так нигде не нанимают, а на Елисейских полях тем более. Этого не может быть. Тут что-то кроется.

Фреэль не отдавала себе отчета, что Эдит уже стала «кумиром». Она не могла это осознать. Спустя много лет она скрепя сердце признала истину.

Нельзя сказать, что мы остались с ней в хороших отношениях. Эдит очень была обижена на нее, потому что та вела себя с ней очень подло… действительно, очень подло. И не только в тот момент.

Как только у Эдит появлялся проблеск надежды, мы бежали к Фреэль. Эдит ею восхищалась. А она каждый раз говорила нам гадости. Если Эдит объявляла: «Я буду петь эту песню», Фреэль возмущалась: «Ни в коем случае, что угодно, но не это».

Она заставляла нас пить вместе с нею, а когда Эдит напивалась, таскала ее за собой по кабакам, и обязательно туда, где много народу. Показывая на нее, Фреэль говорила:

— Смотрите, она певица, как и я. Она сейчас будет петь. Ну, пой, Эдит!

Бедная Эдит не держалась на ногах. Она пела, но плохо, это было ужасно, все над ней издевались.

Фреэль иногда угощала нас сэндвичем, стаканом вина, но никогда не дала нам доброго совета, ничем не помогла.

Фреэль все делала, чтобы унизить Эдит. То она требовала, чтобы Эдит выступала на низких каблуках, то чтобы у нее были

открытые руки — а это было у сестры самое некрасивое. Но мы этого не понимали, верили ей.

— Ты будешь выглядеть девочкой. Нужно, чтобы тебя жалели. Твои ручонки всех растрогают. Одевайся в красное, в зеленое… все равно во что…

В конце концов Эдит ее раскусила. Мы перестали с ней встречаться.

Но в тот вечер мы были по-настоящему счастливы. Мы пили, чтобы это отпраздновать, и не пьянели.

— Ляжем пораньше. Мне нужно все предусмотреть,— решила Эдит.

Мы ничего не сказали Лулу, боялись — а вдруг не получится. И ушли, как только смогли смыться.

Утром мы пели на улицах. Все было, как обычно: черный кофе, полосканье. Собираясь к Лепле, Эдит надела свою единственную черную юбку, но почистила ее. Правда, не щеткой. Щетки у нас не было. Мы делали так: брали газетную бумагу, мочили и терли ею пятна. Челку она густо склеила мылом, остальные волосы торчали во все стороны. Мы купили губную помаду темно-гранатового цвета, чтобы ярко выделялась, и еще две пары матерчатых тапочек. Не идти же к Лепле босиком! Выбрали темно-синие. Это практичней, не надо их чистить зубным порошком. Мы были убеждены, что выглядим прилично.

Согласно легенде, Эдит опоздала. Это неправда. Мы пришли в кафе «Бель Ферроньер» — он сказал, чтобы мы ждали его там,— на полчаса раньше. Как можно думать, чтобы такая женщина, как Эдит, только и мечтавшая о том, чтобы петь, не поняла, что ей представился исключительный случай: ее заметил владелец кабаре! С деньгами, хорошо одетый и вежливо с нами говоривший! Это же чудо!

Мы пришли заранее, нас била дрожь при мысли, что он мог забыть о нас. Мы так волновались, что не могли говорить.

Лепле провел Эдит в «Жернис». Около четырех часов дня там никого не было. Он попросил Эдит спеть все свои песни. Без аккомпанемента. Она пела так, как тогда, когда он ее услышал. Прослушав, он спокойно сказал:

— Хорошо. Здесь это звучит лучше, чем на улице. Как вас зовут?

— Гассион. Эдит Джиованна.

— Это не годится. В вашей профессии…

Ей говорили «ваша профессия»! С ней обращались как с настоящей певицей. И говорил это тот самый красиво одетый господин, от которого так приятно пахло, употребляя слова, которые мы не привыкли слышать. Эдит спрашивала себя, не

смеется ли он над ней.

Она пожирала его глазами, казалось, на ее лице ничего не было, кроме глаз. Она смотрела на него, как на Господа бога.

Это выражение я часто видела на лице Эдит. Во время работы, когда она слушала всем своим существом, стремясь все понять до конца, усвоить, ничего не упустить.

Делая руками изящные округлые движения, Луи Лепле продолжал:

— Имя очень важно. Значит, как вас зовут?

— Эдит Гассион. Но у меня есть другое имя, под которым я пою: Югетта Элиас.

Его рука отмела эти имена. Его ногти, чистые, блестящие, меня заворожили. Мы с Эдит никогда не подозревали, что у мужчины может быть маникюр. Сутенеры, с которыми мы водились, до этого не доходили.

— Детка, мне кажется, я нашел вам имя: Пиаф.

— Как — *пиаф*[12], воробышек?

— Да. «Малютка Воробышек» — это имя уже занято, а вот «Малютка Пиаф» — что вы об этом скажете?

Нам не очень понравилось имя «Пиаф», мы сомневались, подходит ли оно для артистки.

Вечером Эдит спросила меня:

— Тебе это нравится: «Пиаф»?

— Не очень.

Она принялась размышлять вслух:

— Знаешь, Момона, пожалуй, «Малютка Пиаф» звучит не так плохо. Мне кажется, это выразительно. Славненький воробышек. И чирикает! Он весел, это весна, в конце концов, ведь это мы! А он не глуп, этот мужичок.

Весь вечер у нее это вертелось в голове. Она задавала вопросы нашим приятелям, мнения были самые разные, но ни одно из них ее не устраивало. Эдит впервые посмотрела на наше окружение другими глазами:

— Ну ладно, я буду платить вам за вино в «Бель Ферроньер», это кафе напротив, а тем временем я, «Малютка Пиаф», буду петь в «Жернисе».

— Понимаешь, Момона, наши ребята — славные, это настоящие мужчины, но в актерских делах не секут. Другого поля ягоды.

Господин Лепле сразу же завоевал уважение Эдит, она полюбила его. Между ними возникла настоящая привязанность. Она звала его «папа Лепле». Он говорил ей: «Ты мне как приемная дочка».

Начиная с этого дня, в течение недели, а может быть, и

больше — во всяком случае, время показалось нам долгим,— Эдит репетировала с пианистом. Сперва возникли осложнения. Эдит было трудно следовать за музыкой. Она считала, что должно быть наоборот.

— Это ведь пою я, а не пианист, значит, пусть сам и выпутывается.

Она пела, как слышала.

Лепле сделал ей широкую рекламу. –Повсюду на афишах и в газетах можно было прочесть: «Жернис»: прямо с улицы — в кабаре! «Малютка Пиаф»!

«Посмотри-ка,— говорила Эдит,— ведь это мое имя! Ущипни меня, Момона, мне не верится».

Это была неправда: она верила, и очень сильно, но ей нравилось притворяться. Она не могла говорить ни о чем другом. А меня распирало от гордости, что я ее сестра.

Эдит, для которой спеть песню было как другому выпить глоток воды, у которой не было никакого чувства ответственности, ломала себе голову над кучей вопросов. Я ее не узнавала.

Всю неделю она ничего не пила, ни с кем не спала. Как будто хотела очиститься. Она говорила только о своей удаче и не находила себе места.

Когда Луи Лепле говорил Эдит: «Недаром я племянник Полена. Ты слишком молода и не знаешь, что в начале века он был королем кафе-концерта. Благодаря ему песня у меня в крови. Поэтому, малышка, можешь на меня положиться. Ты не похожа на других, а публика это любит»,— она ему верила. Она знала, что он прав.

Лепле ничем не рисковал, приняв в ней участие. Он решил дать ей шанс, потому что любил песню, настоящую песню, и был по горло сыт вульгарными куплетами со скабрезными припевами. Либо его уличная певица сумеет встряхнуть тех, кто называет себя «весь Париж» и где-то между сердцем и желудком у них что-то шевельнется, либо, глядя на нее, они будут хохотать до упаду. В любом случае скажут: «Ах, этот Лепле! Всегда откопает что-то новенькое. Ас! Гениально!» В любом случае он будет в выигрыше.

Тем не менее, если бы Эдит провалилась, даже если бы это не отразилось на делах «Жерниса», для самого Лепле это был бы удар, так как он поверил в нее с той самой минуты, как впервые увидел. Мы никогда не встречали таких расположенных людей, как Лепле. Мы даже не могли себе представить, что они существуют на свете.

Это он начал приобщать Эдит к ее профессии. Она ничего не умела. У Лулу она пела как бог на душу положит. Свет, музыка,

режиссура песен, их выбор, жесты — ни о чем она не имела представления. Она пела, опустив руки и прижав их ладонями к юбке. Он боялся сказать ей сразу слишком много, боялся нарушить то, что в ней было естественного. И все же пошел на риск — дал ей выучить новые песни: «Нини, собачья шкура», «Коричневый вальс», «Я становлюсь такой миленькой…». Он предусмотрел все, кроме платья, так как не представлял себе, до какой степени мы находились в нищете.

— У тебя есть платье на завтра?

Эдит ответила без запинки:

— Ну, конечно, миленькое черное платьице.

Это было неправдой. Я-то хорошо знала, что у нее ничего не было. Лепле стал расспрашивать, он беспокоился:

— Какое оно? Короткое, длинное?

— Короткое.

— Смотри. Ты не должна в нем выглядеть нарядно.

— Оно совсем простенькое. Проще простого.

— Принеси его завтра.

Когда мы вышли от Лепле, Эдит сказала:

— У нас нет времени, чтобы «сделать» хоть одну улицу, а нам нужны деньги. Нет, ну какая же я идиотка, не подумать о платье! Знаешь что? Пойдем к Анри. Он не откажет.

Я понимала, что он не откажет. Мы же работали на него когда-то целую неделю, он от этого не разбогател, но все-таки. Он к нам хорошо относился, для него мы были забавными девчонками,

У Анри денег не платье не оказалось, то, что он дал, хватило только на шерсть и спицы. И мы принялись вязать. (Эдит вязала очень хорошо, она это очень любила. Позднее все ее любимые через это прошли: каждый получал свой свитер.) За работой она веселилась:

— Папа Лепле сказал, что завтра в «Жернисе» соберутся все сливки, а солистка выйдет в черном вязаном платье! Вот обалдеют! Но я ведь с улицы? Что мне — расхаживать в платье со шлейфом?

Всю ночь мы вязали как сумасшедшие огромными спицами, чтобы работа шла быстрее. Каждый час Эдит примеряла платье и спрашивала:

— Как ты думаешь, оно мне пойдет?

Она выбрала черный цвет не потому, что его любила, а потому, что на сцене себя видела только в черном. Так было всю жизнь.

В вечер премьеры мы пришли в «Жер-нис» на два часа раньше.

Эдит взяла мою руку, приложила к груди и сказала:

— Чувствуешь, как бьется мое сердце? Ну что ж, придется ему привыкать поспевать за мной.

С юбкой все было просто: она была прямой, с верхом — тоже. Но вот с рукавами никак не получалось, мы их распускали не один раз. В результате успели связать только один.

— Буду петь с голыми руками, как Фреэль. Очень элегантно.

Вошел Лепле.

— Одевайся. Я хочу посмотреть.

Мы побежали в туалет. Это было наше постоянное прибежище. Когда Лепле увидел платье, он схватился за голову. Обычно такой вежливый, он начал кричать:

— Ты с ума сошла! Черт! Не может быть! С голыми руками! Ты же не Дамиа, черт возьми, и не Фреэль! У них-то руки. Посмотри на себя. На что ты похожа? Это же не руки, это… спички!

Он схватил бедную Эдит за руку, поставил перед зеркалом и тряс ее, как тряпичную куклу.

— Нет, это невозможно. Все пропало! На таких, как ты, нельзя полагаться. А эта идиотка — ээто была я — не могла тебе сказать, на что ты похожа в таком виде? Хоть плачь! Все пропало…

Но плакать начали мы, и взялись за это всерьез. Все пропало из-за того, что не было денег. А папа Лепле нам еще не дал ни одного франка.

К счастью, в этот момент в зал вошла жена Мориса Шевалье, Ивонна Балле. Услышав крики Лепле, она поинтересовалась, в чем дело.

— Перестань, Луи. Не сходи с ума,— запугаешь девочку. Она не сможет петь.

— Ах, так ты считаешь, что она может петь в таком виде?

— У тебя нет рукавов?

— Только один. Мы не успели связать другой. Не могу же я петь с одним рукавом.

— А платка у тебя нет?

Тогда было модно, чтобы певицы, исполнявшие реалистические песни, выходили на сцену, накинув на плечи платок. Мы-то этого не знали. Эдит, и без того всегда бледная, сделалась как полотно.

— Нет. Раз нет — так нет. Я не буду петь.

Ивонна сказала:

— На, вот тебе второй рукав,— и протянула ей свой платок, большой квадрат фиолетового шелка.

С тех пор Эдит навсегда полюбила фиолетовый цвет, она верила, что он приносит ей счастье.

Все равно за полчаса до выхода Эдит была зеленой от страха, а меня била дрожь, я слова не могла вымолвить, у меня стучали зубы. Зал был полон, и все были в самых шикарных туалетах.

Нам назвали несколько имен: Морис Шевалье, Ивонна Балле, Жан Траншан, Жан Мермоз[13], Мистенгет, Мод Лотл, Анри Летелье, директор «Журналь», одного из самых крупных еженедельников того времени.

Появление Эдит для них должно было стать как удар в солнечное сплетение. При мысли об этом у нас захватывало дух. Эдит, которая терпеть не могла воды,, пила стакан за стаканом.

— Момона, у меня так пересохло в горле, что могу песком плеваться.

В зале смеялись, пели хором популярные куплеты. Мы никогда не бывали здесь по вечерам, поэтому ничего не понимали и колотились от ужаса. Нам казалось, что они никогда не замолчат и не смогут слушать.

Около одиннадцати часов вечера — такова была традиция — по залу проходил Лепле с музыкантами и все пели «Монахи из монастыря святого Бернара». Затем шел «гвоздь» программы — новый солист.

Лора Жарни, директриса «Жерниса», бывшая королева кабаре «Шесть дней», пришла за Эдит.

— Твой выход.

Эдит посмотрела на меня.

— Момона, я должна сегодня добиться успеха. Такой шанс выпадает раз в жизни.

Она быстро перекрестилась. Это было впервые, но с тех пор она никогда не выходила на сцену, не перекрестившись.

В «Жернисе» все иначе, чем у Лулу. Мсье Лепле не хотел, чтобы я была в зале. Куда мне в зал — я ведь нищенка… Как обычно, меня отправили в туалет. Но плевала я на все. Я пошла за Эдит. В тот вечер я должна была быть наверху.

В зале очень жарко. У женщин обнажены плечи, спины… Меха — не кролик, сверкающие украшения — не стекляшки. Мужчины во фраках и смокингах. Очень шумно. Оранжевое освещение, как тогда в моде.

Когда погас свет, раздались возгласы, взрывы смеха.

В свете прожектора появился Лепле (всю мизансцену он выстроил сам). В нескольких словах он рассказал, что встретил Эдит на углу улицы Труайон, что она на самом деле такая, как есть, что он считает ее открытием.

— Итак, с улицы — в кабаре. Перед вами «Малютка Пиаф».

В зале зашумели, но когда прожектор высветил Эдит, когда ее увидели, шум прекратился: люди не понимали, выжидая,

смеяться им или плакать?

Одинокая в резком свете прожектора, с жалкой прической, бледная, с красным, как рана, ртом, она стояла в своем черном нескладном платье, уронив руки вдоль тела, потерянная и несчастная.

И запела:

А у нас, у девчонок, ни кола ни двора.
У верченых-крученых, эх, в кармане дыра.
Хорошо бы девчонке скоротать вечерок,
Хорошо бы девчонку приголубил дружок…

В зале продолжали разговаривать, как будто ее и не было. Скрепя сердце, с глазами, полными слез, Эдит продолжала петь. Страдая всей душой, она повторяла про себя: «Победить, победить!»

Уже первый куплет решил все. Эдит держала зал. Разговоры смолкли. Песня кончилась, никто не шевельнулся. Ни аплодисментов, ни шепота, ничего — тишина…

Это было ужасно. Не знаю, может быть, это продолжалось секунд двадцать… очень долго. И молчание казалось странным, невыносимым, от него сжималось горло. И вдруг раздались аплодисменты. Шквал, град, ливень… Забившись в угол, я плакала от счастья, не замечая слез.

Я услышала, как Лепле мне сказал:

— Порядок. Она их покорила…

Он забыл и думать о том, чтобы послать меня в туалет. Публика была поражена, потрясена. Люди были сражены этой девчонкой, которая пела им о нищете, пела о правде. И слова говорили об этом слабее, чем голос.

Это был самый трудный момент за всю ее карьеру, но до самой смерти она считала его самым прекрасным. Она опьянела от счастья.

Когда выступление окончилось, ее пригласили за столик Жана Мермоза, который, обращаясь к ней, называл ее «мадемуазель». Она не могла опомниться. Она, которую ничто не смущало, у которой на все хватало смелости, потеряла дар речи.

Рядом с Жаном Мермозом сидели Морис Шевалье, Ивонна Балле и другие известные люди, кто точно, я не знаю.

Говорят, что Морис Шевалье якобы воскликнул: «Маленькая, а сколько силы!» Это часть легенды. На самом деле он уже слышал Эдит. Он приходил как-то с Ивонной на одну из ее репетиций и сказал что-то вроде: «Попробуй ее, Луи. Это может понравиться. Это сама жизнь!»

Он был прав. Ни у кого не было такого голоса. Эдит не делала усилий, чтобы быть «достоверной», она родилась на улице, она оттуда пришла. Никогда еще на сцену не выходила такая маленькая, худенькая, плохо одетая женщина. Она пела без жестов. Почти все известные певицы были крупными женщинами: Аннет Лажон, Дамия, Фреэль. Только выйдя на сцену, они уже заполняли ее.

Эдит понравилась, потому что удивила, публика была в нокауте. Но она еще не была той, кем стала потом. Понадобились годы работы, чтобы стать единственной.

Когда мы вышли, было уже светло. Великолепное утро, утро славы! Эдит в черном платье, невзрачном при дневном свете, шла как королева. Она взяла меня за руку.

— Пойдем, Момона. Сейчас мне нужна улица. Я ей всем обязана. Я должна поблагодарить ее, мы пойдем петь. Мне это необходимо.

Она запела, но не как всегда. Это было как псалом. Она благодарила небо. Эдит начала другую жизнь.

Она мне говорила:

— Не может быть. Вчера еще я знала этих людей только по газетам, а сегодня я провела с ними всю ночь. Мы сидели за одним столом. Не могу прийти в себя. Они были со мной удивительно добры. Ведь они могли бы просто угостить меня бокалом вина. Какое у них шампанское! Я такого никогда не пила. Я тебя таким как-нибудь угощу. Они для меня собрали деньги. Я бы никогда не осмелилась. Мермоз дал свою шляпу. Ах, до чего он красив, Момона… Вот о ком, наверное, мечтает не одна женщина. Я сама бы…

Она отпустила мою руку и вздохнула:

— Пока это еще не для меня… Но все придет. Слышишь? Для меня любовь значит очень много. У меня будут все, кого захочу… и много денег тоже.

В нашей комнате она продолжала говорить о Мермозе. Это длилось дни напролет. Она вдруг останавливалась, и я уже знала, что она скажет:

— Посмотри на меня, Момона. Ведь я видела Жана Мермоза. Я сидела за его столиком, пила с ним шампанское. И знаешь, что он мне сказал?

— Да. «Мадемуазель, позвольте мне предложить вам бокал…».

Я была хорошей слушательницей, мне было только семнадцать лет — и я погружалась в мечты вместе с ней.

Нужно постараться нас понять. Чем мы были? Ничем. Еще вчера до смерти боялись полицейских: они могли нас ударить.

Наши мужчины были подонками — они тоже могли нас бить, сколько им хотелось. Родных практически не было. Если бы мы заболели, мы подохли бы в каком-нибудь углу или в больнице. Нашим семейным склепом стал бы морг или общая могила на кладбище в Пантене. С нами могло случиться все что угодно. Наш удел был принимать все удары. Мы были не настолько глупы, чтобы этого не сознавать.

И вдруг все переменилось. Это оказалось больше, чем мечта: мечтая, всегда знаешь, что рассказываешь себе сказки, чтобы продержаться. Это было правдой.

Эдит разговаривала с Мермозом и другими, пела для них, пила с ними шампанское. Еще вчера на улице никто бы из них на нас не обернулся. Перемена произошла слишком внезапно.

Эдит не могла остановиться:

— Мермоз не только прекрасен. Как он хорошо говорит! Я могла бы слушать его часами. Морис — большой актер, но рядом с Мермозом он ничто. Мермоз заслоняет его.

Таких мужчин, как Морис, мы видели в Менильмонтане и в Бельвиле. Как и я, он поет, ну и что? А такой, как Мермоз, в небе Франции только один.

Он взял ее за руку! А какие у него чудесные зубы! Он положил для нее в свою шляпу тысячу франков! Он подарил ей цветы, как и другим женщинам за столом!

— Никогда еще ни один мужчина не дарил мне цветов…

И так без конца. Фреэль и другие издевались над ней. Называли ее «мадам Мермоз», «принцесса Пиаф». Эдит не обращала внимания и все больше приукрашивала свою историю. Она вообще имела склонность преувеличивать. Чем больше проходило времени, тем больше все разрасталось: она станет знаменитостью, поедет в Америку… будет отказываться от контрактов…

Фреэль окатила ее холодной водой.

— Дочь моя, успокойся. Дед Мороз приходит только раз в году, и то не ко всем. Пока не станут писать песен специально для тебя, ты ничто. Твой репертуар — набор знакомых куплетов. Стыдись.

Она говорила не от доброго сердца. Но нам это сослужило хорошую службу. Все, что касалось мастерства пения, Эдит схватывала на лету и усваивала сразу, в порыве вдохновения. Я же смотрела со стороны, и у меня было время поразмыслить. Я прислушивалась ко всем и давала ей советы. Мне казалось, что у меня больше вкуса, чем у нее. Так однажды я повела Эдит в казино «Сен-Мартэн», там был один аккордеонист, Фредо Гардони, ужасно толстый. Мы ему объяснили, что нам нужны

песни, и он нас познакомил с издателями на улице Сен-Дени и в Маленьком Пассаже.

Мы стали туда ходить подбирать песни для Эдит. Это было нелегко. Издателям имя Эдит ничего не говорило. Они не хотели рисковать, доверив ей исполнение новой песни. Приходилось брать старье. Для нас у них никогда ничего не было. Эдит рвала и метала. Папа Лепле ее утешал:

— На что ты жалуешься? Я тебя пригласил на одну неделю, а ты уже поешь столько времени!.. Не огорчайся, придет срок, и многие из них станут говорить, что, если бы не они, не их вера в тебя, ты бы никогда не прославилась. Потерпи.

Но она никогда не отличалась терпением. У нас вошло в привычку болтаться у издателей. Мы забивались куда-нибудь в угол и слушали тех, у кого были имена и кто проигрывал на фортепиано, напевал новые песни, которые им предлагали.

Эдит говорила мне:

— Понимаешь, когда я вижу, как они работают, слушаю их, я учусь.

Мы были по-прежнему невзрачные, маленькие, только что разве одеты чуть получше. Но вкуса у нас было не больше, чем раньше. Нас не опасались. Однажды мы увидели Аннет Лажон, известную в то время певицу. Это случилось у издателя песен Мориса Декрука, который, кстати, хорошо относился к Эдит. Мы торчали у него, как обычно, как вдруг отворилась дверь и появилась высокая, хорошо одетая, красивая, уверенная в себе блондинка. Она начала петь «Чужестранца».

По виду это был нежный человек,
Глаза мечтательные, немножко сумасшедшие,
Со странными отсветами…
Как у всех парней с Севера,
У него были золотистые волосы,
Ангельская улыбка.
Я мечтала об иностранце,
И сердце, отравленное сигаретами,
Вином и глухой тоской,
Каждый вечер его вспоминало…
И кружилась голова.

— Момона, мне нужна эта песня. Она написана для меня. Слушай, это о Мермозе. Я хотела бы, чтобы это произошло между им и мной. Я уверена, что вложила бы в нее всю себя.

Всю жизнь Эдит пела о любви, и каждая песня была о мужчине, который в это время был в ее сердце.

Пока шла репетиция, мы сидели в своем углу. Видимо, это не понравилось Аннет Лажон. Как женщина воспитанная, она подошла к нам и спросила Эдит:

— Как вас зовут?

— Эдит Гассион.

— Знаете, репетиции — не для посторонних.

— О, мадам, это так прекрасно. Вы так хорошо поете!

Эдит была искренна, и Аннет Лажон оставила ее.

Когда она ушла, Эдит сказала Морису Декруку:

— Я бы хотела получить «Чужестранца».

— Невозможно, детка. Аннет только-только закончила работу над этой песней, и, как обычно, она будет ее петь одна. Вы сможете ее взять позднее.

На улице Эдит расхохоталась.

— Видела, как я ее провела, разыграв восхищение? А эту песню я спою сегодня же.

— Как же ты ее разучишь?

— Я ее уже знаю.

Это была правда. Нот у нас не было, но в «Жернисе» был очень хороший пианист, Жан Юремер. Эдит несколько раз ему напела песню, и вечером она произвела фурор. Лепле был доволен, а мы прыгали от восторга.

Спустя четыре дня, когда мы причесывались в туалете, я увидела в зеркало, как вошла Аннет Лажон. Я крикнула: «Эдит!» Она обернулась и получила пару затрещин, от которых у нее чуть не отвалилась голова. Это было справедливо.

— Если бы вы не были талантливы, я бы вам это устроила в зале.

Эдит ничего не сказала. Сказать было нечего.

Через несколько недель Аннет Лажон записала «Чужестранца» на пластинку и получила за нее Гран-при.

«Она его заслужила,— сказала Эдит.— Но я оставлю эту песню в своем репертуаре».

И она это сделала! Эдит всегда поступала так, как считала нужным.

У Лепле каждый вечер собиралось множество разных людей. Здесь были министры, промышленники, актеры, люди с титулами — словом, сливки общества. Эдит думала, что стала актрисой, но была пока только феноменом. В этом качестве ее и пригласили однажды на званый ужин к Жану де Ровера. Мы не знали, кто это. Морис Шевалье сказал Эдит:

— Нужно пойти, детка, это директор журнала «Комедиа». Я попросил, чтобы тебя пригласили. И сказал, что ты очень забавная. Увидишь, тебе будет весело. Я там тоже буду, малыш.

— Хорошо, но я не пойду без сестренки.

— Это можно устроить. Вы увидите, что такое настоящее общество. Там будет министр.

Министры бывали в «Жернисе», мы знали, как они выглядят. Но нам было интересно, как эти люди ведут себя в домашней обстановке. Мы радовались и не ждали никакого подвоха. Эдит надела свое единственное черное платье, то самое, только теперь с двумя рукавами. Я тоже была в черном. Эдит твердо знала: черное всегда элегантно.

И вот мы среди этих людей, одетых в вечерние платья и во фраки. На женщинах драгоценности сверкают, как хрусталь на столе. Я никогда себе такого не представляла, Эдит тоже.

Позади каждого стула стоял лакей. Раньше мы думали, что так бывает только в кино. Нас смущало, что эти типы за нами присматривают. Нам было не по себе. И потом, нас посадили не рядом, меня довольно далеко. Что я такое? Сестра, пустое место! Мужчины, сидевшие по обе стороны от меня, ни разу ко мне не обратились. Ни разу не предложили соли или хлеба, не спросили: «Как дела?» Ничего. Они разговаривали с другими соседками или слушали Эдит. Их интересовала она.

Эдит пригласили, потому что она была «самобытна». Эти «благовоспитанные» люди явно насмехались над ней. С самого начала обеда они подначивали ее говорить на разные темы и покатывались со смеху. Сначала Эдит казалось, что, может быть, она умнее, чем полагала сама, или что им немного нужно, чтобы посмеяться. Им действительно было нужно немного.

Они говорили: «Нет, до чего же она забавна! Неподражаема!» — и подыгрывали: «Так как вы это называете?» Я думала: «Ну, сейчас она скажет слово из трех букв». Но она не понимала, что ее пригласили, чтобы над ней посмеяться. Мне со стороны было виднее, я начинала отдавать себе отчет в том, что происходит. Мне было больно за нее.

С садистской хитростью они составили обед из блюд, которые трудно есть. Рыба, например. Вы не можете себе представить, как трудно есть, скажем, камбалу, когда тебя этому не научили с детства! Невозможно, если не умеешь! А мы никогда ее не ели.

После какого-то блюда подали чашки с водой, чтобы сполоснуть пальцы. Мы этого никогда не видели. А все следили за нами. Они ждали, что будет делать Эдит. Я тоже ждала. Я думала: «Она сообразит».

Эдит не могла спасовать; поскольку никто ничего не делал с этими чертовыми чашками, она решила показать свои знания. Взяла свою чашку и выпила ее содержимое. Это было естественно — чашка создана, чтобы из нее пить. Именно этого от нее и

ждали. Раздался взрыв хохота, у меня он до сих пор стоит в ушах. С небрежным видом они ополоснули пальцы, и обед продолжался. Все развлекались тем, что ставили Эдит в затруднительное положение. У нее постоянно чего-нибудь не хватало: то хлеба, то вина.

Негодяи в белых перчатках тоже участвовали в общем розыгрыше. Их превратили в сообщников.

— Я бы хотела хлеба,— говорила Эдит.

— Дайте хлеба мадемуазель Пиаф.

— Пожалуйста, я хочу пить,— говорила Эдит.

— Подайте воды мадемуазель Пиаф, или, может быть, вина?

В конце концов Эдит больше ничего не просила. Она поняла. У нее забирали тарелки, прежде чем она кончала есть.

Подали дичь. Никто к ней не притрагивался руками. Они ее расчленяли вилкой и кончиком ножа. Это просто, если вас этому научили, если вы никогда не ели иначе.

Когда я увидела бледное, замкнувшееся лицо Эдит, я поняла, что она сейчас что-нибудь сделает. Я знала, что она думает: «Я не могу сидеть как идиотка перед этими гнусными рожами». Она схватила обеими руками ножку, лежавшую перед ней на тарелке, посмотрела им в лицо и сказала:

— А я ем руками, так лучше.

Никто не засмеялся. Кончив есть, она вытерла руки салфеткой и встала:

— С вами очень весело, но я не могу больше оставаться. Мне нужно работать. Пойдем, Момона, нас ждет мсье Лепле.

Я готова была плясать от радости. Нужно было их видеть. Они этого не предусмотрели. Остались в дураках. Совершенно спокойно Эдит лишила их заключительного удовольствия. Они ждали чего-нибудь очень забавного на десерт — скандала, настоящего…

На улице Эдит расплакалась.

Она была так взволнована, что, придя в «Жернис», рассказала обо всем Лепле. Слезы у нее катились градом. Я страдала за нее.

— Ты видишь, папа, я — ничто! Я ничего не умею. Нужно было оставить меня там, где я была. На улице.

— Это они, детка, жалкие, невоспитанные дураки,— объяснял папа Лепле, гладя ее по голове.— Правда, Жак?

Жак Буржа, друг Лепле, казался нам стариком. Ему было не меньше сорока. Он с нами был приветлив, иногда что-то говорил, иногда улыбался. Это все, что мы о нем знали.

И Буржа ответил:

— Больше того, малышка. Ты доказала, что ты взрослая, умница. Когда человек знает, чего ему не хватает, ему нетрудно

это приобрести, и ты это наживешь.

Нам с Эдит понравились его слова. Потом мы о нем забыли.

Ночью, когда мы возвращались домой, Эдит сказала:

— Не оборачивайся. За нами идут. Сейчас он у нас побегает.

И мы припустились, но человек не отставал.

— Мне это надоело. Что за день, сплошные неприятности! Давай его подождем, посмотрим, что ему надо. Нам ли бояться мужчины!

Незнакомец был высокого роста, хорошо одет, в шляпе, надвинутой на глаза, подбородок закутан в шарф. Я подумала: «Мне эта фигура знакома». Это был Жак Буржа. Эдит так хохотала, что не могла остановиться.

— А я-то приняла вас за старого гуляку, который пристает к женщинам!

— Ты была такой мужественной сегодня, мне хотелось поболтать с тобой. Помочь тебе немножко…

Так Эдит нашла себе друга, верного и настоящего.

Надо сказать, что мужчин такого типа до сих пор не было в нашей жизни; с ними не познакомишься в дешевых бистро. Наш Жако любил немножко приударить за женщинами, но не за такими, как мы. При случае был не прочь ущипнуть за мягкое место. А мы были кожа да кости.

Буржа был писателем, историком. До чего же он был милым и простым! И таким добрым, что Эдит его упрекала:

— Это уже не доброта, Жако, это глупость. Ты не замечаешь зла, даже когда оно у тебя под носом.

— Я не люблю того, что уродливо, вот и отворачиваюсь. На тебя я смотрю, потому что ты красива внутренне.

Именно Жак Буржа, наш Жако, взялся за образование Эдит — и многому научил. Для нее он написал поэму, которая вошла в его книгу «Слова без истории».

Жизнь твоя была трудна…
Ладно, не плачь.
Твой друг здесь.
Жизнь тебя ранила,
Куколка.
Ладно, иди ко мне…
Я с тобой.
Жизнь, эта дрянь и потаскуха,
Сделала тебя несчастной.
Ладно, утешься…
Я разделяю твое страдание.

«Как это прекрасно,— говорила Эдит.— И это посвящено мне».

Жак часто провожал нас на рассвете. Эдит слушала его с увлечением. Но иногда у нее не хватало внимания. Многое оказывалось слишком сложным. Были фразы, которых она не понимала, слова, которых не знала, и ей надоедало постоянно спрашивать: «Что это значит?» Жак сам догадался и начал терпеливо учить ее французскому языку.

Он был первым, кто написал для нее песню. Она называлась «Старьевщик».

Старьевщик, среди тряпья,
Которое я тебе продал сегодня утром,
Не нашел ли ты, как сироту,
Бедное сердце в лохмотьях?

Вокруг Эдит засверкали огни фейерверка. 17 февраля 1936 года она впервые выступила в цирке Медрано в большом концерте, устроенном в пользу вдовы известного клоуна Антонэ. Так как имена участников располагались по алфавиту, имя Эдит стояло между Шарлем Пелисье и Гарри Пилсером.

— Смотри, Момона, «Пиаф» написано так же крупно, как «Морис Шевалье,» «Мистенгет», «Прежан», «Фернандель», «Мари Дюба»… Это сон, Момона, это сон!

Какой она была маленькой на арене цирка, в свете прожектора! В том же «нашем» вязаном платье! Лицо белое, как у клоуна, под ногами опилки. Но какой она была великой, моя Эдит!..

После этого концерта она записала у Полидора свою первую пластинку «Чужестранец». Мы с Эдит посмеивались, но не зло, вспоминая то, что было связано с этой песней. Мы считали, что тетка Лажон поступила, скорее, добросердечно, да так это и было.

Потом Канетти пригласил ее выступить на Радио-Сите. По окончании передачи слушатели буквально стали обрывать телефон. Они хотели знать, кто такая «Малютка Пиаф», и просили, чтобы она выступила еще. Тут же, на уголке стола, ей дали подписать контракт на шесть недель выступлений на Радио-Сите. Вечером папа Лепле спросил У Эдит:

— Ты хотела бы поехать в Канны?

— На Лазурный берег?!

— Да, ты выступишь на балу в пользу «Белых кроваток»[14] на Серебряном мосту.

— О, папа! Не может быть!

Для Эдит Серебряный мост, «Белые кроватки» были

фантастикой, мечтой. Хотя мы покупали газеты только для того, чтобы чистить ботинки, иногда все же что-то читали, особенно с тех пор, как попали к Лепле. Ведь теперь писали об Эдит. Мы знали, что есть такой бал «Белых кроваток», но знали также, что это не для нас.

По улице Эдит ходила не чувствуя под собой земли. Она летала, я тоже. Мы и не предполагали, что скоро нам понадобятся парашюты.

С работой все было в порядке. Эдит овладевала профессией, много вкалывала, чтобы быть в форме, да ее к этому и тянуло. Время от времени она дела на улицах.

Личная жизнь Эдит никогда не была простой. Но в этот период ее занесло.

Что касается дружбы, у нее был папа Лепле, к которому она тянулась всем своим сердцем воробышка, и Жак Буржа, который учил ее множеству вещей и остался нашим другом на всю жизнь. За долгие годы Эдит написала ему более двухсот писем, никому из мужчин она столько не писала!

Что же касается любви — здесь она просто сошла с рельс. Это был период увлечения моряками, солдатами легиона и разными проходимцами. Эти люди не приходили слушать ее в кабаре — их бы туда на порог не пустили. Они ждали ее после концерта. У них хватало терпения. Они торчали возле «Жерниса», в «Бель Ферроньер». Никогда еще на Елисейских полях не толклось столько парней с Пигаль. Они крутились там всю ночь, ждали, когда появится Эдит. Не скажу, что их было пятьдесят, не буду преувеличивать, но были те, кто приходил ради нее, и другие, кто помогал им провести время в ожидании. Вообще, народу хватало.

Актриса! Солистка, которая зарабатывает пятьдесят франков за вечер! Для них это была колоссальная сумма, золотые горы! Они выпивали, Эдит платила. Как всегда, по-королевски щедро.

Лепле заходил поболтать с ними. Морячки, все повидавшие, всюду побывавшие, нравились ему, даже слишком. Среди них попадались действительно красивые. Лепле был широким человеком. Парни не терялись, пили за счет Эдит и за счет ее патрона, иногда даже ужинали.

Луи Лепле и до Эдит знал, что такое блатной мир, матросня и Иностранный легион, он с ними водился и раньше, но она их стала приводить почти к нему домой — к дверям его кабаре. Именно из-за этого полиция вскоре так вцепилась в Эдит.

В течение семи месяцев Эдит была по-своему счастлива; что же делать, если ее понимание счастья отличалось от взглядов других.

Но 6 апреля 1936 года все рухнуло — убили Луи Лепле…

Он упал под скамью
С маленькой дыркой в голове:
Браунинг, браунинг…
О, звук выстрела не был громким.
Но все же он умер.
Браунинг, браунинг…
Если нажать здесь, то кто выйдет
Из маленькой дырочки?— Госпожа
Смерть.

«Браунинг». Эдит пела эту песню много лет спустя. И каждый раз с болью в сердце. Каждый раз ей казалось, что это убивают Лепле.

Занавес трагедии уже поднимался, а в «Жернисе» в тот вечер все шло, как обычно.

— Слушай, крошка,— Лепле часто так называл Эдит,— через три недели у тебя Канны, Серебряный мост. Дела идут. И идут хорошо. Но ты должна понять, что это далеко не все.

— Я знаю, папа, мне еще нужно многому научиться.

— Нужно работать.

— Знаю. Но почему вы говорите мне об этом сегодня? Что-нибудь не так? Вы не в своей тарелке!

— Да, детка, мне снился плохой сон, и я никак не могу его забыть. Я видел свою мать, она мне говорила: «Бедный сынок, приготовься. Мы скоро встретимся. Я тебя жду».

Эдит отвечала:

— Ерунда! Все знают, что сны лгут!

Но было видно, что она кривит душой. А у меня просто мурашки побежали. Мне захотелось уйти, я боялась смерти.

— Я не очень-то верю в сны, детка, но этот…

Мы стояли так втроем молча, как окаменелые.

— Мне не хотелось бы покидать тебя теперь, Эдит. Ты еще нуждаешься во мне. Тебе нельзя оставаться одной. В сущности, ведь ты еще совсем девчонка. И ты слишком простодушна. А в нашем деле люди злы, очень злы! Здесь пускают в ход не только когти и ногти, здесь бьют ниже пояса, Прошу тебя, будь сегодня умницей. Завтра утром у тебя в девять часов запись, а потом концерт в зале Плейель. Иди баиньки. Никаких «загулов». Обещаешь?

— Да, папа.

— Клянешься?

— Да, папа. Вот.

Она протянула руку и плюнула на пол. Когда мы вышли на

улицу, Эдит сказала:

— Еще не поздно.

Я прекрасно поняла, что это значит, но для очистки совести сказала:

— Лучше бы нам пойти спать. Тебе завтра работать.

Решительным жестом она отмела мои слова.

— Моя работа — это моя работа. Я ее выполню. Если ты устала — мотай домой, а я пропущу стаканчик, без этого мне не заснуть. Своим сном папа нагнал на меня тоску. Мне нужно переключиться. А ты веришь в сны?

У меня не было никакого мнения. Позднее оно у меня появилось, но в тот момент — нет.

— Но не больше одного стаканчика.

— Клянусь.

В эту ночь Эдит была щедра на обещания.

Что за ночь! Один из наших друзей уходил в армию. Эдит сдержала клятву: только один стаканчик… но в каждом бистро. Давно мы так не веселились. Нам этого не хватало, у папы Лепле мы заскучали.

Новобранец разошелся: «Ребята,— кричал он, заливаясь слезами,— кончилась моя свободная жизнь! Поддержите меня». Еще бы его не поддерживать, его даже донесли до вокзала. Как его сумели посадить в вагон в таком виде, право, не знаю. В семь часов утра Эдит сидела перед черным кофе с жуткой головной болью. Мы ее надолго запомнили.

Мы тогда жили на углу тупика де Бо-зар, на втором этаже, окна выходили на Пигаль. Теперь мы могли себе это позволить: у нас были деньги. Вернувшись домой, мы глянули на часы. Восемь! Эдит проглотила тройной черный кофе и сказала:

— Момона, нужно отложить встречу, я не могу петь. Я должна поспать хоть часок. Пойдем позвоним по телефону.

Когда она была в таком состоянии, она не могла оставаться одна. У меня тоже глаза слипались, вокруг все расплывалось.

— Алло, папа?

— Да.

Она бросила на меня взгляд: «Ну и попадет же мне сейчас!» — и продолжала:

— Я не могу сейчас приехать. Я только-только вернулась домой. Потом все объясню. Нельзя ли все отложить?

— Приезжайте немедленно. Вы слышите? Немедленно.

— Хорошо, еду.

Она повесила трубку.

— Момона, он сказал мне «вы». Придется ехать. Он сердится. Как тебе кажется, я нормально говорила?

В такси мы так волновались, что почти протрезвели. Эдит прошептала:

— Момона, мне кажется, это не папа со мной говорил. Что там происходит?

На авеню Гранд Арме, перед домом 83, большая толпа, множество шпиков, полицейских машин. Мы ничего не понимали, нам стало страшно. В парадном один шпик нас спросил:

— Вы к кому?

— К господину Лепле.

Другой, в фетровой шляпе, сдвинутой на затылок, сказал Эдит:

— Ты малютка Пиаф? Проходи, тебя ждут.

Я осталась стоять на тротуаре. Мне следовало бы немедленно удрать, но я не могла: Эдит сделала мне знак, чтобы я осталась. Вокруг меня шли разговоры.

— Убили Луи Лепле, владельца кабаре.

— В этой среде можно всего ожидать.

Думая про себя: «Какое все это имеет отношение к Эдит», я продолжала прислушиваться. Консьержка, раздуваясь от важности, рассказывала:

— Их пришло четверо, все молодые ребята. Убили его одним выстрелом. Его прислугу, мадам Сесси, они связали и заткнули ей рот… Это моя приятельница, но, представь те, ее нашла не я…— казалось, именно это больше всего огорчало консьержку; она была из тех, кто хочет повсюду быть первым…— а соседка из квартиры напротив. Она вышла за покупками, около восьми часов. И что же она видит? Мадам Сесси! Бедная старуха лежит связанная. Соседка позвала меня, мы ее развязали, и она нам сказала: «Они убили моего хозяина». Я была потрясена.

На ее потрясение мне было наплевать! Эдит все не возвращалась.

— Мадам Сесси,— продолжала консьержка,— еще застала господина Лепле в живых. В это время он обычно спал, ведь он поздно возвращался. В дверь постучали условным стуком, как стучали близкие. Она открыла. Лепле принимал молодых людей в любое время. Они приставили ей к виску револьвер — орудие убийства,— что она могла сделать? Связали ее, заткнули рот. Говорили они тихо, она не все слышала, но все-таки разобрала, как они сказали Лепле: «Мы тебя накрыли… больше ты нас не проведешь!» Представляете, человек спит в своей постели и такое пробуждение!

Я слушала до звона в ушах, но не могла поверить. Мне было холодно, болела голова. Я ждала Эдит, она мне все объяснит.

Наконец она вышла в сопровождении двух мерзких баб с

мужскими повадками. Я тотчас поняла, что это полицейские дряни. Смотрели, как будто ничего не случилось. Но меня не проведешь! За ними шли два инспектора.

Бедная Эдит в одной руке держала берет, другой вытирала платком глаза. Крупные слезы текли у нее по щекам; лицо осунулось, глаза ввалились. Женщины держали ее под руки. Они заставили ее остановиться, чтобы фотографы могли сделать снимки. Эти бабы и сами хотели сфотографироваться.

Эдит не двигалась, я тоже не трогалась с места. Наши глаза встретились. Ее улыбка — сейчас это была вымученная гримаса — мне говорила: «Не огорчайся, Момона, жди меня и будь умницей».

Я видела, как Эдит села в полицейскую машину, за ней два инспектора. Эдит, Эдит Эдит!.. Я вернулась в отель и стала ждать. Недолго: явились шпики и забрали меня. Они работали в быстром темпе. И если беседа с ними не была лишена интереса, то удовольствия она не доставила.

— Ты подруга Эдит Гассион, певицы?

— Да, мсье.

— Ты живешь здесь, с ней?

— Да, мсье, но я работаю.

— Покажи свою трудовую книжку.

— Знаете, у нас с Эдит их нет. Я ей помогала, одевала перед выступлением.

— Ты собирала деньги на улице?

— Да, мсье.

— Так. Бродяжничество, нищенство и несовершеннолетие. Забирай свое барахло, мы тебя увозим. Знаешь, что полагается за бродяжничество?

Что я могла ответить?

Меня послали на медицинский осмотр. Сорок восемь часов я просидела с проститутками, а потом меня как несовершеннолетнюю засадили в исправительный дом. К «Доброму пастору», у моста Шарантон. На два с половиной месяца.

Полицейские задали мне несколько вопросов о Луи Лепле, но поняли, что я ничего не знаю. Даже если бы мы с Эдит и знали что-нибудь, о чем-то догадывались, мы бы рта не раскрыли. Мы были очень молоды, но знали, что у блатных память долгая, очень долгая. По их законам нет срока давности. В любом случае мы были не из породы стукачей. И кроме того, это не вернуло бы к жизни Луи Лепле.

На сердце у меня лежал камень, а в голове мысли вертелись вихрем. Я ничего не знала об Эдит. Наконец до меня дошли

известия о ней. Случилось это в месте, лишенном какой бы то ни было поэзии, что придало им еще большую горечь. В уборной исправительного дома пользовались газетной бумагой; там я увидела фотографию Эдит. Я разыскала те куски газеты, где говорилось об убийстве. «ПЕВИЦА КАБАРЕ, ЗАМЕШАННАЯ В ДЕЛЕ ЛЕПЛЕ». Они не стеснялись в выражениях. Я собрала все обрывки и носила их на себе. Кое-чего не хватало, но я все-таки узнала, что фараоны продержали ее, сколько могли, и пропустили через всю полицейскую мясорубку. Что ей пришлось пережить! Я плакала по ночам, закрываясь с головой вонючим одеялом. Знакомства Эдит говорили не в ее пользу. В общих чертах я представляла себе, что с ней происходило, но не знала подробностей. Два с половиной месяца спустя мы встретились, и Эдит мне все рассказала. До мельчайших подробностей.

«Ах, Момона, когда полицейские втолкнули меня в комнату папы Лепле и я увидела, что он лежит поперек кровати, запрокинув голову, в красивой шелковой пижаме, я так заревела, что чуть не задохнулась. Знаешь, он был очень красив, только слишком бледен, казалось, он спит. Но они заставили меня зайти с другой стороны: здесь уже не было красоты. На месте глаза страшная дыра, полная крови. Директриса, Лора Жарни, скорчившись в кресле, рыдала, прикрыв лицо платком. Она повторяла: «Моя бедненькая Эдит, моя бедненькая…» А я кричала: «Это неправда, папа Лепле, это неправда!»

Полицейский сказал мне:

— Ну, нагляделась? Теперь едем с нами.

И они меня повезли на Ке-дез-Орфевр, в уголовную полицию. Дело вел комиссар Гийом, поджарый, большие усы с проседью. На такого посмотришь и почти захочешь, чтобы он был твоим отцом.

— Вы кажетесь неглупой, детка, не заставляйте нас терять зря время. Скажите правду.

— Я ничего не знаю. Я гуляла с друзьями».

Он передал Эдит своим инспекторам, совсем молодым ребятам, но эти бывают часто пожестче старых. Они начали с того, что стали допрашивать ее как свидетеля, тогда это не показания, а свидетельство. Так им удобнее, могут все себе позволить.

Полиция выдвигала следующую версию: Эдит была знакома с парнем по имени Анри Валетта, сутенером, в прошлом солдатом Колониальной пехоты. Поступив к Лепле, она дала ему отставку; из мести Валетта убил Лепле. Все очень просто. Полицейские не любят усложнять. Эдит повезло, прислуга Лепле не узнала

Валетту на фотографии. Сорвалось. Тогда выдвинули другую версию. Именно ее я прочла под заголовком: «МАЛЮТКА ПИАФ ЛЮБИЛА ДВОИХ». По их мнению, Эдит любила Жанно Матроса. А вторым ее любовником был Жорж; Спаги. Это было правдой. На свою беду Эдит познакомила его с Луи Лепле. Его часто видели и в «Жернисе» и в «Бель Ферроньер», где он поджидал Эдит вместе с Жанно и Пьером Шрамом. Все они были связаны с теми, кто совершил убийство.

К несчастью, в этой версии было много достоверного. Хуже всего было то, что Эдит в самом деле была знакома со всеми.

«В течение многих часов мне задавали одни и те же вопросы.

— Жорж был вашим любовником?

— Да.

— Он был в хороших отношениях с Лепле?

— Они были друзьями.

— Не считай нас глупее себя. Он был его любовником.

— Я здесь ни при чем.

— Не отпирайся, хуже будет. Итак, когда Жорж приходил за тобой, с ним бывали те двое? Молодой и матрос?

— Да.

— В семь часов утра ты была с Жоржем?

— Нет, я была с друзьями.

— Жорж пришел к вам?

— Нет.

— Лжешь!

И это повторялось, повторялось без конца, Момона. У меня раскалывалась голова. Они ели бутерброды, пили пиво, курили. Я больше не могла. Потом за мной пришел папаша Гийом. Он взял меня за руку, по-отечески, но в его кабинете все началось сначала.

— Скажите правду, вы же видите, мы о вас все знаем, вы ничего не можете от нас скрыть».

И все-таки они вынуждены были ее отпустить, но сказали, что она остается в распоряжении полиции.

Несколько месяцев спустя дело было закрыто. Но не для Эдит.

Глава пятая. Реймон Ассо

Тем временем я жила на всем готовом — крыша над головой, кормежка. Было даже общество, но уже не такое, как в «Жернисе». И мне было невыносимо сознавать, что я снова оказалась на дне.

Никаких известий от Эдит. Хотя это было даже к лучшему. Меня и так чуть не пристегнули к «делу Лепле».

Казалось, все про меня забыли. Но я ошибалась. Парни, с которыми мы водились, наши «защитники» и их друзья, проявили себя отлично. Через два с половиной месяца наш Анри с помощью одного типа по прозвищу Хромуша сумел меня вызволить. Это целая история. Хромуша разыскал мою мать и уговорил ее заявить, что она берет меня к себе. Он, наверное, ее околдовал: чтобы меня выпустили, матери пришлось хлопотать, а ей ведь было совершенно безразлично, где я нахожусь, раз от меня нет никакой прибыли. Представляю себе, как они ей мозги прочистили.

Меня вызвали в суд около трех часов. Там была мать, и выглядела почти прилично. Я удивилась, увидев ее. А куда ей было деваться? Двое ребят, которые ее привели, ждали на улице.

Все прошло гладко. Социальное обследование показало, что в квартире чисто, что мой отец никогда не пил, а моя мать — безупречного поведения. Были даже такие детали: я узнала, что у меня были птицы и кошка, которых я очень любила. Это у меня-то! Никогда у меня ничего не было: ни животных, ни одежды, ни ласки. Но ребята ничего не упустили, ни одной мелочи. Они были просто гениальны! Еще десять минут, и я бы сама всему поверила. Судья, строгий и справедливый, сказал мне: «Вас возвращают вашей матери». Меня отвезли к «Доброму пастору» за вещами. В семь часов вечера я оттуда вышла. Сначала я отправилась к матери, чтобы соблюсти видимость, а потом помчалась на улицу Вертю, где, как сказал Анри, Эдит пела «У Мариуса» под оркестр.

Когда Эдит меня увидела, она улыбнулась своей чудесной улыбкой, как тогда, у Аль-верна, и сказала:

— Ну вот и ты наконец. Долго же тебя не было. Начинаем все сначала.

Снова беспросветная нищета. Хуже — полный крах. Все отвернулись от Эдит. Друзей можно было пересчитать по пальцам: Жак Буржа, Жюэль, аккордеонист и Ж. Канетти из Радио-Сите, который и потом в течение долгого времени оказывал ей настоящую помощь.

«Знаешь,— сказала мне Эдит,— я не пала духом. Я пошла на похороны папы Лепле в Сент-Оноре-д'Эло, принесла цветы с лентой «На память от вашего воробышка». За цветы заплатил Жако. Если бы ты видела их рожи! Похоронный вид, а у меня — мой, обычный, тот, который любил папа Лепле. Только лицо заплакано. Выглядела я, наверное, страшно. Моим траурным платьем стало наше, вязаное. Женщины все были в черных мехах, кто в гладких, кто в пушистых.

Все эти люди смотрели на меня так, как будто мне там не место. Но я была на своем месте, Момона. И таких, как я, которые имели право там быть, было не так уж много!

Вечером я сделала глупость — пошла в «Жернис». Кабаре было закрыто, пришли те, кто хотел проститься с Лорой Жарни: служащие, цветочница, метрдотель, ну и актеры, конечно. Один из них сказал: «Бедная Пиаф, как жаль, что ты потеряла своего покровителя. Только он один и мог поверить в тебя. Теперь тебе один путь — обратно на мостовую». Запустить бы в него булыжником с этой самой мостовой!

(Я не назову его имени, это большой актер, и он еще поет.)

Мне казалось, я знаю жизнь, но я не представляла себе, что люди могут быть так злы. Никогда этого не забуду. Какой урок!»

Она забыла и всю жизнь верила мужчинам и даже женщинам (хотя им не доверяла и не очень-то любила), которые того не стоили и обманывали ее. За ней всегда тянулся хвост льстецов и нахлебников, высасывающих из нее деньги, как пиявки. Они мне были настолько отвратительны, что иногда я не выдерживала и уходила из дому на несколько дней — глотнуть свежего воздуха.

Мы проговорили почти всю ночь. Это было совсем невесело. Эдит рассказала обо всем, что произошло в мое отсутствие.

Иногда она целыми ночами бродила где-нибудь, иногда вовсе не выходила из дому. В течение нескольких недель она плакала, как ребенок, лежа на кровати, зарывшись головой в подушки.

Некоторое время она еще продолжала жить на Пигаль. Потом переехала в отель на улицу Мальты.

Если «друзья» бросили Эдит, то газеты и полиция не оставляли ее в покое. Они незаметно следили за ней, кружились вокруг нее, как шакалы.

«Каждый раз, когда я открывала газету, меня начинало трясти. Они все еще писали о «деле Лепле», а так как я была единственной женщиной, которая попалась под руку, то продолжали рвать меня на части. Их писанина превратилась в кровавый роман с продолжениями. Поскольку мне нечего было

им больше сказать, они выдумывали, что хотели. Розами меня не осыпали. Выходило, что я была соучастницей; более того, толкнула других на преступление. Я чувствовала себя больной от омерзения».

Что касается работы, то Эдит считала, что ей везет. Вокруг нее, как большие зеленые мухи, кружились директора кабаре всех калибров. Гонорары предлагали небольшие — она ведь не могла ничего требовать,— но она приносила с собой атмосферу скандала, а это было бесплатной рекламой.

Эдит пригласили в кабаре «Одетта» — по имени хозяина этого заведения, выступавшего в женском платье, впрочем, с очень забавным номером. Надо сказать, что травести в женском платье были в некотором роде жанром этого кабаре, но все было выдержано в хорошем вкусе. Сюда ходили снобы, интерьер был очень приятным и модным. Публике здесь нравилось.

«Милая Момона, если бы ты знала, как меня колотило каждый вечер! Меня встречало ледяное молчание. Кладбище в зимнюю стужу выглядит приветливее, чем эти люди с застывшими физиономиями, сидевшие неподвижно За столиками. Я пела, а в ответ ни звука, это ведь были воспитанные господа, но у меня от их воспитанности делались спазмы в желудке.

Я кланялась, уходила со сцены, и мне казалось, что в ушах у меня звучат газетные фразы: «Нет дыма без огня», «Она поставляла ему развлечения», «От тех, кто приходит с улицы, всего можно ждать…». Очень трудно петь, если тебе никогда не аплодируют. Но ведь нужно есть.

«Одетта» был доволен. Я была аттракционом. Сюда приходили за тем, чтобы послушать песни не улицы, а мусорной ямы.

Однажды вечером они, видимо, сдали свои хорошие манеры в гардероб. После первой песни в тишине зала кто-то свистнул. (Бедная Эдит, это было только начало, ей пришлось потом столкнуться с худшим.)

За одним столиком поднялся респектабельного вида мужчина с седыми волосами. Он высказал им то, что думал:

— В кабаре не свистят, это не притон.

— Вы что, газет не читаете?— крикнули ему в ответ.

— Читаю, но предоставляю полиции вершить суд, а полиция отпустила ее на свободу, и здесь она актриса, как любая другая. Если вам не нравится то, что она делает, молчите — или аплодируйте ей. Одно из двух.

И он принялся аплодировать. Кое-кто последовал его

примеру. Несмотря на это, Эдит не возобновила контракта, когда срок его истек, у нее не хватило духу.

«Я стала спускаться все ниже и ниже. Канетти был очень добр, он устроил мне выступления в кинотеатрах. Конечно же, и для них я была живым аттракционом! Они тоже приходили посмотреть на девушку из «дела «Пепле». Повсюду было одно и то же. Своей первой песни я обычно не слышала, так сильно они на меня орали. Иногда они успокаивались, иногда — нет. Мне казалось, что я участвую в матче кетча и не всегда мой вес равен весу противника. Но я всегда допевала до конца свою программу.

Откуда было мне взять силы, Момона? Я иногда напивалась, но без тебя это было невесело, а тебя гноили в тюрьме. Мне казалось, что я хуже прокаженной.

А ребята? Неохота даже рассказывать.

Но теперь все будет хорошо. Мы снова вместе. Начнем все сначала. У нас получится».

Но она в это не верила. Ей хотелось все бросить и либо пойти на завод, либо вернуться петь на улицу. На улицу вернуться было можно, но я этого не хотела. Это надо было оставить на крайний случай. Мы теперь узнали другую жизнь, узнали людей, которые говорят как в книгах, и каждый день принимают ванну. Мы прошлись по коврам, а это лучше, чем мостовая.

Однажды я потащила ее в церковь, и мы помолились за то, чтобы что-нибудь наконец произошло. И произошло…

То ли наши молитвы были услышаны, то ли помогли два чинзано, которые мы выпили залпом для храбрости. Когда дело касается чуда, никогда не знаешь, настоящее ли оно. Ведь, чтобы оно произошло, делаешь столько разного!

Сидя за столиком в маленьком баре, мы обсудили еще раз свои планы, и вдруг из памяти всплыло волшебное слово «импресарио». Быстро телефонный справочник — и мы принялись отыскивать в нем номер Фернана Ломброзо, импресарио Марианны Освальд (певицы очень популярной у образованной публики). Уже то, что мы помнили фамилию, само по себе чудо! У меня в одной руке жетон, в другой — маленькая ручка Эдит. Мы в кабине телефона-автомата под лестницей, разумеется, как обычно, рядом с туалетом. После нескольких слов нам сразу назначают встречу.

Не думая о том, как мы одеты, едва прикоснувшись расческой к волосам (от них, как всегда, пахло дешевым мылом, которым мы их склеивали, чтобы они не торчали), мы вваливаемся к Ломброзо.

Больше всего меня поразило то, что контракт был подписан

немедленно, пятнадцать дней в кинотеатре в Бресте. Эдит выступает в антракте, четыре песни, двадцать франков в день. Это ли не чудо, когда вы на нуле!

И вот мы отправились в турне, наше первое турне.

Брест — ужасное место, серость, мокрота, моросящий дождь. От этого выглядят блестящими мостовые, но отнюдь не люди. Скука смертная. Но там никто не интересовался убийством Лепле. Действительно, это был богом забытый угол. Эдит пела перед фильмом «Лукреция Борджиа» с Эдвиж Фейер в главной роли.

В будние дни в кино было мало народу. В первый же вечер Эдит завела знакомых среди моряков. Брест — порт, и там в них нет недостатка. Уже на следующий день у нее появились «свои матросики». Они сидели, развалившись в креслах, грызли орешки, это были ребята свои в доску. Нам подарили значки кораблей. Теперь Эдит пела для них.

Я тоже выступала — «представляла» ее номер. Одеты мы были совершенно одинаково: черная юбка и свитер, белый воротник и маленький красный галстук. Одинаковая прическа. Почти одного роста — разница пять сантиметров. Сразу видно — сестры.

Я выходила на сцену, и мне аплодировали. Я объявляла:

«Напевы предместий, куплеты застав Споет вам малютка, воробышек Пиаф».

Я протягивала руку к кулисам, и появлялась вторая девушка, как две капли воды похожая на первую. Это смешило людей. На этом моя работа заканчивалась, но я оставалась за кулисами. Уже тогда Эдит нужно было, чтобы кто-то очень близкий находился рядом, когда она пела. Следом за ней выходил Робер Жюэль, ее аккордеонист, он сам выносил свой стул, и она начинала. Ничего, кроме аккордеона. У нас не было средств. Но это было в ее образе. Так поют в народе, ничего лишнего.

После выступления мы встречались с нашими моряками. Мы никогда не оставались одни. С этой стороны все было в порядке. Славные ребята, они не задавали никаких вопросов, но Эдит не могла забыть «дело Лепле». Я это видела по тому, как иногда по вечерам она смотрела на свой бокал вина, залпом выпивала его и с вызовом заказывала: «Повторить то же самое».

Директор был недоволен. Он все время ворчал: к своей работе в кинотеатре Эдит относилась не так, как к работе у Лепле. Она была небрежна, опаздывала. Ее выступления пришлись не по вкусу «порядочной» публике. К тому же наши

ребята разгоняли серьезных зрителей, которых и без того было немного. Моряки вели себя шумно, насмехались над штатскими, уходили сразу после антракта, то есть тогда, когда начинался фильм. Эдит смеялась, директор — нет.

В вечер перед нашим отъездом, рассчитываясь с нами, он сказал:

— Вы, должно быть, гордитесь собой?

Довольны своей работой?

— Да,— ответила Эдит.

— Ну так знайте: никогда больше вы не будете выступать в моем кинотеатре.

И он ей высказал все, что думал. Слушать это было неприятно. Позднее он предлагал Эдит сказочные гонорары. Он приезжал ради этого в Париж. Эдит ему ответила:

— Нет. Я не хочу, чтобы из-за меня вы нарушили свое слово.

Она запомнила, хотя с ней это случалось редко. Обычно она такие вещи забывала.

Когда две недели спустя мы возвратились в Париж, Ломброзо встретил нас довольно прохладно. Директор дал ему полный отчет.

Мы снова стали петь в маленьких кинотеатрах, и в первый же вечер опять столкнулись с «делом Лепле». Со скандальной историей не так-то легко развязаться. Когда Эдит в сопровождении Робера Жюэля появилась на сцене, публика распоясалась. Из зала кричали: «Убирайтесь со своим сутенером!» Робер Жюэль поставил аккордеон на стул, вышел вперед и сказал:

— Сутенеры не на сцене, а в зале.

Так повторялось из вечера в вечер. Робер даже дрался с подонками, ожидавшими нас у выхода. Я плакала от злости. Это длилось недолго, но запомнилось навсегда. Мы выходили раздавленные, униженные, выжатые как лимон. Эдит протягивала ко мне руки и плакала:

— Этого не может быть, не может быть, Момона! Я сейчас проснусь…

Разве я могла ей ответить: «Нет, все может быть, и неизвестно еще, когда кончится…»

Благодаря Лепле Эдит узнала много хороших людей, которые могли бы ей помочь,— Канетти, Жака Буржа, Реймона Ассо и других… Но она говорила:

— Лучше сдохнуть в канаве, чём просить их о чем-нибудь. Что они, не видят, что мы умираем с голоду? Я сама справлюсь!

Это была ее любимая фраза. Но дело с места не двигалось. Невозможно себе представить, в какой мы были нищете.

— Удача, Момона, это как деньги; уходит быстрее, чем

приходит,— говорила Эдит с вымученной улыбкой. Она соглашалась на самые жалкие условия. Жить-то надо было!

— Не огорчайся, Момона, мы из этого выберемся. Так не может долго продолжаться.

Первым более-менее порядочным человеком, которого она встретила, был Ромео Карлес.

Мы ходили каждый вечер в кафе «Глоб» на Страсбургском бульваре. Публика там состояла, с одной стороны, из артистов, с другой — из мелких импресарио, которые всегда могли откопать для себя из кучи оборванцев кого-нибудь, кто бы согласился на самые мизерные ставки. Таких, например, как Эдит,— уже с именем, но еще не котирующихся. Это была своего рода мюзик-холльная биржа.

Ромео Карлес, шансонье, угостил нас. Мы выпили по рюмочке. Он раньше не видел Эдит, она показалась ему трогательной, несчастной, и спросил ее:

— Что ты делаешь?

— Пою.

Люди этой профессии, даже незнакомые, обращаются друг к другу на «ты».

— Пришла сюда, может, что подвернется.

Ромео ее не ободрил.

— Здесь на хороший контракт не надейся. Смотри, какого ты роста, как одета, женские прелести отпросились на выходной. Здесь тебе трудно будет понравиться.

— Знаю. Но пока что…— ответила Эдит,— понимаешь… я подыхаю с голоду.

— Ты бы хотела петь мои песни?

— Еще бы,— ответила Эдит, хотя знала Ромео Карлеса только по имени.

— Тогда приходи послушать меня. Я каждый вечер в «Куку» и «Першуаре».

Она сразу воспрянула духом. Еще бы, предлагают песни, о «деле Лепле» не говорят. Она не знала, что Ромео всегда витал в облаках и имя «Малютка Пиаф» ему ничего не говорило.

На следующий день она решила:

— Момона, идем слушать Ромео.

Мне было это не по душе, потому что она немного выпила и в таком виде могла учинить что угодно.

И вот мы отправились в «Першуар» — самое модное кафе на Монмартре.

С порога Эдит начала «выступать». Ромео Карлес был на сцене, и она своим громовым голосом закричала:

— Я пришла к своему Ромео! Эй! Ромео! Жюльетта пришла!

В «Першуаре» была шикарная публика. Люди зацыкали на нее, стали кричать, чтобы ее вывели. Я застыла ни жива ни мертва, боясь рот открыть, не было бы хуже.

Как настоящий артист, Ромео нашел остроумный выход из положения. Он подал ей ответную реплику. В зале засмеялись. Раздались голоса: «Это нарочно. У них такой номер!»

Я подумала: «С песнями пиши пропало. Ничего он ей теперь не даст».

Как раз и нет. Перед тем как запеть «Лавчонку», он крикнул Эдит со сцены:

— Ты, моя Жюльетта! Будь умницей, внимательно слушай.

Эдит, даже если бывала под градусом, как только касалось дела, то есть ее профессии, вся превращалась в слух, шутки — в сторону.

Я знаю пустынный квартальчик,
Уголок, который хочет
Выглядеть аристократическим,
Я нашел там в прошлом году
Крошечную лавчонку,
Зажатую между двумя домами.

В антракте она бросилась за кулисы.

— Это правда? Ты мне даешь «Лавчонку»?

— Разве заслуживаешь?

— Да! Послушай, как я ее спою…

И Эдит запела отрывки из песни. (Она очень долго потом включала ее в свой репертуар.) Ромео был в полном восторге.

Он подмигнул ей:

— А чем заплатишь?

— Поцелуем.

Вот как все просто между ними началось.

Они продержались вместе полгода. Для Ромео Эдит была случайным знакомством. Он жил с Жанной Сурза, очень талантливой комической певицей.

Эдит испытывала к нему дружеские чувства. Внешне он был непримечателен, лысоват, но как человек был очень приятен — приветлив, а, главное, умен. Его забавляли в облике Эдит черты парижского гамэна. Он был первым, кто в этот тяжелый период поверил в Эдит. А для нее тогда это значило больше, чем любовь.

— Видишь, Момона, рано сдаваться, если такой человек, как Ромео Карлес, дает мне песни.

Он не только давал. Он сделал больше — написал песню специально для нее. Сюжетом служили мы с нею. Называлась она:

«Просто, как «здрасте».

Это такая банальная исторгся,
Действительно, совсем не оригинальная,
Что даже не знаю, по правде говоря,
Как вам ее пересказать и объяснить.
Блондинка и брюнетка
Всегда понимали друг друга…
Смерть унесла одну…
Это просто, как «здрасте».

С нищетой мы по-настоящему познакомились не тогда, когда Эдит пела на улицах, а только теперь. Несколько месяцев в человеческой жизни — не так много, но какими они были для нас долгими и трудными! Мы дошли до того, что продали все, что было приличного из одежды, купленной еще в период Лепле.

Чтобы раздобыть немного денег, я придумала трюк с фотографией. Я бродила по улицам в районе между Клиши и Барбес. Знакомилась с кем-нибудь. Мы заходили выпить рюмочку, болтали, рассказывали друг другу о своей жизни. Тут я вытаскивала из сумочки фотографию одного из моих братишек, годовалого малыша с медвежонком в руках.

В зависимости от того, что это был за человек, я говорила: «Это мой ребенок. Его отец бросил меня. Мне нечем заплатить женщине, у которой он живет…» Или: «Мне не на что купить ему лекарства…» Или: «Я его оставила у консьержки, и, чтобы его забрать, мне нужно ей заплатить…»

Осечки не было, мне всегда давали деньги. Взамен мы договаривались встретиться завтра.

Я никогда не приходила. Я с ними не спала. Не скажу, что я их не целовала. Иногда без этого нельзя было обойтись. Поэтому с очень противными не знакомилась.

Эдит вынуждена была соглашаться на это. А что оставалось делать? Но это было отвратительно, и этому не было видно конца…

Глава шестая. Рождение «священного идола»

И в это время Эдит встретила Реймона Ассо. Они столкнулись случайно в актерском бистро «Новые Афины». Познакомились они раньше, в прекрасный период «Жерниса», в одном из музыкальных издательств, куда он приносил свои песни, Ассо там бывал также по делам Мари Дюба, у которой тогда служил секретарем.

Это был странный парень лет тридцати, бывший солдат Иностранного легиона. Он служил также и в войсках спаги.[15] Послужной список специально для Эдит. Для нее не было ничего прекраснее, чем плащ, красные шаровары, сапоги и феска… Мечты уносили ее.

Меня также. Мы говорили друг другу: «Какие красивые ребята! Глаз нельзя оторвать!» Это было как удар в солнечное сплетение. Мы мечтали спать с ними под одним плащом.

Реймон рассказывал Эдит о своей жизни спаги, и она слушала его с бьющимся сердцем и зачарованным взглядом. Ее завораживали любые подробности, вплоть до обязательных по уставу семидесяти двух складок на широких шароварах. А пустыня, а песок, а солнце… жара и краски… Она как будто видела все своими глазами.

Казалось, Эдит должна немедленно упасть в объятия Реймона. Вовсе нет. У нее в мыслях этого не было. К тому же он был суховат, малообщителен. Эдит, в свою очередь, замыкалась.

Их первая встреча прошла примерно в таком духе:

— Ну, Эдит, как дела?

— Так себе!

— Не блестяще?

— Не очень.

— Расскажи.

Они начали болтать. Потом еще раз встретились. Эдит ему верила. Казалось, он знал все на свете. Это был настоящий, надежный мужчина. Сухопарый, почти худой, с длинными волосами, длинными мышцами и совсем без живота. Он не был красив, редко смеялся, но это была личность. Когда они встречались, они говорили о профессии. Эдит задавала ему множество вопросов, главным образом о Мари Дюба. У нее в отношении актрисы был настоящий культ, она ей поклонялась. Эдит хотела все знать: как она работает, как выбирает песни, как

живет — словом, все! Это восхищение, это любопытство Эдит испытывала задолго до встречи с Реймоном. Однажды, когда мы еще пели на улицах (у нас в тот день случились деньги), Эдит сказала:

— Пойдем в «АВС» слушать Мари Дюба.

Мы купили два билета на галерку. Мари Дюба нас потрясла.

— Нет, какая женщина!— говорила Эдит. Она сидела, наклонившись вперед и вцепившись мне в руку.

Мари пела одну песню — и люди плакали, пела другую — и они смеялись. Она делала с публикой что хотела. Нельзя сказать, чтобы у нее была эффектная внешность. Среднего роста, волосы черные, прямые, даже не очень красивая, но взгляд ее темных глаз обжигал, его нельзя было забыть. А голос! Вы не думали о том, красив он или нет, он просто не выходил у вас из памяти. Платье простое, элегантное. А жесты… Нужно было видеть, как она изображает женщину в метро,— казалось, вы сами там сидите. Когда она пела «Молитву Шарлотты», ее пальцы, ее руки! — сердце разрывалось от горя.

Эдит с полными слез глазами молилась и плакала вместе с ней. А я плакала, глядя на них обеих. Эдит повторяла:

— Так спеть… Уметь так спеть!..

Когда концерт кончился, она сказала:

— Я пойду к ней за кулисы. Пойдем, Момона.

У нас хватило смелости, в наших обвисших юбках, старых свитерах, стоптанных босоножках. Мари приняла нас, как старых знакомых. Она спросила Эдит:

— Вы любите песни?

— Я пою,— ответила Эдит.

— Где?

— На улице.

И великая Мари Дюба не засмеялась. Она посмотрела на Эдит.

От этого взгляда стало тепло на душе. Она сказала:

— А вы придете ко мне еще.

Она не спрашивала. Она знала.

Мы вышли из «АВС», и Эдит сказала:

— Ты слышала, как она со мной разговаривала?! Она! Мари Дюба! Знаешь, Момона, когда эта женщина перестанет петь, никто не займет ее места.

Действительно, когда Мари Дюба ушла со сцены, ее никто не заменил.

Реймон привлекал Эдит главным образом потому, что ее интересовала Мари Дюба. Она была уверена, что он знает, как становятся такими, как Дюба. В начале их знакомства Реймон не

проявлял к Эдит интереса. Казалось, он боялся ввязываться в ее дела. Он ведь сразу мог в чем-нибудь помочь Эдит, но ничего не делал: только давал советы, и то сквозь зубы. Что-то вроде: «Я тебе говорю… но ты поступай как знаешь». Он, например, считал, что Эдит не должна соглашаться на любое предложение.

— Тебе хорошо, но ведь есть-то надо.

Он ей говорил:

— Нужно, чтобы тобой кто-то занялся. Причем всерьез. Взял на себя все. Тебе нужно многому учиться.

Это было предложение, но не прямое. Реймону было свойственно говорить уклончиво. Эдит не понимала. Или не хотела понимать. Она чувствовала, что тогда ей нужно было бы принять Реймона и в другом качестве, а он ей не нравился. И она ему отвечала:

— Да, мне нужно было бы иметь импресарио. Но сколько я ни искала, до сих пор не нашла.

— Тебе нужен не импресарио, а кто-то, кто тебя «сделает» целиком. Я повторяю — тебе нужно всему учиться.

Эдит еще не была готова это понять.

— С папой Лепле мне повезло…

— Но это в прошлом,— отвечал Реймон.— Ты упала с большой высоты, и теперь с тебя спрос больше, чем раньше. Теперь ты приходишь не с улицы, а из «Жерниса». Разница…

Эдит вела себя как дикое животное, которое приручили, но не укротили, она была подозрительна, как необъезженная лошадь. Вероятно, ее породистость проявлялась и в ее нетерпеливости.

Все, что говорил Реймон, было более чем справедливо. Но она не хотела его слушать, на нее нападала тоска, и тогда она сердилась:

— В том, что он говорит, есть доля правды… Но он пессимист. Плевать, без него обойдусь.

Эта фраза на несколько месяцев отодвинула их настоящую встречу. Ассо колебался. Он еще недостаточно верил в Эдит, а она не была в него влюблена. Так ничего не могло получиться.

Однажды вечером Реймон появился в «Новых Афинах». У него был мрачный, замкнутый вид, плохое настроение.

— У меня для тебя есть контракт. Ты, конечно, за него схватишься и совершишь ошибку.

— Не твоя беда,— ответила ему Эдит.

«Контракт — это хорошо», подумала я. Ассо начинал меня раздражать. Я была не на его стороне. Его осведомленность во всех вопросах действовала мне на нервы.

— Куда надо ехать?

— В Ниццу. На месяц.

— Лазурный берег,— отозвалась Эдит,— от такого не отказываются. Где выступать?

— В «Буат а витэс».

— Это прилично?

— Терпимо.

— Тогда почему похоронный вид? Такие новости полагается праздновать!

— Если ты подождешь, мы найдем лучше.

— Не могу я ждать. Да и не хочу. Наоборот, мне нужно отойти на расстояние от Парижа. От «дела Лепле»… Там мне будет спокойно. Это ведь провинция.

Да, Эдит умела создавать себе иллюзии! Провинция всегда отстает от Парижа. И для тамошней публики скандальный ярлык с «делом Лепле» все еще был приклеен ко лбу Эдит. Именно поэтому ей и предложили контракт.

Мне тогда едва исполнилось восемнадцать лет, и я не понимала Реймона. Это был сложный человек. Только несколько лет спустя я осознала, что означал для него наш отъезд в Ниццу. Он, вероятно, не хотел говорить Эдит, но он в нее влюбился всерьез. Гордость ему не позволяла, ему было нужно, чтобы она за ним сама бегала. По поводу ее отъезда он, наверно, заключил с самим собой пари: «Если она уедет, я ее брошу, если останется — займусь ею». Это было в его духе. И он подумал, что проиграл, что Эдит от него ускользнула. Особенно его поразило, что она спросила:

— А для Момоны ты в этом кабаре ничего не устроил?

— Нет.

— Тем хуже, сами разберемся. Я все-таки беру ее с собой.

Нужно было его видеть в этот момент. Он меня не любил и надеялся, что эта поездка нас разлучит. Может быть, он собирался к ней приехать? Поди знай! Реймон ревновал Эдит ко мне. Его злило, что я имею на нее влияние. Он ее ревновал ко всем. Уже тогда он хотел, чтобы она принадлежала ему одному. Я ему мешала: критиковала, не считалась с ним.

Как-то перед нашим отъездом он отвел меня в сторону и прочитал нотацию:

— Послушай, ты имеешь влияние на Эдит. Пусть она не встречается с кем попало, и не давай ей пить.

— Почему ты ей сам не скажешь? А вдруг ей это нравится и мне тоже?

Стиснув зубы, он бросил:

— Ты ее «злой гений».

Я расхохоталась. Позднее мне вспомнились эти слова. Это я-то злой гений Эдит! Я смеялась не к добру. Эдит легко

поддавалась влиянию, и в один прекрасный день ему удалось ее в этом убедить.

Реймон был недоволен нашим отъездом, но тем не менее позаботился обо всем. Купил два новых чемодана: «Так вы будете выглядеть приличнее». Купил билеты во второй класс: «Так вы сразу займете определенное положение». В то время были вагоны трех классов.

Он знал, что от нас всего можно ожидать, поэтому сам отвез на вокзал, усадил в вагон и дал множество советов.

— Не ешьте в купе, пойдите в вагон-ресторан, это приличнее.

Мы не понимали, почему это приличнее. Мы стояли у окна, он — на перроне.

— Пойду куплю вам что-нибудь почитать.

Он пошел к книжному киоску. В них продается всякая всячина, но Реймон знал, что ему нужно. Я наблюдала за ним. Всегда забавно наблюдать за людьми, когда они этого не замечают.

А тем временем Эдит мне говорила:

— Мы смываемся вовремя. Твой тип начинает мне надоедать.

Когда кто-то бывал неприятен Эдит, он всегда становился «моим». Реймон вернулся с довольным видом.

— Вот. Это вам понравится.

И он протянул книгу. Я посмотрела название — «Такая девочка». Автор Люси Деларю-Мардрю. Я не знала автора. Мы вообще не знали никаких авторов.

Эдит читала в то время книжки примерно с такими названиями: «Обманутая накануне свадьбы», «Любовь, принесенная в жертву», «Мать-Девственница», «Соблазненная в день своего двадцатилетия» и т. п.

Эдит не стала читать книгу, которую принес Реймрн. Прочла ее я. Залпом. И была потрясена. Долго потом я верила в эту историю. Мы с Эдит вообще долго верили в то, что истории, о которых рассказывается в романах,— правда.

Реймон стоял на перроне, а поезд все не отходил. Я смотрела на вокзальные часы. Большая стрелка как бы играла в чехарду с минутами. Наконец поезд тронулся!

Реймон держал руку Эдит в своей до последнего мгновения. Она ее не отнимала. Ей это было безразлично. А я смотрела на него и думала: «Ну, старик, ты втрескался». Он мне все-таки улыбнулся. Потом крикнул нам, как взрослый детям:

— Хорошо себя ведите!..

Бедный Реймон, он еще мало нас знал.

История «Эдит — Реймон» — фильм в нескольких сериях. Все было заранее ясно, но Эдит этого не сознавала. А ведь у нее на

это было чутье. Итак, первая серия закончилась на перроне Лионского вокзала.

На первой же остановке мы вышли из вагона и пересели в третий класс. Там было полно солдат, но в купе, в которое мы сели, был только один парень.

— Перейдем в другое,— сказала Эдит.

Но мы остались, потому что парень был очень красив. Для третьего класса он был слишком хорошо одет. Эдит не сводила с него глаз. Он взял ее за руку. Она положила голову ему на плечо. Просто поразительно, какая у нее была власть над мужчинами!

Глядя на них, я понимала, что это любовь, которую показывают в кино! Хорошенькое начало для нашего путешествия!

Я успела прочитать книжку «Такая девочка». Эдит мне сказала:

— Читай. Расскажешь мне потом.

Я смотрела на них, читала — это вполне совмещалось. Все было, как в романе. Когда он вышел покурить в коридор, Эдит сказала:

— Я не знаю, куда он едет. Он сказал, что выходит не доезжая Ниццы. Мне непременно надо его снова увидеть, я с ним никогда не расстанусь. Я от него без ума, Момона.

В Марселе мы увидели солнце. Я дремала, но чувствовала, что кругом все залито светом. Потом мы нырнули в грязную тень вокзала Сен-Шарль. Парень сказал Эдит:

— Я выйду немножко размяться. Подожди меня.

— Поцелуй меня.

Он ее поцеловал. И вышел из вагона. Эдит смотрела ему вслед. Я тоже. К нему подошли двое полицейских. Надели на него наручники. Все произошло спокойно, без всякого шума. Он обернулся и улыбнулся ей в последний раз.

Я посмотрела на Эдит, она была совершенно белая, рот полуоткрыт, будто она хотела крикнуть. Я протянула ей бутылку. Она выпила. Мы ничего друг другу не сказали. Да и что можно было сказать? Поезд тронулся.

— Момона, как он тебе понравился?

— Пока ничего, а потом, может быть, стал бы хуже.

Больше мы о нем не говорили.

Эдит никогда не щадила Реймона. Первое, что она ему рассказала по возвращении, была эта история. По его плотно сжатым губам я видела, что ему неприятно. На месте Эдит я бы не осмелилась. Но в итоге она оказалась права, потому что он сочинил из этой истории песню, которая имела огромный успех. «Париж — Средиземноморье».

Поезд уносит меня в ночь.
Позади меня осталась мертвая любовь,
А в моем сердце расплывалась скука…
Тогда его рука взяла мою руку,
Мне было так хорошо, когда я к нему
прижалась.

Когда я проснулась,
Солнцем был залит вокзал.
Мой неизвестный любимый спрыгнул со
ступенек вагона,
Его окружили мужчины.

Солнце удваивало мое горе
И блестело на его цепях.
Он, может быть, убийца…

Странных людей можно встретить
В поездах и на вокзалах.

Наше прибытие в Ниццу было менее поэтично. Однако первое, что мы увидели, выйдя из вокзала, был человек-реклама. Эдит крикнула мне:

— Момона, у него на спине мое имя! Догоним его и угостим стаканчиком вина.

И мы побежали за беднягой, хорошо, что он еле переставлял ноги. Догоняем и читаем:

«Убийца ли малютка Пиаф? Вы узнаете это сегодня вечером, придя в «Буат а Витэс»!

— Боже, неужели опять все сначала?! Я — убийца! Мерзавцы! Когда же это кончится!

Она была совершенно подавлена. Я огорчилась за нее, но взглянула на происходящее с другой стороны.

— Они — скоты, согласна, но все-таки какая ни есть, это реклама. В первый раз люди придут ради скандала, но если они придут еще раз, то уже ради тебя.

Такое Эдит просекала быстро. Она подумала минутку и сказала:

— Хорошо, придется проглотить. Но уж тогда директриса кабаре пусть не жмется! Я хочу, чтобы было несколько человек, а не один нищий бродяга. Если уж ставить на скандал, то играть ва-

банк! Я поговорю с этой каторжной.

И они поговорили. Инстинктивно она вела себя как опытный профессионал. Она всегда чувствовала, что нужно делать. В личной жизни ей случалось допускать ошибки, но в том, что касалось ее профессии,— никогда. Но какие силы надо было иметь, чтобы перешагнуть через это: «Убийца ли малютка Пиаф?»

Доказала она, «кто есть кто», очень быстро. Пригласили ее в «Буат а витэс» на один месяц, а осталась она на целых три. Платили мало, всего лишь сто франков за вечер, ей и ее аккомпаниатору. С нами уже не было Робера Жюэля. Эдит не смогла его удержать в тот период, когда у нее не было работы. Перед отъездом она пригласила Рене Клоарека, человека очень талантливого. Он еще не был известен и жил в небольшом отеле в предместье Сен-Мартен. Ему очень нравилось работать с Эдит. Он приехал со своей женой, миленькой, приятной, но мы не подружились, она была не нашего поля ягода — уютная хозяйственная мещаночка.

На все про все у нас с Эдит оставалось пятьдесят франков. Это было немного. Никогда мы не ели столько спагетти: «Наворачивай. Дешево и питательно!»

— Момона, ты должна начать работать, иначе ты не сможешь здесь оставаться. Танцуй.

И она сказала хозяйке:

— Прибавляйте мне пятнадцать франков в день, и моя сестра будет исполнять свой танцевальный номер. Она работает на Монмартре в лучших кабаре. Я уговорила ее приехать со мной, ей нужно солнце. Видите, какая она бледная. Если вы хотите, чтобы я осталась, пригласите ее.

Эдит обладала поразительным апломбом. Не знаю, что подумала директриса, но она согласилась.

Мои «номера» Эдит создала в нашей комнате. Она обрезала старое платье из черного атласа, прикрепила мне к волосам зеленый бант, посмотрела и сказала:

— Годится. Поскольку платье атласное, будешь танцевать классику.

Потом она купила черный школьный фартук и завязала мне красный бант.

— Наденешь свои туфли на низком каблуке, и у тебя еще один номер. Акробатический. Будешь называться «Кочерыжка».

Я носила тогда низкие каблуки, я, впрочем, всегда их носила из-за моих лишних пяти сантиметров роста. Эдит не могла с этим смириться.

Лиха беда начало! Акробатика более или менее получалась; папины уроки не были забыты. Но классика! Я каждый вечер что-

нибудь меняла. Я даже не умела двигать ногами в такт, у меня бог знает что получалось.

В Ницце Эдит отыскала маленький отель неподалеку от пассажа Эмиль-Негрзн. Мы считали его очень приличным. Но нас в отеле приличными не считали.

Однажды нам действительно стало стыдно. Приходим домой, дверь комнаты открыта, мы видим, как горничная щеткой выметает из комнаты кучу мусора: коробки из-под сардин, из-под камамбера, пустые бутылки, клочки бумаги, ваты… Мы переглянулись, и Эдит прошептала:

— Господи, и все это было в нашей норе?

А из комнаты доносится голос:

— Это же надо быть такими неряхами!.. Грязнули… Ну и грязнули…

Это было падением с высоты! Мы-то считали себя аккуратными: все заталкивали под кровать!.. Мы быстро смылись и вернулись, когда уже все было убрано…

В Ницце мы встретили Роже Луккези, дирижера оркестра, он был с приятелем. Они повезли нас на машине посмотреть побережье. Какая красота! Красные скалы, синее море и маленькие, как конфетки, домики… А мы-то думали, что это существует только на почтовых открытках, что это реклама для туристов! Не хотелось показывать, какое впечатление все это на нас произвело, но мы были поражены.

В Ницце Эдит также пела на улицах. Правда, немного. Здесь это приносило мало денег. Здесь уличные певцы выступают на террасах перед ресторанами на набережной, на берегу моря. Это поддерживает местный колорит. «Соле мио» или «Санта Лючия» — песни клошаров для этого климата не годились.

В Ницце мы отпраздновали день рождения Эдит, ей исполнился двадцать один год. Не думайте, что был торт со свечами! Нет. Мы даже не знали, что такое бывает. Мы провели вечер вдвоем; перед нами стояла бутылка вина… Уже шесть с половиной лет, как мы жили вместе. Шесть лет… На бумаге это быстро; но в жизни — долго… Ведь есть надо три раза в день, а на еду надо заработать.

Гастроли в Ницце закончились, и мы сели в поезд. В третий класс. И не ради солдат или моряков; на лучшее у нас не хватило бы денег. Не было никаких парней, не было плеча, на которое Эдит могла бы приклонить голову. Мы сидели, держась за руки, настроение было подавленное.

У Эдит не было никаких иллюзий. В Ницце мы зря потеряли время: пили, веселились. Еще и еще растрачивали свою молодость. А дальше что? В Париже Эдит ничто не ждало: не

только не было контракта, но и надежд на него. За три месяца отсутствия имя малютки Пиаф было забыто, вычеркнуто из памяти. Она это хорошо знала. Она уже достаточно долго варилась в этом котле, чтобы понимать, что зашла в тупик.

Раннее утро, Лионский вокзал, кругом грязно, мрачно, но пахло все-таки чем-то родным. Здесь был наш дом. Наш город. Панам, о котором она позднее пела:

О! Мой Панам!
Как ты. от меня далек!
И как была красива Сена
Под солнцем июня…

На перроне мы выглядели жалкими и несчастными. Хотелось спать. Никто нас не встречал. Реймон?.. Но Эдит ему ни разу не написала, даже не ответила на его письма.

— Ну, что будем делать?— спросила она.

У меня не было ни одной мысли.

— Ну, конечно, когда ты нужна,— тебя нет! И никого нет! К счастью, у меня голова на плечах. Сейчас убедишься.

И прямо с вокзала она позвонила Реймону.

— Так вот, Реймон, ты говорил, что готов заняться мной. Я согласна.

Мгновение она слушала, потом повесила трубку.

— Он сказал: «Приезжай. Бери такси…»

Я не могла прийти в себя.

— Почему вдруг он?

— А у тебя есть другой вариант?.. С какой стати ему тогда было говорить мне: «Если я тебе вдруг понадоблюсь, позови». Вот я и позвала.

— Ты мне этого не говорила.

— Ну и что?

Еще немного, и мы бы поссорились. Но я была без сил. И потом, какая разница: тот или другой… Кто-то должен был заняться Эдит.

Мы поехали на Пигаль, в отель «Пикадилли». Реймон нас уже ждал. Он жил там с одной женщиной, ее звали Мадлена. Они так долго были вместе, что их считали мужем и женой. Ассо выглядел еще более угрюмым, чем обычно. Он сказал:

— Я снял вам комнату.

Однако в его глазах был влажный блеск, что-то похожее на счастье. Это были первые кадры второй серии. Со слова «приезжай» началась настоящая карьера Эдит.

Лепле нашел Эдит, но создал ее Ассо. Это был нелегкий труд,

ох, нелегкий… но вдохновенно-прекрасный! Да, Реймон был личностью. Он сразу же поставил условия Эдит:

— Я тебе помогу. Я знаю эту профессию. Знаю людей из этого мира. Даю тебе слово: если будешь меня слушать, про нищету забудешь. Но забудь и про веселье. Тебе придется много работать, придется делать то, что я тебе буду говорить. Парни, загулы — с этим покончено. Если ты принимаешь мои условия, я тебя не брошу. Никогда. Если нет — стучись в другую дверь. Я не марионетка.

У Эдит перехватило дыхание. Никто никогда с ней так не говорил. Не употреблял таких слов, таких интонаций. Она согласилась.

Честно говоря, мне больше хотелось, чтобы она отказалась. Не знаю, что бы я тогда за это дала. Если бы она в тот день отказалась из-за меня, я действительно могла бы считаться ее «злым гением».

Эдит относилась к Реймону иначе, чем к другим мужчинам. Он был тем, кто писал для нее хорошие песни, подыскивал контракты, заботился о ней. Она полностью ему доверяла. Но для нее этого было недостаточно. Мужчина, который говорил ей «до свиданья», когда она ложилась в постель, не мог иметь на нее никакого влияния.

Но в один прекрасный день все изменилось. Она вошла в нашу комнату смеясь. Она так хохотала, что не могла говорить.

— Момона, знаешь, кого я сейчас встретила на лестнице? Реймона!

— Ну и что! Ты его встречаешь двадцать раз на дню. Он живет над нами.

— Момона! Я без ума! Я влюбилась!

— Прекрасно!

— Нет, не говори «прекрасно»… Догадайся в кого?

Но разве можно догадаться, когда речь идет об Эдит! Торжествуя, она мне крикнула:

— В Реймона Ассо!

Вот это была новость так новость! Эдит мне объяснила:

— Я поднималась по лестнице. Он спускался. Я посмотрела на него и вдруг все поняла. Поняла, почему мы ругались, почему он меня раздражал, все! Я его люблю. Надо же быть такой дубиной, чтобы непонять этого! Такое со мной случается впервые. Обычно я прежде всего об этом думаю…

— Что ты в нем нашла?

— Но, Момона, нужно быть слепой, чтобы не видеть, как он красив. У него изумительные глаза, совершенно голубые… Ни у кого таких нет.

Каждый раз у них оказывались голубые глаза… Голубой цвет был барометром. Если Эдит говорила о мужчине, с которым была: «Тебе в самом деле кажется, что у него голубые глаза? Да они же серые… и к тому же не стальные серые, а так…» — он мог собирать чемоданы! Его время истекло. Из голубых глаз можно было составить целую коллекцию. Тут были все оттенки, и я знала все, что по этому поводу может быть сказано: «Момона, голубой цвет притягивает. В нем много света. И кроме того, глаза не обманывают. Все лжет: слова, жесты. Все может обмануть, но не взгляд».

Я была с ней согласна. Хотя несколько раз она обманывалась. Раз у Реймона были те глаза, какие надо, все получалось прекрасно. Я, правда, не находила его таким уж красивым, скорее, заурядным. Его можно было сравнить с деревом зимой. Черное, сухое, оно годится для ворон, но не для воробьев!

— Не спорь, Момона. Это было как гром среди ясного неба!

Когда у нее гремел гром, возражать не приходилось — оставалось надеяться на громоотвод.

Мне он заявил без церемоний:

— Теперь, когда у нас с Эдит все уладилось, ты увидишь, Симона, мы многого добьемся.

— Пока что ты еще ничего не добился.

Он пропустил мимо ушей.

— Не твоя забота. Я еще не то видел. Я не слабая овечка, и вот что я тебе скажу: если хочешь, чтобы мы остались друзьями, не вставляй мне палки в колеса. Сейчас сильнее не ты. Понятно?

— Есть, капитан!

Он засмеялся. Я — нет.

Первые дни все шло прекрасно. Эдит мне говорила:

— Момона, до чего яке он хорош! Это настоящий мужчина. И столько знает! Понимаешь, я ему верю. Для меня Реймон лучше всякого импресарио. Мне был нужен именно такой человек! Подумай, как нелепо бывает в жизни: он был рядом, а я его не замечала. Нет, до чего же мне повезло, что я его встретила!

Она была так оптимистично настроена, что даже не сердилась на Мадлену за то, что она есть на свете! Я же над этой темой задумывалась. Я была уверена, что добром это не кончится. Женщин, которые добровольно выпускают мужчину из рук, не существует. Даже когда он им больше не нужен, они все равно его никому не подарят!

Начало прошло достаточно хорошо. Мы, в общем, стали с Мадленой приятельницами, она была славная девушка. Эдит вела себя осторожно, своих отношений не афишировала. Когда она оставалась наедине с Реймоном — это было «по делу». Она

говорила нам с Мадленой:

— Вы идите по магазинам, а мы с Реймоном поработаем.

«Рабочие заседания» проходили в нашей комнате.

Я тянула с покупками как могла. Эдит мне говорила:

— Момона, я на тебя рассчитываю. Не меньше двух часов!

Это было нелегко, если надо было купить, например, один батон, коробку сардин, бутылку вина и камамбер. И без часов! Я смотрела на все уличные часы, обходила все лавочки, сравнивала все цены.

Мадлена удивлялась:

— Вот не думала, что ты такая экономная. Эдит, скорее, дырявое решето.

Я отвечала:

— Да, но деньги у меня.

— Понимаю,— говорила Мадлена.

Все же она начала что-то просекать.

— Тебе не кажется, что Эдит и Реймон очень много работают вместе?

Я отвечала с самым невинным видом (потому что это была правда):

— Естественно, все быстро не делается.

Я видела, что Мадлена догадывается, но ей, очевидно, со многим приходилось мириться, живя с Реймоном. Она ждала, когда это пройдет, и я ждала вместе с ней. Когда теперь я вспоминаю об этом, мне делается смешно — как будто наставляли рога нам обеим.

Нужно отдать справедливость Реймону: сделать из «Малютки Пиаф» «Эдит Пиаф» было нелегкой задачей. Ее не только предстояло всему научить, ее нужно было все время держать на привязи. Как только Реймона не было рядом, она удирала. Она совершенно не умела быть одна. Всегда готова была бесконечно слушать любые россказни, не могла отказать себе в удовольствии угостить кого-нибудь стаканчиком вина, принять участие в чужом веселье. Время она растрачивала так же легко, как и деньги; ни с тем, ни с другим она не умела обращаться.

Когда прошло время первых «я тебя люблю», «я тебя обожаю», Реймон начал с ней работать. Тут-то его и подстерегали неожиданности. Он нас мало знал. Он не представлял себе, что можно быть невежественными до такой степени.

В нашей комнате происходили забавные занятия! Эдит лежит на кровати. Реймон сидит верхом на стуле с трубкой в зубах. Он немного наклонил голову и делает маленькие затяжки: «пых», «пых», «пых»… С улицы раздаются гудки автомашин, где-то вдалеке звучит музыка… На Пигаль праздник. Я говорю:

— Эдит, на Пигаль праздник. Может, смотаемся?

Эдит загорается. Она поднимает голову, улыбается:

— Это мысль!

— Нет,— говорит Реймон,— с этим кончено.

Мне хочется кусаться. Я кричу:

— Ты здесь не командуешь!

Меня охватывает неистовое желание бежать на улицу. Я вдруг вспоминаю, что мне восемнадцать лет и я хочу музыки, света, шума.

— Командую.

Концом своей трубки, как пальцем, Реймон показывает Эдит на меня.

— Ты слышишь, что говорит «твоя» Симона? Праздник! Так, так. Это значит, гуляя на праздниках, ты собираешься стать актрисой? Нужно заниматься делом. Ты даже не умеешь читать.

— Оставь!

— Я заметил, что некоторые слова в твоих песнях тебе не понятны. Если ты сама не знаешь, что поешь, как же ты можешь заставить это понять других?

В одно мгновение Реймон одержал победу. Я злилась, но знала, что он прав. Что верно, то верно: Эдит едва умела читать. Она разбирала текст так медленно, что чтение быстро ей надоедало. Что касается уменья писать… Она писала только мне и Жаку, которого не стеснялась. Я тоже писала не лучше…

Чтобы Эдит могла делать посвящения на пластинках без орфографических ошибок, в начале ее карьеры Реймон сочинил ей образцы, которые она переписала и выучила наизусть. Она была уже «Великой Пиаф» и все еще пользовалась фразами Ассо: «В знак большой симпатии от Эдит Пиаф», «От всего сердца» и т. д.

Эдит села на кровати, свесив ноги. Совсем девчонка! И строго посмотрела на меня:

— Он прав, Момона. Придется этим заняться. Ведь верно, есть куча слов, которых мы не понимаем.

В таких случаях она всегда говорила «мы». Я должна была учиться вместе с ней… Единственное, чего она не могла переварить, это словари.

— Ваш Ларусс[16] все время водит за нос! Ищешь какое-нибудь слово, находишь его, и тут тебя отсылают к другому, и ты опять ничего не знаешь… А с грамматикой какие развели сложности! Я знаю настоящее, прошедшее и будущее. Этого совершенно достаточно для жизни.

Она совала мне книжку в нос.

— Нет, ты только посмотри! Условное наклонение,

предпрошедшее время, прошедшее несовершенное… Зачем это мне нужно? Не буду я это учить.

Эдит была слишком умна, чтобы не понимать, что ей многого не хватает. Ее это мучило:

— Как, по-твоему, я действительно выгляжу набитой дурой? Конечно, я многого не знаю. Как ты думаешь, мне понадобится все то, чему меня учит Реймон?

Разумеется, я была вынуждена отвечать «да». Реймон умело использовал меня. Когда Эдит начинала зевать, отвлекаться или говорила ему: «Мне надоело!» — он ей сухо отвечал: «А вот Симона поняла. Ей интересно. Ведь ты же не глупее! Так докажи».

Это бесило Эдит. Если я могла, она тоже могла. Нужно было все время менять приманку, она не клевала подряд на одну и ту же. Однажды, разозлившись, Эдит ему крикнула:

— Плевала я на Симону!

Реймон бросил ей, как пощечину:

— И на Мари Дюба тоже?

— При чем тут она?

— Ты что, воображаешь, что певице достаточно только открывать рот на сцене? А все, что происходит потом, не имеет значения? Напиваться с первыми встречными — это, по-твоему, красивая жизнь? Ошибаешься. Я скажу тебе, при чем тут Мари Дюба. Если при ней упоминают Бодлера, она не просит дать его номер телефона, чтобы он написал для нее песню. Если мужчина наклоняется к ее руке, она не сует ему эту руку в губы. Если ей подают рыбу, она не обсасывает кости и не выплевывает их потом в свою же тарелку. Если ее знакомят с министром, она его не спрашивает: «Как там у вас на работе?»

— Я с улицы. Это все знают. Если я не по вкусу, пусть катятся…

— Так они и сделают. Выйти из народа не стыдно, но стыдно хотеть оставаться в грязи, в невежестве. Мари Дюба умеет вести себя в жизни, за столом, с людьми. Она умеет принимать гостей. Есть обязательный минимум, а ты им не владеешь! Ты мне надоела. Хватит с меня твоих капризов, твоих выходок!..

Эдит задыхалась от ярости. Мне казалось, что она сейчас разнесет все вокруг. От злости она стала кричать. И вдруг замолчала. Наступила гробовая тишина. Она вся съежилась. На нее было жалко смотреть, такой она была маленькой и потерянной.

— Я буду учиться, Реймон, не бросай меня. Я люблю тебя, ты же знаешь, я люблю тебя…

Реймон обнял ее, стал говорить ей: «Моя девочка», «моя маленькая», нежно гладить ее волосы. Только что он был — уксус,

а стал — мед, розовое варенье, сахар.

— Помогай мне, слушайся меня, девочка, и ты станешь великой.

Да, Реймон был настоящим мужчиной. Он знал, как браться за дело. Он называл Эдит «моя девочка»… Может быть, это было банально… но она этого никогда не слышала.

Луи Лепле и Жак Буржа, которые были с ней неизменно ласковы, говорили ей: «Мой малыш». В этом было что-то отеческое, покровительственное. Для Реймона она была «Диду», «Диди», «моя Эдит»… Мы не были приучены к такому обращению. Немногими ласковыми словами можно было добиться всего от таких девушек, как мы.

Эдит таяла.

— Господи, до чего он умен! Сколько он всего знает и как он обо всем рассказьтает! Все-таки совсем другое дело, когда с тобой так обращаются. И ты знаешь, я его люблю… Как я его люблю! Он заставляет меня делать все, что хочет.

Это не совсем так. В их отношениях взлеты сменялись падениями. Эдит уставала. Поставьте себя на ее место. Совсем невесело в двадцать один год слышать целыми днями: «Не делай так», «Дерлеи вилку так и не клади нож на стол», «Не наливай стакан до краев», «Не чавкай, не разговаривай с полным ртом», «Когда жуешь, закрывай рот»… Ужасно неудобно жевать с закрытым ртом, если тебя не приучили с детских лет за семейным столом.

Эдит это отравляло жизнь. Она привыкла есть чуть ли не лежа на столе. Ей было наплевать на то, что она не умеет держаться за столом, но Реймон внушил ей, что это необходимо. Кроме того, она не могла забыть тот обед у де Ровера. Она должна была стереть из памяти это воспоминание.

Закончив обучать ее чему-либо одному, Реймон тотчас же переходил к другому.

— Ты не умеешь одеваться.

Это еще слабо сказано. У Эдит был ужасный вкус. Она любила пышные складки, плиссе, мелкие оборки, кричаще-красные тона. Могла одновременно надеть вещи синего, фиолетового, желтого и зеленого цветов. Причем считала, что это выглядит весело. Я никогда не пыталась на нее повлиять. Куда бы мы ни ходили, Эдит одевалась как на карнавал, на мне же были простенькие, но плотно облегающие платья. Я надеялась, что так на меня скорее обратят внимание самые красивые парни. Ничего подобного. Самые лучшие всегда доставались ей…

Когда Реймон сказал Эдит, что она не умеет одеваться, она подняла крик.

— Не вмешивайся в то, в чем не разбираешься. Тряпки — не твое дело.

— На сцене ты очень хороша в черном платье.

— Это главное. На улице я ношу что хочу.

— На улице ты должна сохранять тот же стиль, что и на сцене. Это составная часть твоего образа, твоей индивидуальности.

Уметь вести себя за столом, научиться удерживаться от грубых слов, говорить приятные вещи… Мы от этого еще не могли прийти в себя, но когда услышали об «индивидуальности»… У нас глаза на лоб полезли. Однако Эдит все просекла мгновенно. Ведь это непосредственно касалось ее профессии.

Чтобы докопаться до этой пресловутой индивидуальности, Реймон заставлял Эдит часами рассказывать о себе. Болтовню она обожала. Я развлекалась от души. Она всегда с первой минуты догадывалась, что нужно говорить мужчине, чтобы ему понравиться. Интуитивно она говорила то, что ему хотелось услышать. Она не ошибалась и не делала никаких усилий. Истиной для нее было то, что ее увлекало в тот момент, когда приходило в голову. А поскольку цель была его соблазнить, она причесывала свою жизнь под его гребенку. Он заглатывал все.

Она мне говорила:

— Момона, я не лгу. Я себе украшаю жизнь.

Чтобы нравиться Реймону, Эдит ударилась в романтику: бедная молоденькая девушка с улицы, из предместья, но такая привлекательная… Входила в детали: мать — неудавшаяся певица, отец — акробат, сводная сестричка, которую она опекает. Случайные встречи, тоскливые вечера… Она ничего не упустила!

Реймону было не важно, правда это или нет. Она помогала ему создавать, отшлифовывать свой персонаж. Слушая ее, Реймон понял, что Эдит не может петь чужой репертуар, что у нее должен быть свой, по ее меркам, «ручной работы», сшитый на заказ. И он принялся за дело — стал писать для нее песни.

Он доставал кисет, опустив голову, медленно, машинальными движениями набивал трубку, большим пальцем, немного расплющенным к концу, приминал табак, потом поднимал голову, делал глубокий вдох, раскуривал трубку и принимался «рассказывать» нам свою песню.

Огрызком карандаша он делал пометки в блокноте. Ему не всегда была нужна законченная история вроде той, что произошла в поезде и из которой он сделал песню «Париж — Средиземноморье». Достаточно было лишь небольшого толчка. Однажды я ему сказала:

— Понимаешь, ведь Эдит жила на улице Пигаль и…

— Помолчи-ка минутку…

И он начал писать, у него пошло. На следующее утро он нам прочитал «Она жила на улице Пигаль»:

Она была вся черная от грехов,
С бедным бледным личиком.
Однако в глубине ее глаз
Было что-то чудесное,
Что привносило голубизну
В грязное небо Пигали.

Он создал в песнях «стиль Эдит».

Как было хорошо, когда мы втроем обсуждали песню! Как я это любила! К нам часто приходила Мадлена. Она приносила кофе. За работой мы были одна семья, локоть к локтю, дышали рядом.

Осложнялось все в другие моменты, когда Эдит хотела оставить Реймона у себя на ночь. Однако ссоры начались позднее. В тот период, о котором я рассказываю, была в разгаре работа по «созданию» Эдит, и все мы помогали Реймону как могли.

После того как бывали написаны слова, Маргерит Монно писала музыку. Реймон Ассо сделал гениальный ход, когда к работе привлек Маргерит Монно.

Увидев впервые вместе Реймона и Маргерит, мы с Эдит не поняли, что у них может быть общего. Ассо был человеком нервным и жестким. У Маргерит был нежный овал лица, светлые волосы, полусонный взгляд, на губах след улыбки, невысказанная нежность. Он взрывался по всякому поводу, она всегда витала в облаках.

Реймон сказал Эдит:

— Я тебя познакомлю с Маргерит Монно.

Это она написала музыку «Чужестранца».

Блестящая рекомендация! Мы не забыли того, что было связано с этой песней.

Я не помню, в какое время впервые пришла Маргерит. Она всегда приходила либо раньше, либо позже условленного часа… Мы все трое были в нашей с Эдит комнате. Мы ждали ее. Войдя, она сказала:

— Здравствуйте, ребятки. А у вас тут очень мило.

Реймон рассмеялся.

— Ты хоть заметила, что это отель?

— Ах вот как? Тем не менее здесь уютно…

Чтобы сказать такое, нужно было действительно ничего не

видеть вокруг. Наш отель не был дворцом, как «Пикадилли»,— самый средний, если не сказать захудалый. Ковры вытерты до основы, на них не оставалось и следов шерсти. Но для Маргерит это не имело значения. Она никогда ничего не замечала.

Эдит тотчас же ею увлеклась. Она как бы увидела ее всю насквозь и в ее руку с полным доверием вложила свою.

— Я уверена, что вы потрясающая женщина! Какой у вас талант!

«О!» — сказала Маргерит тоном дамы, только что заметившей, что ее насилуют.

Эдит сразу же стала называть ее «Гит» и полюбила на всю жизнь.

Когда Эдит впервые пришла к Маргерит, произошло такое, что мы обе чуть не заплакали. Маргерит сказала ей:

— Сядь за мой рояль. Положи руки на клавиши.

Эдит положила руки на клавиши и закрыла глаза.

— Гит, я мечтала об этом, когда мне было пять лет, я была слепой и могла только слушать.

— Тогда слушай внимательно.

У Маргерит были прекрасные руки виртуоза. Она положила их на руки Эдит.

— Играй, играй со мной.

Лицо Эдит сияло. На нем застыл смех. Так смеются дети, когда они переполнены счастьем.

Так Эдит научилась играть на рояле. Она это очень любила. Она говорила, что лучшее понимает музыку, когда разбирает ее сама.

Реймон и Маргерит были так же несовместимы, как солдатский сапог и туфелька Золушки. Но когда они работали над песней, все менялось. Это был брак по любви. Третьей в этом союзе стала Эдит.

Вот как это происходило. Эдит читала текст песни так, как предполагала его петь; Маргерит слушала в зачарованном полусне: Реймон ждал… Пока музыка не была готова, он не был уверен в сочиненном тексте. Когда чтение заканчивалось, Маргерит восклицала: «Ах, ребятки…» Это вовсе не означало, что все прекрасно, она слушала еще и еще. Потом говорила: «Мне кажется, теперь я уловила».

И Маргерит начинала играть. Она уходила в свой мир, да, собственно, она никогда из него и не выходила.

Эдит говорила о ней: «Гит всегда в облаках…»

Эдит любила ее всем сердцем. Они не расставались до самой смерти Маргерит, тихо скончавшейся в 1961 году. Она не выглядела больной. Никто о ее болезни не подозревал, она

никогда не говорила о себе. Просто у нее стал более потусторонний вид. чем обычно. Умерла она так же, как жила: бесшумно. Выскользнула из жизни и ушла в смерть так же легко, как прошла свой путь.

Маргерит сыграла в жизни Эдит такую же важную роль, как и Реймон. Она научила ее тому, что такое песня. Объяснила ей, что музыка это не только мелодия, что в зависимости от того, как ее исполнять, она может передать столько же чувств, сколько слова. С тем же количеством оттенков.

До конца жизни Эдит будет говорить: «Самый чудесный подарок, который мне сделал Реймон,— это Гит! Какая удивительная женщина! Она живет не на земле, а в каком-то другом, светлом мире, где все, что ее окружает, необыкновенно чисто и прекрасно. Ангелов, например, я представляю себе такими, как Гит.

Но это не мешало ей на нее сердиться:

— Спустись на землю, Маргерит!.. (Это уже было опасно. Эдит обожала называть всех уменьшительными именами: Гит, Момона, Рири и т. д. И когда она называла вас полным именем, дело принимало плохой оборот.) — Куда это годится? Ты лучший композитор песенной музыки, но ты нигде не показываешься. Рекламой своей не занимаешься, контракты подписываешь не глядя. Следовало бы назначить опекунский совет, чтобы он вел твои дела…

А Гит с отсутствующим видом и милой улыбкой отвечала:

— Все это такие пустяки… Вот послушай лучше, это тебя успокоит.

И она начинала импровизировать. Это могло длиться часами. Тут не было ничего удивительного, так как уже в три с половиной года Маргерит выступила на сцене концертного зала и получила свой первый гонорар. Она должна была бы выступать на сцене больших концертных залов — Маргерит была ученицей Надин Буланже и Корто,— а вместо этого занялась песней.

Первую она написала случайно. Тристан Бернар, писатель, популярный в период между двумя войнами, принес ей как-то поэму «Ах, эти прелестные слова любви».

— Ты не могла бы положить это на музыку?

— Я не сумею.

— Попробуй.

Песня получилась восхитительной, она исполнялась в фильме Клода Дофэна.

Так же легко она написала музыку «Чужестранца». Он стал шлягером. Потом был написан «Мой легионер». Успех сопутствовал Маргерит во всех ее работах. Она автор музыки

почти всех песен Эдит, она же создала для Колетт Ренар «Ласковую Ирму», в которой поэзия слилась с грубостью нравов предместья. Эта песня пересекла моря и океаны и имела огромный успех в Америке.

Музыка струилась из-под пальцев Маргерит, стоило ей положить руки на клавиши. Она реально существовала только тогда, когда сочиняла музыку: в тот момент она становилась великой из великих!

Когда рассказываешь, все получается легко, переходишь от одного к другому, погружаешься в свои воспоминания. Но у нас троих, вернее четверых, так как Мадлен все время была с нами, дело часто шло со скрипом, иногда от крика дребезжали стекла. Несколько раз Эдит все бросала.

Когда целыми днями только и слышишь: «Ты одеваешься, как шлюха…», «Ты ешь, как свинья…», «Шестилетний ребенок читает лучше, чем ты…» — есть от чего упасть духом.

Нас с Эдит никто никогда не держал на привязи. Даже во времена Лепле мы жили на улице, были свободны. Что такое учитель, мы не знали, а главное, не желали знать. Когда у Эдит кончалось терпение, она говорила: «К черту твоего Реймона. Давай смоемся».

Кто бы ее удерживал, только не я. Мы задыхались в комнатенке в отеле «Пикадилли», нам нужен был свежий воздух. Свои номера мы откалывали по ночам, когда Реймон бывал с Мадлен. Он еще пытался соблюсти внешние приличия. Это тоже бесило Эдит: «Либо он со мной, либо с ней. Пусть решается, в конце концов!»

Эдит всю жизнь жила между одиннадцатью часами вечера и шестью часами утра. И мужчины, которые хотели ее удержать, должны были проводить с ней ночи не только в постели.

Она говорила: «Ночью живешь иначе, чем днем. Ночью возникает ощущение тепла, всюду горят огни. И люди ночью иные. С ними легко. По ночам я встречаю только друзей, даже если я их не знаю. У людей другие лица, все красивы…»

И она кочевала из бистро в ресторан, из ресторана в кафе, мы встречались с нашими друзьями, с нашими котами. С ними пили. На следующий день у Эдит раскалывалась голова, и она не хотела работать. Реймон выходил из себя.

Однажды утром вспыхнула ссора. Эдит дремала в постели, я возле нее. Она зевала и отмахивалась:

— Реймон, оставь меня в покое, я не хочу тебя видеть.

— Нет, выслушай.

— Не кричи, у меня голова трещит.

— Симона, свари ей кофе, тебе тоже надо проснуться.

Я отвечаю:

— Пошел к черту!

Он взрывается:

— Хватит, Эдит! Это должно прекратиться. Либо ты бросишь свои привычки, либо я брошу тебя! Ты меня слышишь?

Он тряс ее за плечи, но она все равно засыпала… Бой быков! Он даже дал ей пощечину. В конце концов ей пришлось его выслушать, Реймон решил выиграть это сражение во что бы то ни стало. Стиснув зубы, с потемневшими от гнева глазами, он метался по комнате. Надо сказать, разойтись в ней было особенно негде. Я не говорила ни слова. Разливая по чашкам кофе, я слушала. Он ей выложил все:

— Ты живешь, как шлюха, только что этим денег не зарабатываешь! Ты должна бросить всех этих проходимцев и их девок, всю эту банду бездельников, которых ты называешь своими друзьями и которые обирают тебя до последнего су… Они тянут тебя на дно! Ты должна положить этому конец. Речь идет о твоей карьере. Как это будет выглядеть, когда ты начнешь выступать в «АВС»? Журналисты от тебя мокрого места не оставят!

— Но все эти же друзья приходили ко мне в «Жернис»!

— Да, конечно! Хорошую услугу они тебе оказали!

Вдруг до нее доходит то, что он сказал…

— Я буду выступать в «АВС»? Ты смеешься надо мной?

— Нет. Я этого добиваюсь. И добьюсь.

Мы смотрим друг на друга. Эдит в «АВС»! В крупнейшем мюзик-холле! Мы не верим своим ушам. Но Реймон не шутит.

— Реймон, я не могу с ними так поступить! Они всегда к нам хорошо относились, никогда нас не предавали. Если бы не Анри, у меня не было бы даже платья для «Жерниса»…

— Не думай об этом. Я все беру на себя. Тебя должны уважать!»

Эдит не понимала смысла этого слова. На улице не существует такого понятия, как уважение.

У Реймона хватило мужества встретиться с компанией Эдит. Он знал их всех, ее постоянно видели с ними. Да, Реймон проделал большую работу. Генеральная уборка!

Среди этих людей были не только мелкие проходимцы, барыги и коты, но были и твердокаменные парни, которых нельзя было запугать. Мы когда-то им платили. Правда, недолго, но они сохраняли на нас свои права. Эдит вообще нисколько не смущало то, что она платила мужчине деньги. У нее создавалось впечатление, что это скорее делало мужчину зависимым от нее, чем наоборот.

Как Реймону удалось? Он нам ничего не рассказал.

Поскольку Эдит все это было неприятно, она предпочла не расспрашивать. Единственное, что она сказала в этой связи:

— Смотри-ка, Момона, а Реймон-то — настоящий мужчина. Надо кое-что иметь, чтобы это сделать.

Не зря он когда-то служил в Иностранном легионе! Он это доказал, разогнав весь бордель: котов, Лулу с Монмартра, толстую Фреэль. Дорога открыта! У него была магическая фраза. Если кто-то пытался поднять на него руку, его голубые глаза становились узкими и он сквозь зубы бросал: «Терпеть не могу чужого прикосновения». Когда я впервые услышала эти слова, я задрожала. Очевидно, такое же впечатление они производили и на других.

То, что Эдит испытывала к Реймону, не было любовью-страстью. Она ему верила. Он был ей необходим, она не могла обойтись без него. Интуиция подсказывала ей, что Реймон — единственный, кто может вырвать ее из мира Пигаль.

Ассо был первым мужчиной из тех, кого знала Эдит, у которого были иные интересы, кроме желания выпить, погулять или заняться любовью. Достаточно было взглянуть на него, чтобы это понять. Он не был ни очень красив, ни очень молод, но то, чем он обладал, было значительно больше, Эдит в нем не ошиблась.

Я предчувствовала, что чисткой дело не кончится, и потому боялась за себя и за Мадлену. Я хорошо знала Эдит и не ошиблась. Чем-то ей надо было занимать вечера и ночи. Теперь, когда она осталась одна, Реймон стал ей нужен безраздельно.

В это время Мадлена начала устраивать сцены. Она прогадала, так как Эдит только этого и ждала. С дружбой было покончено. Эдит не стеснялась:

— Реймон, передай своей жене, что с меня хватит!

— Потерпи, Эдит.

— Ты всех разогнал, я осталась одна, так расстанься же с Мадленой, иначе я брошу все, и тебя в первую очередь.

Реймон глубоко любил Эдит. Он любил ее, как свою жену, как свое творение и как своего ребенка, но понимал, что ничто не может удержать Эдит. Победы, правда, он еще не добился, хотя знал, что она близка, он ощущал ее тепло в своей руке, как ощущал тепло своей трубки. Он знал, что держит ее и уже не выпустит из рук.

Со мной у него были старые счеты. Я ему мешала, значит, меня тоже надо было убрать. У нас с ним возникали стычки по любому поводу, даже из-за песен. Пользуясь тем, что я когда-то что-то рассказала ему, подсказала мысль, как это было с улицей Пигаль, я, не стесняясь, говорила: «А, по-моему, это не годится…

Я бы на твоем месте сказала так…»

Ему, разумеется, это не нравилось. Он это пресекал. Ко мне он вообще придирался. Постоянно отпускал замечания по поводу того, как я выгляжу. Для него я по-прежнему оставалась скверной девчонкой. Мне уже было восемнадцать с половиной лет, и если я это подчеркиваю, то потому, что в этом возрасте «половина» много значит!.. Когда он мне говорил: «Ты плохо влияешь на Эдит», я в отместку наговаривала ей на него. Я ему ничего не прощала, а Эдит меня слушала. Секрет был прост: я умела ее рассмешить, он — нет…

Я отдавала себе отчет, что так бесконечно продолжаться не может. Он был упрям, я тоже. Мы оба не хотели худого мира. Но он был умен, Реймон. И хитер. Он долго готовился к тому, чтобы нанести мне удар, и предусмотрел все.

Начал Реймон с того, что принял решение расстаться с Мадленой и поселиться вместе с Эдит. Разумеется, нужно было уехать из «Пикадилли», чтобы уже не встречаться на лестницах. Он остановил свой выбор на отеле «Альсина», на авеню Жюно. Там был совсем другой стиль: комната с ванной, телефон, ковер, приличная входная дверь. Контракт с «АВС» уже носился в воздухе, очевидно, он был вполне реальным, потому что отель «Альсина» стоил дорого. Реймон отнюдь не был набит деньгами, а Эдит в то время почти ничего не зарабатывала.

Он давно решил, что завершит мной «генеральную уборку», теперь ему предстояло это осуществить. В тот день Эдит куда-то ушла. Он выжидал… При всей его худобе я находила, что он вытесняет слишком много воздуха в нашей комнате. Я в упор смотрела на него. Он не спеша набил трубку, двигались только его пальцы; наклонив голову несколько набок, он тщательно раскурил ее; затягиваясь, одним пальцем прикрывал трубку. Взгляд его прищуренных голубых глаз был устремлен на меня. Я знала, что он собирается нанести мне удар, но не боялась. Во мне все кипело, но я была уверена, что сумею ему ответить. С Реймоном мы разговаривали «как мужчина с мужчиной». Некоторое время он молча курил, потом сказал:

— Момона…

Тут я поняла, что дело обстоит серьезно. Он никогда меня так не называл. Я была «Симона», и все. Я почувствовала, что внутри у меня все оборвалось, как бывает, когда лифт резко идет вниз.

Он нервничал, трещал суставами пальцев. У него были длинные тонкие пальцы, красивые руки артиста.

— Милая Момона, тебе всегда казалось, что я тебя не люблю. Ты ошибаешься. Ты мне, скорее, симпатична.

— Хватит причитать!

— Как тебе будет угодно.

— Обойдусь без твоей жалости. Говори прямо, что тебе нужно?

— Согласен, так будет проще. Ты знаешь, что я на все готов ради Эдит. Я на нее делаю ставку. Я в нее верю. А… ты на нее плохо влияешь.

— «Злой гений!» Ты уже это говорил. Неплохо придумано, но нуждается в доказательствах.

— Ты подаешь ей плохой пример. Убегаешь из дома, напиваешься, сманиваешь ее за собой. У меня для нее есть два контракта: один в «Сирокко», другой в кабаре в районе Елисейских полей, на улице Арсен-Уссэ. Потом она выступит в «АВС». Она должна сменить окружение, образ жизни. Нельзя, чтобы она утратила то, что приобрела. Ты — ее прошлое. С тобой оно постоянно перед ее глазами. А она должна его забыть. Если ты останешься, она ничего никогда не добьется. Речь идет не о том, чтобы вы не встречались, но…

— Спасибо на добром слове! Ну, знаешь, наглости тебе не занимать!

— Ты не должна больше с ней жить. Мы переезжаем в другой отель, на улицу Жюно. Я тоже порываю с прошлым. Я не снял там комнаты для тебя.

— Она согласна?

— Да.

— Поэтому она и ушла? Она знала, что ты собирался мне все это выложить?

— Да.

— Тогда мне нечего возразить.

Я забрала свои жалкие пожитки и ушла. Не хотела, чтобы он видел мои слезы. Я была слишком молода, чтобы понять, что он ведет свою игру, что он мне лжет. Он делал ставку на мою гордость. И выиграл.

Много времени спустя Эдит мне рассказала, что, возвратившись, она спросила, где я, и он ей ответил:

— Ушла. Совсем. У нее кто-то есть.

— Ничего мне не сказав?! Вот дрянь!

Эдит не прощала, когда ее бросали. Сама она могла так поступать, но другие — нет!.. Я шла одна по улице Пигаль, нашей улице! Мое одиночество, мое горе повели меня от Пигаль к Менильмонтану. По бульварам это совсем близко. Я шла к своей матери, сама не зная зачем. И нашла там почти нежные объятия, меня прижали к сердцу. В первый и единственный раз в жизни я пришла не к матери, но к маме… В эти мгновения я все забыла. Все, что было раньше: черствость ее сердца, ее жестокость, ее

жадность к деньгам, ее равнодушие — все! Она прижимала меня к себе. Наконец-то я была ее ребенком, о чем всегда мечтала. Этот порыв нежности вернул мне желание жить. Но я не обольщалась, зная, что ее нежность долго не продлится.

Я вернулась к той жизни, которую вела до встречи с Эдит. Целую неделю работала на конвейере у Феликса Потэна, укладывала шоколад в коробки. В субботу ходила в бассейн, в воскресенье — в кино.

Я была совершенно сломлена, у меня не осталось никаких сил. Много лет я жила с Эдит, жила ее жизнью, ее увлечениями… И вот теперь между нами все было кончено, я была в этом уверена. Эдит меня любила, более того, она была единственной, кто меня любил.

Мне так была нужна любовь, что я угадала ее во взгляде юноши, которого встретила как-то в бассейне. Вода пахла хлоркой… Ну что ж, в конце концов она меня отмывала от Пигаль, от котов и барыг, от шлюх, от солдат… Я чувствовала себя чище, и так это и было, потому что он поверил в мою чистоту. Как было приятно видеть, что он относится ко мне с уважением! Он не смел ко мне прикоснуться. Он обратился ко мне: «Мадемуазель…» — как Мермоз к Эдит. Я к этому не привыкла.

Если я сделалась его женой до того, как стала невестой, то только потому, что больше не могла быть одна. Мне хотелось говорить, хотелось почувствовать ответ на мою жажду любви, ощутить подле себя человеческое тепло. И я вышла замуж. Никому ничего не говоря, без приглашений на свадьбу, без свадебного обеда, без всей этой комедии. Однажды в субботу среди двух десятков других пар, которые ждали своей очереди, мы расписались. Я была не в своем уме, я не понимала, что расстаться с Эдит невозможно. Тихая размеренная жизнь, фабрика — это было не для меня.

Как-то набравшись смелости, я ей позвонила:

— Не может быть! Это ты, Момона? Приезжай, посмотришь, как я устроилась. У меня есть ванная комната!

— Нет, давай лучше встретимся в другом месте.

Она не стала спорить, ей самой очень хотелось скорей меня увидеть. Мы условились встретиться в кафе у Веплера, недалеко от Клиши. Нам казалось это шикарным!

Когда она вошла, по ее улыбке, по взгляду, по одежде я увидела, что у нее все в порядке. Она была в прекрасном настроении, глаза ее блестели: со мной она изменяла Реймону.

Она хотела, чтобы я ей все рассказала о себе. Но эта история — с моим замужеством — была такая чистая, она принадлежала

мне одной, что я хотела ее сохранить в тайне и промолчала. Эдит ничего не заметила. Ей столько нужно было мне рассказать о своих новых песнях, о своих планах, о советах Реймона.

Странно, но я не испытывала ненависти к нему. Я знала, что он нужен Эдит, что он — ее «шанс».

Мы стали встречаться. Как-то она пришла с пылающими щеками.

— Момона, послушай, что я тебе расскажу! Нет, это просто невероятно! Ты помнишь легионера?

— Смутно.

— Ты забыла? Легионера Рири? Из казарм у Порт де Лила?

Анри! Я вспомнила. Это было четыре или пять лет назад, мы пели тогда на улицах и в казармах, где мне приходилось быть очень внимательной, потому что солдаты норовили пройти, не заплатив. Эдит ставила меня у входа в столовую, давала в руки пустую консервную банку для денег.

— Строже, Момона!— говорила она мне.

— Им нужно внушить уважение!

Попробуй внуши, когда тебе четырнадцать с половиной лет и рост — метр пятьдесят!

Как-то раз, когда все солдаты уже расселись, появился легионер в белом кепи, с красным поясом — словом, при полном параде. Он свысока посмотрел на меня и бросил:

— Я ничего не плачу.

Эдит стояла рядом со мной. В таких случаях она всегда делала широкий жест.

— Пропусти его, Момона,— приказала она.

Тогда легионер сказал Эдит:

— Встретимся у выхода.

Он был не красивее других, но у него были голубые глаза…

Рири вернулся в казарму в семь часов утра, и его посадили на губу на четверо суток. Мы об этом ничего не знали. Эдит должна была встретиться с ним на следующий день в шесть часов вечера. Он ей очень понравился. В назначенный час мы были у казарм. Спрашиваем о нем у часового.

— А что вам надо?

— Я его сестра,— говорит Эдит,— пришла повидаться.

— А она,— спрашивает солдат, указывая на меня,— она тоже его сестра?

— Конечно,— отвечала Эдит,— раз она моя сестренка.

— Он наказан. Уходите.

— Но это невозможно. Я должна рассказать ему о матери. Она больна.

Эдит так заморочила голову дежурным, что капрал вызвал

сержанта.

— Нужно позвать майора,— ответил тот.

Эдит мне шепчет:

— Момона, если так пойдет, доберемся до генерала…

— Хоть это и не по правилам,— сказал майор,— но раз причина уважительная, я за ним пошлю.

Через некоторое время приводят Рири, а он даже не смотрит в нашу сторону, в упор не видит. Но Эдит не смутилась, бросилась ему на шею и прошептала на ухо:

— Ты мой брат.

— Ну, ты даешь!

Все кругом хохотали, солдаты все поняли, а Рири быстро назначил ей свидание, пока сержант ему приказывал:

— А ну, целуй своих сестренок, да покрепче!

Рири отсидел четыре дня, потом они с Эдит встретились и любили друг друга, наверно, с неделю… пока полк не отбыл в неизвестном направлении. Эдит забыла Рири. Я тоже. Вот и вся история легионера. Я не понимала, почему Эдит возбуждена.

— Послушай, Момона. Пока мы с Рири любили друг друга, Реймон, о котором я тогда ничего не знала, написал песню, он в ней рассказал «мою» историю. Он назвал песню «Мой легионер». Представляешь? Вот совпадение!

Я не знаю, как его зовут, ничего о нем не знаю…
Он любил меня одну ночь…
Мой легионер!
Бросив меня на произвол судьбы,
Он ушел ранним утром
В лучах света!
Он был строен и красив,
От него пахло раскаленными песками,
Мой легионер!
Солнечный блик играл на лбу,
И в светлых волосах
Играли лучи света!

— Вот, Момона. И ты знаешь, кто поет эту песню? Мари Дюба! Реймон отдал ей! Какая подлость!

Напрасно я доказывала Эдит, что Реймон не виноват, что до того, как они встретились, он мог распоряжаться своими песнями. Она ничего не хотела слушать.

— «Легионер» — это мое, и ничье больше!

Он должен был сохранить ее для меня. Это *моя* песня, *моя* история!

Когда она была чем-нибудь страстно увлечена, объективности ждать не приходилось. Я хорошо знала свою Эдит, я представляла себе, во что из-за этой песни, отданной когда-то Мари Дюба, превратились дни, а главное, ночи Реймона…

Она постучала кулачком по столу:

— К черту, я буду ее петь! Слышишь? Я заставлю забыть Мари Дюба!

Теперь никто и не помнит, что Мари Дюба пела «Легионера», все знают, что это песня Эдит…

Из рассказов Эдит я хорошо представляла себе ее жизнь с Реймоном. Песня их связывала крепче, чем обручальные кольца.

Эдит быстро возместила Реймону все, что он ей дал. Благодаря ей он стал знаменит.

Как и другие, Ассо оставался возле Эдит примерно полтора года. Но даже много времени спустя, когда они уже давно не были вместе, все еще говорили: «Пиаф и Ассо».

«АВС» на Больших бульварах был самым знаменитым мюзик-холлом в Париже. Слово его директора Митти Гольдина решало все в мюзик-холльном мире. Когда этот венгр приехал в Париж из Центральной Европы, единственным его багажом был талант. Этот человек мог похвастаться тем, что почти все знаменитости в мире песни обязаны ему своей славой. Все они выступали на его сцене, но лишь немногие там дебютировали. У них не хватало смелости. Даже те, кто мог проходить первым номером программы (самое неудачное место), кто уже имел стаж работы на других сценах. А в Париже их много: «Консэр Пакра», «Бобино», «Гетэ Монпарнас», «Ваграм», «Альгамбра», «Мулен-Руж» и другие, не считая маленьких городских и пригородных и залов больших кинотеатров, таких, как «Рекс», «Гомон-Палас», «Парамаунт»… И ведь Митти платил не так уж много. Но выступление в «АВС» считалось посвящением в профессию.

В то время известность приобреталась на сцене. Пластинки — были приложением, приходившим позднее. Сейчас наоборот. Микрофоном тогда тоже не пользовались, и пение требовало совсем другой техники. Исполнители должны были обладать голосом и темпераментом. Попробуйте прошептать с чувством «я люблю тебя» залу, где сидят две тысячи человек. А Эдит это умела.

Я была потрясена, когда, придя на Одну из наших встреч, Эдит с ходу мне объявила:

— Момона, свершилось! Я выступаю в «АВС», и знаешь на каких условиях? Угадай!

— В начале второго отделения?

Она гордо выпрямилась и бросила:

— Как «американская звезда»![17]

Я не могла поверить — «американская звезда» с первого раза! Невероятно!

«Конечно, это не с неба свалилось. Реймон все-таки потрясающий тип. Я тебе не рассказывала? Когда он в первый раз заговорил обо мне с Митти, тот рассмеялся.

— Оставь свою девчонку на улице. Здесь ей не место.

Реймон стал его убеждать:

— Я тебя уверяю, что она изменилась. Ты ее не узнаешь. Теперь это не та девочка, что пела в кино перед сеансом. Я ей создал репертуар. Через год будешь локти кусать, если сейчас ее не возьмешь!

— Сейчас я говорю «нет»!

Ты знаешь Реймона, если он что-то вобьет себе в голову… Словом, на следующий день он снова пришел к Митти».

Мне нетрудно представить себе, как Реймон, покуривая трубку, сидит на продавленной банкетке перед дверью кабинета Митти.

«Митти выходит из кабинета и видит Реймона.

— С чем пришел, Реймон, хочешь предложить песню?

— Нет. Я хочу поговорить о контракте для малышки Пиаф.

— Тогда можешь уйти.

— Я снова приду завтра.

— Завтра, послезавтра, все равно — «нет»!

Так продолжалось несколько недель, и Митти Гольдин неизменно отвечал «нет».

Реймон приходил к нему каждый день. Старый негодяй заставлял его ждать по нескольку часов. Не знаю, сколько времени это тянулось, знаю только, что долго…

В конце концов Митти не выдержал.

— Послушай, Реймон, только для тебя. Она выйдет первым номером в начале программы.

— Нет. Ты ее пригласишь как «американскую звезду».

И старый упрямец уступил…

За это надо выпить, Момона. Давайте, присоединяйтесь, я всех угощаю!»

К счастью, мы сидели в маленьком баре, и посетителей было немного. Мы крепко выпили. Потом Эдит сказала:

— Повеселились, и хватит. Пойдем в Сакре-Кёр, поставим свечку сестричке из Лизье.

В Сакре-Кёр Эдит поставила свечки всем святым. Когда она бывала счастлива, она должна была поделиться своим счастьем со всеми. Со всем небесным сонмом!

Мы вышли из церкви. Эдит крепко сжимала мою руку. Какими мы были маленькими перед этим Парижем, который сиял огнями у наших ног! Казалось, в нем отражалось небо со всеми звездами… Эдит сказала своим глубоким и сильным голосом:

— Момона, «АВС» это только первая ступенька. Я поднимусь так высоко, что голова будет кружиться…

Я смотрела на нее, и мне делалось страшно. Я боялась, что она станет недосягаемой для меня.

— Не оставляй меня внизу, Эдит.

— Ты с ума сошла! Но знай, моя жизнь изменилась. Теперь все пошло всерьез.

Ну и дела были с этим «АВС»! Прошли времена, когда мы вязали платье. Наступало время успехов, миллионов, путешествий, славы.

Эдит звонила по телефону моей консьержке в любое время дня и ночи. Та злилась, но я не обращала внимания. Эдит мне кричала:

— Приходи скорей, Момона! Есть новости! Я должна тебе рассказать.

И я летела.

— Момона, наконец я познакомилась с «Маркизой» и «Маркизом». Они меня приняли в своей конторе запросто, на равных.

Мы уже давно ждали этого! Господин и госпожа Бретон (издательство Рауль Бретон) были королями мира песни. Ни одна карьера не могла сложиться без их участия. Это они открыли Шарля Трене, сделали его имя известным. «Поющий чудак» в начале своего творческого пути нравился далеко не всем. Каталог их издательства был как справочник «Кто есть кто» в профессии эстрадного пения.

Сколько времени провели мы в свое время в подъезде их конторы… в надежде, что они нас заметят. Но у нас был слишком жалкий вид. Я не забыла госпожу Бретон, маленькую живую брюнетку с умными глазами. А как она держалась, какой шик, какое изящество! Настоящая маркиза! Всегда была увешана драгоценностями, и браслеты красиво позвякивали.

«Когда мы с Реймоном пришли к ним в контору, обставленную как гостиная, я поняла: «На этот раз все будет по-другому!»

«Маркиза» сказала мне:

— Вы рады, что выступаете в «АВС»?

Я ответила: «Это потрясающе!» От волнения я не могла придумать ничего другого.

— Только есть одно маленькое затруднение. Вы «американская звезда» в программе с Шарлем Трене. Ваше имя «Малютка Пиаф» рядом с его именем совсем не смотрится на афише.

Она сказала это очень мило, но твердо. Я подумала: «Ну, опять все сначала, как с Лепле. Придется снова менять фамилию».

— Я хочу вам кое-что предложить. «Малютка» — это подходит, скорее, для кабаре, и потом, оно уже вышло из моды. Что вы скажете насчет «Эдит Пиаф»?

— Очень хорошо,— ответил Реймон.

Мы выпили шампанского. Она вылила мне несколько капель на голову.

— От имени Песни я нарекаю тебя «Эдит Пиаф».

— Вот, потрогай мои волосы, Момона. И я принесла пробку от бутылки, спрячь ее! (Сколько же эта пробка путешествовала с нами! Но потом я ее потеряла.) «Эдит Пиаф»… как ты это находишь?»

Раз она была довольна, разумеется, я с ней соглашалась, но мне все-таки было немного жаль расставаться с «Малюткой». Кусок прошлого, как часть обветшавшей стены, сразу обрушился на глазах. Эдит этого не видела, а передо мной легла груда старых камней, и тоска сжала сердце.

Реймону не пришлось заниматься ни платьями, ни прической, ни косметикой. Эстафету подхватила «Маркиза», которая на всю жизнь полюбила Эдит. Перед премьерой она повела ее к одному из лучших модельеров, Жаку Эм. Эдит рассказывала мне, захлебываясь от восторга:

«Ах, Момона! Если бы ты видела! Какие залы, продавцы, платья! До чего красиво! Когда у меня заведутся деньги, ты тоже будешь там одеваться. Помнишь, как мы глазели на витрины «Для всех» или «Все для всех», когда шли из «Жерниса»? Мы обмирали перед платьями за девятнадцать франков! Как же нам тогда было мало надо, ничего мы не понимали!

«Маркиза» сказала, что платье, в котором я выступаю, я не должна больше нигде носить, кроме сцены, и что мне нужно накупить себе туалетов для приемов, для коктейлей, для всей этой шикарной ерунды. Что ты об этом думаешь?»

Я уже ни о чем не могла думать. События захлестывали меня. Я не поспевала за Эдит. Я задыхалась в этой гонке. Вместо одного

вдоха мне приходилось делать два.

«Маркиза» выбрала для Эдит фиолетовое платье с накидкой на подкладке цвета пармской фиалки. Она была в нем такой прелестной! Да, у мадам Бретон был вкус! Она повела ее также в институт красоты. Но там Эдит взбунтовалась:

— Кремы, лосьоны — еще туда-сюда. Нежные, душистые. Но декоративная косметика не для меня. После их рук выглядишь куда хуже, чем до! Потом, ведь я себя знаю, я к себе привыкла. А когда я смотрю на себя в зеркало и мне улыбается незнакомая клоунская рожа, я готова в нее запустить чем попало.»

За три недели до генеральной Эдит перестала спать, есть и пить.

«Момона, я больше не могу выносить Реймона. Его всезнайство сводит меня с ума. Он хочет, чтобы я брала уроки пения, уроки сольфеджио. Никогда этого не будет. Я сказала «нет»! Я тогда потеряю все, что имею».

И не сдалась. Готовая учиться всему, чему угодно, ради своей профессии, в этом она была непреклонна.

«Он мне осточертел со своими советами, у меня от него мигрень: «Делай то…», «Не делай этого…», «Говори так, а не так…», «Пой, не кричи…». Он задурил мне голову, я не соображаю, что он мне говорит.

Уроки я решила брать, но по-своему, в одиночку. Мари Дюба выступает в «АВС» как раз передо мной. Я буду ходить слушать ее, и ты будешь ходить со мной».

Я работала на заводе, у меня был муж. Мне было нелегко, очень нелегко… быть сестрой Эдит! Если она что-нибудь решала, то не считалась с другими. А я была слишком горда, чтобы рассказывать ей о своей скромной жизни. Да она бы меня и не поняла, это было слишком далеко от нее. Она бы махнула на меня рукой, и все.

Приходилось выкручиваться. И в течение двух недель, каждый вечер, а иногда и днем, когда был утренник, мы ходили слушать Мари Дюба.

«Ай, какой урок! Момона, да посмотри на нее! Послушай ее!»

Вплоть до последнего концерта Эдит открывала для себя все новые профессиональные приемы, которых она прежде не

замечала. Именно наблюдая Мари, Эдит поняла, что сам выход на сцену, движение по ней, жесты, паузы, молчание на музыке — пунктуация песни.

«Посмотри, Момона, вот она вышла, еще не открыла рта, но она уже живет. Реймон мне все хорошо объясняет, но это слова. Ее я вяжу. И понимаю, почему она делает то или это. Все становится ясно».

Эдит не собиралась подражать Дюба, она никогда никому не подражала; ей хотелось проверить себя. Мари была для Эдит тем маленьким камешком, которым проверяют золото, когда вы приносите в ломбард сдавать драгоценности. Восхищение Мари Эдит сохранила на всю жизнь.

Она часто ходила к ней за кулисы, забивалась в угол и слушала, как Мари разбирала собственное исполнение. Это тоже было уроком. Едва сойдя со сцены, когда зал ревел от восторга, Мари говорила: «Нет, в последнем куплете «Педро», когда я повторяю «Педро… Педро…» — здесь должно быть пламя, солнце, кастаньеты и одновременно посыл. Я слабо посылаю. А вам не кажется, что в «Молитве Шарлотты» я пережала? Надо бы проще. Шарлотта ведь это делает не ради кого-нибудь, кто на нее смотрит. Она это делает ради кого-то там, наверху, перед кем не нужно ломать комедию».

«Эта женщина — дама,— говорила Эдит.— Слушая ее, я вижу, чего мне недостает».

На примере Мари Дюба Эдит поняла, что такое профессиональная совесть.

Генеральная приближалась. Нервы Эдит и Реймона были напряжены до предела.

Он написал для нее песню о ее друзьях-легионерах.

— Момона, это песня действительно моя. Хватит попрошайничать! Больше я не пою чужих песен! Пою свои!

С каким торжеством она это сказала!

Как мне повезло, что я смогла прожить вместе с Эдит потрясающий период ее дебюта в «ABC»! Эдит буквально менялась на глазах. Как в кино, она из гусеницы превращалась в бабочку. Сначала вы видите, как чуть-чуть шевелятся краешки сложенных крыльев. Вы еще не очень понимаете, что это такое, но куколка распухает, потом вытягивается, смятые до этого крылья распрямляются, и вот она — бабочка! Вся шелковистая, бархатная, готовая взлететь в блеске славы.

Каждый день в облике Эдит появлялось что-то новое. У актрисы отрастали крылья, на которых ей предстояло взлететь в лучах прожекторов «ABC». За три дня до премьеры Эдит мне сказала:

— Сегодня мы репетируем всю ночь. Будет прогон всей программы в костюмах и со светом. Ты должна быть.

— Да, но Реймон…

— Сядешь в глубине зала. Он тебя не увидит.

Я была рада, но как жестко она это сказала…

— Это очень важно, Момона; я хочу, чтобы завтра ты рассказала мне обо всем, что увидишь. Но так как есть много всяких моментов, которые ты можешь не уловить — им меня научил Реймон,— я сейчас тебе кое-что объясню.

О-ля-ля! Прекрасная история,
Наверху, на стенах бастиона,
В солнечных лучах, полных славы,
И на ветру полощется флажок.
Это вымпел легиона!
О-ля-ля! Прекрасная история,
Их осталось трое на бастионе,
Обнажены до пояса, покрыты славой,
В крови, от ран и ударов, в лохмотьях,
Без воды, вина и боеприпасов,
Даже не могут кричать: «Победа!»
У них украли их флажок —
Прекрасный вымпел легиона!

О-ля-ля! Прекрасная история,
Те трое, на бастионе,
На своей груди, черной от пороха,
Кровью нарисовали,— мать вашу так —
Прекрасный вымпел легиона!
И крик «Мы в строю легиона!»

Ну, во-первых, в концертной программе есть определенный порядок. Песни нельзя нанизывать одну за другой, как попало. В жемчужном ожерелье красота жемчужины зависит от места, которое она занимает.

Теперь о свете. Он меняется на каждой песне, в зависимости от стиля. Свет, как у папы Лепле, белый, слепящий, прямо в лицо, вообще за освещение не считается. На меня светят синим, красным, смешанным, но не ярким светом. Яркий меня убивает.

Еще один хитроумный трюк — ложный занавес. После пятой

песни занавес опускается, как будто ты кончила петь. Публика должна аплодировать, вызывать тебя. Если публика вялая — ничего: занавес поднимается все равно с триумфом, под музыку. Потом даются ложные занавесы в конце, потом вызовы, бисировка…

Из-за света у меня будет косметика «для сцены». Тут смотри в оба. В этом я не доверяю Реймону. У меня на этот счет свое мнение. Реймон, если бы мог, превратил меня в Марлен Дитрих. И не потому, что он глуп или слеп, нет, просто он мужчина, и женщину, с которой спит, объективно оценить не может. То ему много, то мало!

Я уверена, что на сцене должна быть такой же, как на улице: бледное лицо, большие глаза, рот, и ничего больше. Из-за платья мы тоже сцепились. Он хотел красное пятно, платок, например. Я ему сказала: «Ты спятил? И канкан танцевать, как Мисс?»[18]

Она жужжала мне в уши целый час.

Назавтра я сидела в глубине зала, и сердце мое разрывалось от счастья: я видела Эдит на настоящей сцене.

Занавес из красного бархата в ярком свете казался живым, позади него было движение, слышались голоса рабочих сцены: «Эй, Жюль! Погаси софит…», «Опусти рампу… еще…», «Так хорошо, мсье Ассо?»

Реймон стоял на сцене, перед занавесом. Мне было странно видеть его через девять месяцев. За это время мог родиться ребенок! В зубах у него была трубка, лицо, обычно сухое, блестело от пота. В свитере с высоким воротником он был похож на рабочего, гегемона с образованием. В тот вечер он показался мне красивым. Он прикрыл глаза рукой и крикнул осветителям: «Меньше света, третий и пятый на балконе, уберите первый центровой. Не заливайте ее светом, ребята, лепите скульптурно». Черт возьми, как он знал свое дело!

Сидевший в третьем ряду Митти спросил: «Ну что, начинаем? Готово?» Реймон спрыгнул в зал и крикнул: «Начали!»

И заиграл оркестр. У меня подкатил ком к горлу: восемнадцать музыкантов для Эдит! Для одной Эдит! Как в церкви, слезы навернулись у меня на глаза.

Черный и пустой зал, где пахло пылью и холодным табачным дымом, превратился в волшебную пещеру. Занавес распахнулся, и вышла Эдит. Луч света подхватил ее и, как крыло ангела-хранителя, больше не покидал. Дирижер не сводил с нее взгляда, и она начала петь. Она велела мне смотреть во все глаза, но я не смогла. Я уронила голову на спинку переднего кресла и рыдала всю первую песню. Я не могла сдержаться. Но потом открыла глаза и уши и замечала все. Я казалась себе счетной машинкой,

которая все регистрировала. Во мне будто что-то щелкало: «клак, клак, клак!» Я все в себя вбирала. Наверно, так заряжается память компьютера. Что это была за ночь! Когда Эдит кончила петь, у меня руки чесались, чтобы захлопать. Но на репетициях это не принято: считается плохой приметой. Занавес закрылся. Пауза. Голос Митти:

— Хорошо, Эдит. Очень хорошо!

Реймон вывел ее из-за кулис. Он вынул свой блокнот; Эдит стояла перед ним как послушная девочка, подняв на учителя огромные глаза. Теперь он был в роли патрона.

— После третьей песни ты даешь слишком маленькую паузу. Публика должна успеть тебя принять. Не вступай так быстро. Я поднимался на галерку. Эдит, ты на них мало смотришь. А поешь ты для них. Твой успех зависит именно от простого народа. Когда кланяешься, смотри только наверх, чтобы им казалось, что ты смотришь им прямо в глаза.

В шестой песне «Вымпел легиона» вы опаздываете с полным светом, ребята! Получается провал, она уже кончила петь, а света еще нет. Это должно совпасть, ведь это же победа!

Да, в тот вечер я оценила, какую работу проделал Реймон. Я ушла от них не зря…

Митти крикнул:

— На сегодня все, ребята. До завтра.

И зал опустел, в нем стало холодно и грустно.

На следующий день я пришла на свиданье с Эдит намного раньше. Всю ночь я не смыкала глаз. Не успев войти, Эдит спросила:

— Ну, как, Момона, вчера?

— Потрясающе!

И мы обнялись.

Такой Эдит была всегда. Она любила комплименты, они были ей приятны, радовали, но ей нужна была критика, она ее требовала. По этой черте узнаются большие артисты.

— Что касается песен, положись на Реймона. Он в этом сечет. (Мне трудно было сделать это признание, но это была правда.) С прической — все в порядке. Косметика: внимательней крась губы, ты их не вырисовываешь, а шлепаешь по ним помадой кое-как.

Эдит всегда красилась, не глядя в зеркало.

— Момона, мой стиль — никакой косметики. Лицо должно быть обнаженным. Я отдаю его публике, как возлюбленному. А что ты скажешь о платье?

Для сцены ей сделали черное платье из модного тогда шелка клоке. Очень простой покрой, длинные рукава и беленький воротничок.

— Мне не понравился воротничок.

— Но у Лепле у меня тоже был воротничок.

— Это выглядело совсем по-другому. Твой маленький воротничок из поддельных кружев придавал хоть какую-то элегантность вязаному платью. На этой сцене, при сложном освещении ты будешь лучше выглядеть с «обнаженным», как ты говоришь, лицом и без воротничка. Тогда светлым, ярким будут только твое лицо и руки.

— Мне нравится то, что ты говоришь. Пожалуй, это правильно. Придется Реймону это проглотить. Ты знаешь, сейчас он себе цены не сложит.

(В вечер премьеры она была в платье без воротничка. Я тоже одержала свою маленькую победу.)

Уходя, она протянула мне коробку.

— Это тебе на завтра, на премьеру. Пальто. Не снимай его.

Не знаю, как бы я без него вышла из положения! У меня не было ничего приличного!

Назавтра, в новом темно-красном пальто с лисьим воротником, я чувствовала себя, как мне казалось, уверенной. Но при виде битком набитого зала, где простой народ смешался с теми, кого зовут «Весь Париж», я чуть не закричала от страха! Вдруг они не примут мою Эдит?

Решалась ее судьба. За тридцать минут она должна была добиться успеха. Неудача в «АВС» — и все придется начинать сначала.

До рези в глазах всматривалась я в занавес, из-за которого должна была появиться Эдит. Она вышла на сцену так же уверенно, как выходила петь на улице! Но я знала, чего ей это стоило.

По залу пробежала волна. Маленькая, немного недоразвитая женщина выглядела почти бедно в коротком платье (в то время на эстраде принято было выступать в длинном), ее прекрасное лицо, на которое нищета наложила свой отпечаток, ярко светилось в луче прожектора, а в голосе было все: и радость, и печаль, и любовь… Для народа она — это были они. Для других она — было то, чего они не пережили, то, с чем сталкивались на улице, но чего не желали замечать.

Аплодисменты раздались после первой песни. Вокруг меня, надо мной, я сама — все затаили дыхание. Голос Эдит был как порыв ветра, который все сметает и наполняет легкие пьянящим свежим воздухом.

Когда Эдит кончила петь, зал заревел: «Еще! Еще!..»

Со своего места я видела, что Эдит дрожит, выходя на поклоны. Она выглядела такой хрупкой, что казалось, вот-вот

упадет. Впереди ее ждало много успехов, колоссальных триумфов, но этот был особый. Как вихрь он увлекал ее к славе.

Я сидела в зале, в горле комом стояли слезы, и я думала: «Теперь она станет другой. Не может быть, чтобы она осталась такой, как раньше. Что-то изменится, возникнет стена. Этот успех разделит нас, как линия Мажино. Мы больше не будем вместе».

Всем этим людям вокруг, которые аплодировали ей, мне хотелось крикнуть: «Я с ней! Мы вместе!» Я безумно гордилась ею, я опьянела от гордости. Как все в зале, я сидела в кресле. Отныне это было мое место. А ее место теперь — там, на сцене, в свете прожекторов. Пространство, разделявшее нас, внушало мне страх. И вместе с тем безумие, восторг, царившие вокруг, заставляли дрожать от счастья.

В тот вечер в «ABC» в книге жизни Эдит открылась новая страница. Годы унизительной нищеты ушли в прошлое. Но мы прожили их вместе, и мне были дороги эти восемь лет. А в тот вечер я знала: она будет смеяться, веселиться и вокруг нее будут другие люди…

Я была слишком молода, слишком ранима, чтобы понять, что для Эдит это не имело значения.

И если в тот вечер я не пошла к ней за кулисы, то только потому, что сама этого не захотела. Эдит сказала мне накануне:

— Момона, после концерта приди поцеловать меня.

Но это было невозможно. Я знала, как бы все произошло в этом случае. Реймон взял бы меня за шиворот нового пальто, приподнял при всех в воздух, чтобы показать, что он здесь командует, и сказал бы какую-нибудь унизительную для меня остроту.

Но дело было не только в этом. Триумф Эдит в «ABC» был и его триумфом, он был счастлив. Он, и никто другой, создал «священного идола». Я не собиралась портить ему праздник. Тем более что радоваться ему оставалось недолго. Для него все было кончено.

Эдит не была неблагодарной. Отнюдь. Она к нему прекрасно относилась, но больше его не любила. Дружеские отношения она сохранила на всю жизнь, но не любовные.

Она никогда не забывала, что обязана Реймону. Она была ему бесконечно благодарна, но это не то чувство, которое питает любовь.

Каждый раз, когда он в ней нуждался, она оказывалась рядом. Она не покинула его, когда он стал старым и больным. Но любовь прошла, кончилась, и в этом Эдит никогда не шла на компромисс. Ей нужно было новое, свежее чувство. «Момона, любить по-настоящему можно, только когда чувствуешь это как в первый

раз…».

Назавтра все газеты писали о ней. Я купила их все! Сколько денег ушло! Один критик писал: «Вчера на сцене «АВС» во Франции родилась великая певица…»

С этого вечера в профессиональной жизни Эдит больше никогда не было ни спадов, ни простоев, ни остановок. Ей открылся путь к славе.

Глава седьмая. Поль Мёрисс — «равнодушный красавец»

Личная жизнь Эдит не пример для подражания. В ней был смешано все: и дружеские отношения, и мимолетные увлечения, и, конечно, любовь. Едва кончалась одна большая любовь, начиналась другая. Здесь у нее были свои принципы.

«Момона, женщина, которая позволяет, чтобы ее бросили,— круглая дура. Мужиков пруд пруди, посмотри, сколько их по улицам ходит. Только нужно найти замену не после, а до. Если после, то тебя бросили, если до — то ты! Большая разница».

Этот принцип Эдит всегда применяла с сознанием выполняемого долга. Ни один мужчина не мог ее переделать. Она сначала изменяла, а потом смотрела что к чему. Иногда она их ставила в известность, иногда украдкой посмеивалась. И если находился такой, кто пытался ее обойти, он попадал впросак. Она уже давно была на много корпусов впереди. Пока новый возлюбленный еще не мог жить с нею, она молчала, держала при себе старого, считая, что в доме всегда должен быть мужчина. «Дом, где не валяется мужская рубашка, где не натыкаешься на носки, галстук, висящий на спинке стула еще теплый пиджак,— это дом вдовы, в нем тоска и мрак».

В отеле «Альсина» Реймон доживал в неведении последние дни. После успеха в «АВС» он был уверен в совместном будущем с Эдит. Он думал, что стал ей необходим.

Эдит была счастлива. Ее повсюду приглашали. Профессия стала для нее теперь больше чем дом, она стала триумфальной аркой, сложенной из каменных глыб.

Для полноты счастья ей не хватало только новой любви. И она ее нашла.

— Момона, послушай. Я встретила удивительного человека. Совершенно не похожего на других!

Я подумала: «Так, начало положено».

— И что он делает?

— Поет в одном кабаре.

— Как его зовут?

— Поль Мёрисс.

Мне это имя ничего не говорило.

— Ты о нем не слышала?.. Ничего удивительного, ты же от

всего отстала!

Я могла возразить: «А кто виноват?» Но смолчала. Мне хотелось услышать продолжение.

— Ты ведь знаешь, я сейчас выступаю в «Найт-Клубе» на улице Арсен-Уссэ. Каждый вечер я выпиваю рюмку вина в «Каравелле». Это по соседству. Там встречаюсь с друзьями. Ну вот, захожу туда на днях, без всякой задней мысли. Вдруг у стойки бара вижу парня прямо с картинки английского модного журнала. Красив, очень красив. Черные волосы, блестящие, как вороново крыло. Черные глаза… Да, они у него темные, ну надо же менять иногда! Изыскан, как милорд. Немножко похож на манекен, но это пройдет. Стреляю в него глазами. Ну, ты знаешь, как я умею,— такой чистый, правдивый взгляд. И что ты думаешь? Никакого впечатления. Ни тени улыбки, у него даже ресницы не дрогнули. Я ушла.

Назавтра, в тот же час, он был на месте. Я навела справки.

«Он каждый вечер выступает в «Адмирале», мадам Эдит. Перед своим номером он, как и вы, заходит сюда пропустить стаканчик. Это господин Поль Мёрисс»,— сообщил мне бармен таким тоном, как если бы сказал: «это переодетый принц».

— И вот уже три дня как мы смотрим друг на друга.

— И все?

Она расхохоталась.

— Тебе не понять. Такого, как он, ты никогда еще не видала. Послушай, Момона, мне самой неудобно, а ты не могла бы походить туда и порасспросить о нем? Мне бы хотелось знать, откуда он и что за птица.

На следующий день я уже все знала: ему двадцать шесть лет, родом из Дюнкерка, отец — директор банка. Окончил юридический факультет в Экс-ан-Провансе, потом работал клерком у нотариуса. Дебютировал как певец в мюзик-холлах Марселя. Приехал в Париж и работал инспектором в агентстве по страхованию жизни от несчастных случаев. Вид у него, кстати, был для этого вполне подходящий! Продолжает стремиться в мюзик-холл и получает почетный приз на конкурсе в «Альгамбре». Его приглашает для небольшого выступления Митти Гольдин. Кроме того, он каждый вечер выступает с песнями в разных кабаре.

Выкладываю мои сведения Эдит.

— Нечего сказать, веселенькое прошлое! Не манит приключениями. Но мне как раз нравится его чертовски серьезный вид. А как он хорошо говорит, ты представить не можешь!

— Ах, вы уже разговариваете? Не слишком быстрый темп ты

берешь?

— Не подначивай. Он заговорил со мной вчера. Ты ведь знаешь, какая у меня интуиция. Я решила пойти в «Каравеллу» одна, чтобы он не смущался. Не каждый решится подойти к женщине, когда она в компании. Я подумала: «Может, он застенчив?»

Не успела я присесть, чтобы принять вид несчастной, ожидающей утешения, как он посылает мне церемонную улыбку, такую холодную, что у белого медведя на льдине пробежал бы мороз по коже. Но меня она согрела. Я подумала: «Лед тронулся!» Только я это подумала, как он подошел.

— Вы позволите предложить вам бокал шампанского?

Я этого ждала. И вот мы сидим рядом, оба одинаково смущенные. Ты же понимаешь, я не хотела бросаться ему на шею, это совсем не его стиль. И мы вели такую «благовоспитанную» беседу, что каждый сказал не более десяти фраз. Наконец, чтобы немного разморозить его, я сказала:

— У вас красивые глаза.

Но оставила про себя то, о чем думала с самого начала: «Хотелось бы мне на них посмотреть, когда они станут менее «арктическими»!

Казалось, он был тронут, собрался с духом и ответил:

— А я тотчас заметил ваши глаза и улыбку. Когда вы кому-нибудь улыбаетесь, вы как будто обо всем, кроме него, забываете. Это очень трогает.

Это было так красиво, что я подумала: «Не может быть, чтобы он сам сочинял такие фразы, наверное, где-нибудь вычитал!»

Лед был сломан. Он подарил мне полчаса своего драгоценного времени. В заключение сказал:

— Приходите послушать меня. Мне будет приятно знать ваше мнение.

Когда он говорит, мне приходится слушать очень внимательно, чтобы повторить тебе все слово в слово. Иначе пропадет весь шарм».

За развитием этой истории я следила, как за многосерийным приключенческим фильмом типа «Трех мушкетеров». Конец заранее известен, но все равно увлекаешься и смотришь с удовольствием. Поединок Эдит с таким странным кавалером меня очень забавлял.

На следующий день была кульминация. Началось вроде за упокой, но каков был конец серии!

«Я ходила слушать Поля. Мне не понравилось. Он не сделает карьеры в песне. Его жанр: одет с иголочки, застегнут на все

пуговицы, каменное лицо.

Ах, приди, приди, моя Ненетта,
Покатаемся на лошадках на карусели.
От этого кружится голова.
Как в похмелье без вина.

Это жанр на любителя. Тех, кто ходит на галерку, он не рассмешит… Но до чего же он красив, собака! Я пошла к нему за кулисы.

Завязывая галстук, он меня спрашивает:

— Ну как, понравилось?

— Нет, не особенно.

— Ах, так?!

— Вас это не огорчает?

— Отнюдь. Нельзя же нравиться всем.

— Но мне?

— Вы — другое дело. Но я не надеялся соблазнить вас своими куплетами…

— Ах, значит, чем-то другим!

— Дорогая, я мечтаю об этом…

И тут — ты крепко сидишь на стуле?— он сложился пополам и наклонился к моей руке…

Сцена была как в театре! Но я обиделась и не удержалась, чтобы не сказать:

— Послушайте, Поль, выла меня сердитесь?

— Нисколько. Почему вы спрашиваете?

— Потому что вы не поцеловали мне руку. Я ничего не почувствовала.

Он рассмеялся.

— Но это же видимость. Только невоспитанный человек может себе позволить «по-настоящему» поцеловать руку женщине. Полагается только коснуться ее губами.

Вот я попалась! Но вывернулась! Посмотрела ему в глаза и сказала:

— Но вы, вы — другое дело… Вы бы могли…

Момона, нам еще многому нужно учиться. Я никогда не думала, что это так сложно — целовать руку! И тут Поль меня поразил. В двух словах он мне предложил с ним переспать.

«Эдит, я думаю, чем раньше, тем лучше. Не вижу, зачем ходить вокруг да около, и не понимаю, зачем женщинам перед тем, как сказать «да», нужно говорить «нет». Эдит, не хотите ли прийти ко мне сегодня вечером выпить бокал шампанского?»

Мне хотелось ему ответить: «Два, а не один!» Но говорить

сразу напрямую побоялась. Ответила, как принцесса:

— У вас могут быть сомнения?

Он рассмеялся, как мальчишка. Как мне хотелось его расцеловать!..

— Эдит, я зайду за вами после вашего выступления. Вы прелесть. Целую руки.

И он мне их поцеловал — по-настоящему — обе. Вот.

— Ну и что?

— Ну и все. Дело сделано. Он мой возлюбленный. Он не похож на других. Ты не можешь себе представить, до чего он хорошо воспитан. Подает пальто. Всегда пропускает вперед. Я не привыкла. Иногда мне кажется, что я себе слугу завела.

Я ее понимала. С нашими ребятами все было по-другому, это мы: их пропускали вперед. Мы должны, были уважать мужчину. Что касается Реймона, с ним все зависело от его настроения…

— А как с Реймоном?

— Жду. Я же еще не знаю, как у меня сложится с Полем.

Я была уверена, что они останутся вместе. Я сразу увидела, что Поль поражает ее воображение на каждом шагу. Никогда с ней такого не было. Она восхищалась мужчинами; чтобы любить, ей это было необходимо. Но их реакцию, поступки она всегда предвидела заранее. С Полем выходило иначе, она никогда не знала, что он сделает, скажет. Экзотический вариант. Если бы за завтраком он стал есть орхидеи, она восприняла бы это нормально.

Стоял сентябрь 1939-го. Мы с Эдит никогда, не следили за событиями. От политики мы были бесконечно далеки. В 1938 году, во время Мюнхена, я пробовала сказать ей, что в киосках продаются газеты, в которых говорится о войне. Она ответила: «Брось, Момона. Тебе больше всех нужно? Твое место с краю — если не выкрутишься, будешь платить за разбитые горшки. Так что не расстраивайся раньше времени — все равно ничего не изменишь!»

Она оставалась при своем мнении. Действительно, мы вышли из такой среды, что нам было наплевать на ход мировых событий. Темы наших бесед не были ни сложными, ни пространными. Каждый день мы трудились в поте лица, зарабатывая на каравай хлеба и на бутылку вина. И как только их добывали, нам становилось все равно, что там — война или конец света. В нашем кругу не интересовались даже забастовками. Они ничего нам не приносили — ни пользы, ни вреда. Мы не принадлежали к рабочим. У нашего «класса» даже не было названия. Когда мы были девчонками, единственным, кто говорил нам что-то о политике, об истории, был наш отец. Да и он не углублялся!

Но 1 сентября 1939-го — это особая дата. У меня есть причины не забывать ее. Призывали моего мужа. Накануне вечером я проводила его в Венсенн.

Венсеннский форт в эти дни превратился в проходной двор. Сержанты и офицеры в мундирах, пехотинцы со всей выкладкой входили и выходили… И было множество людей, вырядившихся, как на карнавал: военные кители и полицейские кепи сочетались с гражданскими брюками; форменные галифе — с пиджаками и тому подобное. Эти странные солдаты разговаривали, стоя или лежа вдоль стен, сидя на земле. Одни закусывали, у других не было с собой никакой еды. Я ничего не понимала, и пыталась увязать то, что происходило, с рассказами отца, участника войны 1914 года. Но это никак не совпадало. Было совсем не похоже, что впереди может ждать победа.

Вот так, среди всех этих звуков — новобранцы шаркали сапогами, кашляли, плевали, ругались, сержанты кричали, но на них никто не обращал внимания,— я рассталась со своим мужем во дворе Венсеннского форта. Мы обнялись. Мы были молоды и ничего не понимали. У меня в сумочке лежала его фотография; у него в бумажнике — моя. Больше я его не видела. Его убили в числе первых. Я никогда не говорю о нем. Это был парень, которому в жизни не повезло. Да и мне, наверное…

Можно себе представить, какое у меня было настроение на следующее утро.

— Мам (мадам) Симона,— кричит на весь двор консьержка,— ваша сестра звонит!

Я бегу. Господи, Эдит, какое счастье! На другом конце провода голос Эдит холоден, как лед. Она со мной даже не здоровается.

— Симона, отвечай, почему ты меня бросила?

Обычно я не лезу в карман за словом, но тут я растерялась.

— Сейчас же возвращайся.

Услышав эти слова, я вспомнила, как несколько лет назад, когда я удирала, Эдит мне вот так же командовала: «Домой!»

— Но куда?

— В отель «Альсина», дура, ко мне.

Для меня это было как нельзя лучше. Для тех, кто поет на улицах, война не война — все равно, а для рабочих — нет. Нас выбросили на улицу, а есть было надо. Да и вместо того чтобы оставаться наедине со своей тоской, я возвращалась к Эдит. А ведь я больше уже не верила, что мы будем вместе. У меня была своя жизнь, у нее своя; как будто мы жили в разных полушариях.

— А Реймон?

— Успокойся. Его мобилизовали. Так ты едешь или нет?

Собирай вещи, бери такси. Ключ верни консьержке.

Как всегда, она подумала обо всем, но, как всегда, не подумала, свободна ли я. Я принадлежала ей, моя личная жизнь в расчет не принималась. Реймон уехал, она одна: меня с ней нет, значит, вина на мне!

Расставаясь с улицей, на которой жила, улицей Расставания — удачное название!— я не знала, на каком я свете. С каждым оборотом колеса меня все сильнее охватывала радость. Сердце переполняло счастье. Мы снова будем вместе! В такси я поняла, что жизнь, которую я вела с Эдит, держит меня до сих пор, как наркотик.

Так и не успев разобраться в мыслях, я оказалась в ванной комнате Эдит в отеле «Альсина». Сидя на крышке биде, я смотрела на нее во все глаза и слушала. Для меня это была резкая перемена декораций! Настоящую ванную комнату я видела впервые в жизни, и она принадлежала Эдит, значит,— нам. Я сразу же поняла, что «заседания в ванной» займут в нашей жизни большое место!

— Ты рада, Момона?

— Конечно!

— Вот и хорошо. Дай мне шпильки.

Так снова началась наша жизнь с Эдит.

Эдит любила менять прически. Она была очень ловкой и сама себе укладывала волосы. Парикмахеры ее раздражали. Она к ним ходила, только когда бывала в очень хорошем настроении.

Все жизненно важные решения Эдит принимала в ванной комнате. Мы там всегда бывали одни. Ни один мужчина не смел нам мешать. Мы часами болтали, как сороки, обо всем: о работе, о планах, о переменах в жизни. Здесь принимались великие решения, произносились клятвы». Чем больше расширялся ее кругозор, тем разнообразнее становились темы наших разговоров.

Ее мужчины мало знали ее. Эдит подключала их только к одной теме — любви, с ними она говорила только об этом. На другое они не имели права, к ним был функциональный подход.

Эдит всегда делала вид, что она не кокетлива, что это ее не интересует. Она очень хорошо поняла, что это не в ее образе.

«Я совсем простенькая девочка. Дочь народа, дитя природы… Цветок, выросший на мостовой, я даже не хорошенькая!» И скромно добавляла: «Я знаю, что я не красавица, что я не Грета Гарбо».

Говорила, но сама так не думала. Это было частью ее легенды, которую она умело создавала! В газетах и журналах писали, что она незаметная маленькая женщина — только что не горбатая!— что вся ее красота в таланте, что в нем ее величие.

Эдит повторяла это за ними, но не была от этого в восторге. Когда мы оставались вдвоем, она оценивала себя иначе:

— Посмотри на меня. У меня глаза не обычного цвета: цвета фиалки, рот подвижный и красивый. Может быть, лоб немного большой, но это лучше, чем низкий и узкий. Так я не выгляжу ни глупой, ни ограниченной. И потом, это не страшно, смотри, челка — и он стал меньше!»

Она любила посмеяться, и тогда косметические маски, которые она накладывала себе на лицо, покрывались трещинками:

— Момона, смотри, моя штукатурка облупилась! Тем лучше, попробуем другую. Эта не годилась!

Для торговцев косметикой Эдит была идеальной клиенткой, о какой только можно мечтать.

— Момона, посмотри эти рекламы в газете: «Соблазняйте мужчин клубничным кремом доктора Х…», «Вы останетесь вечно молодой, если будете пользоваться клетками каких-то эмбрионов», «Все ваши морщины стираются, ка резинкой» и т. д. Ты в это веришь?

Я в этом вопросе всегда была очень осторожной.

— По-моему, тебе это не так уж нужно.

— Это придет. Лучше предупреждать, чем лечить.

Она покупала все, что ей попадалось на глаза. В первый день она восклицала: «Посмотри! Это что-то потрясающее! Я себя не узнаю!» На второй или третий день она уже говорила: «Ничего особенного. Наверно, есть лучше. Попробуем другое».

По сути, она ни в чем не нуждалась. У нее была восхитительная, бело-розовая, нежная кожа. К тому же нечувствительная! Это был дар природы. Раньше Эдит употребляла марсельское мыло, розовые маленькие кусочки с чудовищным запахом. Таким мылом только сковородки чистить!

У нее были прелестные, как у ребенка, ушки, прозрачные, как фарфор, и очень красивой формы. Но что у нее было совершенно необыкновенное, так это руки. Узкие, маленькие, они излучали чудесное тепло. Когда она брала вас за руку, это тепло доходило до сердца и заполняло его целиком.

Я была счастлива. Подавала ей шпильки, бигуди, баночки с кремом, слушала ее с ощущением блаженства и полной безопасности. А мир у нас под ногами был так же надежен, как Везувий во время извержения.

Выйдя из ванной, я увидела на стуле у стены китайца, а в кровати — человека в шелковом халате, читавшего газету. Я подумала: «Не может быть, у нее их двое: желтый и белый!» Но не

успела ничего произнести, как Эдит сказала:

— Момона, это Поль Мёрисс, он живет с нами, а это Чанг, мой повар.

Поль с недовольным видом встал.

— Если бы ты меня предупредила, Эдит, я бы надел пиджак.

Господи, пиджак! Он, наверное, ненормальный! Что касается повара, я не верила своим ушам. Здесь же не было кухни! Чанг встал, взял кошелку с провизией, стоявшую у его ног, и прошел в ванную. Ну, конечно, это же так просто! Он клал на ванну доску и готовил пищу на плитках. Его фирменным блюдом был бифштекс с жареным картофелем!

— Ну, что ты на это скажешь? Повар-китаец — это производит впечатление! И большая экономия!

На этот счет у меня не было иллюзий. «Экономное» хозяйничание Эдит обходилось всегда очень дорого!

— Момона, я сняла тебе комнату рядом с нашей. Пойдем посмотрим и распакуем твой чемодан.

Поль нагнулся и взял чемодан.

— Я отнесу. Вы позволите называть вас Симоной? Эдит мне столько о вас говорила!

Краем глаза я видела, что Эдит мне подмигивает: «Ну, что? Ты когда-нибудь такое видела?»

Распаковать чемодан было делом минуты. У меня почти ничего не было.

— Ясно,— Сказала Эдит.— Будешь брать у меня все, что тебе нужно.

У нас были одинаковые размеры.

— Как ты находишь Поля?

— Потрясающе! Отнес мой чемодан! Лежит на постели в шелковом халате, я думала, такое бывает только в кино.

Вечером Поль пригласил нас ужинать, как он выразился. Он подставил нам стулья, подождал, пока мы сели. Положил себе на колени салфетку. Мы замирали от восторга. Было видно, что Эдит к этому еще не привыкла. А я думала: «Это чересчур. Парень перебирает». Казалось, больше того, что нам вбил в голову Ассо, ничему выучиться нельзя, а оказалось, можно, и еще очень многому… Я чувствовала себя не в своей тарелке, боялась сделать что-нибудь не так за столом. Он же был абсолютно свободен. Чувствовался опыт поколений. Он выглядел роскошно, однако мне показался скучным. Я часто завидовала Эдит, мне нравились ее мужчины, я считала, что у нее есть вкус. Но на этот раз я не понимала. Я была не права. Права была Эдит, Поль дал ей то, чего ей не хватало: класс!

Когда к нам подошел официант и спросил, что мы желаем,

Эдит сказала: «Я бы съела…» Поль бросил на нее уничтожающий взгляд и сказал: «Мадам вы подадите то-то и то-то…» — И он прошелся по меню, а в заключение сказал: «А теперь пришлите метрдотеля по вину». И недовольным тоном упрекнул Эдит:

— Ты прекрасно знаешь, что в ресторане женщина выбирает, но заказ официанту делает мужчина. То же и с вином, его заказываю я, но даю попробовать тебе.

Этого мы никогда не слыхали. Да, веселенькая жизнь нам предстоит!

Реймон не знал, что у него уже есть замена. Эдит думала, что когда солдат уходит на войну, то это надолго. Но у мобилизованных бывает отпуск. У меня из головы не выходила мысль о том, что Реймон может появиться.

— Слушай, Эдит, а что ты будешь делать с Ассо?

— Оставлю его только для песен.

— А если он не захочет?

— Не задавай глупых вопросов. Никогда никто не оставался со мной, если я этого не хотела.

Легко сказать! Хоть это так и было, но разрывы часто проходили трудно. Чего только я не насмотрелась!

Как я и предполагала, Реймон вскоре прибыл в увольнение. Вошел без стука — он ведь приехал к себе домой. Первая неприятность — увидел меня.

— Ты вернулась?

— Как видишь.

— Она тебя позвала?

— А как ты думаешь?

— Где она?

— Не знаю.

Мне да не знать! Эдит была в соседней комнате с Полем.

— Послушай, Реймон, хочешь принять ванну? После казармы очень освежает,

— Ты что, смеешься надо мной? Ты знаешь, где она?

— Нет. Могу пойти поискать. Где-нибудь поблизости.

— Вижу, взялась за старое. Вовремя я вернулся.

— Ах, так ты вернулся? Тогда один совет: не суетись.

Я хотела, чтобы он рассердился и стал орать на меня. Тогда бы Эдит его через стенку услышала. Так и получилось. Она вошла в комнату и вместо приветствия набросилась на него.

— Что ты кричишь? Если ты пришел за своими вещами, забирай и сматывайся.

— Что это значит, Диду?

— Никаких Диду, ни Диди, ни Эдит. С меня хватит. Сыта по горло. А ты что тут делаешь, Симона? Нечего тебе слушать.

Мотай за стенку.

Реймон уцепился:

— А что там за стенкой?

— Комната Симоны, а что? Это тебя касается?

— Еще бы! У нее теперь отдельная комната? Вы вместе не спите?

— Послушай, я тебя не спрашиваю, с кем ты спишь! Ты уехал, скатертью дорога!

— Меня призвали в армию!

— Ну и оставайся в ней! Во всяком случае, отсюда катись! Тебе здесь делать нечего!

Когда я выходила, от крика звенело в ушах.

Поль спросил меня:

— Это Реймон Ассо?

— А разве не слышно?

— Да, несколько излишне громко.

Через некоторое время Поль оделся и ушел. Одним стало меньше.

Они ссорились целый час. Потом в соседней комнате стало тише. Я слышала, как Эдит плакала и говорила голоском маленькой девочки:

— Ты поверь, Реймон, тебе досталось лучшее, что во мне есть. Ты навсегда останешься для меня близким человеком. Я тебя никогда не забуду.

— И все-таки, девочка, ты не должна была так со мной поступать. Ведь я был в армии.

Мне был жаль Реймона. Я ставила себя на его место. Не так весело прибыть в увольнение и застать жену с другим в своей же постели. Теперь они говорили совсем тихо. Он, вероятно, давал ей последние наставления в отношении ее профессии.

Я задремала, как вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял Реймон.

— Ты довольна? Добилась своего?

Я зажмурилась, раздался звук, но не пощечины, а захлопнутой двери.

Впоследствии они снова встречались и стали добрыми друзьями. Но если Эдит держалась как ни в чем не бывало, Реймон не мог с ней быть прежним. Он чувствовал, что для нее он только автор песен, которые она либо берет, либо отвергает.

В тот день, когда он ушел, у меня сжалось сердце — ведь все-таки была война… и его могли убить!

Он умер двадцать девять лет спустя, в 1968 году, через пять лет после смерти Эдит, почти день в день. Это произошло в больнице, на шестьдесят девятом году жизни. Последнее, что он

написал дрожащей рукой, было предисловие к только что вышедшей пластинке Эдит с неиздававшейся до сих пор песней «Человек из Берлина». Он снова занимался делами своей «девочки». За несколько часов до того, как уйти навсегда, Реймон продолжал говорить о ней с теми, кто был возле него: «Эдит всегда меня просила: «Никогда не оставляй меня одну!»

Бедный Реймон, он цеплялся за эту фразу, которую Эдит говорила всем, кого она любила настолько, чтобы в какой-то момент желать, чтобы они оставались с ней всегда. Он верил ее словам. И добавлял: «Она была права. Я должен был все выдержать, несмотря ни на что и ни на кого. Если бы я был с ней, я бы смотрел за ней. Я не дал бы ей умереть в возрасте, когда она должна была достигнуть самого большого успеха… Ей надо было выступать только в сопровождении концертного рояля, а не с этими большими оркестрами и хорами…»

Подумать страшно, что, умирая, Реймон все еще жил жизнью Эдит, хотел давать ей советы, руководить.

Реймон не всегда хорошо относился ко мне, но я его уважала. Когда в тот день он ушел, ссутулившись в солдатской шинели, мне стало больно. Быть может, потому, что мы принадлежали к одной породе. А с Полем у меня все время было ощущение, что я нахожусь при дворе Людовика XIV… Что идет спектакль'

В тот вечер Эдит, как всегда, выступала. Когда мы вернулись домой, Поля еще не было. Вероятно, это было результатом посещения Реймона. Эдит начала возмущаться:

— Если он собирается играть со мной в прятки, то доиграется! Нашел время ревновать, когда я выставила Реймона! Радость моя, я тебе покажу!

Не успела она договорить, как дверь открылась и появился Поль. Вошел, как в дорогой ресторан, с вежливой и официальной улыбкой.

— Милая Эдит, я прошу у тебя прощения за небольшое опоздание, но мне нужно было побыть одному, чтобы кое-что обдумать. Так вот, я считаю, что ты не должна жить на Монмартре. Здесь для тебя не то общество. У тебя тут могут быть неприятные встречи, это не годится. С таким именем, как твое, нужно жить в районе Этуаль.

Вернуться с этим домой после сцены, свидетелем которой он был днем? Снимаю шляпу! Вот это класс! Власть его над Эдит заключалась в том, что он ее постоянно удивлял.

— Конечно, очень мило и забавно держать повара-китайца в отеле, но он скорее будет на своем месте в квартире, и ты, кстати, также.

Собственная квартира… Эдит сразу загорелась. Она не только

никогда ее не имела, ей такое и в голову не приходило.

— Что ты скажешь об этом, Момона?

— По-моему, он прав. Это придаст тебе вес.

Когда-то для нас верхом мечтаний была двухкомнатная квартирка с кухней. Квартира на Этуаль означала очень многое. В этом районе живут богачи.

Мы поселились в меблированной квартире на первом этаже в доме номер 14 по улице Анатоль-де-ла-Форж в прекрасном квартале вблизи площади Этуаль, недалеко от «Биду-бара», где вскоре разместился наш «штаб».

Нужно признать, что Поль умел делать красивые жесты. Когда мы приехали со всем нашим барахлом и Чангом, Поль протянул Эдит ключи:

— Открой сама. Войди в свой дом.

Эдит растаяла и бросилась ему на шею.

— О, Поль! Ты прелесть!

Но Поль все делал с постным видом английского пастора, и радость Эдит угасла, как вспыхнувшее, но не успевшее разгореться пламя. Ее постепенно начинало утомлять, что он все время держится на расстоянии.

Поль привез несколько кожаных чемоданов, и сам стал раскладывать свои вещи! Мы к этому не привыкли. Когда в доме у нас жил мужчина, мы за ним ухаживали с любовью: распаковывали его чемоданы, раскладывали и приводили в порядок его вещи. Это был, пожалуй, единственный случай, когда Эдит приводила что-то в порядок. Но больше всего она любила пополнять гардероб своих мужчин сообразно своему вкусу. Она обожала их одевать. Даже когда у нее было мало денег, она с удовольствием на это тратилась. Эти вкусы ей привили сутенеры, тянувшие из нее деньги. Эдит любила делать подарки!

С Полем об этом не могло быть и речи. Вся его одежда была сшита на заказ: костюмы, рубашки, обувь. Он сам выбирал носки, белье. У него были шелковые пижамы, галстуки, шарфы… У него был свой вкус. Эдит это обижало.

— Мне бы хотелось купить ему костюм, рубашки, галстуки… У меня же не меньше вкуса, чем у него, пусть наши вкусы и разные. Он воспитан, слов нет, но ему недостает такта. Мог бы хоть раз надеть один из галстуков, которые я ему подарила!

У Эдит был странный вкус. Как у Пикассо. Для картин это хорошо, но для галстуков!.. У Поля не хватало смелости их носить!

Как зачарованные смотрели мы на его вещи, не осмеливаясь дотронуться: все было разложено, как в роскошном магазине.

— Могла ли ты себе представить, что есть мужчины, которые

так одеваются? Он все шьет на заказ! Может быть, ты таких встречала, но жить с ними не жила. Большая разница! Впервые я имею дело с мужчиной, от которого не пахнет козлом. От Поля пахнет одеколоном, лавандой, дорогой кожей. Он бреется два раза в день — наш отец брился, только когда совершенно зарастал,— и потом протирается английским лосьоном. Когда его целуешь, пахнет свежестью. Ты считаешь, это нормально?— Она смеялась.— Он же не девица!

Его элегантные манеры нас завораживали. Но с ним чаще всего было не до веселья. После уроков Реймона мы поступили в школу Поля.

— Куда ты идешь, Эдит, в таком виде? Как тебе не стыдно?

— А что такое?

— У тебя все платье в пятнах. Женщина, которую зовут Эдит Пиаф, не должна выходить из дома в таком виде. Когда ты опрятно одета, ты выглядишь элегантно даже в платье, которое стоит гроши.

Он был так чистоплотен, что нас с Эдит охватывала паника. Ум за разум заходил. Он заставлял нас мыть руки перед едой! О зубных щетках мы имели самое смутное представление. Поль потребовал, чтобы у каждого из нас была своя и чтобы мы пользовались ею два раза в день.

Это было мне не по нутру. Но Эдит его любила и подчинялась. Когда Эдит любила, мужчина мог заставить ее делать что угодно. Но лишь вначале, потому что затем обстановка менялась. Чистоплотность Поля даже беспокоила Эдит. «Отчего это он все время моется? Может, чем-нибудь болен?»

Теперь это вызывает улыбку. Но тогда было, скорее, грустно. Мы с Эдит этого не могли понять. Когда мы были маленькими, вокруг нас все считали, что микроб от грязи дохнет. Позднее, когда у нас вшей уже не было, Эдит часто подбирала на улице кошек и искала у них блох, устремив в пространство отсутствующий взгляд…

Мы были уверены, что Реймон нас выучил всему, что касалось уменья вести себя за столом. Поэтому, когда Поль сказал однажды Эдит: «Дорогая, я хотел бы, чтобы за столом ты держалась по-другому, по-английски», мы в изумлении посмотрели друг на друга.

— Взгляни, как я держу нож (он держал его как авторучку), я им подталкиваю еду и накладываю ее на вилку.

— Это еще зачем? Я не левша и не акробат. Я привыкла есть правой рукой.

Он расхохотался. Это с ним не так часто случалось. Эдит не выдержала и сказала:

— Поль, хватит. Не морочь мне голову, дай поесть.

Все это не имело бы значения, если бы Эдит и Поль не были чуждыми друг другу.

Когда я была девочкой и мне попадался парень не из наших мест, не из нашей среды, я по его манере одеваться, говорить, держаться определяла: «Этот парень учился, чувствуется, у него есть аттестат». Это было как бы границей, вход за которую мне был запрещен. Эдит тоже так считала. Когда она меня спрашивала: «Как ты его находишь?» — и я отвечала: «Есть аттестат», она говорила: «Этот парень не для нас. Для тех, кто не ходил в школу, он, Момона, не подходит, он будет нас стесняться!»

Только гораздо позднее Эдит поняла, что талант заменяет многое, что ему всюду место, что можно быть умным, не получив образования. Но во времена Поля мы еще не дошли до этой мысли. Он нам импонировал. И потом, у него была прекрасная речь, что очень нравилось Эдит.

— Нет, ты только послушай его, Момона, он говорит как пишет! До чего ж красиво! Никогда не повысит голоса, никогда ни одного грубого слова. Как спокойно общаться с таким воспитанным человеком! Как хорошо он придумал переехать в район Этуаль! Вероятно, то, что он называет рангом, определяется адресом, по которому ты живешь, личным телефоном, прислугой… словом, всем тем, о чем бы мы не подумали без него. И потом, от него не ждешь неприятностей: он приходит домой, надевает халат и домашние туфли, слушает радио, весь мой. Не шляется! С ним спокойно!

Но этот покой Эдит не смогла вынести долго.

Я спала в комнате в глубине квартиры. Эдит с ним в спальне, на прекрасной постели, обитой синим атласом. Это было естественно, но, поскольку я не привыкла спать в комнате одна, я слишком часто под утро забиралась к ней в постель.

За исключением этого, ничто не изменилось. Был мужчина или нет, по утрам ее будила я. Со всеми предосторожностями. Я любила смотреть на нее спящую: она спала, как ребенок, сжав кулачки. Я засовывала свой палец в ее кулак: она сжимала его и шептала: «Ты, Момона?», Открывала один глаз, затем другой. Протягивала руку, и я вкладывала в нее чашку очень крепкого черного кофе. Тогда она садилась, удобно устраивалась в подушках и начинала присматриваться к окружающему. «Как погода? Открой шторы. Не так быстро».

Яркий свет ее раздражал. Она говорила: «У меня есть свое солнце, оно всходит во мне с приходом ночи. Тогда я начинаю все четко видеть».

Она не обращала внимания на мужчину, который лежал рядом с нею. Он мог просыпаться или продолжать дрыхнуть — ей было все равно. Я садилась к ней на постель, и мы начинали трещать, как сороки.

Она мельком просматривала почту, статьи о себе, хохотала, кричала — жила. Потом отбрасывала одеяло и в ночной рубашке, всегда слишком большой для нее, бежала в ванную. Я за ней.

Эдит открывала краны, вода хлестала, а она смотрела на меня и смеялась. Как ребенок, который боится нотаций, она мочила губку, мыло, комкала и бросала на пол полотенца — по крайней мере, Поль оставит ее в покое.

Мы переходили к серьезным делам: кремам и болтовне. Эдит придумала: мы — это не «Мышьяк и старые кружева»[19], мы — это «Банки с кремом и ля-ля-ля».

Когда ей хотелось побаловать «хозяина» — если они весело провели ночь и она об этом помнила, так как не перебрала,— она говорила: «Приготовлю Полю завтрак». Но чаще всего Поль обслуживал себя сам.

Должна признать, что не каждого любовника устраивало бы такое пробуждение. Поль мечтал бы о тихих завтраках тет-а-тет, за маленьким столиком, при свечах. Они бы выглядели как кавалер де Грие и Жервеза Золя. Когда ему слишком надоедало быть втроем, он говорил, глядя на меня: «Хватит с меня, пусть отправляется на кухню».

Если Эдит была в хорошем настроении, она пожимала плечами или крутила у виска, как бы говоря мне: «Он спятил, не обращай внимания». Если она была не в духе,, хватала свою тарелку и шла за мной. «Я тоже буду есть с Момоной на кухне».

Поль оставался один. Он превосходно держался: сидя на краешке стула, оканчивал завтрак, курил, читал за кофе. Атмосфера не разряжалась. Тем более что возвращаясь из кухни, мы не прерывали начатых разговоров. Как закон, темой их всегда был «мой старый любовник».

— Момона, а ты помнишь Рири-легионера?.. или Жанно-матроса?.. или моего жениха из поезда «Париж — Средиземноморье»? Черт, как он меня целовал!..

Перечисление, как на строевой перекличке. Эдит набрасывается на Поля:

— А ты почему не смеешься? Это тебе не смешно?

— Не особенно.

— Скажи на милость, чем же можно тебя рассмешить?

— Во всяком случае, не воспоминаниями о любовных историях.

— Ах, мои любовные истории тебя не интересуют? А у меня

были потрясающие! Правда, Момона? И ты не ревнуешь?

— Твое прошлое меня не интересует. Нельзя ревновать к половине населения Франции.

— Уж сразу скажи, что я б…!

Но как бы она к нему ни цеплялась — а скандальнее ее трудно было себе представить,— Поль не терял хладнокровия.

Эдит кипятилась:

— Это айсберг, а не человек. Надо же мне было умом тронуться, чтобы так втюриться в… учебное пособие по правильной жизни! Ты смогла бы весело жить с такой борной кислотой? Я — нет! Ну, ничего, он у меня потеряет свое хорошее воспитание. Я его выведу из себя. Вот увидишь — я получу по морде. Когда-нибудь, да получу.

Я знала: раз она решила, то добьется. Но как?

Мне казалось, что когда Поля создавали, ему забыли вложить нервы. У этого человека не было ничего, кроме головы, а в ней ничего, кроме хороших манер.

Эдит обожала ссоры, сцены, крики. Вокруг нее должно было быть шумно. Это была ее манера жить. И пела она о веселье, о любви, о ревности, о расставании, а не о тихой уютной жизни у камелька. То, о чем она пела, было частью ее жизни, ее внутреннего мира.

Рядом с нами, дверь в дверь, находился «Биду-бар». Чтобы пройти к нему и чтобы Поль нас не заметил, мы проползали на четвереньках под нашими окнами. Когда мы возвращались домой, неизвестно в котором часу ночи, пьяные или притворяющиеся ими, Поль молчал, стиснув зубы. Он считал ниже своего достоинства пойти и привести нас домой,— а надо было бы, да еще за шиворот!

Поль молчал всегда с таким видом, от которого Эдит приходила в ярость. Она швыряла ему в голову все, что было под рукой. Неподвижный, как холодильник, Поль говорил мне:

— Симона, на кухне, кажется, еще остались тарелки — пойди принеси.

Затем полный достоинства ложился на постель. Книга в руках, радио на всю громкость. Воображаю, что чувствовали соседи. Радио было его неразлучным другом. Он мог часами слушать классическую музыку, в которой мы, естественно, ни черта не понимали, и новости дня. Эдит приходила в отчаяние.

Шла «странная война».[20] Если не считать противовоздушной обороны, пронырливых офицериков в опереточных мундирах и всех тех, кто находился в «районе одного населенного пункта», но всегда поблизости от Парижа, то жизнь почти не изменилась. Мюзик-холлы, театры и кинотеатры

были переполнены, поскольку военные нуждались в отдыхе и поддержании боевого духа.

В тот год стояла прекрасная весна, ожидалось хорошее лето. Эдит, которая в принципе не обращала внимания на погоду, повторяла: «Какое счастье, что у меня есть Поль, от этой весны я пьянею, дни никак не кончаются».

Я всегда думала, что Поль был талантлив не только днем. Но это не мешало Эдит пускаться в загулы. Ее часто охватывала тоска. Вокруг нас определенно что-то происходило, мы этого не видели, но ощущали.

Однажды мне пришла в голову гениальная идея.

— Обойдем все кафе на улице Бельвиль — и вверх и вниз.

Мы отправились. Заходили во все забегаловки — а их там без счета. Подняться поднялись, а спуститься не можем. На площади де Фэт мы уже передвигались на четвереньках. До сих пор там все дворники это помнят.

Когда мы вернулись, Поль оценил наше поведение однозначно. А Эдит непременно хотела, чтобы он веселился вместе с нею. Эдит вообще, когда пьянела, становилась веселой — у нее было «веселое вино», как говорим мы, французы.

— Эдит, довольно. Иди проспись в другое место. Я не хочу в своей постели пьяную женщину.

— Ты негодяй, слизняк. Меня от тебя тошнит. У тебя трупный запах.

Поль, не говоря ни слова, взял под мышку радиоприемник и вышел в другую комнату.

— Ах, так! Трус, подонок,— завопила Эдит, белая от вина и от ярости.

Ее пьяная злоба достигла таких размеров, что могла поравняться с Эйфелевой башней. Она влетела в его комнату, схватила приемник, бросила об пол и стала топтать ногами, икая от вина и от гнева.

Поль встал (на этот раз она получит!)… подобрал обломки, посмотрел на Эдит, шатающуюся перед ним, взял ее за плечи.

— Сожалею: это очень плохой поступок.

И ушел. Мы были такие пьяные, что стыда не почувствовали.

На следующий день Эдит подарила Полю новый приемник. Хорошо еще, что это случилось вовремя — через несколько месяцев приемников уже нельзя было достать.

Все же она была недовольна.

— Видишь, Момона, я не добилась! Никак не получу по морде! А ведь на этот раз, кажется, заслужила!

Эдит значительно скорее рассталась бы с Полем, если бы не встретила Жана Кокто.

Как-то мы обедали у «Маркизы». Рядом с Эдит сидел Жан Кокто. Наверняка мадам Бретон сказала каждому из них: «Дорогая (дорогой), я хочу познакомить вас с совершенно исключительной личностью». И не обманула. Каждый из них в своем роде был действительно необыкновенен. Жан Кокто был к тому же изумительной души человеком.

Когда мы пришли к «Маркизе», Эдит было как-то не по себе.

— Не потянуть мне рядом с таким человеком, как Кокто…

Это быстро прошло, так как Жан взял ее за руку: «Эдит, я счастлив с вами познакомиться. Вы тоже поэт, воспеваете улицу, мы созданы, чтобы понимать друг друга».

От этих слов Эдит растаяла. Мадам Бретон сияла, а я смотрела и думала, что моя Эдит — знаменитость. Улица становилась воспоминанием, она уходила в прошлое. Эдит смеялась и чувствовала себя свободно, болтая с Кокто.

Он был поэтом, драматургом, писателем, художником. Понимал музыку, пение, танец. Жонглировал словами и, как фокусник, умел из них извлекать удивительные вещи. Она знала мало. Он — все. Я не могла глаз отвести от их рук. У Кокто были прекрасные руки, у Эдит тоже, их жесты были полны смысла, превращались в слова, взлетая, как птицы. Как красиво они говорили руками! Когда они прощались, Кокто сказал:

— Я живу на улице Божоле, у Пале-Руайаля, обязательно приходите ко мне. Мы поговорим с тобой, маленькая Пиаф. Ты великая…

Эдит не могла опомниться. «Ты видела, как со мной разговаривал Жан Кокто? Я обязательно буду с ним встречаться. Он не похож ни на одного мужчину, которого я знаю. Он не поучает, а у него все время учишься.

Недавно Жильбер Беко написал с Луи Амадо песню под названием «Когда умирает поэт». Каждый раз, когда я ее слышу, я вижу Жана с его привычкой повсюду рисовать звезды — на бумажных скатертях, на программках, книгах. Он ими ставил на вещи свою печать. Всюду, где бы он ни проходил, расцветали звезды.

Теперь я знаю, Момона, чего мне не хватало в жизни. Встречи с настоящим поэтом. Теперь я его встретила».

Нам нравилось, как выглядит Кокто, он был похож на Пьеро с торчащими надо лбом волосами. Какой-то критик назвал их тогда «клоунским коком». Мы негодовали, нам казалось, что это, скорее, ореол.

— Момона,— говорила мне Эдит серьезно,— люди не отдают себе отчета, но он — святой, он так добр! Никогда ни о ком ничего плохого не скажет, не съязвит. Он всегда готов всех

понять, всех простить.

Она сказала Полю:

— Я хочу прочитать книги Жана Кокто. Купи мне их.

Не знаю, нарочно ли он так сделал, но он принес ей «Потомака», в которой мы ничего не поняли.

— Поразительно! Когда этот человек говорит, ты понимаешь все, когда пишет — ничего! Я спрошу у него, почему так получается.

— Ни в коем случае,— сказал Поль,— поставишь себя в смешное положение.

Но она спросила. И Жан со свойственной ему деликатностью объяснил, почему она не поняла, и добавил, что это естественно. Он подарил ей «Ужасных детей». Эта книга нам очень понравилась: история с камнем в снежке напомнила нам детство, мы знали детей, которые поступали так же.

Самые прекрасные слова, когда-либо написанные об Эдит, принадлежат перу Кокто:

«Посмотрите на эту маленькую женщину, чьи руки подобны ящерицам на руинах замка. Взгляните на ее лоб Бонапарта, на глаза только что прозревшего слепца. Что она запоет? Как выразит себя? Как исторгнет из своей узкой груди великие стенания ночи? И вот она поет, или, скорее, как апрельский соловей, пробует исполнить свою любовную песню. Приходилось ли вам слышать, как трудится при этом соловей? Это тяжкий труд. Он раздумывает, прочищает себе горло. Задыхается. Воспаряет и падает. И внезапно — находит. Начинает петь. И вокализ потрясает нас».

Эдит считала, что это так прекрасно, что вырезала статью и всем читала. Она была убеждена, что если такой человек, как Жан Кокто, пишет такое, значит, она поднялась на высокий уровень.

У них с Жаном вошло в привычку встречаться в Пале-Руайале. На улице Божоле, в подвале дома Кокто, было нечто вроде закрытого клуба, где собирались артисты, писатели, художники. Это был первый из парижских подвалов, открывшийся на четыре года раньше подвальчиков Сен-Жермен-де-Прэ. У него было преимущество: во время воздушных тревог не надо было бежать в бомбоубежище.

Какими долгими были ночи затемненного Парижа, города в темных очках слепца! Какую тоску наводили синие лампочки! Как далеко в прошлом остался Город Света!

В нашем подвале мы забывались, здесь были только близкие друзья. Жан спускался из своей квартиры по-соседски, в теплом

халате, со своим другом Жаном Маре, которого все звали Жанно. До чего же он был красив! Он обожал Кокто. С ними приходил Кристиан Берар, его звали Бебе, художник-декоратор, с круглым и розовым кукольным лицом и красивой бородой, лежавшей веером на бархатной куртке. Он все время что-то рисовал на клочках бумаги. Приходила Ивонна де Брэ, черноглазая, живая, умная,— крупнейшая актриса того времени. Она и Маре играли главные роли в пьесах Кокто. Эдит гордилась тем, что вошла в их круг, потому что Жан, несмотря на всю свою деликатность, очень легко избавлялся от людей, которые ему не нравились.

Между Эдит и Жаном сразу установился контакт. Она с ним всегда была искренней и рассказывала все, что приходило в голову. Самым главным для нее в ту пору был Поль. Она его еще любила и делилась с Жаном своими горестями.

«— Поль меня сводит с ума. Я с ним глупею. Объясни мне, что делать.

— Дорогая,— отвечал ей Жан,— мы никогда не понимаем тех, кого любим, когда мы с ними, не принимаем их такими, какие они есть, требуем, чтобы они были такими, какими нам хочется, какими мы видим их в своих мечтах… А наши мечты с их мечтами совпадают редко».

Когда мы возвращались в такси, Эдит говорила:

— Жан — потрясающий человек. Он не только умный, он добрый. Когда он со мной говорит, объясняет мне все про Поля, я думаю: он прав, надо пересилить себя.

Придя домой, она спрашивала Поля:

— Ты меня любишь?

— Ну да,— отвечал Поль тоном человека, которому задали не очень приличный вопрос.

— Ты не мог бы сказать это по-другому? Ты объявляешь: «Я люблю тебя», как будто говоришь: «Жаркое подано!» Если я тебе надоела, скажи. Я больше не могу этого выносить. Я сыта по горло твоими улыбками, которые ничего не выражают…

И опять заводилась на всю ночь.

На следующий день она снова встречала Жана, снова он ей объяснял, снова она принимала благие решения, но, возвращаясь, снова натыкалась на айсберг, и все повторялось…

Однажды ночью, сидя между Ивонной де Брэ и Жаном, Эдит стала плакать и жаловаться.

— Вы не можете себе представить. Я ему говорю, что люблю его,— он, лежа на кровати в халате, читает газету. Говорю, что не хочу больше его видеть, или говорю, что обожаю его, или говорю,

чтобы он убирался,— он читает газету. Я не могу этого выносить. Я разбиваю все, что попадает под руку, и бросаю в лицо все, что приходит на ум,— он читает газету. Он меня сведет с ума!..

— Дорогая, успокойся, я это улажу. Потерпи немного.

— Момона, я не посмела спросить у Жана, что он собирается сделать.

Несколько дней спустя раздался телефонный звонок:

— Эдит, приезжай сейчас же, я тебе кое-что прочту.

Мы примчались на улицу Божоле. Там уже были Жанно, Ивонна де Брэ и Бебе Берар. Жан Кокто прочел нам «Равнодушного красавца», одноактную пьесу, которую только что закончил. Он создал ее по рассказу Эдит.

«Бедная комната в отеле, освещенная огнями уличных реклам. Диван-кровать. Патефон, телефон. Дверь в маленькую туалетную комнату. На стенах афиши.

Занавес поднимается, актриса на сцене одна, на ней короткое черное платье… Она выглядывает в окно, бежит к двери, прислушивается к шуму лифта. Потом садится у телефона. Заводит патефон. Ставит пластинку в собственном исполнении «Я схожу по тебе с ума», останавливает. Возвращается к телефону, набирает номер…»

Женская роль была списана с Эдит: известная певица, ревнующая своего возлюбленного ко всему, что его окружает… Мне казалось, я слышу голос Эдит:

«Вначале я тебя ревновала к твоим снам. Я думала: «Куда он ускользает от меня, когда спит? Кого он видит?» А ты улыбался, был спокоен и доволен, и я начинала ненавидеть тех, кто тебе снился. Я тебя часто будила, чтобы вас разлучить. А ты любил видеть сны и сердился на меня. Но я не могла выносить твоего счастливого лица».

— Тебе нравится?— спросил ее Жан.

— Жан, потрясающе.

— Это посвящается тебе, Эдит. Я тебе ее дарю, и вы будете ее играть вместе с Полем.

— Это невозможно, я не сумею. Я же только певица. И потом, играть с Полем! О нет, Жан, я не смогу!

Эдит была в этом вся. С одной стороны, была смелой, с другой — боялась, что не справится. Когда дело не касалось ее профессии, она всегда сомневалась.

Жанно смеялся. У него были великолепные зубы, теплая улыбка. Он говорил:

— Это же очень просто: Поль ничего не говорит, а ты играешь

сцену, которую устраиваешь ему каждый день.

Но все только казалось легким. Монолог, продолжающийся целый акт, очень долог. Нет, было совсем не так легко. Это стало ясно на первой же репетиции.

Разумеется, Поль согласился играть. Пьеса Жана Кокто в постановке самого Жана и Реймона Руло — значительное событие. А выступить в роли без слов было к тому же испытанием для актера, и Поля это привлекало.

Итак, две роли — два актера. Один молчит как рыба, другая говорит, не закрывая рта. К сожалению, молчит тот, кто умеет говорить на сцене, а говорит та, кто умеет только петь.

На первой репетиции у Эдит ничего не получилось. К счастью, Поля не было, его заменял Жанно. Эдит, умевшая выразить на сцене все чувства голосом и жестом, вдруг стала фальшивить, разучилась ходить, двигать руками… Она была в отчаянии.

— Жан, театр не для меня! Какое несчастье! Я так хотела, но не получилось. Я никогда не смогу.

Напрасно Жан говорил ей: «Это только первая прикидка. Ты справишься. Это твоя пьеса, твоя роль; я написал ее для тебя». Эдит упрямо твердила: «Нет». Я чувствовала, что она на грани слез. «Поль будет смеяться надо мной»!

Жан посмотрел на Ивонну де Брэ, которая молча сидела в углу. Эти двое понимали друг друга без слов… Она сказала:

— Эдит, ты сыграешь, я тебя научу.

Какой это был прекрасный и вдохновенный труд! Мне кажется, что даже я, пройдя через руки Ивонны, сумела бы играть на сцене. Она разобрала всю роль Эдит, фразу за фразой, отрывок за отрывком, как механизм по деталям. Потом, когда она собрала их вместе, механизм заработал, как бьющееся сердце.

В конце пьесы равнодушный красавец поднимается с кровати, надевает пальто, берет шляпу. Эдит цепляется за него, умоляет: «Нет, Эмиль, нет, не оставляй меня…»

Он высвобождается из ее объятий, Отталкивает и дает ей пощечину. Он уходит, а Эдит остается на сцене. Она прижимает руку к щеке и повторяет: «О, Эмиль… О, Эмиль…»

На репетиции Жан сердился, но по-своему, вежливо и деликатно.

— Нет, Поль, это плохо. Она тебя раздражает, выводит из себя своей любовью. Ты не можешь ее больше выносить и даешь ей пощечину, настоящую, со всего размаху… Пощечину мужчины, а не аристократа, который бросает перчатку в лицо маркиза, вызывая его на дуэль… Давайте еще раз!

Корректно, элегантно Поль снова отвешивает пощечину. Эдит

умирает со смеху.

— Он не виноват, он просто не умеет. Я ему сейчас покажу.

И со всего размаху залепляет ему великолепную двойную пощечину, сначала одной, потом другой стороной руки… Если бы он мог, мне кажется, он испепелил бы ее взглядом! А Эдит очень спокойно, очень по-актерски ему объясняет:

— Первая пощечина дается с размаху. Вторую бьешь сильно, тыльной стороной руки. Именно тут ты делаешь больно… Понял?

— Понял,— отвечает Поль, внешне невозмутимо, внутренне — со скрежетом зубовным.

— Прекрасно,— говорит Жан,— повторим.

Поль боится не сдержаться и снова шлепает Эдит по щеке благовоспитанно и робко. Эдит хохочет, я тоже. Она настолько вывела его из себя, что в вечер премьеры в театре Буфф-Парижьен он дал ей настоящую, совсем не театральную пощечину. За кулисами он бросил Эдит небрежно:

— Получила то, что хотела? Довольна?

Она пожала плечами:

— Ну, это же в театре…

На месте Поля я бы ей оторвала голову!

Эдит приложила много стараний, чтобы получить пощечину, но теперь получала ее каждый вечер. Мне казалось, что Поль облегчает свою душу!

Пьеса была гвоздем сезона 1940 года. Она шла в один вечер с другой пьесой Жана Кокто, «Священные монстры», в которой играла Ивонна де Брэ. Художником был Кристиан Берар.

Эдит очень гордилась своим успехом в театре, теперь она совсем не боялась сцены. Что касается Поля, то после успеха «Равнодушного красавца» его стали приглашать играть в других пьесах и сниматься в кино. Критики писали: «Даже в неблагодарной роли Поль Мёрисс проявил себя как актер исключительного дарования. Он не ограничивается ролью партнера, на фоне которого блещет мадам Пиаф. Поль Мёрисс наделяет своего персонажа яркой характеристикой».

В конце «странной войны» Эдит одержала другую победу. Ее пригласили выступить в большом концерте, организованном Красным Крестом в пользу солдат Действующей армии. Афиша мюзик-холла «Бобино» сверкала именами самых известных эстрадных певцов. Концерт начался в полночь и закончился в пять утра. Это был единственный раз, когда Эдит выступала в одной программе с Мари Дюба и Морисом Шевалье. В зале было много солдат. Эдит, как всегда, приготовила сюрприз. Она спела «Где они, мои старые друзья?»

Где мои дружочки?
Те, кто рано утром
Отправился на войну?
Где мои дружочки,
Те, кто говорил:
«Не печалься, ты вернешься».
Все ребята с Менильмонтана
В строю откликнулись: «Мы здесь».
Они отправились на войну,
Распевая песни.
Где они?
Где они?

На последнем «Где они?» в глубине сцены зажигался синий — белый — красный свет. Вначале он был величиной с кокарду, а потом заливал всю сцену, и казалось, что на Эдит наброшен французский флаг. Все это придумала она сама. Люди повскакали с мест, кричали и подхватывали ее песню хором, некоторые даже отдавали честь. Мы с Полем, стоя за кулисами, боялись даже взглянуть друг на друга, чтобы не расплакаться.

После выступления Эдит мы остались в зале слушать других. Никто не хотел уходить. В эту ночь в «Бобино» люди верили в победу. Казалось, еще немного, и все запоют «Марсельезу».

Когда мы вышли на улицу, край неба порозовел, занималась заря, было тепло. Нас охватило ощущение удивительной легкости, мы не пили, но нас опьянила надежда.

— Впервые в жизни мне хочется смеяться, когда встает солнце!— сказала Эдит.

Дома Поль откупорил бутылку шампанского, мы выпили за нас, за все наши надежды! Поль улыбался. Мы были счастливы. Нам было хорошо. Машинально он включил свой новый красивый приемник и одновременно поднял бокал:

— За сегодняшний день, за 10 мая.

И тут мы услышали зловещий голос диктора: «Сегодня, в шесть часов утра, германские войска нарушили бельгийскую границу. Танковые части продвигаются в глубь страны…»

Веселье кончилось, и надолго.

Недели мчались за неделями. Поль не отходил от приемника. Мы услышали имена Поля Рэйно, Даладье, Вейгана, потом Петэна.

Париж имел жалкий вид. Мы узнали, что такое воздушные тревоги, и ужасно их боялись. Эдит не хотела спускаться в подвал. Она боялась оказаться заживо похороненной. Поэтому мы мчались в «Биду-бар». Это запрещалось, но нас туда все-таки

впускали. Мы сидели впотьмах и ждали. Поль был с нами, он теперь не оставлял нас одних.

Мимо нашего дома проезжало много странных машин. Первыми появились машины с бельгийскими беженцами, на крыше у них было по два, а то и по три матраса. Вначале мы с Эдит думали, что это их постели, но оказалось, что так они защищались от пуль. После бельгийцев появились беглецы с севера и востока Франции. Все они проходили мимо, никто не задерживался в городе; они дрожали от страха и рассказывали о бошах страшные вещи. Но главное, они говорили, что Париж не надежен. В это трудно было поверить, но люди стали покидать Париж, сначала опустели шикарные кварталы, затем постепенно весь город. Правительство, министерства уехали в Бордо.

На стенах появились объявления, в которых говорилось, что Париж будут защищать до последнего. Тогда, охваченные паникой, уехали те, кто еще оставался. Париж объявили открытым городом. В обращениях по радио население призывали оставаться на местах. Но люди потеряли веру, никто ничего не слушал. Была полная паника.

Мы ничего не понимали и держались за Поля. Мы никуда не уехали.

Господи, до чего же был мрачен Париж в то утро, 13 июня 1940-го! Сквозь опущенные жалюзи мы смотрели на улицу, где люди заталкивали в машины то, что у них было наиболее ценного. Старая консьержка из дома напротив ушла пешком, держа в одной руке чемодан, в другой — клетку с канарейкой. Не знаю, куда она шла, но машины для нее не было, метро не работало.

Из дальней комнаты доносился голос диктора. Радио у нас не выключалось день и ночь. Диктор сообщал о бомбардировках, об очагах сопротивления: «Наши героические солдаты…» Несчастные, за что, за кого они сражались?

Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, у нас теперь было одно сердце, и оно билось в едином ритме, ритме отступления.

«Уехать?— говорила Эдит,— но куда? У нас даже нет машины. Пешком? Но мы останемся без ног, прежде чем уйдем достаточно далеко. И потом, везде одно и то же» Как всегда, она была права! Это верно, что на первом месте у Эдит всегда стояли ее профессия и любовь, но когда она обращала внимание на что-то другое, то обнаруживала здравый ум.

Что мы должны были беречь? Свою шкуру? Мы ею особенно не дорожили.

Когда во Франции заговорили о немцах, об их лозунге:

«Пушки вместо масла», у нас с Эдит создалось представление, что они голодают. Мне казалось, что они «обрушатся на нас, как полчища красных муравьев, которые в мгновение ока могут обглодать быка.

«Нужно купить хлеба, консервов, сигарет, вина»,— сказала Эдит. Как всегда, она обо всем думала! Поль так стискивал кулаки, что у него белели косточки суставов. Он больше не мыл каждую минуту руки и не подпиливал ногтей. Он даже перестал бриться. Все потеряло значение. Мы с Эдит смотрели на него другими глазами. Теперь он не был похож: на манекен. Склонившись над приемником, с горькой складкой у рта, он слушал последние рыдания страны, бившейся в агонии. Я не знаю, почему Поля не мобилизовали. Кажется, он был освобожден от военной службы из-за сердца.

Немцы должны были вот-вот вступить в Париж. Никто не знал, что они сделают с мужчинами — отправят их в концлагерь, в тюрьму или сделают заложниками? А Поль был с нами. Он выполнял свой долг, остался, чтобы нас защищать. Он не был трусом. Мы были уверены, что он скорее умрет, чем позволит покуситься на нашу добродетель. Хотя, между нами, она того не стоила!

В Эдит всегда жил дух парижского гамэна. Как-то Поль, которому обычно это не было свойственно, сказал такую громкую фразу: «Мы переживаем исторические мгновения». Она ответила: «К черту! Если это история, я предпочитаю о ней читать, а не участвовать в ней!»

Улицы опустели, в небе висели густые черные и розовые тучи. Это горели склады горючего в Руане и в других городах; их жгли, чтобы замедлить немецкое продвижение. Черный, жирный туман делал пустынный Париж еще более мрачным.

Наступила ночь. Воцарилась мертвая тишина, и лишь изредка были слышны чьи-то медленные шаги, как шаги кладбищенского сторожа. Как ни странно, это успокаивало; думалось, что мы все-таки не одни.

Погасив всюду свет, мы ждали… и даже не заметили, как наступил рассвет. Время перестало существовать.

И вдруг утром «они» вошли в Париж:. Это было похоже на цирковой парад: молодые, здоровые, белокурые, загорелые парни в черных мундирах шли с песнями. За ними ехали грузовики с солдатами в зеленой форме. Они смеялись, играли на аккордеоне и были совсем не похожи на голодающих. Что же это? Нас обманули?

Мы с Эдит вышли потихоньку на Елисейские поля. Смотрели издали. Кафе, магазины — все было закрыто, железные шторы

опущены. Видя немцев в залитом солнцем Париже, мы спрашивали себя: «Почему нам так страшно?» Эдит, вцепившись в мою руку, шептала: «Видишь, все кончено. Боев не будет».

Да, это был цирк, но жуткий. Нам предстояло жить в страхе, от которого выворачивались внутренности. Присутствовать при ужасном зрелище. Присутствовать безмолвно, в течение четырех лет.

День за днем люди возвращались на нашу улицу. Открылся «Биду-бар». Но никогда мы больше не увидели старой консьержки из дома напротив.

Месяц спустя в ресторане «Фукетс» на Елисейских полях какие-то типы начали вступать в сделки с оккупантами. Появились первые коллаборационисты.

Как все артисты, Эдит должна была явиться в Управление пропаганды, которое расположилось на Елисейских полях. Это было обязательно. Иначе вы не допускались до работы. Она там встретила многих артистов.

И жизнь возобновилась, но она была не похожа на прежнюю. В числе первых в Париж вернулся Морис Шевалье. Он отказался сесть в машину, а поехал с вокзала на метро, как все.

Никогда у Эдит не было такого количества контрактов и приглашений для бесплатных выступлений в пользу военнопленных, Красного Креста.

Люди стояли в очереди за всем: за хлебом и за билетами в кино, в театры и мюзик-холлы.

Не знаю, по какой причине, вероятно, из-за потрясения, вызванного оккупацией, Эдит была в очень нервном, взвинченном состоянии.

Возможно, это объяснялось и тем, что Поль перестал быть таким, как в дни отступления. Перед нею снова был одетый с иголочки джентльмен. Эдит называла его манекеном, айсбергом. Он стал еще более замкнут, чем раньше, и все время проводил, слушая английское радио. Эдит выходила из себя.

— К чему это, все пропало. Не понимаю, почему ты слушаешь, ведь музыки не передают!

Она взывала ко мне:

— Ты думаешь, он умеет разговаривать? Может быть, вне дома он и раскрывает рот, но до нас снизойти не хочет!

А ведь Поль ее любил; просто их манеры любить были очень разными.

Кроме того, у Эдит была я. Еще до оккупации «Маркиза» и даже Маргерит Монно, каждая в отдельности, говорили мне примерно следующее: «Двоим всегда легче договориться», «Время от времени мужчина и женщина, живущие вместе, должны

устраивать себе маленький медовый месяц».

И я сказала себе: «Я должна решиться. Может быть, если меня не будет рядом, у них все наладится». Скажи я об этом Эдит, она бы закричала: «Я тебе запрещаю уходить. Это не твое дело». Поэтому я смоталась потихоньку.

Идя по Парижу, который ничем не напоминал прежний, я вспоминала свои прошлые побеги, которые часто оканчивались загулами. Всегда было весело. Теперь на это нельзя было рассчитывать. Музыка звучала только немецкая. Каждый день ровно в двенадцать фрицы маршировали вверх и вниз по Елисейским полям. У меня не было желания их видеть. На меня навалилась тоска: с нежностью вспоминала я о каруселях, на которых могла кружиться до полного изнеможения.

Прежде, завернув за первый угол, я становилась сама собой, переставала быть чьей-то сестрой. Если парень смотрел на меня, я не опускала глаз, знала, что они у меня красивые.

«Что ты делаешь?— Ничего особенного.— Пойдем потанцуем?— Пойдем».

Какой это был восторг — среди адского шума, среди бившего ключом веселья, кататься до самозабвения на всяких аттракционах, есть из пакетика жареную картошку…

Потом мы шли на танцы. Ну а что за этим следовало, нетрудно догадаться… Но в таких случаях я переживала не любовные увлечения Эдит, а свои собственные! Согласна, они были похожи, но «ты красивая» и «я люблю тебя» говорили мне.

Потом наступал момент, когда я бросала взгляд на стоптанные туфли, на измятое платье, и меня вдруг охватывало одно желание: вернуться домой. Как я боялась! Но это входило в условия игры. Я знала, что огорчила Эдит, знала, что она не могла понять, что я могу хотеть быть где-то, а не рядом с ней.

И я возвращалась. Это происходило всегда одинаково. Эдит кричала на меня. Я не слушала. У меня был прием: она могла сходить с ума, метаться по комнате, а я тем временем считала про себя: один, два, три, четыре и т.д. … и ждала, пока ее глаза встретятся с моими, ждала, пока она перестанет смотреть мимо. Всегда наступал момент, когда она бросала на меня прямой взгляд. И тотчас все кончалось, я кидалась ей на шею, и мы плакали от счастья. Она брала меня за руку и говорила: «Ладно, иди, чертовка…»

Какие слова любви!

На этот раз веселья не хотелось, на мужчин было наплевать. Каким грустным стал мой Панам! Я пошла к отцу.

Он жил в отеле на улице Ребеваль. Эдит платила за комнату, хорошо одевала его. Он постарел, бедняга. Он мне очень

обрадовался.

— Как поживает сестренка? Нечасто она меня навещает. Правда, она много работает.

Он гордился своей Эдит. При этом не стеснялся иногда заработать немного на ее имени. Он говорил: «Я отец Эдит Пиаф». Его угощали рюмкой вина, давали несколько монеток. Он любил показывать золотые часы — подарок Эдит. «Дочка меня балует. Правда, красивые ходики?»

Люди смеялись, и он им рассказывал всякие байки о детстве Эдит. Он придумывал — должны же люди что-то получить за свои деньги.

Отец был мне рад. Мы пообедали в ресторане. Говорил он главным образом об Эдит. Она теперь играла большую роль в его жизни. Он больше не мог работать акробатом, сильно сдал: трудная жизнь, вино… Мне с ним было хорошо.

Я положила себе срок — две недели, но продержалась всего одну. Как обычно, Эдит закатила сцену:

— С меня довольно! Можешь уходить, мне это надоело… Мерзавка! Где ты была?

— С отцом.

— А предупредить не могла? Слава богу, хоть вернулась. Давно пора.

— А как Поль?

— Он мне надоел.

Я поняла, что мое отсутствие было напрасно. Оно ничему не помогло.

После выступлений в Париже они ездили на гастроли. В тот период это было не очень весело. Нигде не топили — ни в поездах, ни в отелях. Кругом все было грязно, мрачно, зловеще… Ночью на вокзалах громкоговорители орали по-немецки: «Achtung! Achtung! Verboten!»[21] Все было Verboten: смех, свет, вино…

В поездах не всегда можно было достать сидячие места. Иногда мы часами стояли в коридоре или в тамбуре, иногда удавалось примоститься на вещах. Эдит, съежившись на чемодане, закутанная в пальто Поля, выглядела такой маленькой, такой жалкой, что у меня разрывалось сердце.

Удивительно, что, когда мы выходили из вагона, у Поля был такой вид, как будто он приехал в отдельном купе спального вагона, в то время как мы выглядели измятыми, как после бессонной ночи в кабаке! Мы любили гастроли по ту сторону демаркационной линии. Здесь мы наконец вдыхали воздух Франции.

«Равнодушный красавец» продлил пребывание Поля в жизни

Эдит, но ее чувство умерло. «Не нужно быть неблагодарной, Момона. Поль мне многое дал. Если бы не он, я продолжала бы жить в отеле. И у меня не было бы секретаря!»

Она не шутила: вот уж несколько месяцев, как у нее был секретарь. Поль убедил Эдит, что она не может обходиться без секретаря, что это очень удобно, солидно, производит впечатление. Так мадам Андре Бижар вошла в нашу жизнь…

Это была брюнетка с короткой стрижкой. Вероятно, она обладала деловыми качествами, но судить об этом было трудно, так как ей нечего было делать.

— Она должна вместо тебя отвечать по телефону,— сказал Поль.

Происходило примерно следующее: Андре Бижар снимала трубку.

— Кто говорит?

— Господин Х…

— Не знаю, кто это,— говорила Эдит,— дай трубку.

А когда звонил кто-то, кого она знала, она кричала:

— Чего ты ждешь, давай его скорей!

Был третий вариант:

— Момона, поговори с ним.

Так что секретарша не была предметом первой необходимости… Телефон тогда еще не звонил беспрерывно, как потом, в период славы.

Эдит воспринимала секретаршу как еще одну подругу. Мы не очень себе представляли, что она должна делать.

Нас устраивало, что она приезжала утром: мы могли поспать подольше. Эдит посылала ее за покупками и за газетами, для того чтобы вырезать статьи о ней. Это тоже была мысль Поля. Что касается счетов (а их прибывало много), в первый раз Бижар спросила:

— Что с ними делать?

Эдит ответила:

— Сложите!

Бедный Поль, все, что после него осталось,— это секретарша.

В то время у Эдит не было никого, кто писал бы песни специально для нее. Она не могла жить, не имея под рукой поэта-песенника. Чтобы она могла работать, его присутствие было необходимо. Ей нужен был кто-то, кто занял бы ее мысли и желания, сумел бы, поняв их, облечь их в форму, «создать песню».

В начале 1940 года появился Мишель Эмер. Он вошел в жизнь Эдит… через окно. В то утро она была в плохом настроении. Очень нервничала. Она готовила выступление в «Бобино», генеральная должна была состояться на следующий

день. Звонок в дверь. Эдит кричит мне:

— Не открывай, я не хочу никого видеть.

Звонят раз, другой… потом перестают: кто-то робкий. Я была в гостиной, когда постучали в окно. На тротуаре стоял военный; в шинели не по росту он выглядел как Петрушка. Он делал мне знаки. Это был Мишель Эмер. Он носил очки, и за сильными стеклами его глаза сверкали, как две рыбки в глубине аквариума. Мне нравилась его ослепительная улыбка. Он был похож на мальчишку, который не заметил, как вырос. Он вызывал к себе нежность.

Эдит встретила его в 1939-м в коридорах Радио-Сите… Он ей был симпатичен, но то, что он писал, для нее не годилось: там речь шла о голубом небе, птичках, цветочках…

Я открыла окно.

— Мне нужно видеть Эдит.

— Невозможно. Она готовит концерт в «Бобино».

— Скажите ей, что это я, Мишель Эмер, я принес ей песню.

Иду к Эдит.

— Гони его, Момона. Его песни — не мой жанр. Мне они не нужны.

Возвращаюсь. Он спокойно сидит на тротуаре, закутавшись в шинель. Многим мужчинам идет военная форма, но это был не тот случай.

— У нее много работы, Мишель, приходите завтра.

— Не могу, я нахожусь в военном госпитале в Валь-де-Грас и должен быть на месте к восемнадцати часам. Умоляю вас, у меня для нее прекрасная песня. Скажите ей только название: «Аккордеонист».

Я сжалилась.

— Давай лезь и играй свою песню.

Через окно он влез в комнату. Сел за рояль и спел — плохо спел!— «Аккордеониста». Услышав первые такты, Эдит прибежала.

Доступная девушка прекрасна.
Она стоит там, на углу улицы.
У нее достаточная клиентура,
Чтобы наполнить деньгами ее чулок.
Она слушает музыку танца,
Но сажа не танцует,
Она даже не смотрит на танцевальный круг.
Ее влюбленные глаза
Глядят не отрываясь
На нервную игру

Длинных и худых пальцев артиста.
Остановите музыку! Остановите!

Мишель кончил и смотрел на нас с тревогой через свои иллюминаторы. Его лицо покрылось крупными каплями пота.

— Это ты написал, лейтенантик?

— Да, мадам Эдит.

— Что же ты мне раньше не сказал, что у тебя есть талант? Снимай мундир, галстук, располагайся, будем работать. Играй снова и напиши мне слова. Завтра я спою ее в «Бобино».

Он пришел к нам в полдень, отпустила она его в пять часов утра. Мы поддерживали его силы колбасой, камамбером и красным вином. Для больного он был в прекрасной форме, несмотря на подпитие.

— Эдит, меня будет судить военный трибунал за дезертирство… Но мне наплевать. Никогда я не был так счастлив.

— Не беспокойся,— величественно отвечала Эдит,— у меня есть знакомые среди генералов.

Ни одного генерала она не знала, но если бы Мишелю грозила опасность, можно не сомневаться: она пошла бы к военному министру. Смелости ей было не занимать! Мы не знали, как он выкрутится, но на следующий вечер он был в «Бобино», и Эдит спела его песню. Ее приняли не так, как мы ожидали. Концовку публика не ощутила, ей казалось, что песня не закончена. Но потом «Аккордеонист» имел огромный успех. Было продано восемьсот пятьдесят тысяч пластинок, колоссальная цифра по тем временам. Эдит пела эту песню в течение двадцати лет, с 1940 по 1960 год.

Эдит сказала Мишелю: «Поклянись, что ты принесешь мне еще песни». Он поклялся. Но когда мы с ним встретились через какое-то время, он выглядел совсем по-другому. Я сразу поняла, что с ним произошло что-то очень странное. У него было лицо загнанного, запуганного насмерть человека.

— Эдит, все кончено. Тебе не разрешат петь мои песни. Я еврей и должен носить желтую звезду. Начинается с этого, а потом…

Но ужасного «потом» не было. Она дала денег на его переход в свободную зону. Мы увиделись только после Освобождения. Он написал для нее прекрасные песни: «Господин Ленобль», «Что ты сделала с Джоном?», «Праздник продолжается», «Телеграмма», «Заигранная пластинка», «По ту сторону улицы».

В комнатке на седьмом этаже,
В конце коридора,

Он прошептал: «Я люблю тебя»,
Я ответила: «Я тебя люблю».

А по ту сторону улицы
Живет девушка, бедная девушка,
Она ничего не знает о любви,
О ее безумных радостях…
По ту сторону улицы…

Эдит очень ценила талант Мишеля, которого продолжала называть лейтенантиком.

— Мне нравится, что Мишель пишет и текст и музыку. У него сразу получается готовая песня. Так бывает очень редко. Это божий дар. Его мелодии запоминаются сразу, как будто они давно носились в воздухе.

Они много работали вместе.

Но вернемся в 1941 год. Эдит искала автора песни. Она без конца звонила по телефону Маргерит Монно:

— Но это лее твоя обязанность, Гит, найди мне кого-нибудь.

— Для чего?— спрашивала Гит.

— Для песен. Для любви у меня есть.

— Я ищу, Эдит… Я все время ищу…

Эдит вешала трубку.

— Я идиотка, что прошу ее об этом; она уже забыла, зачем я ей звоню.

Десять минут или час спустя звонила Гит.

— Нашла?— кричала в трубку Эдит.

— Дорогая, я как раз хотела просить тебя напомнить, что я должна была найти.

Фильм «Монмартр-на-Сене» принес Эдит то, что она искала: нового автора песен и… новую любовь.

Дуэт Пиаф –Мёрисс, сыгравший «Равнодушного красавца», привлек внимание режиссера Лакомба. Пьеса три месяца шла в Париже и пользовалась успехом во всей Франции; публика знала Поля и Эдит, это стоило использовать. И Лакомб предложил Эдит сценарий фильма, который назывался «Монмартр-на-Сене».

Эдит уже снималась в 1937 году. Она пела в фильме «Холостячки», где играла Мари Бель. Особого впечатления исполнение Эдит не произвело. В «Монмартре-на-Сене» у нее был не эпизод с песней, а главная роль.

Полю нравилось сниматься. Поскольку они работали вместе, он все еще был в доме. Жизнь текла спокойно: теперь Эдит была к нему равнодушна.

Эдит любила сниматься, единственным неудобством было то,

что приходилось очень рано вставать. Студия присылала за Эдит машину. Я, разумеется, тоже должна была ехать — Эдит ни в коем случае не хотела быть одна в гримерной.

В первый же день в столовой киностудии Жорж Лакомб представил Эдит высокого, красивого, элегантного мужчину. В волосах у него сверкали серебряные нити, а в глазах — озорные искорки. Это был Анри Конте — пресс-атташе фильма. Жорж сказал Конте: «Я поручаю тебе Эдит».

В тот же момент все было решено. Если Поль и не увез свои вещи немедленно, то только потому, что Анри не мог к нам переехать.

С первого взгляда я поняла, что это «наш» парень. В тот же вечер во время «заседания» в ванной комнате Эдит спросила:

— Тебе понравился этот Анри?

— Очень. Нам подойдет.

— Значит, договорились. У нас еще никогда не было журналиста, он работает в газете «Пари-суар» и пишет о кино для журнала «Синемондиаль». Кроме всего прочего, он будет нам полезен.

8 августа 1941 года Анри Конте написал об Эдит:

«Да, сомнений нет. Маленькая женщина, неподвижная и серьезная, стоявшая под аркой из серого камня,— это Эдит Пиаф. Ее присутствие было для меня неожиданным, так как я пришел на встречу, которую она мне назначила, намного раньше срока. Она не одна. Возле нее мужчина, и я тотчас замечаю, что у него злое, жесткое выражение лица. Этому человеку не свойственна жалость, снисхождение, прощение. Мне кажется, я узнаю Поля Мёрисса.

…Однако нет, она не плачет. Она похожа на несчастного ребенка, который надеется, чего-то ждет: то ли волшебного счастья, то ли наивной и простой любви, той, о которой поет в своих песнях народ. Мне хочется сочинить песню для этой Пиаф:

У того, кого я полюблю,
Будет седина на висках,
Блеск золота на запястье
И красивая сорочка…

…Она еще не заговорила, но я уже знаю, что она скажет. Потому что в ее глазах, в протянутых руках я вдруг вижу мольбу, я ее узнаю, она стара, как мир, это мольба, надрывающий душу, но напрасный стон: «Останься со мной… Я тебя еще люблю… У меня есть только ты… останься…»

…Из чего сделано сердце Пиаф? Любое другое на его месте давно бы разорвалось.

…Эдит Пиаф еще больше наклонила голову, как будто она слишком тяжела для нее. Я вижу ее запавшие глаза, которые ничего не хотят больше видеть.

…«Что делать? Утешать? Но как? Я думаю о всех этих песнях, в которых слышатся ее собственные рыдания, биение ее сердца и та удивительная сила, которую она черпает в самой себе, в своей груди, в своей жизни.

Сумеет ли она выстоять? Ее плечи кажутся мне слабыми.

И у меня в голове, независимо от меня, складываются слова другой песни:

Она хочет знать: может ли Сена
Убаюкать ее горе?
Она хочет знать: если она прыгнет,
Не пожалеет ли она об этом?

До меня доносится журчание ручья, влажный смех реки: Эдит Пиаф тихо плачет».

Никогда ни один мужчина не мог устоять перед Эдит. Не было никаких причин, чтобы и этот не заключил ее в свои объятия.

В течение дня я несколько раз восклицала: «Какой он хороший, Эдит, какой он хороший!» Она радовалась, а я говорила от всего сердца, я действительно так думала. Эдит была переполнена счастьем.

В ней было много чистоты и целомудрия. Еще в те времена, когда мы пели на улице, она смотрела на торговок цветами у метро: «Как ты думаешь, когда-нибудь мужчина подарит мне букетик цветов, вот так, на улице?»

С тех пор ей дарили столько цветов, что можно было открыть магазин… Она была довольна, это было свидетельством успеха, но… «Не убеждай меня, что эти готовые букеты дарят от сердца; их покупают за деньги. Вот букетик фиалок, другое дело, это надо захотеть, нужно достать из кармана монеты, а потом нести в руках, не боясь показаться смешным… Это поступок».

Анри это сделал совершенно естественно. Эдит светилась от счастья, она нашла свою любовь.

Официальный разрыв с Полем прошел безболезненно. Они оба устали друг от друга, а усталость облегчает расставание.

Они дождались окончания съемок. Друг на друга они не сердились, каждый был неудовлетворен другим. Поль аккуратно

сложил в чемоданы свои вещи. Он поцеловал Эдит:

— Желаю тебе с Анри большого счастья.

Нужно отдать ему справедливость, он не был слеп.

Когда он уходил, мне хотелось сделать ему реверанс, как маркизу, настолько он был в образе.

Глава восьмая. «Биду-бар»

После ухода Поля мы переменили квартиру, но далеко не уехали, а стали жить в доме напротив, соседнем с «Биду-баром». Удобней было бы просто пробить дверь — случались вечера, когда мы не могли попасть ключом в замочную скважину.

Когда Эдит меняла мужчину, она любила менять и обстановку. Она говорила: «Понимаешь, Момона, воспоминания на следующее утро — это как похмелье, от них болит голова. Их надо откладывать на будущее, после того, как сделаешь генеральную уборку и выметешь весь мусор».

У Эдит с Анри отношения сложились сразу: оба были одной породы. Он очень много писал о ней. Ей это нравилось, она понимала, что реклама является составной и необходимой частью ее профессии. «Момона, имя актера это как любовник; если его долго не видишь, если он отсутствует, о нем забывают».

Для Эдит Анри в первую очередь был красивым мужчиной, который ей нравился. Она не подозревала, что он-то и окажется тем автором песен, в котором она так нуждалась.

Анри был полной противоположностью Полю. Он с удовольствием проводил с нами время в «Биду-баре». Я ему не мешала, жизнь втроем его не отпугивала, он ко мне очень хорошо относился, мы сразу подружились.

Однажды, когда мы сидели в «Биду-баре», он сказал Эдит:

— Не знаю, будет ли тебе интересно узнать, но я когда-то писал песни. Мне было двадцать лет. Одну положил на музыку Жак Симон: «Морское путешествие». Ее пела Люсьенна Буайе, но успеха не имела, это был не ее жанр.

— Тем лучше, значит, не сладкая патока.

А что у тебя еще есть?

— Нет, я разочаровался и перестал. Но с тех пор как узнал тебя, начал снова.

Эдит, конечно, бросилась ему на шею.

После Реймона Ассо Анри Конте писал для Эдит большее всех и лучше всех. Его песни всегда оставались в ее репертуаре. Среди них «Нет весны», которую он написал на краешке стола за двадцать пять минут на пари с ней: Эдит поспорила, что ему это не удастся; «Господин Сен-Пьер», «Сердечная история», «Свадьба», «Брюнет и блондин», «Падам… Падам…», «Браво, клоун!».

Я король, я пресыщен славой.
Браво!Браво!

Словно рана — мой смех кровавый,
Браво! Браво!

Эдит хотела, чтобы Анри принадлежал только ей, а он уже долгие годы жил с одной певицей. Не в привычках Эдит было долго делить мужчину с кем-то. Но Анри она все прощала: он умел ее рассмешить. И хотя Анри был любовником Эдит, он не был по-настоящему ее мужчиной, он не жил у нас в доме. К большому сожалению. Потому что тогда мы не прожили бы в таком угаре с сорок первого по сорок четвертый год.

Был разгар оккупации. Запреты, облавы, черный рынок, заложники, объявления с приказами, аусвайсы со свастикой. Было ощущение такой непрочности, что жили кое-как, стараясь урвать от жизни что только можно и повеселиться, когда удавалось. Смех казался «временным», после него наступало похмелье. Никогда мы столько не пили. Надо было согреться и забыться.

Имя Эдит начинало приносить деньги. У нее не было недостатка в контрактах. Она получала три тысячи франков за концерт. Это было немало, но она могла бы получать гораздо больше. К сожалению, у нее не было никого, кто занимался бы ее делами. Иногда она выступала в двух местах за вечер. Получался роскошный заработок — шесть тысяч. Но деньги текли у нее из рук как песок. Во-первых, был «Биду-бар», который съедал немало. Во-вторых, черный рынок. Килограмм масла, стоивший ранее четыреста-пятьсот франков, в сорок четвертом году стал стоить тысячу двести, тысячу пятьсот. Повар Чанг вечером набивал холодильник продуктами, а к утру он оказывался пуст. У китайца была своя тактика.

— Мамамизель, он не любит масла; Мамамизель, он не любит, когда розбиф, жаркое не целый. Тогда моя унести домой.

И уносил. Чтобы не выбрасывать. У нашего Чанга была жена и пятеро детей. Всех надо было кормить. А у Эдит было много друзей; с одними она только что познакомилась, других знала несколько дней, и все хотели что-нибудь урвать. Каждый изобретал свой способ. Например, сидеть с мрачным видом. Она спрашивала:

— Что с тобой? Почему голову повесил? Выпей.

— Не могу. Душа не лежит. У меня неприятности.

— Любовные?

— Нет, денежные.

— Ну если дело только в этом, можно уладить.

Говоривший на это и рассчитывал.

Другие шептали Эдит на ухо: «Мой отец еврей, он старик. Его нужно переправить в свободную зону. Я боюсь за него. А сам на

нуле». «Сколько надо?» — спрашивала Эдит. Тариф был от десяти до пятидесяти тысяч франков, в Испанию даже сто. Если Эдит не могла дать всю сумму, она давала хотя бы часть.

Встречались и женщины, чьих сыновей надо было укрыть от обязательной службы в Германии. Эдит давала деньги; через два — три месяца те же люди приходили с другой историей.

Многие солдатские и офицерские лагеря в Германии объявили ее своим шефом. Она отправляла посылки. Для тех, кто сидел в лагерях, сердце Эдит было трехцветным, как французское знамя, а кошелек всегда открыт. «Я слишком любила солдат,— говорила она,— чтобы их бросить в беде».

Была еще одна категория людей — те, кто старался всучить разные вещи, иногда нужные, а зачастую нет.

Эдит не была тщеславной, но она гордилась своим именем, и тогда играли на этой струне, без конца произнося «мадам Пиаф». Совсем недавно ей говорили: «Эй, девчонка! Греби сюда, у тебя хорошенькие гляделки!» или «Отваливай, девчонка, хватит, надоела!» Легко понять, что она чувствовала, когда ее называли «мадам Пиаф».

— С вашим именем, мадам Пиаф, нужно носить песцовый мех.

— Ты что думаешь, Момона?

Попробуйте сказать ребенку, который блестящими глазами смотрит на рождественскую елку: «Это не для тебя». Но если бы только это! Наша новая квартира на улице Анатоль-де-ля-Форж была проходным двором, ночлежкой: туда приходили, уходили, оставались, спали где придется — на наших кроватях, в креслах, на полу. Получалось просто. Когда мы компанией выходили из «Биду-бара», обычно уже наступал комендантский час и метро не работало. «Заходите, переночуете,— говорила Эдит.— Выпьем по последней и перекусим» .

Мы были беззащитны. В доме не было мужчины. Жаль, что этим мужчиной не стал Анри, добрый, красивый. Морщины на его лице свидетельствовали об уме, они были гармоничны, как план Парижа. В нем было что-то от Гавроша, и это очень нравилось Эдит, но в этом Гавроше чувствовалась порода. «Видишь, Момона, это такой тип людей — берут тебя за задницу так, что ты не можешь возразить. Мне это нравится». Она не лгала. Ни Эдит, ни я не могли подняться по лестнице впереди Анри без того, чтобы он нас не похлопал. Быстро и ловко! Для него этот жест был, скорее, проявлением вежливости и внимания.

Анри все время колебался; он хотел перейти жить к нам, но та женщина его крепко держала. Сколько из-за этого было сцен! Время от времени он объявлял: «Девочки, на этот раз решено.

Готовьтесь, в будущем месяце переезжаю».

Мы покупали ему трусы, носки, пижамы, рубашки — все необходимое по ценам черного рынка, без талонов, раскладывали по ящикам комода и радовались. Эдит говорила: «Осталась неделя! Скоро в доме будет мужчина. Все изменится».

Но Анри не приходил. Тогда Эдит в гневе выбрасывала все купленное, топтала ногами белье и вместе с ним свои надежды. Она кричала: «Отнеси все это на помойку!»

Анри появлялся в дверях без чемодана. Какой актер! В глазах стояли слезы. «Эдит, прости. Она плакала, цеплялась за меня, я уступил. Дадим ей еще несколько дней…».

Это повторялось не один раз. Наконец мы поняли, что никогда он к нам не придет. Анри любил певиц, но больше всего он любил удобства. А та, вторая, была отличной хозяйкой. Она за ним хорошо смотрела. На нем всегда были отглаженные рубашки, безупречные складки на брюках, начищенные башмаки. Он выглядел так же элегантно, как Поль…

Если в доме не было мужчины, Эдит не знала удержу.

Днем все шло более или менее нормально. Анри рассказывал ей разные истории. Он был в курсе всех событий, знал сплетни обо всех знаменитостях. Эдит любила перемывать косточки, и ей лучше было не попадаться на зубок.

А самое главное — они с Анри очень много работали, и с ними всегда была Гит. В работе никого не было требовательнее Эдит. Ей аккомпанировали Даниэль Уайт, молодой человек лет двадцати семи, и Вальберг, чуть постарше. Она заставляла их вкалывать как каторжных. Но никто никогда не жаловался. Это маленькое существо было властно, как диктатор. Несмотря на бедлам, царивший в доме, несмотря на все безумства, Эдит всегда сохраняла ясный ум. Она бросалась в работу, как олимпийская чемпионка в бассейн. Ей всегда нужно было побить очередной рекорд. Она не знала усталости.

Я недоумевала: из чего она сделана? Откуда берет силы?.. Работа начиналась обычно часов в пять-шесть вечера и заканчивалась на рассвете. Если в это время шли концерты, то все начиналось около часу ночи.

Если Реймон научил ее технической стороне профессии, грамматике, то Анри объяснил ей, как этим пользоваться для того, чтобы подняться выше, чтобы стать Великой Пиаф.

Ассо был учителем требовательным и властным. Конте не командовал, не проявлял упорства, он старался ее понять. Умел ее слушать, обсуждать вопросы — эхо очень помогало Эдит в ее поисках. Именно с ним. сама еще того не сознавая, она приобретала командную хватку и становилась той, кому в свою

очередь в скором времени предстояло начать формировать других.

Эдит прочитывала сотни песен. У ней было совершенно точное представление о том, каким должен быть ее текст. «Песня — это рассказ. Публика должна в него верить. Для публики я воплощаю любовь. У меня все должно разрываться внутри и кричать — таков мой образ; я могу быть счастливой, но недолго, мой физический облик мне этого не позволяет. Мне нужны простые слова. Моя публика не думает, она как под дых получает то, о чем я пою. И в моих песнях должна быть поэзия, которая заставляет мечтать».

Когда Эдит выбирала наконец свою песню, ей играли мелодию. Слова и музыку она разучивала одновременно, никогда их не разделяла. «Они должны войти в меня вместе. В песне слова и музыка неотделимы друг от друга».

Если ей давали советы, которые она не принимала, она говорила: «Моя консерватория — улица. Мой ум — интуиция».

После того как она выучивала песню, в работу включались автор и композитор. Для них начиналась драма, хождение по мукам. В разгар репетиции Эдит останавливалась, иногда настолько внезапно, что пианист продолжал играть. Тогда она кричала: «Стой!» Или: «Заткнись! Анри, замени мне это слово. Оно у меня не звучит правдиво! Я его и выговорить не могу, оно слишком сложно для меня».

Затем она обрушивалась на Гит, которая с отсутствующим видом ожидала, когда до нее дойдет очередь. «Гит, проснись! Вот послушай это место: «тра-ла-ла ла-лэр» — так не годится. Это длинно, это вяло, это тянется, как резина. Я не плачу, а растекаюсь, как оплывшая свечка. А мне здесь нужен крик. Вот примерно так: «Тра-ла ла-ла!». Суше к концу, короче! Нужно, чтобы это обрывалось внезапно, потому что девушка не может выдержать. Если она будет продолжать, она начнет скулить, и поэтому она обрывает. Понимаешь?»

Все всё понимали, но нужно было найти решение. Так длилось часами.

По-моему, одна из самых прекрасных репетиций была, когда они работали над песней «Это чудесно». Слова написал Анри Конте, музыку — Маргерит Монно.

Когда мы вместе,
Счастье не спускает с нас глаз…
Это чудесно…
Когда мы влюблены,
Наступают прекрасные рассветы…

Это чудесно…

Жизнь окрашивается в голубой цвет
Мазками солнечной кисти,
Потому что ты меня любишь…
Это чудесно!

Текст Анри казался Эдит недостаточно простым, а музыка Маргерит чересчур небесной. Гит очень любила скрипки; как только речь шла о счастье, ей нужен был большой оркестр, она снова превращалась в вундеркинда. Они спорили десять дней!

Когда период лихорадки кончался, Эдит начинала петь. Она пела все время: в ванной комнате, в постели. Она будила Анри и других, чтобы спеть им по телефону последний вариант.

Жесты приходили к ней во время работы. Она их не искала, она ждала, что они придут сами, естественно родятся из слов. К жестам на сцене она проявляла большую сдержанность, не то что в жизни! «Понимаешь, жест отвлекает глаза и слух, когда слишком много смотрят, хуже слушают. Я не хочу, чтоб меня смотрели, я хочу, чтобы меня слушали».

Как-то один журналист задал ей вопрос:

— Вы отрабатываете жесты перед зеркалом?

Эдит смеялась до упаду.

— Вы можете себе представить, что я кривляюсь перед зеркалом? Разве я — клоун? Моя цель не в том, чтобы публика хохотала, я не на манеже!

Что касается мизансцен песен, Эдит искала их только на сцене. Окончательно она доводила свою песню уже на публике. Если же замечала, что, исполняя песню, думает о чем-то постороннем, тотчас же убирала ее из программы. «Я делаю все механически, так не годится».

Именно в этот странный период Эдит нашла свою манеру работы над песней. Потом она оттачивала, совершенствовала ее, но метода уже не меняла. И именно эта манера в сочетании с ее непоколебимой волей и одержимостью позволили ей стать Первой леди Песни с большой буквы.

Папа Лепле, Реймон, Жан Кокто, Ивонна де Врэ — все что-то ей дали. Теперь количество переходило в качество.

Умение неистово работать, труд муравья, на который оказалась способна стрекоза, заставили Жана Кокто написать о ней: «Мадам Пиаф гениальна. Она неподражаема. Другой такой никогда не было и не будет. Подобно Иветте Жильбер или Ивонне Жорж, Рашели или Режан, она, как звезда, одиноко сгорает от пожирающего ее внутреннего огня в ночном небе Франции».

После напряженной работы Эдит всегда была счастлива и ей хотелось побыть с Анри, приласкаться к нему, прижаться к нему ночью, но он говорил:

— Эдит, мне пора домой.

— Ну останься еще немножко,— умоляла Эдит,— хоть один раз…

Но Анри умел уклониться элегантно.

— Эдит, маленькая моя, наступает комендантский час… ночью ходить опасно.

И она уступала.

— Иди, любовь моя, иди. Ты же знаешь, как ты мне дорог. Только бы с тобой ничего не случилось.

И Анри растворялся в зловещей ночи оккупированного Парижа. Но ему ничто не грозило: как у всех журналистов, у него был ночной пропуск. Я знала об этом, Эдит — нет. Ей бы это доставило много горя.

Для того чтобы Эдит не беспокоилась, как он добрался до дому, была выработана целая система телефонных звонков: вернувшись, он звонил нам и после двух звон-т ков вешал трубку, потом опять звонил и вешал трубку после трех звонков. Это означало, что все в порядке, а также то, что раньше завтрашнего дня мы его не увидим.

Это вроде бы должно было успокаивать Эдит. Но горькая складка ее рта говорила об обратном: она представляла себе Анри в объятиях другой.

Нужно отдать Эдит справедливость: соперницу она не щадила. В любое время ночи она могла позвонить к Анри домой. Если отвечал женский голос, она говорила: «Позовите Анри, это по делу!» И говорила о работе или о любви, в зависимости от настроения. Когда вешала трубку, спрашивала меня: «Как ты думаешь, она подслушивала?»

Так родилась одна из лучших песен Анри и Эдит: «Респектабельный мужчина».

— Анри, у меня гениальная мысль, напишем песню о Поле Мёриссе. Приезжай.

— Не могу, Эдит. Комендантский час. Объясни мне, я тебя слушаю.

— Вот, мне пришла в голову фраза: «Он был настолько респектабельный мужчи на…» А дальше — не знаю. Но она, то есть я в песне, должна быть простодушной и недалекой, а он покорил ее роскошными манерами. На самом же деле он смеялся над нею и ему было на нее наплевать. Улавливаешь?

— Да. Завтра поговорим.

— Нет, нужно ковать железо, пока горячо, я чувствую, что могу сейчас много придумать. У меня есть аусвайс, я сейчас возьму фиакр и приеду за тобой. Фиакры не останавливают.

Она так и сделала. По дороге она ликовала:

— Я его подловила, Момона! Подловила! Пусть его девка повертится!

Естественно, в эту ночь сочинение песни намного не продвинулось.

— Я хочу провести с тобою целую ночь. Я имею право.

Дня через два Анри принес нам книгу.

— Это «Бэк Стрит». Тебе поможет в сочинении песни. Для тебя эта история будет понятна.

Из-за этой книги они чуть не оказались на волоске от окончательного разрыва. Эдит прочла ее залпом за ночь. Без выпивки, так как она не могла читать, если пила: с детства у нее осталось неустойчивое зрение, если она выпивала, у нее все плыло перед глазами.

На следующий день, в ванной, она выложила мне все, что у нее было на сердце — большой камень. Присев на край ванны, она пересказала мне сюжет «Бэк Стрит» — историю бедной девушки, прожившей всю жизнь, не смея показаться рядом с человеком, которого она любила.

— Он издевается надо мной! Подсунуть мне такое! Я не «мадам Бэк Стрит»! Та — бедная недотепа! Что общего со мной? Причем тут моя песня «Респектабельный мужчина»? Песню я буду петь, потому что она слишком хорошая, но в остальном — пошел он к черту! Слишком дорогой платы хочет за ту единственную ночь! Как вспомню, что принесла ему кофе в постель! Подожди, я так этого не оставлю!

Когда Анри появился с букетиком фиалок (он ей часто их приносил), Эдит сказала:

— Положи их куда хочешь, с ними ты выглядишь так, как будто к тебе не пришли на свидание.

Он нагнулся, чтобы ее поцеловать, она отвернулась.

— Не время. Садись. Зачем ты мне дал эту книгу? Что я — бедная дура, готовая ждать тебя всю жизнь? Значит, мсье угодно, чтобы я сидела дома, плакала, вязала, готовила обед, к которому вы не соизволите явиться, издалека следила за вашим счастьем?.. Ну, так ты попал пальцем в небо! Я покажу тебе, как я сыграю роль безутешной девочки из «Бэк Стрит», которую бросил негодяй твоей породы. Ты что, представляешь меня в роли жертвы? Чьей? Постельного героя? Меня! Эдит Пиаф! Нет, ты меня не разглядел! Тебя я одного в жизни ждала! Да у меня мужчин было и будет,

как в телефонной книге! Клянусь, ты такие рога у меня будешь носить — проткнешь потолок к соседям сверху!

Если бы Кокто это слышал, он написал бы новую пьесу.

Но Эдит страдала и, чтобы отомстить Анри, решила заставить его ревновать. Она внушила себе, что влюблена в драматического актера Эмона.

Ее увлечение продолжалось всего две недели, но Эдит поверила в свою страсть, и это привело Анри в бешенство. На этот раз он принял все близко к сердцу. Кому приятно слышать от любовницы: «Я его люблю, он не такой, как все. Анри, ты должен меня понять».

В ярости он называл ее сумасшедшей, истеричкой, нимфоманкой, шлюхой. У него был большой запас слов, я даже не все понимала. Но отдавала должное его красноречию.

Через час после его ухода Эдит пришла в отчаяние, страсть к Эмону улетучилась бесследно.

— Момона, что я наделала! Эмон мне безразличен, я сошла с ума! Я боюсь потерять Анри. Неужели он не позвонит? Не может он так со мной поступить!

Эдит рыдала и не могла остановиться. Уткнувшись в подушки, кусая наволочку… Нескончаемая истерика.

— Позвони ему, Момона. Скажи, что мне надо с ним немедленно работать над песней.

Я набрала номер. Эдит взяла наушник.

— Вешай, Момона. это его девка.

На следующий день глаза у нее опухли, как два шара.

Анри не позвонил.

— Пойди к нему в редакцию, Момона. Я не могу без него. Как и без других.

Я позвонила Анри. Он назначил мне встречу в своем кабинете в редакции «Пари-суар». Надо сказать, что здесь он выглядел очень серьезно и импозантно. Телефон звонил не переставая, он отдавал распоряжения. Я внимательно смотрела этот фильм, который он, для меня прокручивал на большом экране.

— Если ты меня пригласил, чтобы я тебя хорошенько рассмотрела, ты мне так и скажи. Я, знаешь ли, не спешу.

Он рассмеялся.

— Пойдем выпьем рюмочку.

— Нет, пойдем к нам. Тебя ждет Эдит.

Войдя с ним, в этот день в нашу квартиру, я поняла Анри. Я поняла, что он должен был чувствовать. Я как бы увидела наш дом его взглядом. Настоящий бедлам. Было около двух часов дня. Всюду, где только можно было пристроиться, кто-нибудь спал:

партнер Эдит Ивон Жан-Клод, его сестра Анна Жан-Клод; на рояле наигрывал какой-то незнакомый парень, другой что-то потягивал из бокала. Чанг занимался кухней, он только что научился готовить фасоль и жарить курицу. И среди всего этого беспорядка бродила, пытаясь что-то делать, мадам Бижар. На это невозможно было смотреть. Нужно было быть Эдит Пиаф, чтобы удерживать в этой обстановке такого человека, как Анри. И нужно было быть ею, чтобы осмеливаться просить его перейти сюда жить.

Эдит была еще в постели, когда Анри вошел к ней в комнату.

— Анри, ты пришел! Я люблю тебя!

Любой мужчина, слышавший эти слова, произнесенные голосом малютки Пиаф, уже себе не принадлежал. Я повторяю: у нее была над ними поразительная власть!

Отношения между ними наладились, но уже не так, как раньше. Эдит сделала последнюю попытку: она хотела, чтобы у нее остался от него ребенок. «Понимаешь, Момона, он будет умным, красивым. Отца ребенка всегда следует выбирать сознательно. Нельзя полагаться на случай».

Эдит никогда не говорила о Сесель. Один только раз, 31 января, в день святой Марсель, она сказала: «Моей девочке исполнилось бы десять лет. Если бы твоя мать тогда взяла ее к себе, она, может быть, осталась бы жива!»

Эдит, как всегда, строила себе иллюзии. Я-то знала, чего стоила моя мать и какая бы из нее могла выйти нянька,

В то утро, когда Эдит заговорила с Анри о ребенке, она была очень серьезна, очень спокойна:

— Любовь моя, я знаю, ты никогда не будешь со мной, все кончено. Но я хочу, чтобы у меня от тебя что-то осталось. Я хочу ребенка.

Анри был растроган:

— Правда? Ты хочешь от меня ребенка?

Но это также было не просто, иначе у нее давно уже были бы другие дети. Когда у нее родилась Сесель, врачи ей сказали: «Это чудо! Вам будет очень трудно иметь еще детей».

Словом, с ребенком у Эдит ничего не получилось.

Любовь между Анри и Эдит кончилась, но он остался ее другом и автором песен. Главное, она чувствовала себя легко и весело. В прошлом он был инженером, и в нем не было ни капли мещанства и ханжества. Он всюду чувствовал себя непринужденно, в любом обществе, в любой обстановке, завязывал связи, и вскоре нам это очень пригодилось.

На улице Анатоль-де-ля-Форж нас не любили. Образ жизни Эдит не соответствовал духу буржуазного квартала. Кроме того,

она никогда не платила за квартиру в срок, не придавала этому значения. Когда в конце месяца на пороге появлялась консьержка со сладкой улыбкой на лице и квитанцией в руках, Эдит говорила: «Положите квитанцию вон туда. Симона, угости мадам рюмочкой вина». И великодушно добавляла: «И мне налей, я с нею чокнусь». Потом она щедро давала ей на чай. Много месяцев спустя квитанция все еще продолжала лежать «вон там».

Всю жизнь Эдит не вылезала из долгов. Если она не платила сразу, это откладывалось надолго. Бедняжка Андре! У нее всегда была пачка неоплаченных счетов! Сколько она из-за этого выдержала! С Эдит невозможно было говорить о деньгах: она их зарабатывала, и этого было достаточно. Она слушать не хотела о том, что ее расходы превышают доходы.

Все у нас шло вкривь и вкось. Жизнь с: Конте не сложилась. В доме было холодно, центральное отопление не действовало, печи дымили и гасли: мы забыли вовремя запастись углем на черном рынке. Эдит очень плохо переносила холод. Закутанная с ног до головы в шерстяные вещи, она постоянно находилась в мрачном, раздраженном состоянии. Поэтому, когда хозяин нас выставил, мы, пожалуй, даже обрадовались.

Задолженность Эдит облегчила ему эту задачу. Список наших проступков был длинным: шум по ночам, попойки и тому подобное. Несмотря на рюмочки вина и чаевые, консьержка донесла хозяину, что у нас в любое время дня и ночи бывают мужчины, значит, мы шлюхи и не можем жить в приличном доме.

Эдит сказала Анри:

— Мы съезжаем с этой квартиры, хозяин говорит, что мы ведем себя как шлюхи.

Он ответил:

— Ну, что ж, девочки, все складывается очень удачно, я как раз хочу устроить вас в бордель.

— В настоящий?

— Ну, не совсем, это, скорее, дом свиданий. Район прекрасный — улица Вильжюст (теперь улица Поля Валери). Вы будете жить на верхнем этаже, там очень спокойно. Прислуга будет вас обслуживать. В этом доме прекрасная клиентура. Будете как сыр в масле кататься.

— Ну, с тобой не соскучишься,— засмеялась Эдит.

— Девочки, вам там будет хорошо. Хозяину вы понравитесь, я уверен. Вам будет уютно, тепло. В таких домах клиенты боятся сквозняков! И ты наконец избавишься от своих нахлебников. Разберешься с деньгами.

Когда мы с Эдит и мадам Бижар приехали в этом дом, хозяин и хозяйка бросились нам на шею. Мы обнялись и расцеловались,

как друзья-однополчане. Их звали Фреди; разумеется, у них была другая фамилия, но мы ее так и не узнали. Он был итальянец, похож на Тино Росси, только крупнее и не так хорош собой. Она — расплывшаяся блондинка, целыми днями ходившая в ночной рубашке, опущенной на одно плечо. Своих девиц она называла «деточка» и «лапочка», но замечала абсолютно все и ничего им не спускала.

«Детка, ты вчера была не в форме, мсье Робер был недоволен». Или: «Лапочка, следи за бельем. Ты часто носишь одно и то же, некоторым это не нравится. Мсье Эмиль мне вчера про это сказал. Надо поддерживать нашу репутацию».

Дело было поставлено очень скрытно: клиентов знали не по фамилиям, а по именам.

С Фреди контакт установился сразу. Не успев войти в дом, Эдит заявила: «У меня нет денег».— «Ничего, мы подождем».

Они нам предоставляли кредит, но когда у нас появлялись деньги, то не терялись и возвращали себе все с лихвой! Грабеж! Но зато в разгар оккупации мы были в тепле, нас прекрасно кормили, и мы были не одни. Нам казалось, что мы в семье.

Нам с Эдит отвели комнату с ванной. Комната с ванной была и у мадам Бижар. Мы жили в борделе, но с секретаршей! «Момона, это — уровень!» Повсюду были ковровые дорожки, красивая мебель — словом, комфорт. Чего же еще? Эдит пришла в восторг.

В тот же вечер мы познакомились с девицами. «Рабочие» помещения находились под нами, а на первом этаже была большая гостиная.

Заведение функционировало следующим образом (они оказались не дураки, эти Фреди): днем девиц не было, их вызывали по телефону, вечером же все напоминало роскошные бордели типа «Сфинкса» или «Шабанэ». В гостиной обедали, ужинали. За инструментом всегда сидел пианист. Было спокойно и уютно.

В первый же вечер Эдит закрыла глаза и сказала: «Момона, помолчи-ка минутку, я хочу прислушаться к своим воспоминаниям. Звуки рояля, аромат духов… Музыка и духи другие, но здесь пахнет борделем, как в детстве, когда я была слепой. С тех пор прошло почти семнадцать лет, а мне кажется, что я сейчас услышу голос бабушки: «Эдит, хватит слушать музыку, пора спать».

В этом доме была своя атмосфера. Было оживленно, но девушки не имели ничего общего с теми, кто работает на панели или живет в закрытых домах. Они умели говорить о книгах, о театре, о музыке. Без этого было нельзя. Мужчины, которые сюда

приходили, либо занимали крупные посты при режиме «Труд-Семья-Родина», либо ворочали делами на черном рынке, либо были коллаборационистами. Боши, не ниже генералов и полковников, держались скромно, как тогда принято было выражаться— «корректно». Они всегда появлялись в штатском. Сюда приходили самые крупные чины из тайной полиции, французской и немецкой. Улица Лористон, где работала эта сволочь, находилась совсем рядом. Между двумя допросами с пытками они приходили разрядиться в дом Фреди. Их все ненавидели, но Фреди их слишком боялись, чтобы отказывать. Лучшее я оставила напоследок: приходили сюда и ребята из Сопротивления… Конечно, инкогнито. Мы об этом узнали лишь много времени спустя. Фреди были предусмотрительны, они ели из всех кормушек и, надо сказать, за обе щеки.

Анри Конте был в восторге. Этот карнавал ему нравился. Его смелость доходила до того, что он слушал Би-Би-Си в комнате Эдит, в то время как этажом ниже генерал фон «Трюк» развлекался с «Мадемуазель французен».

У нас бывали самые разные люди. Однажды явился Анри, наш бывший кот, самый наш верный друг в прошлом. Он принес Эдит огромный букет цветов. «Это тебе. Ты же понимаешь, в жизни надо волюционировать».

Ну и посмеялись же мы в этот день. Подумать только, к нам пришел наш сутенер и он (э) «волюционировал»! На пальце у него был камень величиной с пробку от графина. Не подделка, настоящий! И он принес цветы!..

— Так что, дела идут?— спросила Эдит.— Ты чем теперь занимаешься?

— Ну, по-прежнему забочусь о девочках, они у меня трудяги. Но сейчас основные деньги идут не от них. Я теперь занимаюсь бизнесом.

Мы его не спросили, каким именно. В блатном мире чем меньше вы знаете, тем безопаснее. Этой истины мы никогда не забывали. Мы распили бутылку шампанского и поговорили о добрых старых временах. Он рассказал нам кое-что о наших прежних друзьях.

— Знаете, девочки, некоторые ребята сподличали, повали в гестапо. Другим не повезло: за спекуляцию попали в концлагерь. А с Фреэль произошло несчастье. Она пела в Гамбурге, вдруг началась бомбардировка. По улицам тек фосфор, асфальт стал жидким, люди сгорали стоя, как факелы. Дома рушились. Было светло, как днем, можно было бы читать газеты, если бы у вас было на это время и желание. Все люди, говорят, криком кричали. И запах был, как когда палят свиную щетину. У Фреэль сгорели

волосы, брови, ресницы и обгорели ноги. Когда она об этом рассказывает, меня начинает бить дрожь. Ты ведь знаешь, какой я нервный. После этого я решил, что бошам войны не выиграть. Надо скорей высосать из них все деньги.

Он ушел, сказав на прощанье: «Девочки, я рад за вас. Вам тепло, и вы в приличном месте».

Время от времени появлялась Гит. Она приезжала на велосипеде (в это время все передвигались на двух колесах). Чтобы не трепались волосы, она повязывала на голову шелковый платок: это было очень модно, из них сооружали целые тюрбаны. Но Гит тем не менее всегда была растрепана. «Не понимаю,— говорила она,— почему у меня волосы разлетаются?» Мы смеялись. Гит сердилась: «Почему вы смеетесь? Я совсем не рассеянная, просто я всегда думаю о чем-нибудь другом». Она была настолько «нерассеянной», что однажды приехала на чужом велосипеде.

— Ребятки, я в ужасе. Я только здесь заметила, что он не мой.

— Так верни его.

— Кому?

— Отвези его туда, где ты его взяла.

— Но я не помню где.

Мы с Эдит были уверены, что Гит не понимает, в каком доме мы живем. Действительно, однажды она сказала: «В вашем отеле слишком оживленно, но зато хорошо топят. И все очень приветливы, хорошо встречают». Она приняла Фреди за консьержей.

Прелестная, восхитительная Гит, она была настолько не от мира сего, что хотелось взять ее за руку и вести по жизни.

Как я уже говорила, у Эдит бывало много народу, но в тот период она больше встречалась с драматическими актерами, чем с эстрадными певцами.

Большим ее другом стал Мишель Симон. Удивительный человек! На редкость уродлив, но этого не замечаешь. Я могла слушать его часами… Он часто приходил поболтать с Эдит. Когда они находились вместе, эти два священных кумира сцены, от них нельзя было отвести глаз.

Мишель мало говорил о своей работе, больше о жизни, с ним столько всего случалось! Рассказывал о животных, о своей обезьяне, которую любил, как близкое существо.

Он был прекрасным рассказчиком, и его голос, не похожий ни на какой другой, совершенно особый, придавал щемящую достоверность тому, о чем он говорил. Он так и не смог смириться со своей внешностью, его терзала мысль о собственном уродстве. «У меня такая рожа, что она не противна только

шлюхам, это добрый народ… А еще меня любят животные. Моя обезьяна, например, находит меня красивым. И она права, пойди найди другую такую обезьяну, как я!»

Эдит смеялась, а я ему сочувствовала.

Мишель Симон считал, что в этом он схож с Эдит, что она, в своем женском облике, так же чудовищна, как он — в мужском. Это придавало ему уверенности, прогоняло чувство одиночества. «Видишь, Эдит, мы с тобой и без красоты добились успеха».

Удивительно то, что через некоторое время я тоже стала смотреть на Эдит его глазами. Раньше я считала ее хорошенькой, а теперь стала находить в ней отклонения от нормы: узкие плечи, огромный лоб, маленькое личико. Но в жизни она была лучше, чем на сцене: утрачивала страдальческий вид, и тогда можно было обратить внимание на округлые бедра и стройные ноги.

Мишель Симон и Эдит рассказывали друг другу свою жизнь. Оба любили соленую шутку и смеялись до слез. И оба умели крепко поддать. «Мы с тобой страшны, как смертный грех,— говорил Мишель,— зато не слабаки!»

Бывали у нас Жан Шевриер и Мари Бель из «Комеди Франсэз». Она выглядела как светская дама, что не мешало ей приходить в наш бордель. Мы принимали их в гостиной, а потом они незаметно поднимались наверх. В то время они еще не были женаты.

Приходила и Мари Марке. Когда обе Мари встречались, у них были довольно кислые мины. Они не любили друг друга. Эдит очень ценила Мари Марке, считая ее актрисой высокого класса. В ней все было крупное: фигура, рост (когда она раскидывала руки, мы обе свободно проходили под ними), талант. Никто не умел так читать стихи, как она. Это было прекрасно, как сон! Эдит слушала ее с уважением: «Мари, ты декламируешь, а я учусь, потому что стихотворение — это песня без музыки, здесь те же трудности».

Забавно было наблюдать эту женщину такой высокой культуры в обстановке нашего дома свиданий. Она ее нисколько не шокировала. Мари рассказывала нам удивительные истории. Она познакомила нас с пьесами Эдмона Ростана: «Сирано де Бержераком», «Орленком», «Шантеклером» — и рассказывала нам о доме Ростана в Арнаго, возле Камбо. Поэт и она очень любили друг друга. Это была прекрасная история любви, приводившая Эдит в восхищение.

Постоянно у нас находились Мадлен Робэнсон и Мона Гуайа. [22] Первая была лучшей подругой Эдит.

Однажды в 1943 году Эдит вызвали в полицейский участок по поводу ее матери. Ее вызывали уже не в первый раз, но, как

оказалось, в последний. С тех пор, как Эдит стала знаменитой, мать устраивала скандал за скандалом. Не один раз она попадала в тюрьму Фрэн. Ее подбирали прямо на улице в состоянии опьянения вином или наркотиками, выглядела она, как клошары… Мы забирали ее из тюрьмы, одевали с головы до ног… И все начиналось сначала.

Когда в 1938 году Эдит выступала в «АВС», однажды вечером какая-то нищенка вцепилась в дверцу такси, в которое села Эдит. Волосы закрывали ей лицо, от нее несло винным перегаром, и она кричала хриплым голосом: «Это моя дочь… Это моя дочь…»

Реймон Ассо тогда возмутился и на некоторое время избавил от нее Эдит. Но потом она стала всем плакаться: «Моя дочь — Эдит Пиаф. Она купается в золоте, а я подыхаю в нищете». Она угрожала Эдит, что пойдет в редакции, газет. И она это сделала, более того, она обратилась в отдел общественной благотворительности газеты «Пари-суар». Она хорошо отработала свой номер, но, так как она практически не протрезвлялась, он проходил не всегда. К 1943 году мы уже так привыкли ко всему, что от нее исходило, что в этот раз Эдит мне сказала:

«В полиции мне сообщили, что она умерла ужасной смертью в канаве. Она жила на Пигаль с одним молодым парнем, жалким опустившимся подонком. Их связывали наркотики; оба нюхали кокаин. Как-то вечером он поднялся с их кишевшего насекомыми топчана, чтобы пойти раздобыть дозу. Он посмотрел на мать Эдит: она храпела. Когда он вернулся, она лежала в той же позе. Он дотронулся до нее, она уже была холодной. Потеряв голову от страха, одурманенный кокаином, он вынес тело на улицу и там бросил. Она умерла, как предсказывал отец,— в канаве».

Все хлопоты взял на себя Анри Конте, я ему помогала. Эдит похоронила свою мать на кладбище в Тье. Она не пошла на похороны. Не была ни разу на ее могиле. «Моя мать умерла для меня очень давно, через месяц после рождения, когда она меня бросила. Матерью моей она была только по документам».

Это правда. Между Эдит и ее матерью никогда не было никакой привязанности. Мать приходила к дочери только ради денег.

Эдит много работала. И не всегда у нее все проходило гладко с оккупантами. Она не была героиней, но в ней было слишком много от Гавроша, от парижского гамэна, чтобы она могла позволить посягнуть на свою независимость.

В 1942 году, когда она выступала в «АВС», в вечер премьеры в зале оказалось много немецких офицеров в мундирах всех цветов.

Зеленый — цвет вермахта, черный — СС, серый — военно-воздушных сил, синий — военно-морских. Но зал был битком набит также парижанами всех мастей. В конце программы Эдит для них выдала «Где все мои друзья?» на фоне трехцветного знамени, высвеченного прожекторами на сцене. Что творилось в зале!

На следующий день ее вызвало немецкое начальство. Ей сделали серьезный выговор, потом потребовали:

— Уберите эту песню из своего репертуара.

Эдит умирала от страха, но ответила:

— Нет.

— Тогда я вынужден ее запретить.

— Запрещайте. Но над вами будет смеяться весь Париж.

В конце концов песню оставили, убрали только трехцветное знамя.

Немцам очень нравилось пение Эдит. Раз двадцать, не меньше, они приглашали ее выступить с концертами в больших немецких городах, но она всегда отказывалась.

Зато готова была сколько угодно петь в лагерях для военнопленных и отдавала им полученные гонорары. Из этих поездок она возвращалась потрясенной. Солдаты были ей дороги, как верные друзья, она всегда их любила. Принимали они ее, как королеву.

Андре Бижар попросила Эдит сопровождать ее вместо меня в поездках по лагерям.

— Ты так любишь фрицев?

— Я просто люблю путешествовать.

— Она лжет,— сказала мне как-то Эдит.

Мы давно уже обратили внимание на то, что в комнате Вижар бывает много мужчин. Вначале Эдит смеялась: «Смотри-ка, это, наверное, атмосфера дома оказывает на Андре такое влияние. Ты заметила, сколько к ней мужиков ходит! Я от нее этого не ожидала!»

Потом мы поняли, что, оказавшись в логове врага, она использует положение и активно участвует в Сопротивлении. А все мужчины, которые у нее бывают — «террористы», как их называли фашисты.

Поездки по ту сторону Рейна были связаны с большими неудобствами для Эдит. Как-то после концерта один из старших офицеров немецкой армии спросил ее:

— Надеюсь, мадам, вы довольны гостеприимством, которое вам оказывает рейх? Как вы находите Германию?

— О чем вы говорите? В комнате холод, стекла в окнах выбиты, пища не съедобна, и нельзя получить две капли вина!

Жуть!

Немец покраснел, схватил телефонную трубку и стал кричать в нее что-то по-немецки. Эдит подумала: «На этот раз я хватила через край». Она ошиблась. Через час ее устроили в лучшей гостинице, подали приличный ужин и бутылку французского бордо.

В другой раз, снова в лагере, Эдит узнала, что французские пленные положили на мелодию гитлеровского гимна следующие слова:

В ж… в ж…
Получат они победу.
Они потеряли
Всю надежду на славу,
Они пропали,
И весь мир радостно поет:
«Они в ж…, в ж…!»

И вот в конце своего выступления Эдит сказала:

— Чтобы поблагодарить господ офицеров, я спою немецкую песню, но, так как слов я не знаю, я ее только напою.

И она запела во всю мощь своего голоса. Все немцы встали по стойке «смирно» и слушали, как Эдит им пела, по сути дела, «В ж…».

Так как атмосфера создалась благоприятная, мадам Бижар сказала Эдит:

— Попросите разрешения сфотографироваться с военнопленными.

Чокнувшись с комендантом лагеря «за Сталинград», «за победу», за все, что он хотел, Эдит сказала:

— Полковник, окажите мне любезность.

— Заранее согласен,— ответил тот, щелкнув каблуками.

— Мне бы хотелось, чтобы на память о таком прекрасном дне у меня осталось две фотографии: одна с вами, другая — с моими заключенными.

Немец согласился. В Париже Эдит отдала фотографию Андре. Ее увеличили. Голова каждого солдата была переснята отдельно и наклеена на фальшивые удостоверения личности и на фальшивые документы французов, «добровольно» приехавших в Германию. Потом Эдит попросила разрешения снова посетить этот лагерь. В коробке с гримом, в которой было двойное дно, Андре доставила все фальшивые документы и раздала их военнопленным. Тому, кто сумел бежать, эти бумаги очень помогли. Некоторым они спасли жизнь.

Эдит и мадам Бижар повторяли эту операцию каждый раз, когда это оказывалось возможным. Эдит говорила: «Нет, я не участвовала в Сопротивлении, но своим солдатам я помогала».

Мы бы до конца войны оставались в нашем роскошном борделе, но, к несчастью, семейка Фреди переусердствовала с черным рынком. Дело близилось к концу, и оккупанты, решив навести порядок среди своих, для острастки стали забирать тех, кто был связан с черным рьюком. Потом произошли истории с девицами, которые обирали клиентов; среди них попался один немецкий офицер. Мерзавцы из гестапо приходили теперь не за тем, чтобы развлекаться, а чтобы выполнять свою грязную работу. С каждым днем в доме становилось все опаснее, и однажды утром, весной 1944 года, Анри пришел за нами. «Девочки, запахло жареным. Пора сматывать удочки».

Эдит, всегда быстрая в решениях, объявила: «Отступаем в отель «Альсина».

Мы расстались с Фреди, уплатив им два миллиона франков. Эту сумму мы им перед отъездом еще оставались должны, несмотря на огромные деньги, которые выплачивали все время. Предоставляя нам кредит, они регулярно вытягивали из нас все, и мы практически оставались на нуле.

На следующий день после нашего отъезда их дом на улице Вильжюст был оцеплен и хозяев посадили. Так кончилась наша красивая жизнь в борделе!

Глава девятая. Эдит открывает Ива Монтана

В отеле «Альсина» мы вернулись к своим привычкам. Но вначале все было очень трудно.

Война для немцев оборачивалась плохо. Повсюду на стенах расклеивались объявления в траурных рамках; это были списки заложников, среди которых могли оказаться ваши соседи, родные, друзья. Тут уж было не до веселья. Немцы всех считали террористами, даже старушку, продававшую на углу газеты. Свободной зоны больше не существовало. Евреев увозили, набивая ими до отказа товарные вагоны. «Корректные» оккупанты, которые вначале заигрывали с населением, исчезли.

Мы совсем упали духом. Денег не было. Не было Чанга. Со слезами расстались мы и с мадам Бижар. Считать деньги, ограничивать себя Эдит не умела. На улице Вильжюст она жила, ни о чем не задумываясь, все деньги уходили на еду и вино. Живя у Фреди, мы совершенно обносились, так как все время выплачивали им долги,

Раз не было денег, не стало и друзей, выпивающих на дармовщину. Это должно было бы послужить Эдит уроком. Отнюдь. Как только у нее завелись деньги, ее снова начали доить.

Эдит уехала в один из лагерей военнопленных. С ней поехала мадам Бижар, присутствие которой было оговорено контрактом. Андре потихоньку плакала от волнения и повторяла: «Это в последний раз…» Все трое мы были в этом уверены.

Когда я вернулась с вокзала в отель, портье сказал мне: «Звонил слуга отца мадам Пиаф. Он просил, чтобы вы срочно позвонили ему».

С этим слугой была забавная история. Эдит не бросила отца на произвол судьбы, она с ним виделась довольно часто.

Однажды он сказал ей: «Теперь, когда ты выбилась в люди, мне бы хотелось иметь слугу. Это произвело бы впечатление на моих друзей». Ну и смеялись же мы в тот день! Так как Эдит сама склонна была иногда мыслить подобным образом, она тут же поместила объявление, сказав мне: «Бедный старикан, может, ему уже не так долго жить осталось. Наймем ему слугу. Но за то, чтобы поселиться на улице Ребеваль, придется дорого платить!» Отец действительно так никогда и не захотел расстаться со своим грязным, жалким, полуразвалившимся отелем, в котором не было никаких удобств. Держать в таких условиях слугу, это же надо

придумать… И тем не менее он его завел.

Не знаю почему, но я встревожилась. Отец всегда звонил из ближайшего кафе на углу, когда ему были нужны деньги. Я набрала номер этого кафе, так как слуга должен был сидеть там и ждать звонка. Мне его тотчас позвали. «Я только хотел сообщить мадам, что ее отец умер».

Я не замечала, что у меня из глаз льются слезы. Я очень любила нашего старика. Вместе с ним уходил целый кусок и моей жизни.

Не колеблясь, я вызвала Анри Конте. Вместе мы поехали на улицу Ребеваль. Предупредить Эдит не было никакой возможности, однако она успела вернуться к похоронам. Она очень горевала об отце.

В отеле, где жил отец, нас ждала целая куча родственников — двоюродных и троюродных братьев, которых мы в жизни в глаза не видели. Все они хотели получить что-нибудь на память. Пока отец был жив, никто бы ему не подал стакана воды! Золотые часы папаши Гассиона Эдит подарила слуге. «Другим отдай трубки»,— сказала она мне. Я раздала всем его старые, обкуренные трубки, которые он так любил.

На кладбище Пер-Лашез его опустили в могилу. На похороны приехало несколько бывших «девиц» из борделя в Нормандии. Они проливали искренние слезы и не смели подойти обнять Эдит. С нами был Анри Конте. Распорядители из фирмы Борниоль[23] поместили его в похоронной процессии в числе «членов семьи». Когда земля застучала по крышке гроба, мне стало больно. Эдит крепко сжимала мне руку. Обе мы думали об одном: мы хоронили свое детство, свою юность.

Все кругом было мрачным. Анри приходил к нам какой-то скучный, тусклый. Ему было не до песен. Каждый старался забиться в свою нору. Даже Гит не появлялась больше. Она потеряла свой последний велосипед. У нас в отеле не было пианино. А Гит умела разговаривать, только когда под руками у нее были клавиши.

Наверное, это было не самое подходящее время, но Анри вбил в голову Эдит, что она должна вступить в SACEM (Общество авторов, композиторов и музыкальных издателей).

— Это тебя займет. Ты ведь уже писала песни, но поскольку ты не член общества авторских прав, то ты не можешь их подписывать, и поэтому ничего за них не получаешь. Вступи в SACEM, и твои права будут охраняться.

— Ты сошел с ума, Анри. Никогда мне не выдержать экзамена!

Тут уж я насела, и, как Эдит ни сопротивлялась, все-таки она

туда пошла. «Я подала заявление, Момона, до чего же у них все серьезно поставлено! С ними не соскучишься. Чтобы быть допущенным к экзаменам, нужно представить метрику, справку об отсутствии судимости, фотографию и пройти еще довольно занятное испытание: написать прямо с ходу на заданную тему песню в три куплета: я просто умираю от страха».

В начале 1944 года Гассион Эдит, известную под именем Эдит Пиаф, вызвали на экзамен. «Ничего не получится, Момона, я никогда в жизни не сдавала экзаменов. Я обязательно провалюсь. И все эти бородачи будут меня судить…». (Ей казалось, что судьи и профессора обязательно носят бороды, а она их терпеть не могла.)

За час до экзамена, буквально не помня себя от страха, она все же отправилась на улицу Балю в SACEM. В маленькой комнате одна перед листком белой бумаги, на котором была написана ее тема: «Вокзальная улица», Эдит совершенно растерялась.

«Момона, листок бумаги плыл у меня перед глазами, а слова «Вокзальная улица» мелькали, как мухи, не вызывая никаких мыслей. Чего они от меня хотели с этой дурацкой улицей? Мне пришли в голову такие слова:

На Вокзальной улице
Девушка заблудилась.
Она потеряла свое сердце,
А с ним — свое счастье.

Ничего глупее нельзя было придумать! Я не могла написать больше ни одного слова и, разумеется, забыла думать об орфографии. В голове у меня все смешалось. Я вышла оттуда не помня себя и того, что я там написала! И с отчаянной головной болью».

Затея провалилась.

Луи Барье вошел в жизнь Эдит удачней, чем кто-либо другой. И он остался с ней до конца. Это был поразительный человек. Достаточно рассказать, как он появился. Портье отеля позвонил однажды к— нам в номер и сказал Эдит:

— Здесь некто мсье Луи Барье. Он хочет вас видеть.

— Хорошо. Иду (она повесила трубку). Ты знаешь такого Луи Барье, Момона?

— Нет, не имею представления.

К нам приходило тогда не так много людей. Мы сбежали вниз по лестнице и увидели в вестибюле у входной двери высокого

симпатичного блондина: одной рукой он придерживал велосипед, на брюках у него были велосипедные зажимы. Он стоял и ждал очень спокойно. «Видите, какое дело, мадам Пиаф, я пришел к вам, потому что я импресарио».

Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Уже десять лет как мы ждали импресарио, представляя его себе в «Роллс-Ройсе» и с сигарой в зубах, а он явился на велосипеде и с подколотыми брюками… Это было до того забавно, что не могло не принести удачи. У него не было никаких рекомендаций, ничего, кроме честного, открытого лица. Луи понравился Эдит.

«Я хотел бы заняться вашими делами. Я знаю, что у вас никого нет. Возле вас нет мужчины, который защищал бы ваши интересы. У вас никогда не было импресарио. Сейчас он вам необходим. Вы больше не можете без него обходиться. Вы вступили на путь успеха, это удачный момент: я к вашим услугам. Располагайте мной».

Сказать такое, как раз тогда, когда нас несло под откос,— вот это характер! И какое чутье!..

«Я принимаю ваше предложение,— сказала ему Эдит,— вы мне нравитесь».

Они не подписали контракта, никакой даже самой маленькой бумажки. Им это было не нужно. Эдит всегда полностью доверяла Лулу. Он был ей предан, как сенбернар. И он был одним из немногих, кто никогда не обращался к ней на «ты». Он всегда выручал ее, а с Эдит часто бывало нелегко.

Барье замечательно повел дела Эдит. В ее карьере он сыграл очень важную роль. Он был талантливым импресарио — Эдит это сразу же ощутила. В тот трудный период он сумел получить для нее контракт на две недели в «Мулен-Руж», который был тогда одним из лучших мюзик-холлов страны.

Снова вернулись славные времена лихорадочной работы. Но у нас все-таки оставались минуты для болтовни. Сидя в ванной комнате, на краешке биде, я слушала Эдит.

«Момона, ты умеешь меня слушать, как никто. Для этой роли у тебя потрясающий талант!» Она была настроена сентиментально, вспоминала свои былые увлечения: «Чтобы хорошенько во всем этом разобраться, Момона, я придумала разделить их по периодам: «улица», «моряки и колониальные солдаты», «сутенеры» и «безумие после смерти Лепле»… Ты помнишь это время, Момона?»

Еще бы не помнить!..

«Ассо и Мёрисс,— продолжала Эдит,— период «учителей». Конте — это «бордель», а потом…».

Периоду, который наступал, суждено было длиться долго. Эдит назвала его «фабрикой», потому что она сама стала формировать певцов. Открыла их серийное производство. Начала она с Ива Монтана.

Лулу сказал как-то Эдит: «Больше вам не будут навязывать актеров в качестве «американской звезды». Теперь право выбора за вами. Для концертов в «Мулен-Руж» вам предлагают Ива Монтана».— «Нет. Я о нем не имею представления… Я хочу Роже Данна, оригинальный жанр. Это товарищ, его я знаю».

Но Роже не было в Париже. И никого нельзя было пригласить из провинции, все стало слишком сложно. Дело происходило за месяц до Освобождения.

«Ну ладно,— сказала Эдит.— Назначьте прослушивание вашему Иву Монтану. Я приду».

Сидя в глубине зала «Мулен-Ружа», Эдит ждала. На сцену вышел крупный темноволосый парень, по типу итальянец, красивый, но безвкусно одетый: куртка в немыслимо яркую клетку, маленькая шляпа, наподобие шляпы Шарля Трене. В довершение всего он стал петь старые американские и псевдотехасские песенки, подражая Жоржу Ульмеру и Шарлю Трене. До чего же это было плохо! Я следила за Эдит, будучи уверена, что она не досидит до конца.

Спев три песни, он вышел на авансцену и вызывающе спросил: «Ну что, продолжать или хватит?»

«Хватит,— крикнула Эдит,— подожди меня».

Я была уверена, что он сейчас взорвется. Эдит знала, что он злится на нее за это прослушивание и что он, не стесняясь, говорил о ней так: «реалистическая песня в уличном исполнении», «скука смертная» и т. п.

Забавно было смотреть на них издалека: он стоял на краю сцены, она — внизу, такая маленькая, что ее нос не доставал до его колен. Он счел унизительным для себя нагнуться к ней. Но Эдит не собиралась вести с ним длинной беседы: «Если хочешь петь в моей программе, приходи через час ко мне в отель «Альсина».

Ив задохнулся, побелел от бешенства. Однако через час в комнате отеля «Альсина» сдался на милость победителя. Эдит не стала надевать белых перчаток.

— Для краткости начнем с твоих достоинств. Ты красив,

хорошо смотришься на сцене, руки выразительные, голос хороший, приятный, низкий. Женщины по тебе будут сходить с ума. Ты хочешь выглядеть и выглядишь умным. Но все остальное — нуль. Костюм дурацкий, годится для цирка. Жуткий марсельский акцент, жестикулируешь, как марионетка. Репертуар не подходит совершенно. Твои песни вульгарны, твой американский жанр — насмешка.

— Он нравится! Я с ним добился успеха.

— В Марселе! Там уже четыре года ничего не видели. А в Париже публика рада, когда пародируют оккупантов. Здесь аплодируют не тебе, а американцам. Но когда американцы будут здесь, рядом с ними ты будешь выглядеть как придурок. Ты уже вышел из моды.

Пытаясь подавить злость, Ив даже скрипел зубами. Эдит внутренне веселилась.

— Спасибо, мадам Пиаф. Я понял. Я вам не подхожу.

— Опять не угадал. Подходишь, и я не хочу помешать тебе заработать на жизнь. Две недели в программе с тобой пройдут быстро.

Ив был уже не в состоянии сдерживаться. Он хотел бы вылететь из комнаты, не открыв больше рта, но Эдит остановила его.

— Подожди, я не кончила. Я не сказала самого главного. Я уверена, что ты певец, настоящий певец. Я готова заняться тобой. Если ты будешь меня слушать, доверишься мне, ты станешь самым великим.

Он ответил ей: «Благодарю!» — и ушел, хлопнув дверью.

Я была ошеломлена. Все продолжалось менее четверти часа. За это время передо мной предстала женщина, о существовании которой я не подозревала. Как она разобрала его по косточкам! С какой уверенностью она выделила лучшее, что в нем было, отбросив смешное, фальшивое и вульгарное. Я в себя не могла прийти. Эдит всегда меня удивляла, но до такой степени еще ни разу.

Сидя на кровати, она продолжала смотреть на дверь. И я чувствовала, что в голове ее несется поток мыслей.

— Он мне не подходит! До чего мужчины глупы… Дурак, о твоей красоте можно только мечтать… Момона, он произведет революцию в песне. Публика такого давно ждет. Это он! Вот он, послевоенный эстрадный певец!

— Ты думаешь, он согласится, чтобы ты учила его?

— Да.

Я в этом не была так уверена. Гордый, к тому же итальянец. А они не любят, чтобы ими командовали женщины, у них это не

принято.

На следующий день на репетиции он снял куртку, пел в рубашке.

— Видишь, Момона, я была права.

После него репетировала Эдит. Проходя мимо, она поймала его на слове:

— Ты меня уже слышал?

— Нет, мадам Пиаф.

— Так откуда же ты знаешь, что я «торговка скукой»? Можешь называть меня Эдит и останься послушать. Тогда будешь судить.

Он остался в зале до конца, потом исчез, не сказав ни слова. Но Эдит его ждала. И была права. Он пришел в «Альсина».

— Так вот, Эдит, если ваше предложение еще в силе, я согласен.

— Тебе неприятно, что будешь подчиняться женщине?

— Нет. Я слышал, как вы поете. И понял. Вы знаете все, чего не знаю я.

Мы выпили по рюмочке, произнесли тост за каждого, и работа началась.

— Ты подумал о своем костюме?

— Да, но…

— У тебя нет денег? Ну и что! Тебе не нужно петь в смокинге. Сейчас ничего нельзя достать. Значит, будешь выступать в рубашке и брюках. Только рубашка не должна быть белой, иначе публика воспримет, будто ты как вышел из спальни, так и влез на сцену. Публику нужно уважать, она не любит небрежности. Кроме того, это тебя будет перерезать на две части. Рубашка должна быть одного цвета с брюками. Ты высокий, худой, у тебя узкие бедра, это надо подчеркивать.

Она не переставала меня удивлять. Откуда взялась такая уверенность! Как она разбиралась в том, о чем говорила!

— Марсельский акцент вызывает смех. Оставь это тем, у кого нет ничего другого. Я научу тебя способу, которым пользуются актеры. Ты берешь в рот карандаш, закусываешь его зубами и так будешь проговаривать и петь свои песни. Я составлю тебе список слов, где встречается «о», которое ты произносишь по-марсельски. Будешь мне его читать несколько раз в день.

— С карандашом? На кого я буду похож?

— Человек, который трудится, смешным не бывает. Давай!

Нелегко говорить с карандашом в зубах! Ив чертыхался, но терпел. Эдит смеялась. Было действительно забавно видеть его красивое лицо, перечеркнутое карандашом.

Когда Ив бывал у нас, в комнате совсем не оставалось свободного места. Его метр восемьдесят семь роста и восемьдесят

два килограмма веса занимали все пространство.

Он стоял перед ней одновременно покорный и своенравный, наморщив лоб, и был похож на щенка, который не понимает, что от него хотят. У меня он вызывал нежность. Он боялся выглядеть глупым, но все-таки им выглядел, и мне таким нравился.

Мы тотчас же подружились. Он не был похож на тех, кого мы знали раньше. Он был как глоток чистого воздуха. Как молодой волк на пороге жизни, полный сил, с длинными и крепкими мышцами. Его улыбка, честная и открытая, сразу покоряла. Он все время смеялся, и нам казалось, что все вокруг залито солнцем.

После урока мы вышли из отеля. Мы шли рядом по улице Жюно. Он наподдал камешек ботинком не менее сорок шестого размера! Остановился, засунув руки в карманы, и сказал мне очень серьезно: «Мне кажется, я могу ей полностью доверять. Я буду работать до седьмого пота».

Слова не разошлись с делом. Через две недели даже со своими неудачными песнями Ив очень многого добился. Надо правду сказать, что уроки он теперь брал на дому. Он перебрался к нам. Эдит влюбилась в него по уши. Липший раз я убедилась в том, что у нее хороший вкус и что она умеет выбирать мужчин. Ив и сейчас все еще красив, а в двадцать два года вместе с ним в комнату, казалось, входило солнце.

Любовь не мешала Эдит заставлять его работать в поте лица. Для нее не было мелочей. Она решила, что он должен быстро добиться успеха, она не могла ошибаться! Поскольку в работе она была неутомима, занятия продолжались часами. Бывали дни, когда она могла довести до белого каления. В таких случаях мы с Ивом переглядывались, нам хотелось сбежать. Но об этом не могло быть и речи; она нас крепко держала в своих маленьких ручках. «Момона, не отвлекай его или уйди. Когда он кончит, я отпущу вас прогуляться на часок».

Это было совершенно необходимо: комната была слишком мала, а Эдит не любила, чтобы открывали окна. После получаса занятий Ив своими атлетическими легкими выкачивал весь воздух.

О том, чтобы отпустить его на прогулку одного, не было и речи. Он не имел на это права. Его должна была сопровождать я. Не то чтобы Эдит ему не доверяла, она принимала меры предосторожности. «В нем жизнь бьет ключом, Момона. Его нельзя выпускать одного на природу».

Я начинала думать, что ему надоест, если я буду всюду таскаться за ним. Несмотря на улыбку, которая не сходила с его лица, он был не из тех, кто позволяет надеть на себя ошейник и

держать на привязи.

Работали они оба, как одержимые. Один заводил другого. Ив вкалывал не жалея сил, а терпения у него было на двоих. Еще не успев ничему научиться, он уже наседал на Эдит:

— Согласен, Эдит, мне нужен новый репертуар. Но где ты найдешь песни для меня? К кому ты думаешь обратиться?

— Не беспокойся, любовь моя. Все в порядке. Я уже обратилась.

— Как? Уже? К кому? Я имею право знать.

У него тоже был нелегкий характер. Каждый из них был личностью, и оба друг друга стоили. Да, нам предстояли веселые деньки! Когда Эдит надоедали его расспросы, она обрывала: «Ты мне веришь или нет?»

Эту фразу мне предстояло слышать бесконечное множество раз. Они готовы были схватиться по любому поводу. Эдит любила, чтобы вокруг все кипело, так она понимала жизнь. В лице Ива она обрела прекрасного партнера. Он всегда был готов к бою.

Я знала, что она ему солгала: она еще и не начинала ничего искать для него.

«Понимаешь, Момона, я еще ничего не знаю о его жизни. Человек может хорошо петь только о том, что его держит за живое, о том, что приносит ему радость или боль. Ив вообразил себя ковбоем, но это бредни мальчишки, насмотревшегося американских фильмов. У него голова забита старыми довоенными вестернами. Честное слово, он думает, что он — Зорро! Мне нужно, чтобы он подробно рассказал о себе. Мне нужно знать, о чем он думал, когда его руки были заняты работой или когда он гулял по городу. О девчонке? О поездке за город? О пении? Ив нормальный парень. Все другие должны узнавать себя в нем. Значит, у него должны быть такие же желания, как у них. А старше двенадцати лет немногие мечтают скакать на кляче по горам и долам американского Запада! Я примерно уже представляю себе его жанр, но должна быть в нем абсолютно уверена».

Эдит говорила, а мне казалось, что я слышу Реймона Ассо, когда он занимался с ней в нашей комнатке на Пигаль.

«Момона, ты будешь его слушать вместе со мной».

В течение нескольких вечеров мы слушали Ива. Великолепный театр! Он прекрасно рассказывал. На сцене его жесты были неудачны, но в жизни — точны, совершенны. Я знала,

что Эдит, как и я, думала: «Как прекрасно владеет своим телом, собака!»

«Ты ведь знаешь, что я итальянец, макаронник. Родился в пятидесяти километрах от Флоренции, в маленькой деревушке, в октябре 1921 года. Мама назвала меня Иво. Фамилия моего отца — Ливи. Когда я появился на свет, у меня уже были брат и сестра. Родители говорили, что жизнь была тогда очень трудной: нищета, безработица. В 1923 году, когда отец со всеми нами сбежал во Францию, мне было всего два года. Ему не нравился фашизм. Он боялся, как бы его сыновей не забрали силой в отряды Балилла[24]: «Мои сыновья не будут ходить в черных рубашках, они не будут носить траур по Италии…» Он был прав. Италия черных рубашек была страной, заранее надевшей траур по своим детям.

Мы задержались в Марселе. У нас не осталось ни гроша, и дальше ехать было не на что. Временно… Отец хотел эмигрировать в Америку… Знаешь, ведь для итальянцев это земля обетованная, где можно нажить состояние. В Италии у всех есть хоть один родственник, который написал оттуда, что разбогател. На чем, как и правда ли это, никто не знает, но верят на слово. Это помогает жить.

Ты надо мной смеешься за то, что я подражаю американцам, но всю жизнь я только и слышал, что эта страна — рай. Когда нам было совсем плохо, отец говорил: «Вот увидите, в Америке…» И все мы принимались мечтать.

Мама откладывала каждый грош, чтобы можно было ехать дальше. Но при первых же трудностях, которые сваливались на семью Ливи, мы снова оставались без денег. Тем хуже. В нашей семье все закаленные, упрямые, и мы снова начинали копить. Долго вносил свою лепту и я. Но однажды я понял, что это неосуществимо, что мы никогда никуда не уедем, что, живя в нищете, просто тешимся этой мечтой. И выбыш из игры.

— Когда ты был мальчишкой, ты шатался по улицам?

— Мне не разрешали, я ходил в школу, и обратно мама всегда меня поджидала. Она строго следила, чтобы я нигде не болтался. Французы думают, что раз в Италии много солнца, дети там лентяи, целыми днями гоняют по улицам. Это неправда. У нас жизнь очень суровая, особенно на севере. Есть очень много вещей, с которыми в итальянских семьях не шутят. В первую очередь это работа и честь женщин и девушек. Если мальчику так повезло, что он может ходить в школу, он не должен сбиваться с пути истинного. У нас свято верят, что образование означает возможность есть досыта и кормить семью. У нас очень сильно развиты родственные чувства.

— Значит, ты ходил в школу?

— Да. Я неплохо учился. Что-то мне нравилось больше, что-то меньше. Помню, один из преподавателей, выставив мне оценку за семестр, записал в дневнике: «Мальчик умный, но недисциплинированный. Строит из себя шута, изображая героев американских мультфильмов!» Как мне тогда от отца влетело!»

Ни Эдит, ни я не могли представить себе жизнь Ива. Он был домашним ребенком. С этой породой мы еще не встречались. Эдит раздражалась, приставала с вопросами:

«Подумать только, ты не был знаком с улицей! Но как же так? В Марселе улица, наверно, как праздник! Звуки, краски, запахи… Она должна манить, опьянять. Я бы не устояла.

— Я наверстал позднее, когда ушел из школы. Отцу было слишком тяжело, он кормил троих детей и жену. Поэтому с пятнадцати лет я пошел работать. Кем только я не был! Гарсоном в кафе, учеником бармена, рабочим на макаронной фабрике (рай для итальянца!), а поскольку моя сестра работала парикмахершей, стал даже дамским мастером. Представляешь?

Он хохотал и начинал изображать парикмахера, делал вид, что крутит в руке щипцы, завивает локоны. Его улыбка изменилась, сделалась слащавой. Я смеялась, но Эдит впивалась в него глазами. Я понимала, что она работает…

— Повтори этот жест, Ив, он очень хорош.

— Если ты ради этого выспрашиваешь меня о моей жизни, я больше не буду рассказывать.

Эдит была умна, она сразу уступала.

— Любимый, ты с ума сошел! Я люблю тебя… Поцелуй меня…

После антракта она снова возвращалась к прерванному рассказу. Она не сдавалась.

— А где же среди всего этого пение?

— А вот где! Я вкалывал не только ради куска хлеба, но и ради свободы, ради права делать то, что я хочу. Все остававшиеся деньги я тратил на пластинки Мориса Шевалье и Шарля Трене. Я умирал от желания стать такими, как они. Для меня они были самыми великими! Я знал наизусть все их песни. Я ходил их слушать, когда они приезжали в Марсель. Дома перед зеркалом я копировал их жесты. Я работал так часами и был счастлив. И вдруг однажды мне удалось спеть в одной забегаловке на окраине. Для меня это был «Альказар».[25] Именно в этом кабачке мне пришлось изменить фамилию. «Иво Ливи,— сказал мне хозяин,— это плохо. Слишком типично и не звучит».

Интересно, как я себе придумал псевдоним. Когда я был

маленьким,— помнишь, я тебе рассказывал,— мама не любила, чтобы я околачивался на улице. Она плохо говорила по-французски и кричала мне в окно по-итальянски: «Ivo, monta!… Ivo, monta!…» Я вспомнил об этом, взял французское имя, а monta[26] превратил в Монтана.

Я выступал сначала в маленьких третьесортных залах, потом во второсортных и, наконец, добрался до «Альказара». Его хозяин — Эмиль Одифред. Ему я обязан началом своей карьеры. Он ко мне великолепно относился. Он говорил: «Вот увидишь, сынок, в Марселе тебя ждет мировая слава». И мы оба смеялись. Но в первый вечер меня колотило от страха…

Когда в Марселе люди идут в театр, они несут с собой автомобильные гудки, помидоры, тухлые яйца с намерением пустить их в дело, если что-то не понравится. Со мной все прошло отлично, даже устроили овацию. Но овациями сыт не будешь! Однако имя мое в Марселе знают. Вернись я туда хоть завтра, увидишь, как меня встретят!

Война все поломала. Я стал рабочим-металлистом, точнее, формовщиком. Это очень вредно для легких. Мне выдавали три литра молока в день. Потом я стал докером.

— Наверно, молока не любил.

— Любил, но на заводе рабочий день от и до, пробиваешь карточку в проходной. У докеров более свободный распорядок. Я мог петь и не бояться, что меня вышибут с работы.

Я прекрасно понимал, что в Марселе настоящей карьеры не сделать, поэтому все бросил и подался в Париж. И мне повезло. В феврале 1944 года я выступил в «ABC».

— Интересно, мы могли там с тобой встретиться. Ну и как? Успешно?

— Не очень. Галерка назвала меня стилягой из-за моей куртки!

— А с февраля до августа что ты делал?

— Выступал в кино, брался за все, что попадалось под руку, но главным образом голодал, как последний пес.— Ив широким, уже «пиафовским», жестом разводил руками.— Как видишь, жизнь у меня была нелегкая. Жизнь у меня была трудная».

Мы с Эдит переглянулись. Воспоминания нахлынули на нас. «Трудная жизнь»… Мы знали, что это такое. Но мы и не мечтали о школе до пятнадцати лет, о маме, которая запрещает шляться по улицам, о папе, который работает, о настоящей семье… Это было не про нас.

Воспоминания детства Ива, которого мы считали родным и близким, неожиданно отдалили его. Но все, что было позднее, нас

сближало. У Эдит были те же чаяния: имя на афише, сцена, поднимающийся занавес, свет рампы, успех. Да, они все-таки были одной породы: обоих снедало стремление добиться большего, чем другие, оба были объяты яростной жаждой жизни и победы.

Когда они сходились лицом к лицу, я гадала, кто кого съест. Но пока Ив был смирным. Он любил Эдит и ждал от нее всего. Но так не могло продолжаться вечно!

Ив рассчитывал, что она будет расспрашивать его о женщинах, о победах. Но это не интересовало Эдит. Ив обижался. Ему хотелось, чтобы она знала, что он неотразим, что любая баба готова на все ради его прекрасных глаз…

Эдит это не волновало: она была убеждена, что до нее у мужчины могли быть только случайные встречи. Любовь с большой буквы начиналась с нее.

С Ивом Эдит вступила в область неизведанного. Она открыла в себе способности, о которых раньше не подозревала: талант создавать «звезд». Это пьянило сильнее вина.

По прошествии нескольких дней она решила, что теперь ей о нем известно достаточно.

— Ты должен петь о всем том, о чем ты мне рассказал. Покажи руки.

Он протянул ей ладони, как будто хотел, чтобы она предсказала ему судьбу.

— Твои руки — это руки рабочего, пробивавшего карточку в проходной завода, это руки докера, на них были мозоли, и ты этого не забывай никогда. С такими руками выходят из народа, и нужно, чтобы народ об этом знал. Теперь остается найти, кто бы стал писать для тебя песни. И это самое трудное. Тебе нужны песни, из содержания которых ты сможешь вылепить свой образ и вдохнуть в него жизнь. Но чтобы сжиться с ним, ты должен хорошо себя чувствовать в его шкуре. Я хочу, чтобы ты пел о любви, ты для этого создан.

«Нет,— вскричал Ив,— я не могу. Я мужчина, а не женщина, чтобы блеять о любви! Я не господин Пиаф!»

Я подумала, что Эдит кинется на него с кулаками, но она стала кричать на него, да так, что голос разносился по всему отелю. Ив впервые видел ее в приступе гнева, он стоял перед ней как большой растерянный ребенок. В конце концов он расхохотался.

— Ну и дыхание у тебя!

— Как же ты не понимаешь, что о любви нельзя не петь? Публика требует именно этого. Но ты должен занять свое, особое место среди всех этих Пьеро, которые вздыхают о любви при

лунном свете. Пусть на сцену выйдет настоящий мужчина, пусть он кричит о любви! Публика ждет его, он ей нужен! И потом, хватит с меня! Веришь ты мне или нет?

Но если Ив вбивал себе что-то в голову, разубедить его было почти невозможно. К тому же он был ревнив, как рыцарь крестовых походов. Если бы он мог, он надел бы на Эдит пояс целомудрия. С самого начала он возненавидел Анри Конте, первого, кто попался ему под руку. «Не смей просить для меня песен у этого типа. Я тебе этого не прощу!»

Нельзя сказать, чтобы это облегчало дело… Было начало 1944 года, и у нас оставался только Анри!

Тот день начался неудачно. Зазвонил телефон. Эдит сняла трубку и, прикрыв ее рукой, стала что-то шептать. Я стояла рядом и услышала: «Да. В половине шестого. Хорошо. Поднимешься прямо сюда». Ив смотрел в окно. Казалось, он ничего не слышал.

— Кто это?

— Тебе все надо знать?

— Да.

— Лулу Барье.

Я была уверена, что Эдит лжет. Около пяти часов Ив объявил:

— Эдит, я пойду пройдусь.

— Возвращайся поскорей, любимый.

— Не волнуйся.

— Ты не берешь с собой Момону?

— Я что, не имею права побыть один?

Тот, кого ждала Эдит, был Анри. Не успел он войти, как Эдит бросила на меня взгляд. Мы услышали, как из соседней комнаты, моей, донесся легкий шорох. По лицу Эдит скользнула улыбка, а в глазах зажегся тот хорошо знакомый мне огонек, который всегда появлялся, когда она затевала злую шутку или задумывала жестокую расправу. Она заговорила чуть громче, чтобы ее было слышно в соседней комнате.

— Я попросила тебя прийти, Анри, милый, чтобы поговорить о песнях.

— Ну знаешь, сейчас происходят такие события, что к лирике сердце не лежит.

— Но мне как раз нужны сильные, мужские песни. Для очень талантливого парня, для Ива Монтана.

Анри расхохотался.

— Ты всегда умеешь меня рассмешить! Значит, слухи подтверждаются? Ты в самом деле занимаешься этим поддельным ковбоем?

— Он, кстати, меняет репертуар.

— Послушай, Эдит, я буду с тобой откровенен. Этот парень —

пустой номер. Он не умеет держаться, вульгарен, у него чудовищный акцент и жесты шансонье начала века. Он никуда не годится…

Я думала, что Эдит вцепится ему в волосы, но вместо этого она произносит кокетливо:

— Ты так считаешь?

— Уверен. Спи с ним, если он тебе нравится, но в профессиональном смысле ему ничего не светит.

— Ты прав, Анри, пожалуй, я действительно ошиблась, это бездарность.

Когда он уходил, они задержались в дверях и Эдит добавила:

— Я правильно сделала, что поговорила с тобой, Анри, ты открыл мне глаза.

— Твой Ив ни в одном зале не соберет аншлага…

Едва Анри успел выйти, как Эдит открыла дверь в соседнюю комнату. На пороге бледный от бешенства стоял Ив.

— Это тебя отучит подслушивать под дверьми!.. Возке, да ты весь в крови!

Ив держал в руке осколки стакана. Вероятно, он сжал его с такой силой, что раздавил. Кровь лилась ручьем, как из быка на корриде. Он произнес беззвучно, голосом, лишенным всякого выражения, настолько его изменил гнев: «Никогда больше этого не делай. Слышишь, никогда. Я хотел тебя убить».

В течение нескольких дней нам было не до песен… Август сорок четвертого. После высадки в Нормандии в июне воинские части проделали большой путь по дорогам Франции, и у парижан, ожидавших вступления в город генерала Леклерка во главе Второй бронетанковой дивизии, температура поднялась до 40 градусов.

Немецкая армия бежала, ее сдувало как ветром. Полное поражение. Парижане назвали это «зеленый понос». На рукавах участников французского Сопротивления, старых, молодых и совсем юных, расцвели трехцветные повязки. Дым пороха пьянил. В Париже наконец запахло победой. Повсюду красовались флаги.

Эдит ждала вступления частей генерала Леклерка, как дети ждут парада 14 июля. Для нее он был освободителем. Де Голль ее не интересовал. Она говорила: «Это политик. Он — не настоящий генерал. Он не марширует впереди своих солдат!»

В тот день, когда де Голль прошел от Триумфальной арки в Собор Парижской Богоматери слушать мессу, Эдит не могла усидеть дома. Ива с нами не было. Он, по-моему, был с отрядами внутренних сил Сопротивления. В эти дни все мужчины уходили из дома за новостями. И, воспользовавшись свободой, мы пешком, как в доброе старое время, когда пели на улицах, спустились с

Монмартра к площади Этуаль.

«Пойдем, Момона, я хочу видеть Леклерка. Я хочу обнять этого человека».

Ах, какой это был прекрасный день! Как все любили друг друга! У Триумфальной арки мы только издали сумели увидеть рыжеватую голову генерала де Голля. Леклерка не было в помине. Но сколько было народу! Люди взбирались на танки; они назывались: «Лотарингия», «Эльзас», «Бельфор». Это были наши французские названия.

Как все женщины, мы целовали моряков, солдат в красных беретах, в черных, всяких. Они не знали, что целовали Эдит Пиаф, но она им очень нравилась. Мы бы с радостью остались с ними.

Возвращаясь домой, Эдит сказала: «У меня сердце переворачивается, как подумаю, что еще совсем недавно я видела французских солдат в лохмотьях за колючей проволокой. Сегодня наши ребята были такими, как когда-то».

Как все артисты, выступавшие во время оккупации, Эдит должна была предстать перед Комитетом по чистке. У нее не возникло никаких осложнений. Мы снова начали жить, но теперь дышалось легко.

Работа возобновилась. Эдит встречалась с Анри Конте, но вне дома. Она не забыла, как Ив раздавил в руке стакан, однако это не заставило ее отступиться от принятого решения.

«У меня не ладится с Анри. Он не хочет работать для Ива. Как смешно, теперь, когда между нами все давно кончено, он ревнует! Только этого мне не хватало!»

В конце концов он сдался. Она добилась того, чего хотела. «Ну, все в порядке, Момона. У меня есть песни для Ива! Анри написал их вместе с Жаном Гиго. «Джо-боксер» — история боксера, которому не повезло, он ослеп. В песне «Полосатый жилет» говорится о слуге из отеля, который попадает на каторгу. У меня есть также песня «Этот самый человек» — история слабого человека, который не может справиться с жизнью и кончает самоубийством. И еще «Луна-парк» — о рабочем с завода Пюто, который бывает счастлив только в «Луна-парке». Теперь больше не будем работать впустую. Пора засучить рукава! Ив! Скорей!»

Ив спокойно спал в соседней комнате. Он появился в проеме двери, как портрет в раме. До чего же он был красив, негодяй: обнаженный торс, широкие плечи, узкие бедра, плоский живот…

Я понимала Эдит.

«Послушай, Ив».— И она напела ему одну за другой все песни.— «Как здорово! Спеть такое, это же потрясающе! Кто их написал?» — «Жан Гиго и Анри Конте».

Ив набрал воздуха в легкие, потом выдохнул и процедил: «Твоя взяла». Сдерживаемое бешенство говорило о многом.— «Теперь, любовь моя, возьмемся за работу».

И они ушли в нее с головой.

На сцене у Ива уже не было акцента, но в жизни, как только он переставал следить за собой, акцент появлялся. Эдит говорила ему: «Внимание, Ив, опять от тебя запахло чесноком!»

Петь он умел. С этим все было в порядке. У него был очень красивый, от природы хорошо поставленный голос. Но песни нуждались в режиссуре, а главное, еще надо было работать над жестом. Ив успел приобрести дурные навыки. Эдит билась с ним часами. Пот тек по его лицу, но он не просил передышки. Он был единственным, кто мог работать так же исступленно, как Эдит. Это продолжалось по пятнадцать часов кряду. У всех окружающих давно уже было темно в глазах. Пианист играл, как заводная кукла. Но эти двое были одержимы.

— Нет, Ив. Начало не годится. Что толку молотить кулаками в пустоту! Нужен один удар, но такой, чтобы публика увидела весь матч. Встань в стойку, и уже будет ясно, что ты не рыболов! Не суетись. Ну, давай. Со слов: «Это имя…»

Это имя забыто теперь…
Силуэт жалкой склоненной фигурки,
Опирающейся на белую палку…

— Плохо! Ты выглядишь как старый маразматик. А слепой Джо — все еще мужчина. Он сломлен только потому, что потерял зрение, Что и требуется показать. Двигайся точнее. Твои герои карикатурны.

— Отстань от меня,— отвечал Ив.

Но на следующий день он отрабатывал эти движения перед зеркалом, чего Эдит терпеть не могла. Это противоречило ее принципам. А Ив не мог иначе, он привык так работать. Самое смешное, что он не видел себя во весь рост в зеркальце шкафа, комната была слишком мала. Ему приходилось становиться в профиль в дверях ванной. Он никогда не видел себя и в фас. Поэтому, когда мы с ним вдвоем бродили по улицам, он украдкой проделывал свои жесты, останавливаясь перед витринами.

Чтобы дополнить концертную программу Ива, Эдит написала для него две песни.

— Видишь, для тебя я написала свои первые песни о любви: «У нее такие глаза…»

У нее такие глаза —
Чудо!
И руки —
Для моего пробуждения.
И смех —
Для того, чтобы меня соблазнить.
И песни,
Ла-ла-ла-ла…
У нее столько всего…
Розового цвета…
И все для меня…
То есть, я так думаю…

И «Что же это со мной?»

Что же это со мной?
Почему я так сильно люблю,
Что мне хочется кричать
Со всех крыш:
«Она моя!»
Если бы я так делал, я бы выглядел сумасшедшим.
Это ненормально,—
Вы мне скажете,—
Так любить — это нужно сойти с ума!

Он все же оставил в своем репертуаре несколько американских песен, таких, как «На равнинах Дальнего Запада». «Без них, Эдит, публика меня не узнает!»

Итак, репертуар у Ива был! Сделано самое главное, но не самое трудное.

«Теперь, Ив, нужно обкатать программу на публике. Не волнуйся. Ты готов! Только не забывай, что в зрительном зале сидят и мужчины и женщины. Нужно понравиться мужчинам, чтобы они увидели в тебе того, кем сами хотели бы быть. Что касается женщин, то с твоей наружностью осечки не будет. Пока ты поешь, все они тебе отдадутся. Но смотри, не до конца программы. В последней песне будь сентиментален. И тогда мужчина возьмет за руку свою подругу. Они будут счастливы. Ведь не ты, а он поведет ее в постель. Когда их два сердца сольются, ты получишь в награду самые ценные аплодисменты.

Ты увидишь, как прекрасна жизнь в те дни, когда публика талантлива».

Был еще только сентябрь 1944-го. За два месяца Эдит создала нового Монтана. Теперь, слушая Ива, я видела, что он стал совсем другим. Как и Пиаф, он переворачивал душу. Его жесты потрясали. В коричневой рубашке и брюках он перевоплощался во всех мужчин, о которых пел. Вы в это верили. Вы столбенели от прямого попадания; вы получали удар и говорили: «Еще!» Да, мальчик из «Мулен-Ружа» остался далеко позади. Нужно знать эту профессию, чтобы оценить, какую они проделали работу. Я одинаково восхищалась обоими.

Эдит велела Лулу Барье включить Ива в турне по Франции, которое она собиралась совершить.

— Он будет «американской звездой!»

— Эдит, будьте благоразумны. Он еще не встал на ноги.

— А я тебе говорю, что это его место. И не соглашусь для него на другое. Если они хотят меня, пусть берут и его.

— А вы не думаете, что Иву сначала следовало бы попробовать силы в одиночку? Я бы подобрал для него хороший контракт на юге Франции. Там его знают.

— Ты что, спятил? Попробуй только ему это предложить, и между нами, Лулу, все кончено. Расстаться с Ивом на целый месяц! На гастролях все девки на него повиснут! Слушай меня внимательно. Он мой. Я его создала. И он останется со мной. Ив не актер в массовке, он — «звезда», и притом настоящая. Он будет петь передо мной, а в нашей профессии — это классный дебют!

— Вы думаете, так легко выступать перед вами?

— Хватит, не морочь мне голову. Все уже решено.

Лулу замолчал: хозяйка сказала свое слово. Но в том, что он говорил, была своя правда: выступать перед Эдит с репертуаром, близким к ее собственному, требовало большого таланта.

Первым городом в их турне был Орлеан. Эдит сказала мне: «Иди в зал и будь там, пока он будет петь! Потом все мне расскажешь!» Приятная миссия!

Когда поднялся занавес, Ив вышел на сцену, его внешность понравилась. Он держался очень просто и выглядел таким сильным, что казалось, вот-вот достанет до неба и коснется звезд рукой! Сила всегда нравится публике. Но что-то мешало… Я чувствовала, что не хватает чего-то очень малого, но не понимала чего. Успех был средний.

Достаточно было увидеть их в одном концерте, как сразу становилось ясно, что Ив — ученик Эдит. Он так же раскатывал «р», так же использовал свет. И освещение было похожим.

Главным же была очень «пиафовская» жестикуляция. Я это заметила еще во время репетиций, но на публике это особенно бросалось в глаза. Вечером, после концерта, он был на пределе. Она также.

— Эдит, я понял, что не пробиваюсь к публике. Почему? Мы осрамились.

— Нет. Один город — еще не вся Франция. Это твоя премьера. Ты дебютируешь. А они дебютов никогда не видели.

— Дебютирую? Не смеши! Я объехал весь юг Франции, все побережье, пел даже в Лионе. Повсюду народ ломился.

— А в Париже — мордой в грязь! Если тебе не нравится, брось.

Успех Ива был очень неровным. Каждый вечер меня колотило от страха. Днем Ив смотрел на всех злобным взглядом. Он вновь и вновь все прокручивал в голове, стремясь понять, в чем загвоздка.

«Оставь его,— говорила Эдит,— у него кризис жанра!»

В Лионе мы были на грани катастрофы. Перед выходом Ив сиял: «Здесь меня всегда хорошо принимали. Это моя публика. Вот увидишь, я сейчас за все возьму реванш».

Бедный Ив, он был так близок к провалу, что у меня во рту пересохло. Эдит побелела от страха. Во время выступления Ива она режиссировала за кулисами, давала свет, занавес. В тот вечер она скомандовала ложный занавес после пятой песни, как было предусмотрено, но больше его не открыли. Это был провал. Ив ушел со сцены как боксер после нокаута. Впервые я не видела выступления Эдит. Она мне крикнула: «Ступай к Иву, Момона, не оставляй его».

Стоило мне войти в его гримерную, как он взорвался. Он уже пришел в себя. «Я как последний дурак решил, что мне здесь поверят, что меня здесь поймут! Плевать мне на них! Не они меня, а я их буду иметь!»

Он сорвал с себя рубашку. Голое тело блестело от пота.

«Дай мне рубашку переодеться. Я иду слушать Эдит. Пусть видит, что я возле нее, и что они меня не взяли на испуг».

Я перед этим перенесла такой страх, что на меня напал нервный смех. Ив все понял. Он положил мне на плечо свою большую руку, улыбнулся доброй, дружеской улыбкой и сказал: «Видишь, Симона, меня не следует доводить до белого каления. Но сегодня они меня довели. Слышала, как они требовали моих старых песен? Им нужен идиотский бред! Не будет этого! С прошлым кончено. Свое старье я никогда больше не буду петь! То, что я сейчас делаю, хорошо. Я это чувствую1. Полюбят, куда они денутся!»

Сражение началось. Ив не собирался сдаваться.

В Марселе мы должны были выступать в «Варьете», и я опять дрожала от страха. Днем Эдит репетировала с Ивом в исступленном азарте. Оба друг друга стоили. И если Эдит не кричала: «Повтори!» — то повторять хотел сам Ив.

Вечером она пошла вместе со мной в глубину зала. Она крепко сжимала мне руку. Мы боялись больше, чем он сам. Когда Ив вышел, зрители зааплодировали. Но это еще ничего не значило: его приветствовали как земляка. Из-за этого они, наоборот, будут к нему более придирчивы. На первой же песне пальцы Эдит впились в мою руку. Мы поняли: его не приняли. Здесь его знали и любили за американские песни. Нового Монтана зрители не понимали. Еще немного, и его бы освистали. Случилось хуже — они остались холодны. Это марсельцы-то!

Ив ждал нас в гримерной, сидя на хромоногом стуле.

«Ты их видела, Эдит? Подумать только, ведь они меня носили на руках!»

Увидев отражение своей катастрофы на наших лицах, он расхохотался раскатистым, здоровым смехом великана: «Мне плевать, Эдит, родная, любовь моя. Когда приеду в следующий раз, они мне устроят овацию и не отпустят со сцены. А пока у меня для тебя сюрприз: ужинаем у моих родителей».

До чего же мне понравилась маленькая кухонька в квартире Ливи, в которую врывался уличный шум Марселя! А семья Ива! Какие славные люди! Когда Ив представлял Эдит, он сказал: «Моя невеста». У нее были слезы на глазах. Счастье иметь такую семью!

На следующий день Эдит сказала мне слова, которые перевернули мне душу: «Момона, вчера, когда я глядела на Ива, мне хотелось быть нетронутой девушкой».

Ив хотел жениться. Он все время говорил: «Эдит, давай поженимся. Я хочу, чтобы ты была моей женой». Я считаю, что они не поженились только потому, что Ив неудачно брался за дело. Он заговаривал об этом в неподходящие моменты. Либо на людях, либо за едой, либо когда Эдит пила и ей хотелось подурачиться. А Ив становился сентиментальным, чего она на дух не выносила. Четверть часа неясных слов, букетик цветов –для Эдит было более чем достаточно. Мужчину, у которого навертывались слезы на глаза, она не воспринимала.

В Иве она любила силу, задор, молодость. Между ними не было большой разницы в возрасте. Но она уже прожила так много, а он еще так мало!

Возвращаясь на рассвете, Эдит заходила в ванную комнату, расчесывала волосы, делала разные прически, рассматривала себя в зеркало и удовлетворенно говорила: «Ну что же, не так уж

плохо. Не хуже других…»

К фигуре своей она относилась без снисхождения и, оглядывая себя, философски замечала: «Да — не Венера. Никуда не денешься: было в употреблении!»

Она часто говорила о том, что ее раздражало в своей фигуре: «Грудь висит, жопа низко, а ягодиц кот наплакал. Не первой свежести. Но для мужика это еще подарок!»

И ложилась спать, довольная собой. Смеялась. Вот смех Эдит — это было что-то исключительное. Как и все, что она делала, она смеялась громче, чем все остальные. «Как меня Ив обожает! А я, Момона, от него без ума!»

Наверно, так оно и было. Одному ему она ни разу не изменила.

По возвращении из турне Эдит должна была выступить в «Альгамбре» с Ивом в качестве «американской звезды». Париж — это не провинция. Здесь могло быть либо лучше, либо хуже.

Перед концертом Лулу Барье, Эдит и я очень волновались. Как и в Марселе, Эдит пришла в зал. Когда Ив вышел на сцену и улыбнулся, зубы его сверкнули такой белизной, что я сказала Эдит: «Посмотри, у него небесная улыбка».

Мы тотчас почувствовали: победа! Турне для него было таким трудным, он столько натерпелся, что сегодня был готов ко всему. И поэтому в нем появилась уверенность. Он владел сценой и публикой. «Он стал другим, Момона. Ты помнишь его дебюты? Посмотри на него. Мне его не удержать…»

Все утренние газеты уделили первое место Иву, так как Париж открыл его для себя.

Он метался как ураган по маленькой комнатке отеля «Альсина». Нам хотелось поджать хвостики, как собачкам.

— Прочти, Эдит: «Запомните это имя — Ив Монтан». Момона, посмотри: «Рождение новой звезды». Эдит, я победил: «Революция в песне». Ты была права, Эдит, я — «тот певец, которого ждали!» Ты довольна, а?

— Да,— отвечала Эдит, которую раздражал его восторг.— Мне это знакомо.

— Разумеется, ты это пережила раньше, чем я.

Это был тот маленький удар, от которого пошла трещина по фарфору…

— А здесь публика не дура, не как в провинции!

— Не хвались, Ив. В Париже становишься известным, но руку набиваешь в глубинке!

— Ты мне радости не испортишь, она слишком велика!

Вечером у «Альгамбры», бросив взгляд на афишу, он сказал:

— Ты должна была сказать, чтобы мое имя напечатали

крупнее.

Эдит сухо бросила:

— Очевидно, это следовало сделать после твоего «триумфа» в Марселе! Напрашивалось само собой!

Монтан испытывал тот жесткий, не знающий пощады голод, который свойствен молодым. В жизни, как и за столом, он поглощал все с чудовищным аппетитом. Но об Эдит можно было зубы сломать.

Ревность Ива переходила границы. Я думала, успех его успокоит, появятся другие заботы. Как бы не так! Эдит была его собственностью, его охотничьими угодьями… А он с оружием в руках охранял свою косулю. Туда браконьеру был путь заказан.

Он будил ее по ночам: «Кто тебе снился? Старый любовник?» Она посылала его к черту, но наутро мне говорила: «Представляешь, как он меня любит!»

Но мирно кончалось через два раза на третий. Стоило ей на кого-нибудь бросить взгляд, позволить кому-то поухаживать за собой, Ив впадал в дикую ярость. «Ты что, не видишь, какое это ничтожество, урод, не видишь, что он издевается над тобой!»

Она посылала его, и часами они орали друг на друга. Затем наступали сутки любви и обожания.

Обстановка была тем более накаленной, что после «Альгамбры» им предстояло выступать в «Этуаль». После Освобождения это был самый шикарный, самый престижный мюзик-холл.

За несколько дней до премьеры они купались в блаженстве. Ко мне возвращались силы. Я в этом очень нуждалась — между утренними «совещаниями» в ванной и пешими прогулками с Ивом я уже не тянула. Я была сыта по горло их «разговорами по душам» и заданиями по подглядыванию и шпионству. Каждый со своей стороны мне говорил: «Не отходи от него (нее) ни на шаг; пока меня нет, глаз с нее (него) не спускай; приду — расскажешь».

В отношении работы у обоих все шло как по маслу. Имя Ива на афише было написано так же крупно, как и имя Эдит, несмотря на предостережения Лулу Барье:

— Будьте осторожны, Эдит. В одной программе с вами он становится опасным. Не позволяйте ему занимать слишком много места.

— Не беспокойся. Еще не родился на свет господин Пиаф французской песни, который бы меня проглотил. «Этуаль» станет венцом моего фейерверка для Ива. Я хочу, чтобы он удался. А потом…

И она приложила все силы. В течение нескольких дней она не

слезала с телефона, звонила своим друзьям-журналистам и всем тем, кто имеет вес в мире песни. Эдит всегда все делала широко!

У Ива очень быстро появились деньги, он знал им цену и не бросал на ветер. Он никогда не жил на иждивении Эдит, гордость ему не позволяла. Все же она подарила ему несколько костюмов, ботинки из крокодиловой кожи и набор «пиафиста» — зажигалку, часы, цепочку и запонки.

А она, как всегда, тратила не считая. Накануне генеральной в «Этуаль» у нее оставалось только три тысячи франков. Две недели выступлений в «Альгамбре» не могли нам много принести.

— Момона, я хочу быть красивой завтра вечером для Ива. Пойдем, я куплю себе что-нибудь новенькое.

Мы себе ничего не купили за то время, пока жили в «Альсина», а то, что у нас было, не стоило доброго слова.

Мы были уже в дверях, когда Ив спросил:

— Куда ты идешь?

— Хочу купить платье, перчатки и шляпу. (Она никогда не носила шляп, но в тот вечер ей захотелось выглядеть элегантнее.)

— Послушай, это же смешно. Тебе ничего не нужно. Я запрещаю тебе тратить деньги. Ты потом останешься без гроша.

Так оно и оказалось!

— Заткнись!— ответила Эдит.

И мы ушли, забыв о нем и думать. Мы истратили все до последнего франка. Эдит ликовала, она разложила на кровати свои покупки: пару перчаток! По дороге в магазин нам попалось несколько бистро, а так как Эдит была счастлива, она не только пила, но каждый раз угощала всех присутствующих. Запреты Ива были для нее как прошлогодний снег. И напрасно. Он был в страшном гневе, гневе мужа, у которого без разрешения взяли деньги. Разумеется, это был не тот случай, но у нашего Ива были принципы: женщина должна слушаться мужчину.

— Ты вся в долгах, а швыряешься деньгами направо и налево! Ты кончишь в нищете…

— Тебе-то какое дело, к тому времени я не буду с тобой!

— Я тебе запретил, этого достаточно.

— Мне никто никогда ничего не запретит!

Они кричали так громко, что сами себя не слышали. В конце концов Ив так ударил ее по лицу, что у нее чуть не отлетела голова. Она заплакала. Он хлопнул дверью и ушел. Потом вернулся. Они бросились друг другу в объятья. Просто цирк! Потом они сказали: «Такая разрядка хороша перед премьерой!» Но они так накричались, что охрипли и за час до концерта оба полоскали горло!

В тот вечер Эдит, выйдя на авансцену, представила Ива

Монтана публике. Она впервые это делала. Когда Ив появился, переполненный зал, где элита смешалась с простым народом, был наэлектризован.

За кулисами Эдит вела программу Ива, как если бы ей не надо было потом выступать самой. Каждый раз, когда между поклонами он выходил за кулисы, Эдит промокала ему лицо полотенцем, подавала стакан воды. Когда занавес дали в последний раз, мы насчитали тринадцать вызовов. Она прошептала: «Хорошая примета. Эта цифра принесет ему счастье». Теперь она могла вздохнуть спокойно: ее чемпион победил.

Жаль только, что после таких вечеров наступает следующее утро! Повторилось то, что было после концерта в «Альгамбре», только в усиленной степени… Ив был горд, как петух. Он непрерывно «кукарекал»! Журналисты как с цепи сорвались, и он тоже. Речь шла только о его собственном успехе. Одна и та же сцена проигрывалась дважды, сегодняшняя была явно лишней. Я это видела по лицу Эдит, хотя она получила то, чего добивалась. Она сидела в постели, обложившись подушками, и следила за ним глазами. По ее улыбке я чувствовала, что она сейчас скажет ему какую-нибудь гадость.

— Приятно видеть тебя счастливым. Тебе это было необходимо, дорогой… Но ты должен еще кое-чему научиться… На сцене не потеют… ты же не грузчик. Нельзя также…

Ив прервал ее гневно:

— Потеть меня заставляешь ты! А своим вчерашним успехом я обязан только себе и никому другому!

Несмотря на эту стычку, вечером на ужине, который устроила Эдит, Ив сиял от радости в своем новом с иголочки смокинге. Он никому не давал вставить слова. Меня забавляло его тщеславие мальчишки, прибежавшего к финишу первым. Меня, но не Эдит.

«Знаете, сколько раз меня вчера вызывали?! Тринадцать! Симона считала. Верно, Симона?» Эдит оборвала его: «Слушай, это, наконец, начинает надоедать!»

Повеяло холодом. Восторг Ива несколько остыл. В двадцать два года это тяжелый урок. Ив получил его, но понадобилось время, чтобы все переварить.

Дома, казалось, жизнь текла по-прежнему, но мне не нравились взгляды, которые Эдит временами бросала на Ива. Как будто она его подкарауливала. Раньше я за ней такого не замечала. Я была уверена: она что-то замышляет.

Ив со своей стороны тоже беспокоился: «Симона, что происходит? Между Эдит и мной что-то изменилось. Почему?»

Я-то знала почему, но как ему сказать? Он слишком быстро

стал «звездой». Он ускользал из вынянчивших его слабых рук. Любовь, которую я считала такой крепкой, дала трещину. Аплодисменты раскалывали ее. Мне хотелось крикнуть Иву: «Ваша профессия губит ваше счастье!» Но было поздно. Ив уже стал идолом. Тоже идолом. Ничего не оставалось, как следить за ходом событий…

Как-то утром Эдит взорвалась:

— Момона, это невозможно. Как в доме для престарелых. Он только и делает, что говорит: «Ты меня видела в «Альгамбре»? А в «Этуаль»?..» Через год я буду годна только на то, чтобы чистить господину его ботинки!

— Эдит, это скоро пройдет. Он поймет. Надо дать ему время. Естественно, у него закружилась голова. Он опьянен.

— Возможно. Но я не люблю мужчин, которых от вина развозит. Когда я завожу любовника, я хочу, чтобы он говорил мне о любви, а не о работе! Это я умею и без него.

В тот же день она сказала Лулу Барье:

— Не заключай больше с Ивом контрактов на мою программу.

Лулу ответил:

— Давно пора. Директора мюзик-холлов уже больше не могут приглашать вас вместе.

Когда Эдит любила, это всегда было в первый раз на всю жизнь и никогда не было ничего подобного. Я же считала, что менялись только объекты.

Любовь Эдит напоминала температурную кривую. Вначале стрела шла вверх прямо к 42°, термометр разрывался. Потом, жар спадал, и кривая напоминала зубья пилы. Я называла это периодом «американских гор». Потом наступал упадок, ниже 35°, ей становилось холодно, сердце зябло, и она начинала кого-нибудь искать, чтобы его согреть.

Чтобы жить с Эдит, нужно было обладать железным здоровьем! В последний раз температура Эдит в период жизни с Монтаном подскочила во время концертов в «Этуаль».

В каком-то смысле Ив был наивен. Он думал, что его успех произведет впечатление на Эдит. Он глубоко заблуждался. Для того чтобы она его выдерживала, она должна была продолжать повелевать, а он заискивать. Но это был не тот случай. Он ей говорил: «Я тебя люблю». Это была правда. Но он прижимал баб по всем углам. Эдит это знала. Слишком часто я видела, как она плачет. Она жаловалась мне: «Момона, этот мужик приносит мне столько горя, я так больше не могу». Она это говорила, но жизнь показала иное. Мы прожили с Ивом еще много времени.

По опыту я знала, как заканчивались ее связи с мужчинами.

Неприятности. Ссоры. Эдит нервничала, пила. По ночам никто не спал. Среди ночи, вернее, ближе к утру, Эдит звонила мне: «Момона, иди ко мне» — или будила меня, если я спала рядом. И начиналось: «Представляешь, что он сделал!» Это длилось час, потом она мне говорила: «Мой бедненький, мой котенок, у тебя слипаются глазки, иди спать». Я уходила, но через десять минут она меня снова звала, и все начиналось сначала.

Мы еще до этого не дошли. У великой любви просто падала температура.

Нужно сказать, что Ив тоже вносил свой вклад. Случались сцены, которых он мог бы избежать. Однажды вечером он вернулся домой как ни в чем не бывало, довольный собой. Но Эдит выстрелила без промаха:

— В следующий раз скажи своей курице, чтобы чистила тебя щеткой, когда отпускает домой. На тебя смотреть противно. Посмотри на свое плечо (пиджак Ива был в пудре и помаде). Ты мне нужен не для ровного счета! Я не подбираю чужих объедков!

Он прикусил язык. Но захотел играть в супермена. Она послала его подальше.

— Не ломай из себя марсельского вора в законе,— это лезет у меня из ушей! Мне смешно, когда строят из себя паханов! Что такое настоящий вор — я знаю! Я знаю, из какого он теста! В моем доме под твою дудку плясать никто не будет! Если тебе надоело, собирай вещички, я тебя не держу! Беги к своим курам, пусть квохчут вокруг!

На этот раз чувствовалось, что она говорит серьезно. Ив быстро дал задний ход! Он громко рассмеялся: нельзя сказать, чтобы смех вышел непринужденным. Он обнял ее и стал говорить нежные слова — черт, он это умел! Он крепко обнимал ее, прижимал к себе и осыпал «я тебя люблю». В его объятиях она выглядела такой невесомой и хрупкой, что я говорила себе: «Не может быть, чтобы она ему не уступила!»

— Эдит, ты же знаешь, ты одна в моем сердце. Негодяи, которые говорят, что я тебя обманываю, клевещут из зависти. Наше счастье им спать не дает. Ты — моя жизнь. Ты мне веришь?..

— Да,— выдохнула она, улыбаясь и сияя от радости.

Но Ив, к сожалению, продолжил, неосторожно раскрыв свою сокровенную мечту.

— Когда они увидят наши имена, соединенные на афише и написанные одинаково крупно, они поймут, что мы с тобой связаны на всю жизнь…

Она вырвалась из его объятий. Он попал в самую точку. Со своей грустной улыбкой «уличной-девчонки-которой-не-повезло»,

она ему сказала: «О, со мной, знаешь ли. любовь на всю жизнь продолжается не так долго». Потом добавила холодно: «Что касается наших имен на афише: комедия окончена! Я уже сказала об этом Лулу!»

Можно иметь метр восемьдесят семь роста, можно быть сложенным, как бог, но после таких слов нельзя не согнуться в три погибели…

Однако их имена встретились на афише еще раз. И по воле Эдит.

Во время оккупации Марселю Блистэну пришла мысль снять фильм с Эдит. Он сказал ей об этом, и она ответила: «Великолепная задумка. Клянусь, мы сделаем такой фильм». Но тогда об этом не могло быть и речи, Блистэн скрывался. В декабре 1944 года снова возник с уже готовым сюжетом. Он очень прост и сделан будто по мерке Эдит: известная певица встречает парня, она его любит, делает из него человека, а потом уходит от него и остается одна.

Эдит прочла сценарий и рассмеялась: «Ну, Марсель, не так хорошо, как здорово! Ты предсказал будущее. Я согласна у тебя сниматься, но при условии — возьмешь Ива Монтана»,

Блистэн не возражал, но продюсеру это имя ничего не говорило. Его сомнения можно было понять, ведь деньги-то вкладывал он. Афиша с именами Эдит Пиаф и Ива Монтана не вызывала желания бежать в кино со всех ног.

Но когда Эдит чего-нибудь хотела, она умела взяться за дело. Пятнадцатого января 1945 года она устраивает для продюсера коктейль в клубе «Мейфер» на бульваре Сен-Мишель, где каждый вечер выступает Ив. Ив поет. Блистэн просит Эдит спеть одну из ее песен. Все было условлено заранее. Эдит заставляет себя просить. «Ну, хорошо, только одну, для тебя…». Она поет, и потрясенный финансист говорит Марселю: «Эта женщина гениальна, а у Монтана очень хорошие внешние данные. Я согласен».

Так решилась судьба фильма «Безымянная звезда». Вместе с Эдит снимались Марсель Эрран, Жюль Бери и два дебютанта: Серж Режиани и Ив Монтан.

Несколько лет спустя Ив сказал: «Я всем обязан Эдит». Он говорил истинную правду.

Хотя у Ива был аппетит людоеда, готового все проглотить, в жизни ему не хватало уверенности в себе. На кинопробах он выглядел бледно. «Не волнуйся. Ты создан для кино, у тебя врожденный талант. Ты далеко пойдешь».— Липший раз Эдит предсказала будущее.

Съемки фильма прошли спокойно, за исключением

финального эпизода. «Безымянная звезда» заканчивалась кадром в духе Чарли Чаплина. Великая актриса уходит из студии, одна, ее маленькая фигурка исчезает на горизонте…

На этот раз великой актрисой стала я. Эдит в тот день была сильно навеселе. Говорила она хорошо, но пройти, не шатаясь, три метра не могла. Марсель кричал:

— Иди прямо!

Эдит хохотала:

— Не могу. Я падаю с ног от горя!

— Скажи лучше: от пьянства!

— Оставь меня в покое: сними Момону!

Марсель посмотрел на меня и сказал:

— Надень ее костюм. Тебе поправят прическу, и со спины ты сойдешь.

Хоть я и убеждала себя, что меня снимают только со спины, сам факт присутствия перед камерой произвел на меня большое впечатление. А Эдит смеялась: «Я нашла тебе профессию: будешь моей дублершей».

Мы по-прежнему жили в «Альсина». Между Ивом и Эдит внешне все шло как будто хорошо, но я знала, что это ненадолго. Она жила рядом с ним, но не вместе с ним. Они продолжали совместную жизнь как бы по привычке.

После Освобождения в нашей жизни снова появилась Гит, Маргерит Монно. Она полюбила Ива. «Он столь же красив, сколь талантлив»,— говорила она. Эдит это было приятно. Когда она рассказывала Гит о своих любовных увлечениях, та всегда находила их чудесными, казалось, еще немного, и она положит их на музыку.

Эдит преследовала одна мысль, но она стеснялась сказать об этом Гит. Все же она решилась: «Я едва осмеливаюсь сказать об этом именно тебе, но когда у меня рождаются слова песни, я слышу и музыку. Все приходит одновременно, понимаешь? Как ты думаешь, не попробовать ли мне сочинить крошечную мелодию?»

Нужно было быть такой тактичной, как Гит, чтобы Эдит не замкнулась в себе. Ведь она не имела никакого представления о сольфеджио! Сказать это такому композитору, как Маргерит Монно: та могла подумать, что ее разыгрывают.

— Попробуй, Эдит, я тебе помогу.

— Ты не будешь издеваться надо мной? У меня в ушах все время звучит один мотив. Можно я тебе это сыграю?

— Давай.

И Эдит вот так, с ходу, сыграла нам мелодию, которая превратилась потом в «Жизнь в розовом свете».

— Я как-то не чувствую,— сказала Гит.

— Значит, тебе не нравится.

— А слова?

— Пока нет. Мне просто не давал покоя этот мотив.

— Тебе, во всяком случае, он не подходит, ты никогда не будешь это петь. Но ты должна продолжать. Почему бы тебе не сдать экзамен и вступить в SACEM как автору мелодий?

— Меня уже «завернули» как автора слов.

Гит засмеялась.

— Это не имеет значения. Я в первый раз тоже провалилась. А до меня Кристинэ, композитор, автор «Фи-фи»… да многие другие!

Маргерит Монно провалилась! Мы были поражены. И Эдит сразу приободрилась: «Попробую еще раз».

Вероятно, песне «Жизнь в розовом свете» было суждено судьбой появиться на свет. У Эдит была приятельница, певица Марианна Мишель, приехавшая из Марселя. У нее был покровитель, владелец неплохого кабаре на Елисейских полях, и у нее все складывалось удачно. Но, как обычно бывает с начинающими, у нее не было репертуара. Эдит время от времени встречалась с ней, и та постоянно ныла:

— Не могу найти хороших песен. Чтобы заявить о себе, нужен шлягер. Эдит, вы не могли бы написать для меня песню?

— Есть одна мелодия, которая не выходит у меня из головы. Она в вашем духе. Послушайте.

Эдит напела ей мотив, который перед этим сыграла Гит.

— Потрясающе. А слова?

— Подождите. Вот если так…

И Эдит, неожиданно взяв карандаш, написала:

Когда он меня обнимает,
Когда нашептывает мне на ухо,
Для меня все вещи — в розовом свете…

Марианне не очень понравилось.

— Вы думаете, это хорошо? Вещи? А если мы поставим — «жизнь»?

— Прекрасная мысль! И песня будет называться «Жизиь в розовом свете».

Назавтра песня была готова. Но так как Эдит не была членом SACEM, она не могла ее подписать.

Мы бросились к Гит.

— Вот, смотри. Я сочинила слова на эту мелодию. Послушай.

Гит возмутилась:

— Надеюсь, ты не собираешься петь такую чушь?

— Это не для меня, а для Марианны Мишель. Но я думала, ты поможешь «довести» ее.

— Нет, я действительно ее не чувствую.

Прокол. Но если у Эдит что-то не получалось, она обязательно старалась добиться успеха. Она не мирилась с неудачей. У нас был очень милый приятель, Луиджи, талантливый человек, хороший композитор, но неудачник. Эдит обратилась к нему. Из ее музыкальной фразы он сделал «Жизнь в розовом свете», и ему не пришлось об этом жалеть. Марианна Мишель исполнила ее, и песня получила во всем мире такой колоссальный успех, как никакая другая. Ее перевели на двенадцать языков. Особенно нас смешило, что ее поют по-японски. Эдит говорила мне: «А вдруг они поют: «Моя жизнь — это розовые рыбки?»

Ее включили в свой репертуар великие американцы Бинг Кросби и Луи Армстронг. А о них нельзя сказать, что они были поклонниками французской песни. Она служила связкой и звуковым фоном в фильме «Сабрина» с Одри Хэпберн, Хэмфри Богартом и Уильямом Холденом. В свое время в течение одного года было распродано более трех миллионов пластинок, она хорошо продается и сейчас. На Бродвее ночной клуб называется «Жизнь в розовом свете». Эта мелодия была невероятно популярна в Нью-Йорке. Мы с Эдит часто слышали, как ее насвистывали и напевали на улицах. Песня имела такой успех, что Эдит рвала на себе волосы: «Какой же я была идиоткой, что не спела ее!» Она ее исполнила, но спустя два года.

Дома (для нас место, где мы жили, всегда было «домом», будь то отели или меблированные квартиры; мы не делали разницы. Эта манера говорить всегда удивляла Ива. Он-то знал, что такое дом…) сердечные дела с Ивом шли все хуже. Что касается работы, она была на подъеме.

— Ты слишком влезаешь в кино, Ив. Ты говоришь, что оно приведет тебя в Америку. Но ты можешь туда попасть и с песнями. И кроме того, ты в любом случае добьешься успеха и в том и в другом. Сольный концерт в «Этуаль» сделает тебя единственным, самым значительным исполнителем французской песни.

Она хотела довести дело до конца, закрепить его успех. Ив был ее творением. Она не смешивала чувства с работой, даже если в личном плане у них не клеилось.

Перед концертом в «Этуаль» Ив утратил свой победный вид. Он уже не хвастался. Он репетировал, пока не валился с ног и не начинал хрипеть. Каждый раз, когда ему казалось, что он сделал удачную находку, он кричал:

— Эдит, это годится, как, по-твоему?

— Хорошо, хорошо. Не останавливайся. Прогони мне всю программу.

Под конец Ив не выдержал:

— Я уже ничего не чувствую и ничего не понимаю. Я так боюсь…

Эдит подняла на него глаза. Нужно было видеть этот взгляд. В нем было все: удовлетворение, месть… Она повернулась ко мне и сказала:

— Видишь, Момона. Так создается артист.

Его качества труженика и бойца она особенно ценила. «Он весь отдается песне,— говорила она. Он еще будет диктовать ей свои законы». И вечером она прижималась к нему. Снова наступал прилив любви, рожденный лихорадкой творчества.

Надо было иметь колоссальную смелость и силу, чтобы выступить в 1945 году с сольным концертом на сцене «Этуаль»,— два часа один на один с публикой, привыкшей к программе варьете. Даже Эдит Пиаф этого еще не делала. По-моему, до Ива с сольным концертом на сцене «Этуаль» выступал только Морис Шевалье. Да, Ив был отважен! Поэтому хотя мы и верили в него, но тряслись от страха. Как Эдит его опекала, как носилась с ним! Он взлетел соколом в поднебесье. Все было ради него. Анри Конте написал для него две новые песни: «Большой город» и «Он делает все».

Утром в день премьеры Ив сказал:

— Эдит, я хотел бы тебя попросить кое о чем: ты не поставишь за меня свечку в церкви?

— Дурачок, уже поставила! И сейчас еще раз сходим с Момоной.

Мы, как всегда, поднялись на Монмартр в Сакре-Кёр и поставили свечку святой Терезе из Лизье. Это уже вошло в привычку…

Вечером, стоя перед «Этуаль», Эдит все-таки сказала Иву: «Теперь ты доволен? На афише только твое имя».

Ив ответил с некоторой горечью: «Вытирать потом кровь с морды я тоже буду один».

Во время концерта Эдит все время была за кулисами. Она не оставляла его ни на минуту. Я была в зале с семьей Ливи, приехавшей из Марселя. Сидя в бархатных креслах, они сияли от счастья. Видеть сына, своего мальчика, на этой сцене! Что они должны были чувствовать? Они забыли и думать об Америке!

В антракте я побежала к Иву. Дверь его гримерной была закрыта для всех, но не для меня. Проживи я еще сто лет, я не забуду его взгляда: «Ну как?»

— Все хорошо!

— Никто не уходит? Не скучно?

— Зал в твоих руках. Держись!

Я осталась за кулисами. Он выдержал до конца. Второе отделение было решающим. Внимание в зале могло внезапно ослабнуть. Публике могло надоесть видеть перед собой одного и того же актера. Мы все дрожали от напряжения. Когда Ив запел:

Что такое со мной?
Почему я так люблю,
Что кричу от любви…

Он на мгновение повернул голову туда, где стояла Эдит. Этот крик любви предназначался ей. Он ей его посвящал. Я видела, как у нее из глаз выкатились две крупные слезы. Как мы были взволнованы!

Концерт окончился, и зал, битком набитый снобами и профессионалами, пришедшими посмотреть, как будет сожран (а почему бы и нет?) отважный укротитель, стоя аплодировал и ревел: «Еще! Еще!»

Когда в последний раз дали занавес, Ив, уходя со сцены, обнял Эдит и сказал: «Спасибо. Я тебе обязан всем».

Глядя из окна гримерной, как расходился с премьеры «Весь Париж», Эдит сказала мне: «На этот раз все кончено. Больше я ему не нужна». От этих слов веяло ледяным холодом одиночества.

Да, он больше не нуждался в Эдит, но она еще раз позаботилась о его будущем. В бар «Альсина» часто заходил Марсель Карне. Он очень любил поболтать с Эдит. На концерте Ива в «Этуаль» он заговорил с Эдит:

— У Монтана прекрасные внешние данные и редкое умение держаться.

— Не забудьте его имя. Он не только певец, он великолепный драматический актер и создан для кино.

Год спустя Ив снялся в главной роли с Натали Натье. в фильме Марселя Карне «Двери ночи», и это при том, что вначале предполагалось пригласить на эти роли Жана Габена и Марлен Дитрих.

Эдит работала очень много. Лулу не давал ей оставаться в простое. Ив по-прежнему ревновал и не хотел разлучаться, но уже ничего нельзя было сделать, у каждого были свои обязательства. Песня, которая их соединила, теперь все чаще разлучала.

Под Рождество у Эдит был концерт, мы с Ивом ее ждали. Не знаю почему, но нам было невесело. Мы сидели в ожидании. Чего? Эдит, разумеется, но за ней, мы это чувствовали, следовало

еще что-то другое. К тому же мы с Эдит не любили эти праздники. Чтобы их любить, нужно отмечать их с детства. А это был не наш случай. Они были не про нашу честь. Мы смотрели на чужое счастье в витринах магазинов, наполненных игрушками и сладостями, в окнах ресторанов…

Мы встретили Рождество втроем, очень мило. Эдит казалась еще очень влюбленной в Ива. Все было хорошо, но тут Ив допустил бестактность. «Этот праздник засчитаем за два, потому что на Новый год я поеду в Марсель к родителям».

В тот момент все как будто сошло, но на следующий день Эдит кипела: «Представляешь, Момона! С утра до вечера клянется мне в любви, а семейка для него важнее. Что бы он ни говорил, я для него всегда буду на втором месте».

И в ночь под Новый год мы остались одни. После концерта Эдит мы, никому не нужные, пошли на Монмартр в «Клуб пятерых».

«Пятеро» — это были пять ребят, сдружившихся в бронетанковой дивизии генерала Леклерка. Они создали нечто вроде очень шикарного частного клуба. Каждый вечер они приглашали к себе какую-нибудь знаменитость. Несколько раз обращались к Эдит, но у нее никогда не было времени.

В тот вечер она мне сказала: «Не хочу оставаться в гостинице. Пойдем сходим к ним».

Мы попали как кур в ощип. Народу было мало, и — не везет, так уж не везет — никого знакомых. Одни, без мужчины, мы не вписывались в обстановку. Все кидались конфетти и бумажными шариками; от этого становилось еще тягостней. Нам надели бумажные головные уборы: Эдит получила матросский берет, я шляпу в стиле Директории. Мы были настолько растеряны, что даже не напились. Нам для этого всегда нужно было быть на подъеме, хотеть смеяться или уж быть в глубоком горе.

Нам ничего не хотелось. Мы были опустошены. В полночь мы поцеловались. Праздник прошел. Мы вступили в Новый год.

— Послушай, Момона, некоторые верят, что как начинается год, таким он и будет. Ну и смеху у нас будет в 1946 году!

Не скажу, сбылось ли это полностью, но начало года, во всяком случае, оказалось неудачным. Не прошло и трех дней после возвращения Ива, как они снова сцепились. В последний раз.

Эдит репетировала перед отъездом в турне. Как всегда в таких случаях, она была вся в работе, без косметики, не причесана, в старом джемпере и юбке — одержимая песней. И вдруг раздался голос Ива, резкий, как удар гильотины.

— Прекрати! Это не годится!

Эдит послушно, чисто механически, остановилась.

— Что не годится?

— То, что ты делаешь! Сплошные штампы! Голая техника! Ничего ни здесь, ни здесь (он хлопнул себя по животу и по голове).

— А ну-ка повтори, что ты сказал.

Руки в боки, вытянув шею, она смотрела на него с высоты всех своих ста сорока семи сантиметров, не веря своим ушам.

— Повтори, говорю. У меня уши заложило!

— Это плохо, я бы спел…

— Ты бы ничего не спел! Своими «я бы» можешь заткнуться! Меня от них тошнит. Если в один прекрасный день я решу брать уроки у первого встречного, я поманю тебя пальцем. А теперь я позволю себе потерять еще одну драгоценную минуту и дам тебе бесплатно последний совет. В отношении того, что ты презрительно называешь «штампами» и «техникой»! Желаю тебе иметь их побольше в запасе, потому что настанет день, как— это бывает со всеми нами, когда они тебе пригодятся. Однажды они спасут тебя, когда у тебя ничего не окажется за душой. А теперь уходи. Довольно я на тебя насмотрелась.

Через пять лет она могла бы принять советы Ива. Но не тогда.

Они не успели по-настоящему помириться, как Эдит уехала в турне по Эльзасу.

Я знала, что в первом отделении в том же концерте выступают девять парней, которые назывались «Компаньон де ла Шансон».[27] Она знала их понаслышке, не больше. Во время оккупации мы их однажды слышали на гала-концерте в «Комеди Франсэз», организованном Мари Бель. Ансамбль принимали неплохо. Эдит тотчас же окрестила их «Бойскаутами Песни». В них самих было что-то освежающее, потому что всегда приятно видеть девять ребят, веселых и хорошо сложенных, слушая которых не надо напрягать извилины.

Я не поехала в турне с Эдит. Она сказала, что хочеть уехать из «Альсина» и просила меня остаться и заняться новой квартирой, которую подыскивал Лулу. И все-таки я удивилась, когда он мне сказал: «Звонила из Эльзаса Эдит и просила немедленно снять ей дом. Ей почему-то нужно, чтобы в нем было много комнат. Что ты об этом думаешь? (У меня не было ни малейшего представления.) Ну, я нашел ей кое-что подходящее на улице де Берри. Пойдем посмотрим».

Дом оказался скромным на вид. Я не могла и предположить, что благодаря Эдит жизнь в нем будет так богата событиями.

Вы входили во двор. В глубине его было что-то вроде особняка с небольшим садом. Деревья в этом саду, казалось,

плакали от скуки и мечтали о деревне. Когда мы обосновались, чтобы им было не так скучно, мы им подарили карликового петушка Пюпюса и в пару ему курочку Ненетту. Но веселее выглядеть они не стали! У них по-прежнему был потерянный вид, словно они не понимали, почему выросли здесь. Я их любила, они были похожи на меня. Я ведь тоже не знала, что здесь потеряла.

Вы поднимались на три ступеньки и попадали в вестибюль. Дом был одноэтажным. Я не помню, сколько в нем было комнат, но было просторно, прилично обставлено и стоило довольно дорого. Лулу спросил:

— Тебе нравится?

Не знаю почему, но я не была в восторге.

— Дом не плохой, но очень большой.

— Она так и хочет.

— Не собирается нее она здесь поселить этих бойскаутов!

Мы рассмеялись, но, наверное, не дали бы руку на отсечение, что этого не случится.

Когда речь шла об Эдит, никогда ничего нельзя было знать заранее. Так я, не зная, вернется ли она из поездки в отель или поедет сразу на новую квартиру, приняла свои меры предосторожности. По телефону она мне только сказала: «Встречай меня на вокзале». И все. Я поставила в комнатах цветы и перевезла кое-что из вещей. Я ждала возвращения Эдит в некотором смятении, нюхом чуя, что что-то не так.

На вокзале, как всегда после долгой разлуки, она подозрительно осмотрела меня, как мать, которая боится, что дочь в ее отсутствие потеряла невинность. «Ты плохо выглядишь! Надеюсь, ничего не натворила?» Потом она обняла меня и поцеловала. Я снова стала «ее» Момоной.

Едва усевшись в такси, она бросила шоферу: «Улица де Берри, 26».

Я оторопела. Мы не едем в «Альсина». Какое счастье, что я подумала о цветах. Я спросила ее осторожно:

— А как же Ив?

— С ним покончено. Я приняла решение. Он больше во мне не нуждается и сумеет повести свой корабль сам. Ты увидишь, Момона, я окажусь права. В остальном у меня масса идей. Я решила заняться «Компаньонами». Я из них сделаю потрясающий ансамбль. Такой, какого еще не было. Они будут делать все совсем другое.

— И они согласны?

— Они еще ни о чем не подозревают. Я все это надумала в поезде. Но они согласятся.

— Послушай, Эдит, но ведь девять человек сразу! Как ты с

ними справишься?

— Не беспокойся. Нужно уметь меняться, в этом секрет вечной молодости.

Мы приехали на улицу де Берри. Эдит удивилась, но ей понравилось. Однако больше всего ей хотелось рассказывать мне о своем хоре. Аппетит приходит во время еды: ей уже нужен был не один воспитанник, а девять. «Они еще «сырые». Мне будет очень трудно, но я все поломаю».

Я ждала, что она выделит одного из них, произнесет одно имя. Но нет! Может быть, она хочет попробовать всех по очереди? От Эдит всего можно было ожидать!

— Слушай, надо разыскать Чанга. И мне будет нужна секретарша.

Ошибки быть не могло, мы обосновались капитально. Я не смела напоминать ей об Иве, но я о нем думала. Ему было известно, что она возвращается сегодня. Он ничего не знал об улице де Берри, но Лулу даст ему адрес. Как он поступит?

Их расставанье было самым тяжелым из всех, на которых мне пришлось присутствовать. Поздно ночью, видя, что Эдит не вернулась в «Альсина», Ив пришел на улицу де Берри. Сначала он робко позвонил. Эдит мне сказала:

— Если это Ив, не открывай.

У меня сжалось сердце. Я смотрела на него через опущенные жалюзи. Сначала он звонил, как сумасшедший, потом начал стучать кулаками в дверь. Удары гулко разносились по двору. Потом он прекратил грохот и, прижавшись ртом к дверной щели, сказал очень громко: «Эдит, открой… Я знаю, что ты здесь, впусти меня!»

Он оставался так некоторое время, неподвижно. У меня разрывалось сердце. Я металась между окном и комнатой Эдит. Она заткнула себе уши и засунула голову под подушку. Она мне кричала: «Я не хочу его слышать! Я не хочу все начинать сначала! Пусть он уйдет, Момона, иначе мне никогда не излечиться от него!» Она еще любила его, но считала, что должна остаться одна. Я страдала вместе с ними. В нашей жизни было столько хорошего!

Мне Ив нравился, он был честным, открытым. Когда он смотрел вам прямо в глаза, ему невозможно было солгать. У него было красивое лицо здорового человека. Он был настоящим мужчиной. Я не могла видеть, как он страдает.

Не знаю, сколько времени это продолжалось, Ив ушел с большим достоинством, прямой, словно окаменевший. Он пересек двор усталой походкой зверя, не одержавшего победы в схватке.

Я продолжала стоять у окна. Рассветало. Эдит спала, как

ребенок. Когда утром она встала, я взбила подушку, еще мокрую от слез.

Глава десятая. Завоевание Америки

«Компаньоны» заняли свое место в периоде, который мы назвали «фабричным производством» и которому суждено было длиться долго, Мы пережили много разных периодов… и хороших, и плохих.

Девять мужиков — это же орава! Одному и то надо оказывать внимание, но когда все умножается на цифру девять — покоя не жди. Здорово утомляешься. Причем не от удовольствия. Его можно получить только единовременно и от одного человека.

Когда эти девять лбов выгрузились у нас со своими чемоданами, мне стало не до смеха. Как десантный отряд. И пошло-поехало ! Они у нас жили и не жили, так как у них была общая на всех квартира на Университетской улице. Все беспрерывно сновали туда и обратно. И как всегда, в доме Эдит ночевать мог кто угодно.

У новой секретарши (кажется, ее звали Ивонной), хорошенькой девушки, глаза от удивления вылезали из орбит. Подобного дома она никогда не видела. Ей хотелось за всем уследить и все понять одновременно, но ей это не удавалось.

Чанг обладал поистине китайской мудростью: «Мамамизель это нравится? Тогда Чангу тоже нравится!

Я же, по правде говоря, впервые в жизни растерялась… Это было выше моего понимания, это был перебор. Я не могла любить всех скопом, мне нужно по отдельности. Я сказала себе: «Подождем. Флагман объявится».

Эдит была совершенно счастлива. Она сияла, как всегда, когда бывала влюблена. В ванной испытывались новые пудры и помады, сооружались новые прически.

По вечерам все собирались словно у лагерного костра. Рассаживались вокруг Эдит: пламенем была она. Эдит мне говорила: «Слушай их внимательно. Каждому есть что рассказать. Я еще не знаю, что с ними сделаю. Сначала я должна их изучить».

Слушая их, я узнала, что Фред, солист, был учителем в Аннонэ. Из того же края Рене, художник, ставший тенором. Джо, тоже оттуда, сын владельца бумажной фабрики — ничего удивительного, весь город этим занимался. Рыжий Альбер из Пессака в Жиронде был акробатом-иллюзионистом, а стал тенором. Марк, родом из Страсбурга, окончил консерваторию по классу гармонии. У баса Ги отец — директор банка, как и у Жана-Луи, родившегося в Кольмаре, студента Высшего коммерческого училища, мечтавшего стать профессиональным футболистом.

Наконец, из Лиона приехали Жерар и Юбер, которые готовились работать в торговле.

Эдит не потребовалось много времени, чтобы разобраться в них и оценить по своим меркам. Вскоре они стали: Джо-Большой, Ги — Паршивый Характер, Поль-Новичок, Альбер — Солнечный Зайчик, Жерар-Весельчак, Марк-Пианист, Фред-Солист, Юбер — Видный парень, Жан-Луи-Менеджер.

— Теперь, Момона, я в них разбираюсь.

— И что ты собираешься делать с этим отрядом? Будешь играть роль вожатой?

— Я их переделаю. Понимаешь, когда они поют, становится ясно, что они еще не выросли из детской одежды. Я научу их носить брюки.

— А они послушают тебя?

— Все, как один.

Именно этот один меня и интересовал. Который из них?

Не могли же существовать в доме на равных правах девять мужиков, нормально сложенных и крепко сшитых; из их рядов обязательно должен был выделиться один, тот, который направится в постель Эдит.

Это мне предстояло вскоре узнать, но прежде я увидела, как Эдит потерпела у них поражение.

Беседы в стиле «вокруг костра», забавные проделки в жанре бойскаутов, шумное веселье мальчишек, выпущенных на природу, — это входило в «курс омоложения через молодежь» и было довольно приятно. Это нас тем более восхищало, что те, кто прошел школу улицы, очень быстро начинали играть в «папу-маму» не понарошке; наши песни были ближе к блатным куплетам, чем к пасторалям…

Потом Эдит начала заводить разговоры о работе. В конце концов ведь она призвала их для этого.

— Вот что я хотела вам сказать: ваш нынешний репертуар немного стоит. С ним вы не вырветесь за пределы провинциальной сцены, где еще сохранились патриархальные вкусы. Дальше этого вам не уйти. Я ничего не имею против ваших старинных песен вроде «Перрина была служанкой», это прелесть. Но ведь вы никогда не услышите, как ее насвистывает на улице разносчик телеграмм. А без этого нет настоящего успеха.

Жан-Луи-Менеджер не дал ей продолжить.

— Послушай, Эдит, уличные песни не для нас. Мы ведь не один певец, мы хор. Нам нужны произведения для вокального ансамбля. И нам как раз совершенно не нужно, чтобы наши песни пели на улицах. Нас приходят слушать, как ходят в концерт.

— Попал пальцем в небо! А о пластинках подумал? Если во

всей Франции найдется двадцать тысяч выживших из ума пенсионеров, которые станут вас покупать, считай это успехом! Либо вы поете для особой публики, либо вы поете просто для публики. Надо выбирать!

— Уже выбрали. Мы нашли залы, где нас слушают. А за славой мы не гонимся!

— Ну и дураки!

Вечер закончился несколько прохладно…

Но раз Эдит решила их «переделать», она должна была это осуществить. И если она так упорствовала, значит, среди них один пришелся ей по вкусу! А пока что она метала громы и молнии. В профессиональном плане они не котировались.

«Момона, не укладывается в голове, как можно до такой степени ничего не понимать! Я звоню во все колокола,— и она расхохоталась «пиафовским» смехом,— прекрасно! Я нашла для них песню. Они будут петь «Три колокола».

Уже некоторое время назад Эдит отложила для себя про запас эту песню Жилля. Песня ей нравилась, но она ею еще не зажила.

Через десять минут она собрала всех ребят.

— У меня есть для вас песня. Слушайте:

Колокол звонит, звонит.
Одно эхо, затем другое повторяет его голос,
Который говорит удивляющимся людям:
Я звоню по Жану-Франсуа Нико!
Я звоню, чтобы принять душу,
Цветок, открывающийся солнцу,
Робкий огонек, еще слабый,
Который ждет покровительства, нежности, любви!

Все молчали и смотрели на Жана-Луи. Этот тип начинал мне действовать на нервы своими начальническими замашками.

— Нет, Эдит. Ни в коем случае. Это белиберда.

— А если мы будем над ней работать вместе? Если я ее спою с вами?

— Тогда большая разница.

Я прекрасно видела, в чем заключалась эта разница — в имени Эдит. Это козырная карта.

Я прекрасно видела также, что новым «патроном» становится Жан-Луи. Эдит только о нем и говорила! Сколько у него достоинств! Конечно же, ее избранник — руководитель «Компаньонов»! Как я раньше не догадалась! Все было ясно с самого начала: поэтому она и решила юс «переделывать».

Теперь, когда мы оставались вдвоем, Эдит начинала с места в карьер: «Момона, как ты его находишь?.. Он не такой, как все… Он чистый… Понимаешь, у него нет прошлого, его жизнь не ломала… Он поет ради идеала… Мне понравилось, что он отказался менять репертуар, чтобы не выделяться среди других… На славу ему наплевать. Для него главное — петь… И потом, он красив… И чувствуется, что сын банкира».

С одним сыном банкира, Полем Мёриссом, у нас уже вышла осечка! Но она не унималась. У меня аж в ушах звенело.

Работая над «Тремя колоколами», Эдит прибегла к необычным приемам. Оркестр и орган сыграли в этой песне роль звучащей декорации. Это потрясало. А впереди одинаково одетых высоких парней (белые рубашки и строгие темно-синие брюки) стояла маленькая фигурка, и ее голос, голос зрелой, много пережившей женщины, сливался с их юными голосами. Это было поразительной находкой.

Однако драгоценные «Компаньоны» не предались Эдит душой и телом. Они не доверяли ей. Пели они хорошо, но душу не вкладывали, и отдачи не было.

И опять не кто иной, как Жан Кокто своим вмешательством изменил жизнь Эдит. Он начал с того, что объяснил «Компаньонам», как прекрасно то, что они делают; у них от радости захватило дух. Более того, он написал статью, в которой были такие слова: «Слушать их — наслаждение, тем более изысканное, что в их колокола из бронзы и золота вливаются прожилки агата».

На следующий же день все изменилось. Ребята решили во всем слушаться Эдит, следовать ее советам. И в добрый час. «Три колокола» имели успех во всех странах мира. Во Франции было продано больше миллиона пластинок с этой записью. В Америке, где Жан-Франсуа Нико превратился в Джимми Брауна, первый тираж пластинки «The Jimmy Broun's song» (шестьдесят тысяч) разошелся за три недели.

Теперь Эдит стала для «Компаньонов» непререкаемым авторитетом. Они поняли, что у нее верное чутье, положились на нее и изменили свой репертуар.

Она нашла для них песни «Не тужи, Мари» Андрэ Грасси, «Мулен-Руж» Жана Ларю и Жоржа Орика, «Алый мак» Реймона Ассо и Валери, «Это был мой дружок» Луи Амада и Жильбера Беко, «Когда солдат уходит на войну» Франсиса Лемарка и «Молитву» Франсиса Жамма и Жоржа Брассенса. Кроме того, у них было несколько старинных песен. С таким репертуаром они могли отправляться в турне не только по Франции, но куда

угодно…

Когда «Три колокола» начали «звонить», чтобы возвестить всем радость победы, для меня они прозвучали как похоронный звон: Жан-Луи Жобер занял место в сердце Эдит и получил все права патрона.

На фоне остальных ребят, которые все вели себя в большей или меньшей степени как представители главного владельца, я выглядела бедной родственницей, которую держат в доме из милости. А жалость и милость меня никогда не устраивали.

Ради Эдит я была готова на все. Но ползать на брюхе перед другими — никогда! Может быть, если бы я согласилась быть прислугой на побегушках, я бы осталась, но когда Жан-Луи Жобер холодно произнес: «Я больше не хочу ее видеть», я не подняла волны и ушла.

Этот тип мог жить вдевятером, но не втроем. Я на него не в обиде. Разумеется, со своей точки зрения он был прав: я мешала уже тем, что не нравилась ему. Тогда я устранилась с его пути.

Год спустя, когда я вернулась к Эдит, она рассказала мне продолжение о Жобере и о путешествии в Америку.

Рассказывала Эдит прекрасно, во всех подробностях. У вас создавалось впечатление, что вы все видели собственными глазами. Она спокойно смотрела на наши временные разрывы (происходившие всегда по вине ее возлюбленных), но хотела, чтобы я все знала о ее жизни, как если бы я каждую минуту была с ней рядом.

«Понимаешь, Момона, ты должна все знать. Нужно, чтобы я тебе все рассказала сейчас же. Потом я уже не все вспомню. Ты — моя память, будь внимательна и ничего не забывай».

И я ничего не забывала, она в этом убеждалась, проверяя как бы невзначай, несколько месяцев спустя.

«Момона, для меня эти девять ребят были как мой собственный оркестр. Но не аккомпанирующий, а тот, которым я дирижирую. Голоса в качестве инструментов — это поразительно!

Вначале дома мне с ними было очень весело. Мы хорошо понимали друг друга. Они были мне как братья, заботились обо мне. Я никогда не жила в таком окружении. Мы разыгрывали друг друга, я от хохота по полу каталась.

Ради шутки мы сняли фильм: «Девять парней… одно сердце». Без претензий, ничего особенного. Понимаешь? Он скромно прошел по небольшим экранам. Ребята были несколько разочарованы. А я ведь это затеяла просто так, ради их

развлечения…».

Как в свое время она это сделала для Ива, Эдит поручила Лулу заняться «Компаньонами», включить их в ее программу. Они выступали в первом отделении. Затем она пела с ними «Три колокола», а потом выступала одна.

«Лулу бесится, как только я беру кого-нибудь в свой концерт. Мы с ним немного повоевали, и частично он настоял на своем. Так, на премьере в Париже после возвращения из турне в октябре 1946 года я выступала без «Компаньонов». Это было верное решение, Лулу не ошибся».

Никогда у Эдит не было такой восторженной прессы. Начинались «Великие годы Пиаф».

Пьер Луазеле, известный в то время критик Французского радио, писал: «Большая голова, мертвенно-бледное лицо, голос, как бы промытый родниковой водой…» — «Парень спятил,— говорила Эдит.— Разве у меня большая голова!» — «Она выходит на сцену… Простенькое платье, лоб гения, волосы, как плохо наклеенный парик куклы, руки апостола… смиренные глаза — глаза нищенки… потерянный взгляд, как бы просящий защитить от шквала оваций… Девочка, заблудившаяся в лесу… лицо нежное и встревоженное…».

Леон-Поль Фарг писал:

«Она поет, потому что в ней живет песня, потому что в ней живет драма, потому что голос ее полон терзаний… Когда она рассказывает нам о торжестве любви, о жестокости судьбы, об обреченности поступков, о радости света, о роковых законах сердца, она поднимается до высших вибрирующих нот, до тонов чистых и светлых, как мазки божественной кисти на мрачных полотнах Гойи, Делакруа и Форэна…»

Шарль Трене называл ее «белой голубкой предместий».

«Пожалуй, не очень банальные слова, а? Как считаешь. Момона?

Потом я выступала то одна, то с «Компаньонами»— Ты ведь знаешь Лулу? Командую я, но он все равно делает все по-своему. Изводит меня и заговаривает зубы до тех пор, пока я не скажу «да».

Так он отправил меня одну петь в Грецию, о чем я не жалею. Мне даже захотелось изменить свою жизнь и никогда оттуда не

возвращаться… Вот бы тебе когда-нибудь тоже побывать там! Эта страна не похожа ни на какую другую. Трудно объяснить… Но там ты мыслишь иначе, чем здесь.

В Афинах, когда я увидела нагромождения древних камней, увидела Акрополь — это такое место, где много колонн, устремленных в небо,— я поняла, что на земле есть не только Сакре-Кёр… Поверь, захватывает дух. Тем более что со мной был парень, прекрасный, как бог!

Это удивительная история, именно такая, какие я люблю.

Уже три дня, как я выступала в Афинах и каждый вечер в своей гримерной находила букет цветов. Никакой записки, никакой визитной карточки, ничего. Я подумала: «Наверное, какой-нибудь богач, старый и уродливый, боится показаться на глаза…» А он оказался красив, как Аполлон, и почти без денег! Он появился на четвертый вечер: черные кудри, темные глаза, и горд, как владетельный принц. Звали его Такие Менелас. Он был актером.

«Это я осмелился посылать вам цветы. Мне хотелось, чтобы они заговорили с вами раньше меня. Позвольте мне показать вам мою страну».

Страна! С кем! Об этом можно было только мечтать! В тот же вечер он повел меня к подножию Акрополя при свете луны. Мы поднялись по тропинке. Воздух был напоен горячими запахами множества. Снизу, как звуки оркестра, доносился городской шум. Он стал мне рассказывать, что когда-то среди этих величественных колонн бродили юноши, одетые в пеплум, его предки. Мне казалось, я их вижу! И он поцеловал меня… Какая прекрасная страна — Греция! Ты не можешь себе представить, как я любила его! Две недели… Хочешь не хочешь, я не могла там больше оставаться! За несколько дней до моего отъезда он перевернул мне всю душу, он умолял: «Останься. Не уезжай. Никогда мне тебя больше не увидеть. Ты моя жизнь. Останься! Мы поженимся. Моя страна — страна богинь, а ты — богиня, ты — любовь…»

Он меня так потряс, что я подумала: а может, в конце концов это и есть настоящая жизнь — забыть все ради одного человека!.. На следующий день я опомнилась, получив телеграмму от Лулу: «Турне по Америке. Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк. С «Компаньонами». Ноябрь 1947».

Я ему позвонила по телефону: «Ты в своем уме?.. Америку мне не потянуть…»

Затем — ты меня знаешь — я сказала: «Ладно, поеду, пусть увидят, им это никогда не снилось».

После того как на меня свалилась Америка и вся связанная с

ней подготовка, Такие оказался лишним.

Как я плакала, когда уезжала! В жизни у меня не было никого прекрасней, никого лучше… Я была уверена, что больше мы не увидимся. Можешь себе представить, я встретила его в Нью-Йорке. Он отказался от очень хорошего контракта, чтобы вернуться на родину. Он был все так же красив».

Много лет спустя, когда Эдит была тяжело больна и газеты сообщили, что у нее совсем не осталось денег, Такие прислал ей золотой медальон, который она ему подарила когда-то на счастье, и написал: «Тебе он сейчас нужнее, чем мне». Это произвело на Эдит большое впечатление. Она мне сказала: «Видишь, в тот раз я, наверное, прошла мимо настоящей, большой любви…»

Вернувшись из Греции, Эдит начала готовиться к поездке в США.

«Ах, Момона! Как я жалела, что тебя не было со мной, ты бы такое увидела! (В этом я могла на нее положиться!) Но знаешь, у меня поджилки тряслись! Америка — это тебе не Франция, другой масштаб!

Лулу заказал нам каюты на пароходе. Я обедала за столом капитана. Нужно было все время следить за собой, есть краешком рта, как будто все блюда тебе противны. Беседовали примерно в том же стиле. Расслабляться не приходилось. Слава богу, я познакомилась с комиссаром — шатенчик, неплохо сложен. Особенно ничего получиться не могло — корабль ведь не резиновый, куда денешься? Кроме того, я стала замечать, что Жан-Луи за мной следит — это было не смешно… Он мне все уши прожужжал о том, что нас ждет в Нью-Йорке! Капал мне на мозги: «Как ты думаешь, у нас получится? Ты думаешь, мы им понравимся?..»

Первая встреча с Америкой меня разочаровала. Я думала, что статуя Свободы потрясает. Ничуть, не больше впечатления, чем та, что стоит у нас в Париже на мосту Мирабо. Все вокруг так огромно, что она кажется совсем маленькой.

Но что действительно подавляет, так это небоскребы. Жан Кокто писал: «Нью-Йорк — это город, вставший на дыбы». Наши дома рядом с этими выглядели бы как халупы. Мы у себя в Париже считаем, что носимся по улицам со всех ног! Ничего подобного; мы прогуливаемся. Вот в Нью-Йорке действительно все мчатся, будто ставят мировой рекорд!

Лулу заказал мне апартаменты из нескольких комнат в отеле «Амбасадор». И когда я там очутилась — подожди, дай-ка вспомнить — да, это было в ноябре сорок седьмого — совсем одна

среди своих чемоданов, я была на грани слез…

Я подумала, что настало время подзубрить английский, и купила книжку «Английский язык без труда». Они думают, что так может быть! Сначала ты имеешь дело с Пае. Выговорить это невозможно. Суешь язык между зубов, а он туда не лезет! Поскольку я начинала заниматься английским еще в Париже, то сумела дойти до фразы: «A woman is waiting for a sailor who promised tu return to her when he became a captain» — «Женщина ждет моряка, который обещал вернуться к ней, когда станет капитаном». Ну сказки, могла мне понадобиться такая фраза?! Я так хохотала, что у меня от смеха ребра болели.

Мой американский агент, Клиффорд Фишер, славный парень, типа Лулу, устроил мне пресс-конференцию: явилась целая орава парней и девиц, и все записывали, что я говорила.

Первый вопрос, который мне задали:

«Мисс Идисс (выговорить «Эдит» было им не по зубам), вы только что прибыли в Соединенные Штаты, с кем бы вы хотели встретиться в первую очередь?»

«С Эйнштейном. И я рассчитываю у вас узнать его номер телефона».

Ты не можешь себе представить, до чего был доволен Клиффорд — как щенок, которому бросили кость! Он чуть свою сигару не съел от радости. Когда они ушли, он сказал: «Этот ваш трюк с Эйнштейном — потрясающая находка!»

Настала моя очередь смеяться. Я ведь действительно хотела увидеть Эйнштейна».

У истоков этой истории стоял Жак Буржа, наш Жако времен Лепле. Мы с ним никогда не расставались. Он то и дело возникал в жизни Эдит. Когда ей нужен был совет, настоящий, серьезный, она его просила у Жана Кокто или Жака Буржа. Теперь это был уже пожилой человек и единственный, кто мог помочь Эдит разобраться в сложных вещах. Именно благодаря ему на ночном столике Эдит рядом с изображением святой Терезы из Лизье лежала Библия, сочинения Платона и книжка о теории относительности.

Вначале все это в ее голове было в тумане, но постепенно обретало очертания. У Эдит был острый ум и большая тяга к знаниям.

«Момона, знаешь, эта штука с относительностью времени очень сложная, но она заставляет мозги работать. Я на седьмом небе от того, что чуть-чуть смыслю в ней. Платон — это просто. На него не нужно набрасываться, как на роман,— маленькими

порциями он заглатывается хорошо. А господин Эйнштейн — это гений. Если буду в Америке, я ему позвоню.

Эта история была хорошим началом, но можешь мне поверить, в вечер первого концерта в «Плейхаузе» на Бродвее мне было не до смеха. Выступают «Компаньоны», они проходят неплохо. Во время исполнения «Трех колоколов» раздается свист. У меня сердце упало. Никому в голову не пришло меня предупредить, что в США свист — лучше аплодисментов!

Я, как всегда, вышла в своем коротком платье — первое разочарование для янки. Они подумали, что я его надела, чтобы выглядеть так же просто, как мои бойскауты, что это — специальный костюм. Для них «звезда», особенно если она из Парижа, где, они знают, «Френч-Канкан», «Табарэн» и «Лидо» — должна выступать в перьях, блестках, мехах. А во мне нет ничего от pin-up.[28] Рядом с Ритой Хэйворт и Марлен[29] я не тяну.

Позднее я поняла, что для них парижанка из Gay Paris[30] должна быть в прическе от Антонио, в макияже от Жана д'Эстре и в платье не дешевле двухсот пятидесяти тысяч! Я тебе все это рассказываю, чтобы ты ощутила обстановку, представила себе картину. «Компаньоны» были голосами, понимали их или нет — не имело значения. Это красивые парни — не зеркальные шкафы, а нормальные, хорошо сложенные ребята, они смотрятся. Публике не нужно напрягаться, она слушает, ей нравится, и этого достаточно.

Потом вылезаю я в коротком черном платьишке: прическа без всякого стиля, волосы самого обычного цвета, в прожекторах не блестят, бледное лицо. Издалека я выглядела как черно-белая фотография. Зал мюзик-холла огромный. Обежать сцену четыре раза — дистанция четыреста метров! Мало сказать, что я на них произвела впечатление: у них был шок. Можно было слышать, как муха пролетит. Мне заранее перевели две песни на английский язык, чтобы они хоть что-нибудь поняли. Знай наших! В тот же вечер один тип мне заявил: «Знаете, мне очень понравились те две песни, что вы спели по-итальянски…»

В довершение всего, пока я пела, ведущий переводил через микрофон. Вот что из этого получалось: «Она несчастна, потому что она его убила, и потому что ее посадили в тюрьму». Провал не провал, но что-то вроде! Все это меня до того оглушило, что я не в состоянии была собраться с мыслями. Я даже не злилась на них. Они были людьми другой породы. Мы не могли понять друг друга.

Когда американец идет куда-нибудь вечером, он хочет развлечься. Весь день он вкалывает, и в мюзик-холл он приходит не затем, чтобы слушать о бедности и о тоске. Свои заботы он

оставляет на вешалке, а тут эта маленькая француженка хочет заставить его вспомнить, что есть люди, которые страдают, у которых есть причины быть несчастными. Такое не пройдет! Я имею в виду тех, кто меня немного понимал. Другие это чувствовали по моему голосу. Кроме того, моя музыка не имела ничего общего с той, к которой они привыкли. Не было сладких мелодий, прилипающих к уху. Джазовой певицей я тоже не была. Что же я тогда такое?

Именно этот вопрос и задавали себе те немногие журналисты, которые снизошли до написания обо мне нескольких строк. Там были, например, такие высказывания: «…у этой маленькой, пухленькой женщины густо накрашены ресницы, а рот так велик, что она в него может влить сразу четверть литра томатного сока…» Какая связь с талантом? Это, что ли, привлечет публику?

Никогда я не была в таком отчаянии. А Жобера распирало от радости. У него прессы было столько, что он без ущерба мог бы со мной поделиться. «French boys»[31] нравились. Вот они — это настоящая здоровая Франция, товарищи G.J.'S[32], которые нас освободили. Одним словом, Момона: «Марсельеза» и звездный флаг!..

На несколько вечеров меня хватило, я держала себя в руках, но потом заявила «Компаньонам»: «Ребята, я выхожу из игры. В нашем деле упрямство к добру не приводит! Я не нравлюсь. Привет, мальчики, кончайте турне без меня! У вас все идет как по маслу. Удачи вам! А я сажусь на пароход».

Ты меня знаешь, Момона. Когда я им это объявила, каюта у меня уже была заказана. Впрочем, они меня особенно не удерживали. Как мне было тяжело! Как у меня болело сердце! Понимаешь, от любви мне тоже бывало плохо, но никогда ни один мужчина не мог заставить меня так страдать!

И вдруг все перевернулось. Мне все-таки в жизни везет. Один театральный критик, Виргилий Томсон, никогда не писавший об актерах мюзик-холла, посвятил мне две колонки на первой странице крупнейшей нью-йоркской газеты. Он «объяснил» меня американцам. Выразил словами все, что нужно, чтобы меня понимать. Для него все во мне было песней: мой голос, мои жесты, моя внешность. И закончил статью словами: «Если ей позволят уехать в момент незаслуженного поражения, американская публика докажет свое полное невежество и некомпетентность». Да, этот тип взял быка за рога!

Мне еще не кончили переводить статью, как в комнату вошел Клиффорд Фишер: под мышкой — газета, на голове — шляпа. Чудный парень! Вот увидишь, когда ты с ним познакомишься, он

тебе сразу понравится. У него достоинства настоящего американца: прямой, честный, быстрый и хороший игрок в покер! Ты сейчас поймешь, почему я так говорю… И заметь, правду я узнала лишь потом.

Он похлопал по газете, в зубах он держал свою вонючую сигару — это натощак!— меня начало мутить — и крикнул: «Идисс, it's good for you».[33] Эта статья стоит тысячи долларов. Не уезжайте. Здесь ценят мужество, оно всегда побеждает. Я сейчас пойду в самое шикарное, самое снобистское кабаре Манхэттена «Версаль», и они подпишут с вами контракт. Закажите два виски, эту статью надо отпраздновать! Сейчас объясню вам, что я предприму, чтобы продать вас как можно дороже».

В два счета Клиффорд и Томсон подняли мое настроение. Я бы выпила не одну, а двенадцать порций виски (хотя не очень-то люблю это питье) и взбежала бы на последний этаж Эмпайр Стейтс Билдинга…

«Значит, так, Идисс, вы должны выступать одна. Журналисты писали, что когда вы выступали с «Компаньонами», вы были как дополнительный голос хора! У нас, когда женщина выходит на сцену с мужчинами, она танцует, поет, она первая среди них. Они только служат ей фоном. А у вас было наоборот. Это неправильно, одна вы выглядите заброшенной. Мы, американцы, очень не любим всего, что выглядит cheap.[34] Пусть «Компаньоны» продолжают турне. А в «Версале» я скажу: «Когда публика привыкнет к ее короткому черному платью, когда она поймет, что парижанка на сцене — это вовсе не обязательно девица с перьями на голове и в платье со шлейфом, люди будут драться, чтобы попасть на ее концерт». Я скажу больше: «Если к концу контракта у вас окажется дефицит, я его покрою!»

Как в покере, он блефовал до конца. Он сделал даже больше, чем сказал,— внес владельцу «Версаля» залог, чтобы тот меня пригласил.

Фишер все сделал, чтобы выиграть. Как только он получил мой контракт, он заставил меня вкалывать каждый день в течение двух недель. Я брала уроки английского языка. Я отрабатывала с учителем две переведенные песни, и, можешь поверить, мне было не до веселья…

Когда я в первый раз пришла репетировать в «Версаль», у меня глаза на лоб полезли, я решила, что Клиффорд спятил. Я — в этой обстановке, это же ни в какие ворота! Представь себе на минутку Версальский дворец, построенный как декорация для цветной голливудской музыкальной комедии! Кругом статуи,

подстриженные деревья, множество окон и дверей! Лепнина, окрашенная в белый и розовый цвета! Я и без того чуть не провалилась на сцене, обтянутой простым полотном, а среди такого нагромождения я и вовсе потерялась!

Фишер мне сказал, что я ничего не смыслю, что это типичная французская декорация (единственная, которая известна американцам кроме «Мулен-Ружа» и, конечно, Эйфелевой башни) и что она мне подходит в самый раз!

Да по мне как хотите! Я заткнулась. Не перечить же единственному человеку, который хотел мне помочь. И вообще, провалом больше, провалом меньше. С согласия Фишера мы убрали ведущего. Хоть это! Но душа у меня уходила в пятки.

Напрасно Фишер меня успокаивал с той чисто американской сердечностью, с которой, хлопая по спине, валят с ног: «Не волнуйтесь, все будет в порядке. Считайте, дело в шляпе. Теперь публика знает, кто вы. Американцев нельзя удивлять, не предупредив. Они должны знать, что им думать, и тогда ведут себя как надо. Их нужно правильно нацелить, и они заглотнут любую наживку». Меня прошибал холодный пот. Я испытывала страх в таких же масштабах, в каких они нагородили свой версальский базар.

Должна сказать, что Фишер и ребята из «Версаля» хорошо обрабатывали публику. Газеты анонсировали меня как певицу, которую открыли в Париже американские солдаты — я думаю, очень немногие из них слышали меня,— и (только не смейся) как «Сару Вернар Песни»… Да, ребята за ценой не постояли. Среди приглашенных были Марлен Дитрих, Шарль Буайе и все сливки общества… Французы, находившиеся тогда в Нью-Йорке,— Траддоки и Жан Саблон, пришли меня поддержать. Я в этом нуждалась.

Успех был бешеный! Люди кричали: «Браво!», «Да здравствует Франция!», «Париж»… не знаю что! Добрая половина меня почти не разглядела в этом огромном зале, я была такой маленькой, что видны были только волосы на макушке. А это не самое лучшее, что у меня есть, а, Момона? Назавтра для меня построили подиум.

Марлен пришла в гримерную поцеловать меня. Так мы и подружились. Какую она мне устроила рекламу! Она потрясающе ко мне относилась.

После провала в «Плейхаузе» мне был необходим успех в «Версале». Я была ангажирована там на одну неделю, а осталась двадцать одну. Представляешь?

Четыре месяца в Нью-Йорке — это срок! В отеле жить невозможно. За тобой такая слежка, будто ты монахиня и дала

обет девственности.

У одной моей приятельницы по Парижу, Ирэн де Требер, была двухкомнатная квартирка на Парк-авеню. Она мне ее уступила. Многие приходили ко мне провести вечерок, посмеяться. И все-таки я чувствовала себя одиноко. Ночи тянулись бесконечно…

Жан-Луи закончил турне, которое мы должны были совершить вместе, и вернулся в Париж с бойскаутами. Вот так совсем просто, без всяких историй, я развелась с «Компаньонами».

К счастью, все друзья, которые оказывались проездом в Нью-Йорке, навещали меня. Больше всего я обрадовалась Мишелю Эмеру.

Когда я увидела в «Версале» его голову испуганной совы, я так и подскочила. И тут же решила его разыграть. Он бросается обнять меня, я его отстраняю и говорю сурово: «Лейтенантик, песню принес?» — «Нет»,— отвечает он, как провинившийся мальчишка. «Ну, так я поздороваюсь с тобой, когда ты ее напишешь». Оставляю его и иду петь. Ты себе представить не можешь, до чего мне было смешно!

В первый момент он как будто рассердился. В гримерную, где он меня ждал, со сцены доносился мой голос. Машина заработала, и он начал писать на краешке гримировального столика «Бал на моей улице». Когда я вернулась, он протянул мне ее: «Поцелуй меня, я написал для тебя песню».

Сегодня вечером на моей улице танцы.
И в маленьком бистро
Радость бьет через край.
Музыканты на подмостках
Играют для влюбленных,
Которые кружатся парами,
Не сводя глаз друг с друга.
Смех на их устах…

Это правда. Мишель ей говорил: «Если я тебя долго не вижу, если ты далеко, я не могу для тебя писать». И он приходил тогда к нам домой: «Эдит, поговори со мной. Спой мне что-нибудь». И назавтра приносил ей новую песню. Он написал более тридцати песен, которые она пела долгие годы.

«На следующий день мы пообедали вместе у меня и взялись за работу. «Бал на моей улице» — это хорошо, но мне хотелось другого. Я хотела грустную песню, где бы рассказывалось про человека, который в конце умирает. Я объяснила мой замысел

Мишелю, и он сразу же сочинил мне «Господина Ленобля»:

Мсье Ленобль вытер нос платком,
Одел ночную рубашку.
Открыл газ и лег.
Назавтра все было кончено.

Он не пробыл в Нью-Йорке и полдня, а уже испек две песни».

Это меня не удивляло. У Эдит была исключительная власть над людьми. Она заставляла их выкладываться полностью. Они сами потом не верили своим глазам! Она всегда требовала большего… и получала!

И я прошла через это, как другие. Вам хотелось ей нравиться, хотелось, чтобы она вас любила. Для этого было одно средство — давать ей что-то. Не деньги, ей на них было наплевать (она сама их давала другим). Ей было важно, просто необходимо кем-то восхищаться. Я любила поражать Эдит в большом и малом.

В 1950 году я перенесла очень серьезную операцию. Врач сказал Эдит: «Ей нужен месяц на поправку». На тринадцатый день я встала. Эдит была рада меня видеть, но гораздо важнее для нее было то, что я была не похожа на других.

Она мне говорила: «Ты — солдатик, Мамона!» Это была очень большая похвала. Она гордилась мной. Я всегда делала все, что делала она. Тридцать лет я пила кофе без сахара. Я этого терпеть не могу, но Эдит пила кофе без сахара, значит, и я тоже!

Наша дружба проявлялась в большом и малом. Невозможно объяснить словами такую долгую, такую безупречную привязанность. Это даже не дружба, это какое-то очень редкое чувство. Если вы его познали, все остальное по сравнению с ним кажется тусклым, бесцветным. От Эдит я могла все принять, и у меня еще оставалось ощущение, что я перед ней в долгу.

Американцы не могли понять Эдит. Она была для них слишком необычна. Они не представляли себе, что такое существует. Ее талант они сумели оценить только после циркового блефа Фишера, который объявил: «Увидите, что вам покажут!»

Но она возвращалась после концерта, и дома ее никто не ждал. Женщина была одна. Когда она устраивала приемы, к ней приходили, чтобы увидеть «звезду». Тогда ее двухкомнатная квартирка была набита битком. Но уходил последний гость, выделывая ногами зигзаги, и все кончалось. Ей оставалось валиться в постель и спать.

Они подружились с Марлен.

«Я никогда не встречала женщин умнее Марлен. Умных встречала, но умнее — нет! А красива! Как в кино! Каждый раз, когда я смотрела на нее, я вспоминала фильм «Голубой ангел», знаешь, то место, где она поет в черных чулках и цилиндре. Американки — те настоящие «звезды», они так совершенны, что невозможно себе представить, что они едят, как все прочие смертные. Когда Марлен мне сказала, что любит готовить и ее любимое блюдо — мясо с овощами. я подумала, что она надо мной смеется!

Мы часто ужинали вдвоем. Вначале я следила за собой, боялась опозориться, но она мне сказала: «Будьте сами собой, Эдит. Для меня вы — Париж, более того, вы — Панам. Должна вам сказать, что вы мне напоминаете Жана Габена. За столом вы держитесь, как он, говорите, как он. От вас, такой хрупкой внешне, исходит такая же сила, как от него».

То, что она сказала о Габене, произвело на меня впечатление — нелегко найти актера и мужчину лучше него.

Однажды вечером, когда я, вероятно, напомнила ей ее Габена особенно сильно, она сняла золотой с изумрудами крестик, который носила на цепочке, и надела мне на шею.

«Возьмите его, Эдит, я хочу, чтобы он принес вам счастье, как принес его мне. И потом, с вами он снова увидит Париж».

У меня слезы навернулись на глаза».

Эдит долго носила этот крестик, но после гибели Марселя Сердана сняла, решила, что зеленые камни приносят ей несчастье.

Дружба с Марлен наполняла жизнь Эдит, но ее сердце было пусто. Случайные встречи не оставляли следа…

«Ты не можешь себе представить, насколько для них любовь превратилась в гигиену здоровья. Они берутся за дело, «раз-два, раз-два», быстро, плохо — и на боковую. Встречаются извращенцы, для которых, раз ты француженка и парижанка, то должна выполнять любые прихоти, которые тебе неприятны; у них глаза на лоб лезут, когда ты отказываешь. Или еще — они сентиментальны. Ведут себя как будто ты их мать, а они твои дети, прибежавшие к тебе за защитой! Но в постели это к чему?

Самое смешное у меня произошло с киноактером Джоном Глендайлом, красивым, как бывают только американцы. Высокий, спортивный, элегантный, хорошо одетый, немного самовлюбленный, хотя держится свободно и просто. Но я решила: «Ничего, в постели лоск с него слетит, мысли будут заняты

другим!»

Приглашаю к себе несколько человек и его. Смеемся, выпиваем, не больше. У меня ни в одном глазу. Я хотела, чтобы у меня была светлая голова. Он мне слишком нравился, чтобы рисковать все испортить.

Гости расходятся. У двери прощаемся. Джона нет. Я думаю: «У парня есть такт. Не хочет засвечиваться».

Возвращаюсь в уверенности, что он меня ждет. Заранее представляю себе его улыбку, чувствую, как его руки меня обнимают. Я была очень возбуждена — да и как иначе, такой мужик!

В гостиной никого. Иду в спальню. И что вижу? Джон Глендайл в чем мать родила курит сигарету на моей постели…

Не могу выразить, что я почувствовала. А он говорит мне: «Иди ко мне, я жду!» Я схватила всю его одежду в кучу и запустила ему в морду.

Он стал лепетать: «Но… разве вы не этого хотели?» А я орала: «Убирайся к чертовой матери! Скорее. Я тебе не проститутка… Я не проститутка!..»

Он был таков. А я, Момона, всю ночь лила слезы, одна в постели…».

От подобных оскорблений Эдит в дальнейшем была застрахована. В Нью-Йорк прибыл молодой боксер Марсель Сердан.

Глава одиннадцатая. С Марселем Серданом «Жизнь в розовом свете»

Я была в Касабланке по приглашению будущего мужа. Помолвка — это прекрасно, а будущий муж всегда очень мил! Несмотря на это, мне было одиноко, так как ни нареченный, ни его семья, ни все остальное не имело для меня никакого значения. Мне все было безразлично: в жизни любишь только раз, и у меня это уже состоялось! Человек, которого я любила, погиб на войне, когда мне было двадцать лет. Такие вещи не забываются.

Я здесь жила уже около полугода и вся пропиталась солнцем. Никогда я его не видела так близко. В Париже я едва могла поверить в рассказы легионеров, но здесь я могла понять, почему на человека нападает тоска, почему и как сходят с ума, почему начинают пить.

Не так-то легко забыть Париж, когда с ним сросся. Чтобы не сойти с катушек, я должна была забыть Эдит, ее смех, ее песни. Мне не за что было уцепиться. Я рассталась со своим будущим мужем; я уже отправила его в прошлое!

Если бы можно было забыть, что я так далеко от Эдит! Но я уехала по доброй воле. Я могла бы уехать в Фонтенэ-о-Роз или в Бобиньи, оттуда я бы ей звонила, и мы бы потихоньку встречались, как тайные любовники. Мы это делали во времена Ассо. Но больше я так не могла. Возле нее открыто — или ничего. Значит, ничего.

Из газет я в основном знала, что она делает. Подробности я домысливала. Мне осточертело думать обо всем этом.

В приморском городе нельзя прогуливаться только по улицам, неизбежно оказываешься на берегу моря; вода притягивает. На меня нападало желание броситься в эту воду, которая пела слишком громко, билась о скалы. Для меня в этой патетической музыке была Эдит: на сцене «ABC» или на другой сцене, в сопровождении большого оркестра. Я слышала ее голос:

Солнце дырявит кожу…
Солнце… Солнце…

Кровь стучала в висках, лихорадочно билось сердце… Я плыла по воле волн…

Как-то ночью я легла на песок и стала смотреть в небо:

искала Большую Медведицу. Легионеры мне говорили, что в этой стране ее нет, что здесь ее заменяет Южный Крест; но в небе надо мной было слишком много звезд, они светили слишком ярко, я ничего не могла найти, я заблудилась. Мой ум тоже где-то блуждал. Подул ветерок, он освежил мне лоб и сердце, я почувствовала себя лучше. Тягостные мысли улетели к звездам… Я была одна…

Послышался хруст песка. Кто-то шел мимо. Нет, кто-то приближался ко мне… может быть, хотели спросить, который час.

И я увидела его. Он не был Аполлоном. Он был гораздо лучше.

Возле меня стоял человек. Луч луны, как луч прожектора, освещал его бледное лицо, глаза сияли. Южный Крест, который я искала, сверкал в его взгляде. У меня было богатое воображение и обостренная чувствительность.

Не говоря ни слова, он растянулся рядом со мной на, песке. Забавно, но ему захотелось рассказать мне свою жизнь, а мне — свою. Все началось очень просто. Он меня спросил:

— Что ты здесь делаешь?

— Отдыхаю. Я в отпуске.

Почему он заговорил со мной на «ты»? Я не стала строить из себя маркизу. Заговорил на «ты», ну и что? Это было даже приятно. Как будто мы давно знакомы. Я спросила у него:

— А ты живешь здесь?

— Да.

— Что ты делаешь?

— Я боксер.

У него был акцент, он действительно был здешним. Он приподнялся на локте, положил голову на свою руку, такую белую, что трудно было представить, что она наносит удары. Потом сообщил: «Меня зовут Марсель Сердан».

В голосе звучало торжество, он был похож на мальчишку. Он так гордился своим именем, своим занятием, своими надеждами, что, честное слово, это была Эдит в образе мужчины! Бокс был его жизнью, пусть даже пока о нем писали всего в нескольких строчках.

Бокс меня не интересовал, он был мне чужд. Мюзик-холл, песня — это моя стихия. Но спорт!— на худой конец велосипедный кросс по Франции… Кроме него, я ничего, ну абсолютно ничего не знала о спорте.

Я молчала. Он решил, что поразил меня. Вовсе нет! Я только подумала: «Занятно, если бы он пел, его имя хорошо бы выглядело на афише. Даже по алфавиту оно стояло бы в числе первых».

Вот так, совсем просто, потому что мы провели ночь на песке у моря, мы стали друзьями. Мы никому об этом не сказали, и никто об этом никогда ничего не узнал.

Мы часто встречались в маленьких барах за чашечкой кофе или мятного чая. В первый раз я выпила чинзано, потом, как и он, заказывала напитки без алкоголя. Марсель не пил.

До чего он серьезно ко всему относился! Тренировался, ничем не отвлекаясь. Был домосед, у него была жена Маринетта и мальчики — Марсель и Рене. Думаю, я была его единственным грехом. Со мной он вдыхал воздух Парижа. Когда-то он им дышал. И теперь хотел еще.

Я ему рассказывала все. Он слушал меня часами. Никогда мне не встречался мужчина, обладавший такой мягкостью, таким терпением. Он сидел передо мной, спокойный, слишком большой для обычного стула. Он старался сделаться меньше. Вне бокса собственная сила, казалось, всегда удивляла его. Никогда он не проявлял раздражительности, нетерпения, злости. Если бы вы наступили ему на ногу, он бы извинился.

«Посмотришь на тебя и не скажешь, что ты зарабатываешь на жизнь тем, что дерешься». Он рассмеялся: «Но я дерусь не за тем, чтобы сделать больно, я честно наношу удары».

Мне захотелось попросить у него прощения.

Марсель вкалывал в поте лица. Когда я увидела его на тренировке, он был похож на большое животное, он весь состоял из мышц, таких твердых, что если бы в них вонзить иголку, она бы сломалась. На голове у него была каска, а прокладка в зубах делала его похожим на бульдога. Он подпрыгивал на быстрых ногах, как танцовщица. Боксерские перчатки превращали его руки в огромные, круглые лапы, и он так загонял своего партнера-тренера, что мне его стало жаль. В конце концов Марсель, как и я, забеспокоился. Задача его заключалась в том, чтобы бить сильнее, но он всегда боялся, как бы не ударить слишком сильно.

«Как дела, старина?» — спрашивал он своего «противника», который начинал задыхаться.— «Ничего, Марсель, давай. Нападай».

Сам Марсель совершенно не переносил, когда ему причиняли боль. Он, такой добрый, считал, что это делают нарочно, и приходил в ярость.

Того, что было у меня с Марселем, никогда не было с другими — удивительное согласие. Не нужно было ничего говорить. Он знал обо мне все, кроме одного: Эдит, Могла ли я подумать, что благодаря боксеру из Касабланки я к ней вернусь?

Шло время. Я продолжала изнывать от тоски в этой чертовой дыре, а Эдит тем временем встретила Марселя. Мне это не было

известно, я застряла на Жобере. Мне казалось, что я брошена ею, забыта, а она все уши прожужжала Марселю о своей сестренке:

«Знаешь, у меня есть сестра, она тебе понравится».

«Конечно, понравится!» — ласково отвечал Марсель, он всегда разделял мнение Эдит. Она стала его божеством. Все, что она ни говорила, что ни делала, было прекрасно.

Позднее они рассказывали, каждый в отдельности, про это, и я могла представить себе, как все произошло.

Эдит очень гордилась своим возлюбленным, своим Марселем, и сгорала от желания показать мне его. Уж о нем-то я бы не сказала ничего плохого при всем том, что характер у меня паршивый и, когда мне не нравились ее возлюбленные, я им устраивала веселую жизнь. Я их раскусывала с первого взгляда. Опыт у меня был, а сердце мое в оценке не участвовало. Мужчин, особенно мужчин Эдит, я судила холодно и беспристрастно.

Но он, ее Марсель, не был похож на других. Он должен был меня поразить. Ей хотелось скорей мне его представить. Рассказывая ему обо всем, она говорила и о своем одиночестве:

«Знаешь, ведь у меня нет семьи. Матери нужны только мои деньги». Тебе этого не понять. Вот, например, однажды, мы уже были тогда с Момоной, я сказала: «Все-таки у меня есть мать!» Чтобы разыскать ее, мы пошли к отцу. Узнали ее адрес. Мне было пятнадцать лет, ребенок, я пела на улице с Момоной.

Приходим. Мать на нас смотрит. Ни поцелуя, ничего.

— Так, это ты. А другая кто?

— Момона.

— Ладно. Идите сюда! Какие вы грязные!

Она коснулась наших волос кончиками пальцев:

— У вас вши!

Они нам не мешали, мы привыкли. Она послала нас в аптеку за жидкостью от насекомых, намазала нам головы и продержала дома два дня. Потом велела вымыться.

«Можете уходить,— сказала она,— вот вам на еду»,— и дала несколько су.

Ни одного ласкового слова! И не думай, Марсель, что у нас с ней наладилось потом. Нет.

В 1932-1933 годах мать пела в «Черном шаре». Мне захотелось ее повидать. Мы пошли к ней, она не изменилась.

«Опять ты? А другая — кто?»

На этот раз она жила не одна, а с молоденькой девушкой, ее звали Жанеттой. Совсем девочка, очень милая, она пыталась что-то сделать для нас, чем-то помочь, вымыть хотя бы. Она была очень предана матери. Она немножко подрабатывала на панели, когда мать сидела без работы, а это было часто. Бедная девочка

умерла от туберкулеза.

Видишь, у меня по-настоящему не было матери. Моя единственная семья — это Момона».

Что после этого оставалось Марселю? Он сказал Эдит: «Надо позвать сестренку обратно».

Эдит хотеть-то хотела меня позвать, да не знала, где я. А я тем временем возвратилась в Париж и работала в пригороде на бензоколонке. Как-то вечером хозяин послал меня за газетой «Франс-суар». На первой странице я увидела Сердана, Эдит Пиаф и мисс Коттон. Это одна американка. Они спускались по трапу самолета.

В тот момент я их никак не связала. Я вообще ни о чем не подумала, я видела только одно: Эдит вернулась. И на фотографии никаких следов Жобера.

Я бросилась звонить повсюду и узнала, что она остановилась в том самом «Кларид-же», куда я забрела однажды девчонкой.

Я позвонила ей. Меня спросили: «Кто говорит?» Я ответила: «Симона». Мне не пришлось ждать ни секунды. Вероятно, она предупредила, она ждала моего звонка. «Приезжай!» — услышала я.

Я заплакала от радости. Ведь без Эдит я не жила.

Швейцар снизу сообщил ей по телефону: «Сестра мадам». Это было похоже на водевиль, но у меня стоял ком в горле.

Перед дверью в коридоре отеля я приложила руку к сердцу, чтобы оно не выскочило. Я боялась: наши встречи не всегда проходили гладко. Я так давно не видела Эдит. Я постучала и услышала ее голос: «Входи».

Она стояла спиной ко мне, лицом к окну. Она смотрела на улицу, сжимая рукой занавеску. Как кадр из фильма. Она обернулась ко мне и сказала: «Видишь, Момона, я всегда жду…» И правда, вся жизнь ее прошла в ожидании.

Ноги у меня были как ватные. Я смотрела на нее, мне стало чуть не дурно, все произошло слишком быстро. Еще час назад я была на бензоколонке с руками, вымазанными машинным маслом, а сейчас — стояла перед ней. Эдит смотрела на меня… Я изменилась, стала печальней, у меня для этого было достаточно причин. Но она, как она была хороша, как она светилась от нового счастья!

Она стояла у окна (между нами было несколько метров ковра), я — у двери, а мне казалось, нас разделяют тысячи километров. Но через несколько секунд я очутилась в ее объятиях. Она плакала от радости, целовала меня, говорила: «Момона, как я счастлива, ты не можешь себе представить. Я люблю и любима самым замечательным человеком на земле, и ты

со мной… Момона, мне страшно, я, кажется, умру от счастья…»

Счастье — не горе, от него не умирают.

Эдит осмотрела меня с ног до головы. Ну, какой у меня мог быть вид! Она открыла шкаф: полно платьев… И это показалось мне странным. Значит, возле нее не было никого, кто бы выманивал у нее деньги. «Возьми, что тебе нравится».

Затем она заказала чай в номер. Платья, чай… Ничего нельзя было понять! Я ее не узнавала. Ее серый костюм восхитительно сидел на мне.

Она подстраховалась: «Предупреждаю, Момона, этого человека я люблю». Я поняла, что это означало: не смей на него поднимать глаз, не смей критиковать. Все серьезно. Мне хотелось поскорей его увидеть. Через два бесконечных часа мы услышали стук в дверь. Он! «Входи!» — крикнула Эдит.

Земля разверзлась у меня под ногами. Я услышала: «Марсель Сердан, а это Момона…» Он подошел ко мне со своей ангельской улыбкой и протянул мне руку. Эдит смотрела на нас с беспокойством: понравимся ли мы друг другу?

Какое мужество мне понадобилось, чтобы, глядя ей в глаза, сказать: «Ты права. Он в самом деле замечательный».

Ни он, ни я не сказали ни слова о прошлом. Это было невозможно. Она смотрела на нас как доверчивый ребенок. Сказать ей правду? Сказать, что Деда Мороза не существует?

Мы застыли, как восковые фигуры в музее Гревэн. Нужно было что-то делать. Эдит не терпелось рассказать мне о своей любви. Это блюдо нужно было подавать горячим. К счастью, Марсель догадался уйти. Мы остались одни.

Она меня коротко спросила:

— Что ты делала все это время?

— Расскажу позднее.

Ей только этого и надо было. Она начала свой рассказ.

«Сначала я должна тебе рассказать о своем разрыве с Жобером. Лопнешь от смеха.

Марсель жил у меня в моей квартире в Нью-Йорке. Жобер часто звонил, он находил, что я медлю с возвращением. Однажды вечером меня не было дома. Жобер позвонил и, услышав мужской голос в трубке, сухо спросил:

— Кто это?

— Марсель Сердан.

— Что вы там делаете?

— Я не могу вам этого сказать, но вам лучше не возвращаться.

Повесил трубку и лег спать. Когда я вернулась, на своей

подушке я нашла клочок бумаги:

«Звонил Жобер и… долго объяснять. Разбуди меня».

— Потрясающий парень, да?»

Я разделяла мнение Эдит. Сам того не зная, Марсель отомстил за меня Жоберу. И моему злорадству суждено было длиться довольно долго. В течение нескольких месяцев двери дома оставались для него закрыты, несмотря на то, что совместные контракты Жобера и Эдит еще продолжались. Она пела с «Компаньонами» в одном кабаре, а следовательно, встречалась там с Жобером. Я, как могла, издевалась над ним. Вечером перед уходом я каждый раз ему говорила: «До свиданья, Жан-Луи, мы идем прямо домой, потому что завтра с утра мне нужно заняться делами Марселя!» Жобер бесился.

На этот раз мы были не в ванной. Эдит сидела в гостиной на диване, уютно устроившись, подложив под себя ноги.

В джемпере и юбке она была похожа на Эдит начала своей карьеры. Только эти юбка и джемпер стоили дорого. И волосы стали короче. Она сама их подстригла однажды вечером в Нью-Йорке. Ей было жарко, парикмахера под рукой не оказалось, а она никогда не любила ждать. Схватила ножницы — и раз, раз — прошлась вокруг головы. Это ей открыло шею, которая у нее была довольно короткой, сверху она волос не трогала, и они падали ей на лоб. Прическу эту, родившуюся по воле случая и из-за ее нетерпения, она сохранила навсегда.

Я всматривалась в ее лицо, пытаясь понять, что в ней изменилось. Она стала спокойной. Это женщина, довольная жизнью. Как это важно! В уголке дивана она почти не занимает места. Ее руки неподвижны, а глаза сияют… Они освещают все вокруг, они горят, они прекрасны.

«Как я познакомилась с Марселем?»

Вот оно, начало истории.

«Представь себе, однажды в «Клубе пятерых», в конце сорок шестого года, ко мне подвели «марокканского бомбардира». Это была судьба! Мы при всех пожали друг другу руки!»

Их первая встреча была трогательной. Марсель был очень робок. Ему представили «Великую Эдит Пиаф», для него она была тогда и навсегда осталась такой. Он не отдавал себе отчета, что сам тоже был «Великим Марселем Серданом». В другой сфере, но таким же, как она.

«И тут я подумала: «У него глаза не такие, как у других». А потом, знаешь,— что мне тебе врать — больше о нем не

вспоминала. Поводов для встреч у нас не было. Во всем виновата Америка! Я пела в «Версале». Менеджер Марселя Люсьен Рупп устроил для него матчи в «Мэдисон Скуэр Гардене».

В своей квартире в Нью-Йорке я чувствовала себя никому не нужной, особенно после истории с Джоном Глендайлом.

Вдруг зазвонил телефон. Это был Марсель. Я переспросила:

— Марсель? Простите, а как ваша фамилия?

— Сердан. Боксер. Вы не помните? Мы познакомились в «Клубе пятерых». Я в Нью-Йорке.

Мне было ужасно смешно. От смущения он делал большие паузы. С него, наверное, пот градом катился.

— Как же, как же,— говорю,— я вас не забыла.

— Знаете, я тоже. (Он облегченно рассмеялся.) А не поужинать ли нам вместе? Я за вами заеду.

Разумеется, я согласилась.

«Делаю» себе лицо, надеваю лучшее платье. Знаешь, такое, на вид простое, но стоит на вес золота. Не успела одеться, как он явился. Одна нога здесь, другая там!

— Скорей,— говорит,— умираю с голоду.

Выходим на улицу: ни машины, ни такси.

— Это тут совсем близко!

Пошли пешком. Еле поспеваю. Он делает шаг, я — три. Такой темп невозможно выдержать. Почему он выбрал бокс? Надо было спортивную ходьбу. Летит вперед и ничего не видит вокруг. Непробиваем как стена.

Входим в какую-то забегаловку. Влезаю на табурет — после марафона — альпинизм! Под нос мне суют тарелку «пастрами». Вываренное сухое мясо — клошар есть не будет! Горчица — вырви глаз! Потом дают мятное мороженое. Все запивается стаканом пива. Каторжника с Гвианы и то стошнит. За все про все — сорок центов.

Невоспитан да к тому же скуп! Стоило разряжаться и мазаться! Удачный вечер!

Марсель смотрит на меня и улыбается своей доброй улыбкой. Он ничего не понял.

— Пошли?

— Ах так, значит, это была закуска? Нельзя сказать, чтобы она вас разорила. И это называется «пригласить даму в ресторан»?

Марсель покраснел до ушей. Он взял меня за руку, не сжимал, но держал крепко. Испариться я не могла.

— Простите, я не сообразил. Я так обычно ужинаю. Но вы, конечно, правы, с вами все должно быть по-другому.

Такси. По дороге ни слова. Старался даже не смотреть в мою

сторону. Приехали в «Павильон», самый шикарный ресторан в Нью-Йорке. Вот так в наш первый с Марселем вечер я съела два ужина.

С тех пор мы больше не расставались.

Первый шаг пришлось сделать мне, потому что он не представлял себе, что это возможно. Он робел передо мной, хотя он настоящий мужчина».

Эдит не верила своему счастью: ее обожает мужчина, который делает все, что она хочет, не потому, что нуждается в ней или боится криков и сцен, а потому, что очень любит.

Он так же знаменит, как она. У него своя публика, у нее своя. Когда они вместе и их встречают аплодисментами, это относится в равной степени к обоим. Счастье, что у них разные профессии. Никогда их имена не будут вместе на одной афише.

«Когда он полюбил меня, все остальное перестало иметь для него значение. Марсель верный и преданный человек. Маринетта, его жена, дала ему сыновей, это свято. Но любит он меня…

Она должна меня ненавидеть; я на ее месте уже давно бы устроила скандал, но она знает, что тогда его потеряет. Он об этом никогда не говорит, но думает, понимаешь?»

Эдит не знала, до какой степени я ее понимала. Я знала, что Марсель человек удивительно чистый, прямой, что он не создан для лжи и по-своему страдает, без комплексов, но страдает.

К тому же я знала свою Эдит, и мне нетрудно было многое домыслить. Свою любовь она не прятала за семью замками. Когда она любила мужчину, она показывала его всем.

«Ты меня знаешь, Момона. Я не могу скрывать свои чувства. Однажды мы пережили чудесные мгновения.

Как-то поздно вечером Марселю пришла удивительная мысль:

— Пойдем на гулянье.

Было уже за полночь.

— Ты с ума сошел. У них тут не бывает гуляний.

— Бывает, на Конни Айленде.

Никогда никто мне об этом не говорил. И надо же было, чтобы сказал Марсель.

Конни Айленд — это целые гектары гулянья. Аттракционы у американцев не какая-нибудь там карусель времен моего дедушки. Когда выходишь оттуда, ноги дрожат, голова кружится, сердце готово выпрыгнуть! Пока соберешь себя по частям!

Мы наелись сосисок, вафель и мороженого. Мне хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась, чтобы все продолжало петь,

кружиться, смеяться…

Марсель посадил меня в вагончик… Американские горы у них высокие, как небоскребы. Марсель выл от восторга, а я делала вид, что мне страшно, и прижималась к нему. Что со мной могло случиться в его объятиях! Мне ничто не грозило. А визжать доставляло удовольствие! Это входило в программу веселья.

Когда мы спустились на землю, сотни американцев принялись вопить: «It's Cerdan![35] Гип, тип, гип ура!» И так без конца. Потом они узнали меня и стали орать на наш мотив: «Жизнь в ро-зо-вом! Жизнь в ро-зо-вом!»

И я запела, Момона, как пела на улице. В воздухе стоял праздничный аромат: пахло жареной картошкой, сахаром, потом. Со всех сторон неслась музыка. Не можешь себе представить, что это было!

В другой раз я пошла на матч смотреть Марселя. Он так захотел.

— Я не хочу, Марсель, мне страшно.

— Мне тоже страшно, когда ты выступаешь, но я прихожу тебя слушать. Ты всего прекрасней, когда поешь. Бокс — моя работа. Нужно видеть, как мужчина делает свое дело, чтобы узнать его по-настоящему.

Его доводы всегда так просты, что возражать невозможно.

Вначале я зажмурилась, Я слышала звуки ударов по голому телу, и мне было больно. Я боялась, что все они сыплются на него. А публика кричала, свистела, в воздухе висел табачный дым. Вокруг все хрустели кукурузой, щелкали орешками. Это было ужасно. Я открыла глаза.

Кончилось тем, что, скрючившись в своем кресле (мы бы могли поместиться там с тобой вдвоем), я орала: «Давай, Марсель, давай!»

Это был он и не он! Он не спускал глаз с противника, таких глаз я у него никогда не видела, жесткие, быстрые, прищуренные. Он победил. Но у него была рассечена скула, подбит глаз. Чуть не плача, я бросилась к нему, как мать, которая хочет утешить своего ребенка, когда тот возвращается в крови.

Очень мягко он оттолкнул меня: «Не нужно, Эдит. Это пустяки. Это входит в мою работу».

Ну, разве не прекрасный ответ! Он такой милый. Если бы ты знала, до чего он милый!»

Я знала.

«Журналисты так старались, так бегали за нами, что Марсель согласился на пресс-конференцию. «Идиллия двух французских

«звезд» в Нью-Йорке» — лакомый кусок для всех газет! Пришли все до одного. Кто курил, кто жевал резинку, кто вытащил ручку, кто еще нет.

Марсель пошел напролом. Он всегда идет прямым путем. Если бы ты слышала, как он им выдал! Мне он сказал: «Ты ничего не должна говорить; я бы вообще хотел, чтобы тебя здесь не было». Но я не уходила, я хотела все слышать.

Там был запасной выход, я спряталась за дверью. Марсель стоял так, что никто не мог к ней пройти.

«Ну так вот. Вас интересует только одно. Значит, не будем зря терять времени. Вы хотите знать, люблю ли я Эдит? Да. Любовница ли она мне? Она мне любовница только потому, что я женат. Если бы я не был женат и у меня не было детей, то она стала бы моей женой. А теперь пусть тот, кто никогда не изменял своей жене, поднимет руку».

Все остолбенели.

«Вы можете задавать мне любые вопросы, но на эту тему я все сказал. Завтра я увижу, джентльмены вы или нет».

Назавтра в газетах о нас не было ни слова, а я получила огромную, как небоскреб, корзину цветов с запиской: «От джентльменов женщине, которую любят больше всего на свете!»

Во Франции такого не дождешься!

Момона, ты меня не узнаешь. Марсель меня изменил. У него такое чистое сердце, что, когда он на меня смотрит, я чувствую себя отмытой, как будто в моей жизни ничего не было.

С другими мне всегда хотелось начинать все с нуля. С ним я это сделала».

В жизни Эдит произошла еще одна значительная перемена. С Марселем она ни за что не платила. Бумажник вынимал он.

«Знаешь, не так-то легко заставить его принять подарок. Но я нашла выход: как только он мне что-нибудь дарит, я тотчас делаю ему подарок в ответ.

Вот смотри, Момона. Он купил мне мое первое норковое манто. Какая красота!»

Это было трогательно. Нет, гораздо сильнее. У вас сердце переворачивалось, когда вы видели, как ее маленькая рука гладила мех, погружалась в него, брала его полными пригоршнями. И дело было не в качестве и не в цене подарка, ей на это было наплевать. Эдит сама могла заплатить за него. Лаская мех, она ласкала Марселя, наслаждалась любовью, в которую погружалась…

«Норковое манто… Мне бы в жизни в голову не пришло, а ему пришло! Ты бы видела, как он доставал чековую книжку,— лорд!

Я со всех ног бросилась к Картье и купила ему пару запонок — самых лучших, с бриллиантами, и еще часы и цепочку, все, что попалось на глаза! Он достоин всего самого лучшего. Когда я ему все принесла, он радовался как ребенок. Он схватил меня на руки, поднял в воздух и стал кружить по комнате.

Он сводит меня с ума, Момона. Я теряю разум. Единственно, мне больно, что мы не все время вместе. У нас разные профессии… И потом Маринетта. Я внушаю себе: он прав, что не оставляет ее, но все равно страдаю.

Завтра встаем пораньше и едем к портному. Марсель в этом ничего не понимает. У него нет вкуса, в Африке родился. Ничего, научу его уму-разуму. Итак, нужно его одеть…».

Для меня все повторялось заново… «Для начала нужно его одеть…». Сколько раз я слышала эту фразу!

Эдит обожала одевать своих мужчин. Все через это прошли. Бедняга Марсель, он однажды пришел во Дворец спорта в сером костюме в полоску шириной с мизинец. Эдит и мне заказала такой. Он у меня еще сохранился, я его никогда не носила, настолько он был некрасив. А на Марселе, в довершение, была фиолетовая рубашка и жуткий галстук с оранжевыми разводами…

Марсель был самый лучший человек на свете, воплощенная доброта. Он спросил: «Дорогая, ты думаешь, я могу все это надеть?»

Она отвечала: «У тебя нет вкуса, Марсель, ты ничего не понимаешь!— И обернулась ко мне.— Момона, как он тебе?»

Я не знала куда глаза девать. Как я могла признаться, что это чудовищно? Эдит решила бы, что я ее нарочно расстраиваю, хочу поссориться. И я отвечала без зазрения совести: «Великолепно! Какой красавец!»

«Да?..— тянул Марсель в недоумении, не веря своим глазам.— Ну, раз ты говоришь, что это хорошо, так и быть, надену…»

Но он очень огорчался. Он просто страдал. Другие тоже страдали, но он — как никто. Он испытывал глубокое убеждение, что Эдит в интеллектуальном плане стоит намного выше него. Он рассчитывал, что она воспитает его, даст ему образование, научит держаться. Он полагался на нее во всем, всего от нее ждал.

За кулисами во время концертов Эдит этот великан сжимался в комочек. Он смотрел на нее и слушал с замиранием сердца! Его

больше всего поражал ее голос. Каждый раз он мне повторял: «Представляешь, ведь она весит всего треть моего веса; я дуну на нее — она рассыплется! Такая кроха и такой голос! В голове не укладывается!»

Каждый вечер после концерта из гримерной Эдит приходилось забирать кучу вещей: стакан, капли для носа, платок, косметические салфетки, таблетки аспирина, карандаш, тетрадь, учебники английского и т.д. Она ничего не оставляла. Все увозилось, а назавтра привозилось снова.

Когда Марсель бывал с нами, он обязательно проверял: «Момона, ты ее кошелку не забыла? А платье ты взяла?»

Много времени спустя, после смерти Марселя, я продолжала слышать в гримерной его голос: «А платье?»

Не знаю почему, но у Эдит всегда было только одно платье для сцены, с которым она не расставалась. На моей обязанности лежало содержать его в порядке. Было недопустимо оставлять его в театре. Каждый день дома я его чистила и гладила, а вечером везла в театр.

Однажды в Нью-Йорке со мной чуть не случился разрыв сердца. Эдит в трусиках, загримированная и причесанная, нагибается, чтобы надеть туфли.

— «Платье!..» — слышу я ее голос в полную силу.

Поворачиваюсь, чтобы снять его с вешалки, и застываю… Платья нет! Я забыла его на Парк-авеню.

А помощник режиссера объявляет: «Five minutes, miss Piaf!»[36]

Не говоря ни слова, я хватаю такси и лечу за платьем. Уличное движение там еще напряженнее, чем здесь, американцы же не признают опозданий, а их полиция строго наказывает за превышение скорости. Что это была за гонка!

Когда я вернулась с платьем, я думала, что Эдит меня разорвет. Но, увидев мое перевернутое лицо, она обняла меня, сжала мне руку и пошла на сцену. У меня гора с плеч свалилась!

Эдит не могла любить кого-нибудь, не заботясь о нем, не стремясь принести ему пользу. Она решила заставить Марселя читать.

Как-то в начале их знакомства она застала его за чтением «Пим, Пам, Пум» и «Газеты Микки». В его огромных лапищах эти книжонки особенно смотрелись!

— Тебе не стыдно, Марсель, в твоем-то возрасте!

Смущенный, он ответил:

— Это забавно. Тебе стоило бы тоже почитать.

— Марсель, когда у человека такое имя, как у тебя, когда он личность, нужно учиться. Я училась.

— Ты так считаешь?

— Я куплю тебе книги.

И Эдит засадила добрую душу за чтение, притом за настоящие книги: «Виа Мала», «Сарн», «Свора», «В поисках правды». Не особенно развлекательное чтение.

— Почему ты заставляешь меня читать, когда такая хорошая погода? Мне хочется пройтись.

— Я училась так, Марсель.

— Тогда другое дело.

И он мужественно продолжал, так как был уверен, что она права, что она ни в чем не может ошибаться.

Мы жили уже не в «Кларидже». Эдит сняла маленький особняк на улице Леконт-де-Лиль. Впервые она жила в доме, который сама обставила.

«Понимаешь, отель, даже самый лучший, не годится, когда в твоей жизни появляется такой мужчина, как Марсель».

Для него она хотела быть самой лучшей, самой красивой — словом, самой, самой! Однажды все это совпало.

Эдит выступала в «АВС», когда принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский прибыли в Париж. Принцесса никогда не слышала Эдит. Она попросила, чтобы Эдит выступила на приеме у Каррера, где принцесса должна была присутствовать неофициально. Когда вас лично просит выступить будущая королева Англии, это, знаете ли, производит впечатление!

Однажды утром нам кто-то позвонил и представился: «Я такой-то с Кэ д'Орсэ».[37] Кэ д'Орсэ? Мы понятия не имели, что это такое! Никогда не слышали. Эдит отрицательно покачала головой, но Бижарша, прикрывая трубку рукой, быстро объяснила, в чем дело.

Эдит взорвалась от радости: «Момона, я достойна его! (Как будто нужно было догадываться — кого?) Принцесса Елизавета хочет меня видеть!»

Это случилось в воскресенье. У Эдит было два концерта: дневной и вечерний. Она их провела как обычно, но в машине английского посольства разволновалась. А Эдит не так легко было поразить! Улица — хорошая школа, там учишься не дрейфить. Только там не встречаешь королев! Шофер был англичанин. Немыслимо было и пытаться поговорить с ним о Елизавете.

Перед выходом на сцену у Каррера Эдит перекрестилась, постучала по дереву — словом, исполнила весь обычный ритуал и сказала мне: «Я должна быть сегодня лучше всех. Я представляю Францию. Сама будущая английская королева приехала на меня посмотреть». (Для нас, обычных парижан, она была все равно что

королева!)

И она спела от всего своего французского сердца.

После концерта в гримерной ее ждал заведующий протокольным отделом, очень представительный человек, произносивший гладкие фразы, которые мы не привыкли слушать. Он сообщил о желании принцессы пригласить Эдит разделить с нею ужин…

Это было так произнесено, как будто Эдит оказывает ей честь. Вот что значит «вежливость королей».

Эдит ответила согласием, но я чувствовала, что сейчас было бы в самый раз поднести ей стаканчик рома, который дают выпить приговоренному к казни. В следующий момент ее охватила паника, и она бросила взгляд на меня. «Это невозможно. Одна я не могу. Только с моей сестрой». Раз я была членом ее семьи, возражений не последовало. Глава протокола оставил нас на несколько минут, чтобы мы приготовились. Эдит была совершенно растерянна. Она пыталась собраться с мыслями, но ничего не получалось.

«Момона, как приседают? Как разговаривают с королевой? А, ладно, в конце концов она женщина, как всякая другая. Пошли!»

Легко говорить! Думала она иначе.

У Елизаветы была приятная улыбка, она подала Эдит руку. Эдит быстро изобразила нечто вроде реверанса. Вряд ли шеф протокола когда-либо видел подобное. Принцесса усадила Эдит рядом с собой. Я оказалась напротив Елизаветы и Филиппа.

Я не смела поднести бокал к губам, Эдит также. Разговор шел очень странный. Я слушала его как в тумане.

«Понимаете, я пела не так хорошо, как бы мне хотелось спеть для вас. У меня сегодня было два концерта — дневной и вечерний. Сорок две песни с трех часов до двенадцати — большая нагрузка. Голос садится…».

Принцесса улыбалась. Она всячески старалась успокоить Эдит и на великолепном французском языке — нам так говорить и не снилось — произносила фразы, смысл которых, если перевести на нашу речь, означал: «Совершенное исполнение», «Напрасное беспокойство», «Большой талант».

Я в ужасе слушала, как Эдит все время повторяет: «Да, но если бы вы меня слышали не после двух концертов… Вот тогда бы вы поняли…»

И так без конца. Больше она ничего не могла придумать. Да и

что могли придумать за столом принцессы две бывшие девицы из заведения Лулу? Мы были как в столбняке.

У Елизаветы была приятная улыбка, чисто английская, но очаровательная. Она отвечала Эдит: «Я понимаю вас…»

Мыслимое ли дело! Что у нас могло быть общего с женщиной, всосавшей королевские манеры с молоком матери?

Наконец, принцесса сообщила, что ее отец, Георг V, был бы рад иметь в своей коллекции пластинок записи песен Эдит. Это был деликатный способ дать понять, что Эдит Пиаф понравилась бы королю.

В наивной простоте Эдит ответила: «Хорошо. Завтра пришлю; где вы остановились?» (!)

Наконец все кончилось. Мы уехали. Все прошло как сон. Мы даже не поняли, сколько времени это длилось.

Когда мы остались одни, Эдит сказала: «А у нее мужик что надо!» И она повторила несколько раз на разные лады: «Я сегодня чокалась с принцессой и ее герцогом! Жаль, что Марсель не видел, вот бы он гордился мной. В беседе я, кажется, не блеснула, а, Момона? Но со стороны рядом с ней, наверно, выглядела прилично…»

Знаменитый матч Сердана с Тони Залем приближался. Марсель упорно тренировался, и мы вместе с ним. Эдит относилась к этому очень серьезно, а когда она к чему-нибудь серьезно относилась, ничем другим мы не занимались.

Люсьен Рупп надоедал ей ужасно. Он без конца повторял: «Эдит, ты любишь своего чемпиона? Тогда не слишком увлекайтесь любовью, ноги становятся вялые, а Тони Заль быстр, как метеор. Когда Марсель ест у тебя, следи за его диетой. И пусть он не засиживается по вечерам. Он должен спать, как ребенок, десять часов в сутки».

«Морочит мне голову твой дружок»,— говорила Эдит Марселю, смеясь.

Когда Марсель бывал в Париже, мы вели странную жизнь. Он ложился спать вместе с курами. Эдит, которая давала концерты, ложилась в четыре утра, я тоже, но вставала я раньше Марселя, около восьми часов, чтобы приготовить ему фруктовый сок. Едва все было готово, как появлялся Марсель. Он — свеж, как огурчик, я — в полусне. Позади Марселя, в таком же голубом спортивном костюме («Сборная Франции»), я совершала утреннюю пробежку. Посмотреть один раз, как я подпрыгивала за чемпионом,— никакого театра не надо!

В доме у нас температура начинала подниматься. Эдит, которая совершенно не интересовалась спортом и абсолютно в нем не разбиралась, спрашивала всех и каждого: «Вы понимаете в

боксе?»

Если ей отвечали «нет», она вспыхивала; «Как это люди могут не интересоваться боксом! Надо быть совершенно лишенным всякого любопытства! В жизни нужно все знать. Нет, правда, есть люди, которым наплевать на все на свете!»

Других она просила: «Объясни мне, какие шансы у Марселя?» Что бы ей ни говорили, она была довольна, лишь бы это было в пользу Марселя. Любой болельщик за Сердана мог просить Эдит О чем угодно. Отказа не было. Многие не терялись. Не хочу называть имён. Слишком длинный список. Эдит сияла и хохотала.

На улице Леконт-де-Лиль Эдит много времени проводила в ожидании. Марсель разрывался между Касабланкой, Парижем и тренировками. Никогда она столько не вязала, как в тот период. Сплошные свитера для любимого боксера. Чудовищного вида! Эдит вязала хорошо, но выбирала нитки, которые ей нравились — «радостные» цвета! До того «радостные», что глаза на лоб лезли. Марсель надевал их на тренировки, чтобы потеть. И со свойственной ему исключительной добротой говорил: «Моя Эдит, если я буду драться хорошо, в этом будет твоя заслуга: никогда у меня не было свитеров, таких теплых и таких просторных».

Я-то видела в глазах Марселя ласковое лукавство, но Эдит ничего не замечала и была счастлива. Она расцветала. Быстро хватала спицы, шерсть — скорей! За новое вязанье!

Невозможно себе представить, насколько был деликатен Марсель. Он не получил образования, его ничему не учили, но он всегда знал, как нужно поступать, чтобы не обидеть. Он обладал безошибочным тактом. Никогда я не слышала, чтобы он хвастался. Все, что он делал, он делал просто, не выставляя напоказ свои козыри, не набивая себе цены.

В своей среде, которая была не чище нашей, где также занимались подозрительными махинациями, где происходили грязные, темные истории, где наносились предательские удары ниже пояса, и все с одной целью: заграбастать побольше денег,— Марсель ничем не запятнал себя. И отнюдь не по невезению. Он все сознавал и говорил Эдит, которую это возмущало: «Оставь их. Жалкие люди. Не нужно тратить силы на то, чтобы давить слабых».

«Настоящего Марселя я узнала не в постели, а на улице,— рассказала мне Эдит в тот день, когда встретила его с одним арабом, другом детства.— Он вел его за руку — тот был почти слеп. Каждое утро Марсель водил его к окулисту на процедуры. Это был несчастный боксер из Касабланки. Марсель вызвал его в Париж. Он оплатил все: проживание, переезд, лечение. Все.

Ты знаешь, как я ревнива. Я заметила, что Марсель часто уходит куда-то. Смотрит на часы и говорит мне: «Я через час вернусь, у меня деловое свидание». В конце концов я не выдержала, мне нужно было знать. Я тебе сказала, что встретила его, это неправда. Я следила за ним.

Когда Марсель увидел меня на улице, я не посмела ему признаться. Он бы не понял. Он решил, что мы встретились случайно, и все мне рассказал. Даже от меня он все скрыл, но не солгал, что у него свидание. Помимо лечения он заходил к своему другу и днем, чтобы тот не чувствовал себя заброшенным. Кому, как не мне, знать, как долго тянется время в темноте!

Я заплакала от радости. Я не могла себе представить, что на свете существуют такие мужчины. Как подумаю, что есть идиоты, которые говорят: «Все боксеры — грубые животные», хочется иметь такие кулаки, как у Марселя, чтобы набить им морду».

Я тоже любила Марселя — по-другому, чем Эдит, но так же сильно. Он был моим другом.

У меня не было карманных денег. Такова была воля Эдит. Она готова была за все платить, но не давала мне ни гроша наличными. Она обращалась со мной как с ребенком: «Когда у тебя заводятся деньги, ты делаешь глупости. Со мной тебе денег не нужно. Они у тебя не держатся». В этом была вся Эдит, которая вообще не знала, куда деваются деньги. И та же Эдит, абсолютно не способная экономить, делала взносы на мое имя в сберегательную кассу.

Мне не на что было даже купить газету или сигареты, выпить в баре вина. Марсель жалел меня и подкидывал кое-что. Понемногу, но часто. Он изобрел способ: «Момона, у тебя есть сигареты?» И в зависимости от ответа, доставал бумажник.

По счастливому совпадению, в то время, когда у Сердана в Нью-Йорке должен был состояться матч, Эдит предложили контракт в «Версале» за семь тысяч долларов в неделю. Из-за тренировок Марселю пришлось уехать раньше. Эдит с радостью поехала бы с ним, но Люсьен Рупп воспротивился: «Без глупостей. Вам нельзя приезжать вместе. Газеты поднимут шум, и спортивные круги будут недовольны».

Луи Барье был того же мнения: «Это вам повредит. Американцы знают, что Марсель женат, и не на вас. У вас может быть роман, над которым проливают слезы машинистки в небоскребах, но вы не должны приезжать вместе, как официальная пара.».

«Ладно»,— сказала Эдит. И в тот же вечер поручила мне сопровождать Марселя. Я должна была о нем заботиться.

— Момона, я тебе его доверяю, смотри за ним. Он ничего не умеет. Этот страшный боксер — настоящий ребенок…

— Послушай, Эдит, но я же ездил один.

— Позволь мне судить. Кто разложит твои рубашки, твои носки, развесит в шкафу твои костюмы? Я не хочу, чтобы к ним прикасались чужие женщины, даже горничные.

Я уехала с Марселем, помогла ему устроиться в гостинице и вернулась в Париж за Эдит.

Разумеется, когда три дня спустя мы прилетели в Нью-Йорк, Люсьен Рупп взял ее за горло.

— Эдит, я рассчитываю на вас. Для Марселя этот матч — вопрос жизни. Он не должен потерпеть поражения.

— Никто не знает, что я здесь. Мой контракт начинается через десять дней. Я приехала ради Марселя, и я его увижу.

— Не сердитесь. Я кое-что придумал.

— Так бы сразу и говорили!

— Вот. Марсель тренируется в спортивном лагере Лок-Шелдрейк, в ста шестидесяти километрах от Нью-Йорка. По приезде он остановился в отеле «Эванс»; я нашел неподалеку маленький семейный пансион для вас.

— Почему мы не можем жить в том же отеле?

— Эдит, вы же знаете Америку. Если мужчина и женщина не женаты, они не могут жить в одной комнате. Вы этим погубите карьеру Марселя! А так вы проведете два дня вместе в этом пансионе, а затем вернетесь в Нью-Йорк и будете там спокойно ждать его возвращения.

— Если все так заранее условлено,— сказала Эдит с притворным видом,— я согласна.

Мы стартовали, как на автомобильных гонках. Нельзя было медлить, чтобы не узнали о приезде Эдит.

А потом началась совершенно фантастическая история.

В словах Люсьена: «Я организовал то, я устроил это» — не было ни капли правды. Обо всем распорядился Марсель, и первой его заботой было найти для нас пансион поблизости от своего отеля. Люсьен должен был быть между нами связным.

Люсьен отвез нас в пансион, где для всех мы были сестрами, путешествующими по Америке. Мы раскладывали свои вещи, когда прозвонил колокольчик к ужину, и мы быстро спустились. Впервые, вероятно, Эдит пришла к столу вовремя. Ее здесь все интересовало, она ведь никогда не бывала в подобных местах. Я, впрочем, тоже. Мы жили или в развалюхах или во дворцах, но это были гостиницы, а не пансионы. За столом нас представили: никто никого не знал, обстановка была скованной.

За едой Эдит ни к чему не притронулась, но все

перекладывала на мою тарелку, говоря, что нельзя обижать хозяйку: «Будь вежливой, Момона, мы же за границей». В этом тоже была вся Эдит, которой на условности было наплевать.

Наконец ужин кончился. Но так как был день рождения одного из сыновей хозяйки, а все происходило по-семейному, в столовую внесли чудовищных размеров торт, типично американский. Чего в нем только не было: сбитые сливки, кокосовый орех, шоколад, смородина, миндаль, ореховое масло, кленовый сироп, савойский бисквит… В жизни бы не подумала, что все это можно соединить вместе! Торт был так огромен, что я невольно пересчитала гостей.

Пока я приходила в себя, мне положили кусок, который не умещался на тарелке. Скосила глаза на тарелку Эдит — та же картина. Я подумала: «Неужели мне придется съесть обе порции?..» И пришлось. «Момона, забери мой кусок. Меня от одного вида тошнит. И съешь. Это именинный торт, что о нас подумают?»

Не знаю, что обо мне можно было подумать, но ночью я чуть не умерла. Каждый раз, закрывая глаза, я снова видела это чудовище, и меня начинало тошнить. Эдит смеялась до упаду и пела мне «С днем рожденья поздравляю…».

Люсьену и Марселю с трудом удалось оторваться от журналистов и добраться до нашего пансиона. Одного взгляда на Эдит Марселю было достаточно, чтобы понять, что здесь она не останется.

Несмотря на радость встречи, без сцены не обошлось. Эдит спросила преувеличенно любезно:

— Где наша комната?

Люсьен воскликнул:

— Но ведь это невозможно! Тренировки, дисциплина…

Она не дала ему кончить.

— Послушайте, вы начинаете мне действовать на нервы. Перестаньте ныть. Ступайте и вернетесь, когда вас позовут. Вы мне не муж, не любовник и даже не импресарио. Поэтому заткнитесь. Ничего не случится с вашим чемпионом. Но постель — это наше личное дело, и вас не касается. Уходите, не мозольте мне глаза!

Люсьен замолчал, но очень расстроился. Марсель ласковым голосом объяснил Эдит всю важность тренировки и необходимость соблюдения спортивных правил. Так как она обожала Марселя, она успокоилась.

— Если ты считаешь, что так нужно, Марсель, что это для твоей пользы, пусть будет так. Но я не могу не видеть тебя.

— Положись на меня, Эдит, сегодня вечером все будет

улажено.

Этот застенчивый человек, уважающий спортивные правила, загорелся опасной и безумной идеей. Он решил провезти нас в свой лагерь, нарушив тем самым все спортивные законы. Он имел право видеться только со своими тренером и напарником. Если бы стало известно, что Марсель Сердан укрывает в лагере двух женщин, его бы немедленно дисквалифицировали. Скандал погубил бы его карьеру.

Утром мы попрощались с изготовительницей праздничных тортов и уехали на такси. Настоящее кино! На перекрестке мы остановили машину и вылезли на обочину дороги. Удивленный шофер спросил нас:

— Вы возвращаетесь пешком или будете голосовать?

И услышал в ответ:

— Yes, Buffalo Bill come back with his horse![38]

Он долго смеялся.

Несколько минут спустя приехал Марсель; он был один, без Люсьена. Вероятно, с трудом от него отделался. На лесной дорожке он поместил нас в багажник и запер на ключ.

— Если меня попросят его открыть, я скажу, что потерял ключ, и поеду его искать.

К счастью, у американских «кораблей» багажники, как трюмы. В лагере Лок-Шелдрейк у каждого боксера был домик, бунгало. Марсель приметил один свободный, расположенный в отдалении от других, и привез нас в него.

Все же, если подумать, надо было быть безумцем, чтобы решиться на такое. Ведь нас мог обнаружить любой, кто пришел бы убрать в доме или проверить проводку.

«Понимаешь, Эдит,— объяснял, смеясь, Марсель,— считается, что любовь очень вредит боксерам перед матчем. У них слабеют ноги, они теряют дыхание и силы».

Он доказал как раз обратное. Все ночи он проводил с Эдит и никогда еще не был в лучшей спортивной форме.

Итак, мы устроились в бунгало. Поскольку оно не предназначалось для заселения, в нем не было никакой еды, горячая вода отключена. Вечером Марсель приносил нам сэндвичи, пряча их под курткой. А так как любовь вызывает аппетит, ночью он съедал добрую половину. Завтрак, следовательно, мы «пропускали».

Пили мы только воду из-под крана. Еще счастье, что ее не перекрыли. Каждый раз, когда Эдит пила, она сама от себя приходила в умиление:

— Ты подумай, как же я люблю Марселя, если это хлебаю… Отравлюсь… как пить дать!

Далее все приобретало более драматический характер:

— В ней чертова уйма микробов. Ты никогда не видела каплю воды под микроскопом?

— Нет, а ты?

— Тоже нет, но знаю. Один военный врач мне объяснял. Он только что вернулся из колоний, был в полном курсе.

— Но мы-то не в колониях, а в Америке.

— Еще страшнее. Они сыплют в воду столько дезинфекции, что кожа сходит с желудка. Видишь, к чему приводит любовь: к самоубийству!

И мы хохотали, но не громко. Нас могли услышать.

Этот курс водолечения был очень труден для Эдит, которая всегда пила вино. Чуть больше, чуть меньше, но каждый день. Она не валилась с ног, споить ее было трудно, но всегда пребывала слегка навеселе. То, что она теперь перешла на воду, служило, быть может, самым веским доказательством любви, которую Эдит когда-либо испытывала к мужчине.

Мы жили почти впотьмах. Днем шторы были закрыты. Ночью нельзя было зажигать свет, и мы ложились спать с курами. Что за жизнь!

Вечером Марсель приходил счастливый, в хорошем настроении. Раз или два он раздобыл пива, обычно он приносил молоко. Эдит смеялась: «Что мы тебе — телята?»

Он брал ее на руки и кружил в воздухе. Он обожал это. Эдит ему пела:

Счастлива от всего, счастлива от ничего,
Лишь бы ты был здесь…

Но она говорила за себя, я ведь не получала ночной компенсации в постели, и от нашей дачной жизни лезла на стенку. Десять дней монастырского режима довели меня до ручки.

Через две недели нас ожидала награда: Марселя — чемпионат мира, нас — свобода!

Вывез он нас из лагеря так же, как и привез,— в багажнике. Это было в день официального приезда Эдит. Американцы так и не поняли, как это она оказалась в Нью-Йорке, миновав аэродром Ла Гардиа.

Мы заняли две меблированные квартиры, одну над другой. Это было очень удобно, и соблюдались все приличия.

За Марселем следила Спортивная федерация, которая шутить не любит. Считалось, что его оберегают. Отель кишел сыщиками, похожими на гангстеров типа Аль Капоне из фильмов о временах

сухого закона.

Становилось по-настоящему страшно. Марселю угрожали в письмах и по телефону. В таком стиле: «Напрасно тренируешься, ты даже на ринг не поднимешься». Или: «Мы с тобой разделаемся, прежде чем ты прикоснешься к нашему Тони…»

Марсель смеялся, Люсьен нервничал, Эдит лезла на стенку:

«Они здесь гангстеры все до единого! Ты не в Париже, Марсель. Нужно принять меры предосторожности».

Она вообразила, что Марселя могут отравить, и нашла решение: превратила меня в морскую свинку. Она заказывала бифштекс и говорила: «Момона, съешь половину». Вторая шла Марселю. То же самое она делала с овощами, фруктами. «Разрежь грушу пополам и съешь». Остаток доедал Марсель.

Так было в продолжение всего времени перед матчем. Из ее мужчин я ни для кого бы этого не сделала, клянусь, ни для кого. Но он — другое дело.

Чтобы понять, что такое чемпионат мира в Нью-Йорке, нужно его пережить. Все в движении — люди, от мала до велика, деньги, от доллара до миллионов.

Спортивные журналисты упрекали и обвиняли Эдит:

«Марсель Сердан не ведет аскетического образа жизни, как полагается чемпиону», «Он дорого за это заплатит», «Титул чемпиона еще не в кармане», «Его любовная связь наносит ущерб тренировкам».

Эдит волновалась, боялась оказаться виноватой. Она молилась святой Терезе. Давала обеты — мне не говорила какие, чтобы потом иметь возможность внести поправки. Она не находила себе места. Почва уходила у нее из-под ног, и у меня тоже. Эдит отыскала церковь со статуей святой Терезы, и за один раз мы поставили туда столько свечей, сколько она не получала за целый год.

Накануне и в день чемпионата мы почти не видели Марселя. Это было невозможно, настолько усилили охрану. Люсьен ходил за ним по пятам. Общее напряжение настолько возросло, что дольше, казалось, не выдержать. Про американцев не скажешь, что это легкие или мягкие люди.

21 сентября 1948 года мы приехали на Мэдисон Скуэр Гарден в машине Марселя, который сам спокойно сидел за рулем; Тони появился с треском и грохотом, под крики «ура» и при вспышках магния.

Какая у них была уверенность! Американец с автостоянки сказал нам: «Вам нет смысла ставить машину. Встреча с французом будет короткой. Наш разделается с ним за две минуты». Он не узнал Марселя, который сказал спокойно,

повернувшись к Эдит: «Вот видишь, я скоро вернусь».

Потом он поцеловал ее и ушел своей обычной неторопливой походкой. Его широкая спина закрыла на минуту вход в раздевалку. Пришел Люсьен, чтобы провести нас на места.

В зале было жарко. И вообще, мне все очень не понравилось. Здесь зрелище устраивается на ринге, как в театре на сцене, но на удобства зрителей наплевать. Болельщики — закаленный народ. Я была не из их числа.

Боксеры вышли на ринг под вопли и свист. Весь зал кричал и так сильно топал, что дрожали кресла.

У Эдит личико сделалось маленьким и бледным, на нем не осталось ничего, кроме беспокойства. Она взяла меня за руку, как делала всегда в серьезных обстоятельствах. Я старалась держаться, но выглядела, вероятно, не лучше.

Закрывая глаза, я до сих пор слышу удары гонга, эхом отдававшиеся у меня в голове и во всем теле в тот вечер. И слышу, конечно, что говорили люди. Все, разумеется, были знатоками. Мы, к счастью, не очень разбирались, а то бы, наверно, не выдержали.

Среди публики были женщины в мехах, мужчины в смокингах. И множество типов в шляпах и с вонючими сигарами; они жевали окурки, жевали жвачку и сплевывали куда попало.

Все это терялось наверху в темноте и дыму, а ринг, как операционный стол, был освещен большими белыми лампами.

«Момона, я закрою глаза. Когда все кончится, ты мне скажешь».

Ни на секунду она не закрыла глаз. При каждом ударе, который получал Марсель, она вонзала в меня свои ногти. Я ничего не чувствовала, мне было так же плохо, как ей.

Во время перерыва после первого раунда было видно, как живот Марселя втягивался, грудь вздымалась.

— Тебе не кажется, что он задыхается?

— Нет, он переводит дыхание.

Понимавший по-французски сказал:

— Он бережет силы.

Прошли второй и третий раунды, в четвертом Тони Заль рассвирепел. Он чуть не перебросил Марселя через канат. Эдит обезумела. Американцы как с цепи сорвались. Эдит взывала к святой Терезе, ругала Тони, стучала ногами об пол, а кулаками — по шляпе парня, сидевшего впереди нее. Очевидно, во время матча люди перестают быть нормальными. Парень не возмущался, он ничего не чувствовал.

Раздался удар гонга. Заль лежал на канатах, Марсель шел в свой угол. На середине ринга он обернулся и увидел, что Заль свалился, как куль муки. Марсель выпрямился и подошел к своим помощникам. Он был зеленого цвета.

Арбитр вывел Марселя на середину ринга и, подняв его руку, крикнул:

— Marcel Cerdan is champion in the world![39]

Клубок подкатил к горлу!

На мачтах взметнулись французские флаги. Раздались звуки «Марсельезы». Все встали. Эдит, бледная как полотно, молча держала меня за руку. Ее ручка лежала в моей, мягкая, как из воска. Я посмотрела на нее. Мы были одни среди всех этих орущих и хохочущих американцев. Многие ее узнали и вообще видели, что мы француженки. Они вели честную игру. Они подняли нас на руки с криком: «French, french girls!..»[40] Остальное до нас не дошло, это было что-то крепкое. Мы уже не понимали, на каком мы свете. Мы опьянели от волнения и усталости. Эдит была в таком изнеможении, что казалось, будто это она выиграла чемпионат мира. Победа Марселя была отчасти и ее победой!

Несколько раз у меня мелькала мысль: «Бедная Маринетта, ведь это она, а не Эдит должна была быть здесь». Но как пела Эдит: «Такова жизнь!..»

И не время было об этом размышлять.

Парень, сидевший впереди нас, рассмешил Эдит, подарив ей измятую шляпу со словами: «Возьмите. Носить ее больше нельзя, но для вас — какой сувенир!»

Мы не пошли к Марселю в раздевалку, там было больше народу, чем в метро в часы пик, а Эдит надо было ехать на концерт в «Версаль».

Когда вечером она вышла на сцену, все встали, приветствуя ее. Из глаз у нее покатились крупные слезы, она их вытерла и сказала: «Простите. Я слишком счастлива».

Во время ее выступления вдруг раздались аплодисменты. Это в зал вошел Марсель. Он смутился и тихонько сел за один из столиков. После концерта мы подсели к нему, и он выпил с нами бокал вина.

Все посетители «Версаля» хотели бы быть на нашем месте! Как мы были горды! Это был наш чемпион.

В зале творилось что-то невообразимое, все говорили только о нем, все его приглашали. А он, отклонив все предложения, спокойно вышел с Эдит на улицы Нью-Йорка, держа ее ручку в своей, только что нокаутировавшей чемпиона.

Они пережили новый медовый месяц. Никогда они еще не

любили друг друга так сильно.

Марсель вернулся во Францию, куда его вызвали. Эдит закончила свой контракт, и после этого они встретились снова. Им часто приходилось расставаться.

Эдит изобрела безотказную систему связи. Правда, дорогую и утомительную. Когда Марсель бывал в Касабланке, она писала ему письмо. Я садилась в самолет, отвозила письмо Марселю и привозила обратно ответ. Я проделывала это три раза в неделю. На линии Париж — Касабланка, казалось, только я одна и летала.

«Я не хочу, чтобы чужие руки касались наших писем. И потом, я не доверяю, их могут потерять. На почте работают такие же люди, как все другие!»

Эдит вела утомительную жизнь. Она изматывала всех, кто жил рядом с ней. И если бы еще речь шла только о фантазиях вроде моих путешествий. У нее не было в жизни никакого распорядка, вплоть до того, что не было определенного времени суток для сна. Когда она решала, что хочет спать, я должна была уложить ее в постель, подоткнуть одеяло, дать затычки для ушей, черную маску для глаз (она не переносила ни малейшего луча света), и только тогда она мне говорила: «Иди ложись, Момона». К моменту ее пробуждения, даже не зная, проснулась она или нет, я должна была уже быть на ногах.

Если она решала, что не хочет спать, приходилось бодрствовать вместе с ней. Как-то, когда она была на грани нервного истощения, один ее друг, врач, дал ей лошадиную дозу снотворного. Но лекарство не подействовало, и Эдит продолжала беситься нам назло. Тогда он ей сделал инъекцию. Она закрыла глаза, мы ее положили в постель и вышли на цыпочках из комнаты. Десять минут спустя, когда все уже спали мертвым сном, нас разбудил громовой голос: «Что это вы все спите? Слабосильная команда! Пойдем, Момона, сварим кофе всем придуркам».

Было шесть часов утра.

Пока шла подготовка в чемпионату, Эдит страшно переживала за Марселя, хотела, чтобы он победил. Из любви к нему она отказалась от бессонных ночей, вела более нормальный образ жизни. Но это было наперекор ее натуре. Она всегда жила ночью.

Когда Марселя с ней не было, она возвращалась к старым привычкам и, стоило ему появиться, увлекала за собой в этот круговорот. «Марсель, не ложись спать, не оставляй меня. Мне без тебя скучно. Я тебя так мало вижу. Раз мы вместе, нужно

пользоваться каждой минутой. Ты же сильный. Ты это доказал. Тренируйся, когда ты не со мной».

Марсель был от нее без ума и уступал.

Нашлись люди, которые стали говорить и писать, что Марсель превратился в светского боксера, что его проучит Ла Мотта, встреча с которым ему предстояла и во время которой он должен был подтвердить свой титул чемпиона. Не было печали! Марсель и Эдит проживали свой роман, остальное их не интересовало.

Эдит искушала судьбу. Марсель был в Париже и наконец приступил к упорным тренировкам. Вскоре должна была состояться его встреча в Нью-Йорке с Ла Мотта. Эдит снова стала почти благоразумной. Дома царил мир и покой.

Дата отъезда была назначена, Марсель простился со всеми своими друзьями, которые были также и нашими.

Мы жили по-прежнему на улице Леконт де Лиль. В глубине столовой у нас стоял огромный освещенный аквариум, занимавший часть стены. Декоратор, обставлявший квартиру, сказал Эдит, что это сейчас очень модно. С другой стороны аквариума был выход в коридор.

В вечер после назначенного отъезда Марселя Эдит пригласила на обед всех, с кем он уже простился накануне…

У Эдит было прекрасное настроение. Она готовилась разыграть своих гостей, она это очень любила.

За столом было очень весело. Все говорили о Марселе. Вечерние газеты уже поместили его фотографии… Мадам Бретон сказала:

— В этот час Марсель уже должен прибыть в Нью-Йорк. С нами ему было бы веселее…

— А хотите, я хлопну три раза в ладоши, и перед вами предстанет Марсель? Посмотрите вон туда за аквариум!

Догадливые подумали: «Сейчас мы увидим фотографию Сердана».

Эдит театрально хлопнула в ладоши, и из-за аквариума появился Марсель.

Все оторопели.

У меня по спине пробежала дрожь: зеленый свет, струящиеся водоросли, рыбы, проплывавшие перед его лицом… Марсель был похож на утопленника. Два месяца спустя его уже не было в живых…

Он улетел на следующий день. Матч состоялся. Ла Мотта победил. Марсель потерял титул чемпиона.

Вернулся Марсель не таким, как прежде. Было очевидно, что он тяжело переживает поражение. Марсель был ответственным

человеком и понимал, что шампанское и бессонные ночи не способствуют победам на ринге.

Назавтра в одной из газет появился крупный заголовок: «Эдит Пиаф принесла несчастье Сердану». Были и другие статьи, все они без зазрения совести обвиняли Эдит.

Как всегда, Марсель ласково утешал ее: «Не обращай на них внимания. Я был не в форме, это правда, но это случается со всеми боксерами. Я возьму реванш, и мы сделаем все, чтобы победить, верно, Эдит?»

Это было в характере Марселя: успокаивать вместо того, чтобы упрекать. Другие бы на его месте за словами не постояли.

А мне он объяснял: «Ты же понимаешь, виновата не Эдит, а я. Мне нужно было быть сильнее».

Разве не прекрасны такие слова?

Поражение Марселя расстроило Эдит. Она решила: «Этот дом приносит мне несчастье! Не хочу здесь больше жить». Она была очень суеверна, вплоть до того, что изобретала собственные приметы. Так, четверг был для нее счастливый день, воскресенье — несчастный. Когда она видела стадо баранов, восклицала: «Это к деньгам! Сожмем кулаки, чтобы их удержать!» Можно подумать, что это ей помогало!

Так мы оказались в Булони[41], в доме номер 5 по улице Гамбетта, в частном особняке, за который Эдит заплатила девятнадцать миллионов старых франков. Она пошла на этот расход, потому что гостиная была так велика, что могла служить для Марселя спортивным залом. Это была единственная причина, толкнувшая ее на покупку. «Он будет тренироваться дома, он больше не будет меня оставлять».

Мы жили среди рабочих, ремонтировавших дом. Декоратор должен был закончить его отделку во время предстоящей поездки Эдит в Америку.

Америка полюбила Эдит. У нее был новый ангажемент в «Версаль». С октября 1949 года она должна была там выступать в течение нескольких недель. Эдит уехала одна, оставив меня с Марселем, который совершал турне. по Франции с показательными матчами в пользу нуждающихся бывших боксеров. Я ездила с ним, чтобы заботиться о нем.

«Момона, я рассчитываю на тебя. Смотри за ним. Знаю, он не очень заглядывается на женщин, но все мужчины одинаковы, поэтому охраняй».

Это было нетрудно: он ни на кого не глядел.

Турне закончилось, мы должны были отправляться к Эдит в

Нью-Йорк. День нашего отъезда уже был назначен, билеты на пароход заказаны. Эдит, которая сама садилась в самолет, как в такси, всегда боялась, когда ее близкие летали. Но за сутки до нашего отъезда она позвонила Марселю:

— Любовь моя, умоляю, приезжай скорей, я не могу больше ждать… Лети самолетом, пароходом очень долго. Прилетай.

— Хорошо,— ответил Марсель.— Я буду завтра. Целую тебя и люблю.

Это были последние слова, которые Эдит от него услышала.

Почему Эдит захотела, чтобы он немедленно вылетел? Я этого так и не узнала. То ли она соскучилась, то ли боялась совершить какую-нибудь глупость. Изменить ему. От нее ведь все можно было ожидать.

Я должна была купить два билета на самолет и возобновить свою просроченную визу в Соединенные Штаты. Я подала заявление о продлении, но сразу мне его не дали, и дело затянулось. Отсутствие печати на паспорте спасло мне жизнь.

Мы с Марселем приложили все усилия, но достали только один билет на самолет. Я проводила его на аэродром и сказала: «До скорого».

Все было кончено.

Назавтра, когда я проснулась, во всех газетах было сообщение о гибели Сердана. Его удалось опознать, потому что он носил часы на обеих руках.

Наконец мне дали визу, и я вылетела. Эдит нуждалась во мне. Меня встречали господин и госпожа Бретон. От них я узнала, как развертывались события.

Лулу Барье был в Нью-Йорке. Он не оставлял Эдит одну. Именно он должен был встретить Марселя, поскольку Эдит не вставала так рано. Приехав в аэропорт, Лулу узнал, что самолет Париж: — Нью-Йорк разбился на Азорских островах и что имя Марселя в списке погибших.

Когда Эдит увидела Лулу одного, она закричала: «С Марселем случилось несчастье! Он погиб!» — потому что разбудить ее должен был Марсель.

Никто не имел права ее будить, кроме меня, а в мое отсутствие — только тот, кого она любила. Когда она увидела Лулу, она сразу все поняла. Барье не мог вымолвить ни слова. Он смотрел на нее, и это молчание было страшнее всяких слов.

Днем стали приходить телеграммы. Ей отовсюду звонили по телефону. Она тотчас же телеграфировала Буржа: «Напиши мне. Ты мне нужен. Эдит». И этот человек, уже не молодой и далеко не богатый, сейчас же приехал.

Мадам Бижар прислала такую сердечную телеграмму, что

Эдит тут же вызвала ее к себе. Она была в таком состоянии, что ей пришлось дать допинг.

Зал «Версаля» был переполнен. Когда она вышла на сцену, в луче прожектора она показалась еще более крохотной, еще более потерянной, чем обычно. Весь зал поднялся и встретил ее аплодисментами.

Тогда она сказала: «Нет, мне ничего не нужно. Сегодня я пою в честь Марселя Сердана. Только ради него».

И она выдержала до конца, бледнея с каждой песней. Она все допела.

В эту ночь Лулу спал в ее комнате. Он не решался оставить ее одну.

Утром, когда я приехала, она бросилась ко мне на шею с криком: «Момона, это моя вина, я убила его».

Как это вынести?

Глава двенадцатая. Эдит занимается спиритизмом

Эдит считала, что трагическая смерть Марселя на ее совести, что это ее вина. Он стал самой большой любовью в ее жизни. Единственной. Хотя, быть может, именно из-за своей гибели он и не дополнил ряд предыдущих.

Бедная Эдит была в ужасном состоянии. Она не хотела есть, устроила что-то вроде голодовки. Она действительно хотела умереть. Каждый вечер ей требовался допинг, чтобы петь. Она металась, как собака, которая потеряла своего хозяина и которая непременно хочет его найти.

В горе и отчаянии она уцепилась за мысль о столике. Не прошло и двух дней после смерти Марселя, как она сказала: «Послушай, Момона, пойди раздобудь круглый столик на трех ножках. Мы будем его вертеть. Попробуем вызвать дух Марселя. Я уверена, что он придет. Он не может не услышать меня. Иди скорее».

И я пошла. В универмаге на Легсингтон-авеню я купила маленький столик на трех ножках. Я шла домой, прижимая его к груди, и чувствовала, что он спасет меня. Еще не знала как, но была уверена.

В тот вечер после концерта в «Версале» мы вернулись домой. Шторы были плотно задернуты, мы погасили свет, сели, положили руки на столик… Мы прождали всю ночь. Эдит прерывала тишину возгласами: «Трещит, Момона, слышишь, Марсель здесь, я чувствую. Он сейчас прошел возле меня».

Но ничего не происходило. Ножки стола прочно стояли на ковре, как приклеенные! Через шторы начал пробиваться свет. Наступал новый день.

— Знаешь, Эдит, они никогда не приходят при свете.

— Ты думаешь? Но ночью-то они приходят?

У нее был голос ребенка, который спрашивает, существует ли Дед Мороз не понарошке.

— Конечно, это и научно доказано.

— Это не сказки. Сегодня, я чувствовала, он был с нами. Он коснулся меня. Почему он не заговорил?

— Надо повременить. Может быть, еще слишком рано, они, вероятно, не могут говорить сразу после смерти. Вечером попробуем еще раз.

Я говорила все, что приходило в голову. Она была в таком

напряжении, так горячо верила, что передала мне свою веру, и я тоже стала думать: «Не может быть, чтобы он не пришел».

Назавтра снова ничего. Эдит таяла на глазах. Мне оставалось локти кусать. Она совсем не ела, а пела каждый вечер. «Так не может продолжаться, она не выдержит»,— думала я. У нее уже был обморок между песнями.

Сидя одна за столиком, я думала: «Он заговорит, я должна этого добиться».

Весь день Эдит жила в страстном ожидании момента, когда сможет положить руки на столик.

Наступил вечер, и я ей сказала:

— Не волнуйся, мне кажется, сегодня он придет. Сейчас новолуние.

— Он сердится на меня, Момона, я не должна была ему звонить. Он не придет. Он бросил меня.

Тут я поняла, что дальше ехать некуда! «Она сама сойдет с ума,— подумала я,— и меня сведет. Этот проклятый столик должен застучать».

И я его легонько приподняла. Вцепившись в него, Эдит плакала от счастья. Она бормотала:

— Это ты, Марсель?.. Останься. Вернись… Марсель, любовь моя… Ты, господи, ты!

Внезапно меня озарило: какую пользу я могу извлечь из этого столика! Во-первых, заставлю Эдит есть, во-вторых,— успокоиться.

Столик приказал:

— Ешь.

Эдит не понимала, и столик повторил:

— Пойди поешь.

Эдит удивилась:

— Ты думаешь, Марсель в самом деле хочет, чтобы я поела?

— Конечно, и я бы на» твоем месте поторопилась.

Эдит помчалась на кухню, открыла холодильник и начала хватать первое попавшееся, чтобы угодить Марселю.

Мне хотелось плакать, глядя на нее. Она была похожа на больную собаку, которая согласилась выпить молока.

Но это была победа!

Две недели спустя мы вернулись в Париж с мадам Бижар и столиком.

В первые месяцы после возвращения мы вели странную жизнь. Эдит была на дружеской ноге с привидениями, потусторонним миром и всей этой галиматьей. Сны ее продолжались наяву.

Как и следовало ожидать, Эдит решила продать свой особняк.

Ей в нем было тяжело. Хотя Марсель здесь прожил недолго, этого было достаточно. Но мы продолжали оставаться на месте. А что делать? Эдит сказала Лулу: «Избавь меня от него!» Легко сказать! Попробуй его сбагрить! Желающих не было. Она продала его три года спустя, потеряв более девяти миллионов.

Эдит не могла ни видеть, ни прикасаться к подаркам Марселя. В конце концов она раздала их тем, кто присутствовал на знаменитом вечере с аквариумом. Она считала, что этой шуткой накликала беду. Себе не оставила ничего. Все ушло: серьги, брошь,— все драгоценности, которые Марсель ей дарил, и даже спортивные трусы, которые были на нем в день боя с Ла Мотта и на которых еще виднелись пятна его крови…

«…На, Момона! Я дарю тебе мое самое дорогое: платье, в котором я была, когда Марсель обнял меня после чемпионата мира». Я его храню до сих пор.

Единственное, что теперь занимало Эдит, это столик: каждый вечер мы сидели, вцепившись в него обеими руками. Остановить ее было невозможно. Да и мне он был нужен: я им пользовалась, чтобы мешать ей напиваться. Марсель не выносил, когда она пила. Сколько она ни упрашивала, он сердился. Поэтому, когда она «перебирала», столик молчал.

Если бы мы хоть занимались им только по вечерам! Даже днем мысли Эдит были лишь о нем; она одновременно и верила и сомневалась. Она говорила об этом с Жаком Буржа, который не рискнул высказаться определенно.

— Знаешь, в мире много явлений, причины которых нам не известны!

Ничего не выяснив у Жака, Эдит кинулась ко мне:

— А ты веришь?

— Я верю во все, что вижу собственными глазами.

— Все-таки нужны были бы доказательства… Ага, придумала! Я попрошу Марселя сочинить для меня песню.

Не знаю, можно ли побледнеть изнутри, но я уверена, что у меня в этот момент все кишки побелели! Ведь это не Марсель должен был сочинить песню, а я.

— Слушай, Эдит, Марсель не умел сочинять песни.

Бросив на меня испепеляющий взгляд, Эдит ответила:

— Там, где он сейчас, умеют всё.

В тот же вечер, сидя за столиком, Эдит потребовала:

— Марсель, сочини для меня песню.

И столик ответил: «Да». С самого начала у столика на все был ответ. Столик должен был все уметь, все знать. Для Эдит по ту сторону добра и зла не было ничего невозможного. Только я-то была с этой стороны!

Надо признать, что взамен Эдит слепо выполняла все, о чем просил столик. Марсель не мог желать ей плохого.

Скрючившись над столиком, я придумала две первые строки:

Я сочиню тебе голубую песню,
Чтобы тебе приснились детские сны…

К счастью для меня, ножки столика говорят не быстро. За один присест не получается. Каждый раз я сочиняла одну или две строчки. Однажды вечером столик отстучал: «Всё».

Мы виделись с Маргерит Монно каждый день, но у Эдит не хватило терпенья дождаться утра.

— Гит, приезжай скорее. У меня есть кое-что для тебя.

Рассвет только приближался, но Маргерит, для которой не было большой разницы между днем и ночью, явилась, непричесанная, в пальто, накинутом прямо на ночную рубашку.

Эдит ей сказала:

— Гит, слушай. Слушай хорошенько.

И она прочла так, как только она умела читать,— в этом уже слышалась песня — «Голубая песня».

— Это ты написала?

— Нет. Марсель.

— Когда?

— Он только что закончил, через столик.

— Не говори так. У меня мурашки побежали. Замолчи!

Она отказывалась присутствовать на наших сеансах, но знала о них. Она села и прошептала:

— Здесь нужны только скрипки.

Для нее скрипки были музыкой ангелов. Маргерит их уже слышала, и Эдит тоже. От полноты чувств мое сердце готово было разорваться. Я была потрясена и уже не знала, на каком я свете! Да в конце концов какое это имело значение? Когда я увидела, как смотрели друг на друга эти женщины, у меня исчезли все угрызения совести.

Я всегда плачу, когда слышу «Голубую песню».

В течение года, регулярно каждую неделю, в церкви Отей Эдит заказывала мессу за упокой Марселя. Разумеется, присутствовали все близкие, не могло быть и речи о том, чтобы уклониться. Да у меня и мысли такой не было. Сопровождал мессу всегда хор Эдит. Однажды, как раз перед ее сольным концертом в зале Плейель, в конце мессы они запели «Голубую песню».

Потрясение — слишком слабое слово. Гит и я, мы не могли слюну проглотить, боялись разрыдаться в голос. Эдит

повернулась к хору, по ее лицу катились крупные слезы. Она прошептала: «Марсель, ты слышишь, это для тебя…»

После «Голубой песни» мне очень хотелось убрать столик с глаз долой. Раз я научилась крутить его, это могли сделать и другие и извлечь для себя выгоду. С Эдит это было очень соблазнительно.

В Париже мы жили не одни, как в Нью-Йорке. Особняк в Булони напоминал наше житье на улице Анатоль-де-ля-Форж в несколько улучшенном варианте. Был тот же бордель. Вымогателей хватало. Эдит приглашала на сеансы всех, кто оказывался под рукой. Когда Эдит что-то любила, она хотела, чтобы все ее «друзья» разделяли ее увлечение, чтобы они думали так же, как она.

Столик мог говорить сколько угодно, а Марсель — приходить каждую ночь. Эдит все казалось, что она у него в долгу.

«Момона, Марсель сочинил для меня песню, а я для него — ничего! Я уверена, что он ждет. Он слишком добр, чтобы просить меня об этом, но пока я ее не напишу, он не успокоится».

А мы успокоимся?

Все получилось само собой. Однажды вечером в ванной Эдит напела мне одну мелодическую фразу. Эдит часто фальшивила, но она была феноменом. Мишель Эмер говорил: «Эдит единственная, кроме Мориса Шевалье, кто может себе позволить, забравшись бог знает куда, упасть снова на ноги». И при этом у нее был очень музыкальный слух, и она знала, что понравится публике.

— Что ты скажешь об этой мелодии? У меня есть название: «Гимн Любви». Эту песню могу написать только я. Она звучит у меня в ушах, у меня от нее бьется сердце. Это ведь для Марселя. Жаль, что, кроме названия, у меня ничего нет. Не могу ничего найти…

— Послушай, Эдит, мне кое-что пришло в голову:

Если когда-нибудь жизнь оторвет тебя от меня,
Если ты умрешь, если ты будешь далеко,
Мне не важно, будешь ли ты. меня любить,
Потому что я тоже умру.

Перед нами откроется вечность.
В синеве бесконечности,
В небе, больше не будет проблем.
Бог соединяет любящие сердца.

— Тебе нравится?

— Ты это сочинила вот так, сразу? Я ответила «да», но это была неправда. Эти стихи вертелись у меня в голове уже несколько дней, но я не знала, что с ними делать, и потом, у меня не было продолжения…

Эдит схватила бумагу, карандаш и — полный вперед! Так родился «Гимн Любви».

У Эдит были хорошие мысли, прекрасные образы. Уже в своих первых письмах к Жаку Буржа она писала: «…итак, до свидания, мой прирученный солнечный луч…» Но у нее не хватало терпения, ей всегда все нужно было — вынь да положь. А сочинять сюжет, куплеты ей надоедало. У меня же терпение было, и я ей помогала. Эдит многому научилась, а я ведь шла следом за ней, на буксире. То, чем мы обладали, не было настоящей культурой, но мы уже не были невеждами.

Когда удавалось хотя бы вчерне закончить песню, Эдит звонила Гит в любое время дня и ночи: «Алло, Гит? Это я, Эдит. Я сейчас к тебе еду».

Гит, так же как и мы, не имела представления о времени. Она ни разу не сказала «нет». Мы наспех одевались, и, так как идеи обычно осеняли Эдит в тот момент, когда она накручивала волосы, она повязывала платок на голову, и мы отправлялись. Едва ввалившись, Эдит прочитывала Гит свою заготовку. Та слушала, уже положив руки на клавиши. И тут же из-под них начинала литься мелодия, на которую текст ложился, как перчатка. Это было тайной, известной ей одной.

На следующий вечер, после того как была написана музыка к «Гимну Любви», Эдит, склонившись над столиком, сказала Марселю: «Я написала для тебя песню, и ты первый, кто ее услышит». И она ее спела. Можно верить или не верить, но равнодушным оставаться было нельзя.

Потом она сказала: «Я готовлю концерт в зале Плейель. И чтобы все в этом концерте исходило от тебя, я хочу, чтобы ты сказал мне, в каком порядке расположить мои песни».

Только профессионал может понять, какая это ответственность. Успех программы, а тем более сольного концерта, во многом зависит от того, в каком порядке песни следуют одна за другой; они должны оттенять, поддерживать друг друга. Особенно трудно найти места для новых, еще не исполнявшихся вещей.

Никогда я этим не занималась. Я перестала спать. Днем я составляла и переставляла свой список. А вечером вносила в него изменения в зависимости от реакции Эдит.

«Это не так плохо, Марсель, ты умница… Ты думаешь, так будет хорошо?.. Боюсь, ты ошибаешься. Я бы сделала, скорее, так… Ты говоришь «да»? Видишь, я была права!»

Кроме порядка песен Марсель должен был ей указать места, где давать ложный занавес и как поставить освещение.

В тот вечер, в январе 1950 года — я никогда не потею,— я была мокрой как мышь. Сольный концерт в зале Плейель! Впервые песни улиц в храме классической музыки! Что это было: смелость или наглость?

Вот уже два дня, как Лулу нам говорил: «Девочки, у меня не осталось ни одного откидного места!»

Цветы и телеграммы непрерывным потоком доставлялись в гримерную Эдит. У меня кончилась вся мелочь, которой я запаслась, чтобы платить разносчикам.

— Эдит, у меня больше ничего нет.

— Ну так давай бумажные деньги.

Я стала их раздавать, как билеты на метро…

Перед выходом Эдит на сцену я ушла из кулис. Я хотела присутствовать при подъеме занавеса. Зал был переполнен. Он дышал единым горячим дыханием. Гул голосов походил на шум моря, глубокий и величественный.

Огни погасли, и воцарилась тишина. Поднялся занавес из красного бархата. За ним был второй, цвета опавших листьев. Его повесили, чтобы уменьшить сцену, которая была слишком велика для Эдит, боялись, что ее не будет слышно.

Голос ее был таким сильным, что сразу, словно большой орган, заполнил огромный зал. Эдит запела «Песню в три такта». Она стояла не двигаясь, слегка раздвинув ноги, крепко уперев их в пол, сцепив руки за спиной, вся превратившись в голос.

Эдит спела: «Его руки», «Маленького человека», «Мне все равно», «Причал», «Меня преследует на улице мужчина», «Голубую песню», «Гимн Любви», «Аккордеониста»…

Я знала все песни наизусть, но у меня было впечатление, что я никогда их не слышала. Это продолжалось более двух часов.

В антракте я проскользнула в толпу, густую, как в метро в часы пик, и услышала: «Поразительно!» — «Ее пение потрясает!» — «Никогда ничего подобного не слышал!» — «Великая певица!»

Эти слова звучали у меня в ушах, в голове. Я побежала к Эдит, чтобы вывалить их перед ней, как можно вывалить на мостовую тележку, полную цветов. Я, кажется, плакала. А Эдит смеялась, смотрела на меня, как если бы мы были вдвоем в ванной, и говорила: «Успокойся, Момона, ну ведь не ты поешь!»

Мистенгет сказала: «После первой песни восклицают «А!», после второй — «О!», после третьей хотят уйти, на четвертой плачут, а потом не замечают, как доходят до двадцатой!»

Поскольку эти слова сказала «Мисс», к ним стоило прислушаться!

Когда все ушли, Эдит посмотрела на меня: «Такого триумфа у меня еще никогда не было, а Марселя со мной нет! И слова любви мне никто не скажет, кроме столика…»

Тут уж я не выдержала и зарыдала так, что не могла остановиться.

Песня была жизнью Эдит. Она давала ей все, но делала ее более одинокой, чем может быть одинок любой другой человек. Это одиночество людей ее породы, одиночество великих. Оно душит мертвой хваткой, наносит удар под дых: такое одиночество наступает после аплодисментов.

«Момона, публика — горячая черная яма. Она втягивает тебя в свои объятия, открывает свое сердце и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься ее любовью, а она — твоей. Она желает тебя — ты отдаешься, ты поешь, ты кричишь, ты вопишь от восторга.

Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Ты, еще распаленная, идешь в свою гримерную. Они еще твои… Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо.

А потом улицы, мрак… сердцу становится холодно… ты одна…

Зрители, ждущие у служебного выхода, уже не те, кто был только что в зале, они стали другими. Их руки требуют. Они больше не ласкают, они хватают. Их глаза оценивают, судят: «Смотрите-ка, а она не так хороша, как казалось со сцены!» Их улыбки как звериный оскал… Артисты и публика не должны встречаться. После того как занавес падает, актер должен исчезнуть, как по мановению волшебной палочки!»

То, что она говорила, я уже чувствовала. Публика ее ждала, приветствовала. А когда наше такси заворачивало за угол, Эдит брала меня за руку со словами: «Ну вот, Момона, опять нам коротать вечер одним…»

Мы возвращались и ужинали вдвоем. Так было не всегда. Но после смерти Марселя люди стали избегать дом в Булони, потому что у Пиаф больше не веселились!

За последний трюк, который выкинул столик, ответственность лежала не на мне. Он сообщил:

— 28 февраля: новость.

— Хорошая?— спрашивает Эдит.

— Да.

Больше в этот вечер мы ничего не узнали. Назавтра столик повторил:

— 28 февраля — сюрприз.

— Марсель, ты это уже сказал.

— 28 февраля.

— Я поняла, а дальше?

Эдит вцепилась в стол, грозила, умоляла, но он был из дерева.

Что-то должно было произойти четыре месяца спустя после смерти Марселя, день в день! Кто и зачем использовал эту дату? Кто крутил столик?

Позднее я узнала, что это была мадам Бижар. И она поступила правильно.

В ночь с 27-го на 28-е я не сомкнула глаз. Я хотела узнать новость первой и защитить Эдит. В восемь часов утра раздался звонок в дверь.

Принесли телеграмму. Как всегда, вскрыла ее я. Эдит боялась телеграмм, никогда их не вскрывала — за исключением тех, что получала после премьер.

«Приезжайте. Жду вас. Маринетта».

Значит, вот что должно было произойти 28 февраля! Уже давно Эдит хотела встретиться с Маринеттой, познакомиться с сыновьями Сердана. Она была уверена, что это неосуществимо, и вот сегодня жена Марселя сама ее зовет!

Я ни секунды не стала ждать, разбудила ее и прочла телеграмму. Я даже не знала, достаточно ли она проснулась.

Это были волшебные слова. Эдит вскочила. Мы похватали в охапку пальто и зубные щетки, и вот уже сидим в самолете, летящем в Касабланку…

Маринетта приняла нас очень хорошо. Они расплакались, расцеловались. Тот, кого они прежде не могли поделить, теперь объединял их. Не прошло и суток, как мальчики Марсель, Рене и Поль звали Эдит «тетя Зизи».

Мы привезли с собой обратно в Булонь Маринетту, ее сестру Элет и троих мальчишек. Места у нас хватало. Они пробыли в Париже некоторое время. На посторонний взгляд, это, может быть, и выглядело несколько необычно, но я не так уж была удивлена. Я привыкла. Эдит никогда ничего не делала, как все. Она поступала по велению сердца. Оно приказывало, она слушалась. Всю жизнь Эдит стремилась за ним угнаться. Ей

хотелось, чтобы Маринетта была самой красивой. Она ей заказала у Жака Фата очень элегантное платье, подарила к нему песцовую накидку с капюшоном и была в восторге.

«Посмотри, Момона, какая она красивая!»

Это было правдой. Но это был тот редкий случай, когда Эдит проявляла расположение к женщине.

«Момона, как Марсель должен быть доволен! Я спрошу у него вечером…».

Маринетта не осмелилась присутствовать на наших сеансах, и Эдит предпочла ее не приглашать. Она хотела сохранить Марселя для себя.

Мы таскали с собой повсюду этот несчастный столик в течение трех лет. Он весь расшатался оттого, что стучал ножками. Его сто раз склеивали, ему сшили чехол. Первое, что мы брали с собой, отправляясь в путь, был этот столик. В театре он ждал Эдит в гримерной. Иногда она его притаскивала за кулисы, особенно в дни премьер. Он стал чем-то вроде талисмана. Когда Эдит стучала по дереву, она стучала по крышке столика.

Эдит с детства верила в чудеса. И была права. До самого конца ее жизнь была не чем иным, как чудом. У нее была душа ребенка. Она любила красивые истории. Когда ей их рассказывали, она широко открывала глаза, складывала руки на коленях и слушала как зачарованная. Потом говорила: «Не может быть, так не бывает, но как это прекрасно!»

Примерно так было и со столиком. Приятно было разговаривать с Марселем каждый вечер, задавать ему вопросы. В конце концов она в это верила и не верила, но не могла без этого обойтись.

В течение трех лет почти каждый вечер, вернее каждый раз, когда я была возле нее, Эдит засыпала только после того, как слышала все те ласковые слова, которые ей говорил Марсель, когда они оставались наедине, и которые знала я одна. И для нее это было чудом!

Но в один прекрасный день столик замолчал. Марсель окончательно оказался по ту сторону… Он ей сказал: «Сегодня вечером — конец. Может быть, когда-нибудь позднее…»

Я не любила Булони. И не потому, что было мало места, а потому, что было много! Однако начало в этом доме было хорошим. Эдит была счастлива, когда покупала его.

«Подумай, Момона, дом в стиле Директории! Даже булыжники во дворе того времени! И у нас есть конюшни! Впервые мы живем в собственном доме. Эти стены мои. Могу их взорвать к черту, если захочу! Больше я не нищая. Я домовладелица, собственница!»

Декоратор обставил дом в соответствии со своими собственными представлениями о роскоши. Комната Эдит была королевской: стены обтянуты муаром цвета лаванды, мебель — в стиле Директории — из вишневого дерева.

Эдит показывала свой дом, как гиды показывают замки: «Вот моя комната,— говорила она, открывая дверь.— Стены обиты шелковым муаром. Красивая, правда?» Но ее гордостью была ванная комната, выложенная черной и розовой мозаикой.— Чтобы войти в ванну, нужно было спуститься на две ступеньки.

«Пусть я не буду купаться, но устрою моим рыбкам бассейн!»

И она действительно пустила туда золотых рыбок. Она находила, что они красиво выглядят на черном фоне. Но скоро передумала, решив, что рыбки в доме приносят несчастье.

Переустройство дома ограничилось комнатой Эдит, ванной и кухней. В наше отсутствие у декоратора кончились деньги, и он остановился. А когда мы вернулись, у Эдит уже сердце не лежало ни к дому, ни к чему-либо еще. В знаменитой гостиной, предназначенной служить спортивным залом для Марселя, ничего не было, кроме рояля и двух полотняных шезлонгов. К ней примыкала столовая, облицованная мрамором, и тоже без мебели. Все вместе было так огромно, что Эдит всерьез высказывала мысль, а не стоит ли здесь передвигаться на роликовых коньках?

«Послушай, а если вместо войлочных тапочек, которые мещане всегда держат в прихожей, чтобы не портить паркет, мы будем держать в вестибюле роликовые коньки?»

Как это похоже на нее! Она вполне была на это способна, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как люди будут это воспринимать.

Для друзей, которые оставались ночевать, Эдит купила несколько диванов-кроватей и расставила их по всем комнатам.

При входе находилось помещение для консьержки. Эдит его хорошо обставила, там была кушетка, стол и кресла. «Раз я стала домовладелицей, мне нужна сторожиха, чтоб открывала мне дверь. Тогда не буду носить ключи! И я хочу, чтобы ей здесь было удобно».

Все получилось наоборот, но очень кстати: консьержку мы

так никогда и не завели, а в ее комнате поселилась Эдит. Обитая шелком спальня, черная с розовым ванная комната — это были декорации. И долго наш столик на трех лапках царил среди простой ореховой мебели.

Из посуды у нас ничего не было: ни сервизов, ни бокалов, ни столового серебра. Несколько тарелок, разрозненные приборы, вместо рюмок стаканчики из-под горчицы. Нам было наплевать. Мы перекусывали в кухне по-домашнему под присмотром Чанга, который все еще работал у нас и скрывался в буфетной, чтобы его оставляли в покое. Много позднее, когда Эдит стала устраивать большие приемы, она все брала на прокат в специализированной фирме — от стульев до официантов.

Ванная комната продолжала служить нам гостиной. Уж не знаю, столик ли был тому виной, но Эдит вдруг стала верить в переселение душ. И теперь, когда я подавала ей зажимы для укладки волос, она рассказывала мне о своей предыдущей жизни. Этим она была обязана Жако (Жаку Буржа). Этот человек знал все. Когда Эдит хотела что-нибудь узнать, она ему звонила. Как-то она у него спросила: «Слушай, Жако, ты веришь в переселение душ?» Он не сказал ни да ни нет. Раз он не сказал Эдит, что это глупость, она железно поверила и решила, что в предыдущей жизни была Марией-Антуанеттой, а я — мадам де Ламбаль.

«Я много думала. Я не могла быть никем иным, кроме Марии-Антуанетты. Вылитый мой характер! Я бы тоже устраивала праздники по поводу и без повода! Ее упрекали в том, что она швырялась деньгами, но какой смысл быть королевой, если тебе надо считать каждый грош, как простой хозяйке! А у красавца Ферзена, уверена, были голубые глаза… Знаешь, как «у всех парней с Севера»…[42] Раз я была Марией-Антуанеттой, то ты кто же? Только мадам де Ламбаль!»

Для Эдит все это было абсолютно серьезно. Она утверждала:

«Никакого сомнения! Только с ними двумя мы можем сравниться! Тебе кто-нибудь еще приходит на ум?»

Мне на ум приходило другое: то, что голову этой бедной мадам Ламбаль преподнесли на конце копья ее королевской подружке! У меня мурашки бежали по спине. Я, скорее, думала, что наши с Эдит предки ходили босиком и с голым задом, сморкались в сторону и пели «Карманьолу». Кроме того, я не очень хорошо понимала, почему, если во времена Людовика Капета наши предки были на его стороне, они сохранили головы

на плечах.

Напрасно Эдит мне говорила:

— Тут нет никакой связи, Момона. Перевоплощаться можно в любого человека. Жако мне все точно объяснил, это зависит от количества грехов. Если их было много, в следующей жизни приходится искупать…

— Ничего себе! Сколько же мы должны были накопить грехов, пока были при деньгах!

Вот уж я посмеялась, когда Эдит, снимаясь в фильме Саша Гитри «Если мне расскажут о Версале…», пела «Карманьолу»! Куда ее шарахнуло от Марии-Антуанетты!

Зато она дала мне достойный ответ: «Если бы она поступала, как я, и тоже бы ее пела, она сохранила бы свой котелок!»

Все эти глупости занимали время, но одиночество тяготило Эдит. Каждый раз, когда у нее не было любимого мужчины, ей было плохо.

Несмотря на столик, в течение нескольких недель мы буквально сходили с ума. На Эдит вечерами накатывала темная волна ярости, ей не сиделось дома. Мы отправлялись шляться на пляс Пигаль. Она любила возвращаться на старые места. Эдит каталась круга два на карусели, покупала два пряника с именами «Эдит» и «Симона». Заканчивался обход у Лулу на Монмартре, теперь — в качестве посетительниц. Там мы всегда находили себе мужиков для постели. Мы их привозили домой. Наутро не помнили даже имен. За месяц через нашу спальню их прошло десять, а может, двенадцать… Может, больше…

Когда нас не сопровождал никто из мужчин, мы ходили в «Лидо»[43] вдвоем. Заказывали шампанское и приглашали за свой столик танцовщиц. Им было лестно общество Эдит Пиаф.

Она им говорила: «Поехали ко мне, приготовим жареную картошку».

Они смеялись, думали, Эдит шутит. Но она говорила всерьез. Они ехали с нами, были очень милы и готовили фриты. Их надо было обильно запивать, естественно, вином. Эдит давала танцовщицам деньги, чтобы компенсировать потерянный вечер. Все смеялись, и мы шли спать.

На следующий день Эдит мне говорила: «Момона, я опять дурила. Но не могу я одна возвращаться в этот сарай».

Мы были в таком плачевном состоянии, что однажды она захотела снова петь на улице. «Давай, Момона, оденемся похуже и «сделаем» хоть одну улицу, у меня плохо на душе».

Она бросалась в улицу, как другие — в материнские объятия. Удивительно то, что ее никто никогда не узнавал. Люди не могли себе представить, что это могла быть Эдит Пиаф. Мы слышали

замечания вроде: «Смотри-ка, подражает Пиаф!» — «Все-таки сразу видно, что это не она!» — «Какая разница!»

Мы смеялись. Но ни разу нам не встретился Луи Лепле, чтобы предложить ангажемент. А ведь то, что делала эта уличная певица, было прекрасно!

Ей все настолько осточертело, что мы на неделю переехали в «Кларидж». Досталось им за те деньги, которые мы им заплатили! В эту неделю Эдит пила, как никогда. Даже столик, который мы с собой перетащили, бессилен был ее остановить. Она давала страшные клятвы — типичные клятвы пьяницы. И всегда находила веские поводы для выпивки. Однажды, увидев, как она бросает взгляды на бутылку, я ей сказала:

— Ты же дала клятву!

— Правда! Но я вспомнила! Я клялась не пить в комнате, а не в ванной!

И она отправилась туда набираться. В другой раз клятва давалась не пить в «Кларидже», а Елисейских полей она не касалась… Когда все варианты были исчерпаны, она восклицала: «Но, в самом деле, Момона, я не имела в виду, например… Бельгию!» И мы садились в поезд, чтобы она напилась в Брюсселе.

Примерно так однажды утром, часов в шесть-семь, мы возвращались к себе на четвереньках. Какой-то уборщик мыл холл или коридор — точно место я, естественно, не помню. Эдит подала мне знак: «Сюда!» И обе мы влезли ногами в ведро с водой. Не понимаю, как мы могли в нем уместиться. Это освежило нам лапы. Эдит вылезла из ведра первая. Я за ней. Она говорила: «I am a dog…»[44] Я повторяла: «i am a dog…» И поскольку мы были собаками, мы весело задирали лапки у колонн. Как нам удалось держаться вертикально, мне непонятно до сих пор… Перед лифтером, ночным дежурным, швейцаром, горничными… всей компанией.

В конце концов мы приземлились в своем номере. И моя чертова «тетя Зизи» не нашла ничего лучшего, как устроить истерику: ей, видите ли, нужно, чтобы вокруг были люди. Не важно кто, но — люди!

Она сорвала с постелей простыни, начала рвать их на куски. В первый раз я так испугалась, что почти протрезвела, во всяком случае, достаточно для того, чтобы сообразить: «Она покончит с собой! Она сошла с ума!»

Я стала нажимать на все кнопки, стала орать в телефоны: «Мадам Пиаф умирает!» Нагнала на них страху: такой респектабельный отель… чтобы у них такое случилось… Прибежали все в мгновение ока. И вокруг нее оказались люди!

Вызвали врача. К его приходу она уже лежала в постели,

бледная как смерть. Доктор выписал кучу рецептов. Посыльный галопом полетел в аптеку. Но стоило лекарю отвернуться, как она заказала шампанского, чтобы угостить всю прислугу!

Ей этот фокус настолько понравился, что она его повторяла несколько раз.

В «Кларидже» Эдит оставила по себе память… не совсем хорошую. Но я ее понимала.

Никогда сердце Эдит так не нуждалось в любви. Но кто в нем мог занять место Марселя?

«25 мая 1963 года

Моя Эдит,

Едва выбравшись из когтей смерти, сам не понимаю, как это удалось (это наш секрет), спешу тебя обнять, потому что ты одна из тех семи или восьми человек, о которых я с нежностью думаю каждый день.»

Жан Кокто

Часть вторая

Глава тринадцатая. В Булони никто не задерживается

Булонь — символ всего— временного. У нас не было ничего прочного, ничего стоящего. Не знаю почему, но мужчины, которые нам встречались в то время, все были женаты. Может быть, уже наступил такой возраст. Некоторые из них привлекали Эдит только своим талантом (у нее на это было чутье), как Шарль Азнавур или Робер Ламурё.

Робер относился к числу тех, кого Эдит называла «метеорами». Они проносились в ее небе, вспыхивали, падали, от них не оставалось ничего, кроме холодного камня, и о них больше не вспоминали. Так пролетел и Робер Ламурё. Это было чисто профессиональное знакомство. Он притащился однажды: симпатичная физиономия, высокий рост, тощая фигура и слишком длинные ноги. На нем был пиджак в еще более кричащую клетку, чем тот, в котором выступал Ив Монтан в «Мулен-Руже». А я когда-то думала, что ярче, чем тот «вырви глаз», не бывает!

Как и многие другие, он пришел предложить песни. Все начинали с этого. Чтобы увидеть Эдит, не нужно было рекомендаций, достаточно было сказать, что вы принесли песню!

Он сразу понравился Эдит: «У него есть талант. Он сделает карьеру. Я помогу ему выйти в люди!» Что она и сделала несколько месяцев спустя.

Робер не желал лучшего, как перейти от профессиональных отношений к другим, более интимным. Мне бы это понравилось, он был славный парень. И потом, его улыбка до ушей была такая веселая и смешная, что хотелось бежать с ним на танцы, на карусели, туда, где праздник и шум! Он был создан для этого.

Эдит была совершенно в его вкусе. Если этого не произошло, то не потому, что он слишком деликатно за ней ухаживал. Он решительно бросился в атаку, и у него было море обаяния, но Эдит интересовал лишь его талант. На остальное у нее не было аппетита — окончательно и бесповоротно!

То же самое произошло и с Шарлем Азнавуром. У них всегда были только профессиональные отношения при всем том, что оба флиртовали направо и налево.

Однажды кто-то сказал Эдит: «Я набрел на очень забавное местечко — «Маленький клуб» на улице Понтье. Ребята там прекрасно импровизируют. Поют, играют на рояле. Вообще, очень

симпатично». «Пошли»,— сказала Эдит. Если ей чего-нибудь хотелось, она была легка на подъем.

Действительно, обстановка оказалась очень приятной, можно сказать, семейной. Там были Франсис Бланш, тонкий, как струна, с которым мы быстро подружились и который позднее написал для Эдит чудесную песню «Пленник Башни»; Роже и Жан-Мари Тибо[45]; Дарри Коул, великолепно игравший на рояле, и трудность заключалась не в том, чтобы усадить его за инструмент, а в том, чтобы вытащить из-за него, дуэт Рош и Азнавур.

— Как они тебе?— спросила меня Эдит.

— Так себе.

— Ты не права. Маленький, с кривым носом,— личность. У него все задатки.

Не успела она с ним поговорить и десяти минут, как без всякого стеснения заявила:

— Слушай, с твоим носом нельзя лезть на сцену. Его нужно сменить.

— Что это вам — колесо от машины? У меня нет запаски.

— Поедем со мной в Америку, я тебе там сделаю другой!

Поездка предстояла примерно через полгода. Шарль не поверил своим ушам. Я тоже, несмотря на то, что это мы уже «проходили». Она с ним только что познакомилась и уже говорила о поездке в Америку! «Надо к нему приглядеться,— сказала я себе,— наверное, в нем что-то есть». На первый взгляд он не подходил по мерке к мужчинам, которые нравились Эдит, и глаза у него были не голубые. Тогда что же?.. Я это узнала тут же.

— Слушай, вот ты пишешь песни. Та, что ты пел, «Париж в мае», действительно твоя? У тебя талант.

Вот оно что! Она унюхала, что он может писать для нее.

Насчет его дуэта она тоже сразу поставила все точки над i.

— Пустой номер. Дуэты давно вышли из моды. Твой друг Пьер Рош не плох, но ты из-за него проигрываешь. Теряешь индивидуальность, хоть он и недостаточно силен, чтобы подавить тебя полностью. Так вы далеко не уедете.

Шарль огорчился, он очень любил Пьера и всегда был верным в дружбе.

— Вы должны расстаться.

— Не могу. Может быть, позднее… Он, наверное, уедет в Канаду. Когда вернется, будет видно!

Не прошло и недели, как Шарль уже обосновался в Булони на диванчике, где было бы тесно и тринадцатилетнему мальчишке. Устраивая его, Эдит сказала: «Тебе, как и мне, много места не надо».

Так был задан тон их отношениям. Как началось, так и пошло. Шарль подначивал «тетушку Зизи», она ему ничего не спускала. У него был режим «особого благоприятствования», как у меня. Я была сестренка на все руки, а он был мужчина на все руки. Все определилось очень быстро. Не успел он осознать, что живет у Эдит, как уже водил машину, носил чемоданы, сопровождал ее. С утра до поздней ночи только и слышалось: «Шарль, сделай это… Шарль, сделай то… Шарль, ты позвонил?.. Шарль, ты написал песню?..»

«Мне пришли в голову две-три новых мысли, Эдит». От подобного ответа Эдит, которой только нужен был повод, сразу взрывалась: «Ты уже счет потерял, сколько песен ты начал, а до конца –не довел ни, одной! Не умеешь — не пиши! Смотри, если увижу, что пишешь,— глаз не спущу, пока не закончишь».

Логика Эдит!

Чтобы она его не терзала, Шарль старался не попадаться ей на глаза. Он писал, забившись куда-нибудь в уголок. Так как он никогда не был собой доволен, то повсюду бросал клочки бумаги, которые я подбирала. Я до сих пор их храню.

Шарль тем не менее писал для Эдит песни и вкладывал в них всю свою душу и талант. Но ничего не получалось. С песнями, как и с мужчинами, Эдит должна была испытать внезапность восхищения. Она пела лишь несколько песен Шарля: «Идет дождь», «Однажды», «Дитя», «Голубее твоих глаз».

Как-то вечером Шарль дал ей песню «Я ненавижу воскресенья».

У Эдит был один из черных дней. «Это для меня? Ты что, думаешь, я буду петь это г…?» Далее последовал избранный отрывок из ее репертуара, прославившего ее от Менильмонтана до Пигаль.

— Значит, вы ее не берете,— спокойно заключил Шарль.— Я могу делать с ней что хочу?

— Можешь засунуть ее себе в…

Шарль потихоньку отнес песню Жюльет Греко, которая тут же включила ее в свой репертуар.

Узнав об этом. Эдит стала метать Громы и молнии:

— Шарль, подойти-ка на минутку. Значит, ты теперь отдаешь мои песни Греко?

— Но Эдит, вы же сказали, что она вам не нужна!

— Я? Я тебе это сказала? Ты меня за дуру держишь? Разве ты мне сказал, что отдашь ее Греко?

— Нет.

— Значит, ты считаешь, что меня можно обойти? Меня? Я тебе прочищу уши…

Нет, логика Эдит валила с ног…

В работе с Эдит Шарль начал не с той ноги. Он все время говорил ей «да». В этом была ошибка. Ей нельзя было во всем поддакивать. Нужно было лавировать, мириться с ее фантазиями, но уметь противостоять ей, когда речь шла о работе. Кричать она кричала, но уважала.

Нужно было уметь схитрить, чтобы не быть проглоченным. Но на это Шарль не был способен. Он был слишком честен, слишком чист. Он испытывал к ней такое чувство восхищения, что, как бы она его ни тиранила, он только говорил: «Эдит самая великая, она на все имеет право!»

Как морковкой размахивают перед носом осла, так Эдит говорила ему все время о поездке в Америку: «Тебе будет полезно поехать туда. В шоу-бизнесе они понимают больше всех!» Шарль поднимал брови, у него округлялись глаза, и с видом «собаки, которой видится жаркое», он слушал рассказы Эдит о ее поездках за океан, о ее выступлениях.,.

За ее спиной он меня спрашивал:

— Ты думаешь, она меня возьмет?

Как я могла ручаться?

— Может быть, если будешь себя хорошо вести…

Он смеялся.

— Чтобы ее уговорить, я даже не могу сказать ей, что буду делать все, что она захочет. Я давно это делаю…

Если бы Шарль стал «господином Пиаф», все бы изменилось. Все его песни в мгновение ока стали бы гениальными. Ему бы устраивали сцены, но не тиранили, а если и тиранили, то по-другому! Я очень хотела, чтобы это произошло! С ним я была бы спокойна. И я подумала: может быть, их нужно друг к другу подтолкнуть?..

Однажды вечером, когда Эдит немного выпила и Шарль тоже, мы с друзьями решили раздеть Азнавура и положить его в постель к Эдит. Пока ребята возились с ним, я «обряжала невесту».

— Причешись поаккуратней… надушись… Надень красивую ночную рубашку, ту, ажурную…

— Чего ты сегодня так вертишься вокруг меня?

— Хочу, чтобы ты была красивой!

— Интересно, ради кого?

— На всякий случай…

— Ты думаешь, что ко мне спустится принц через каминную трубу?

Вхожу с ней в спальню. Никого! Постель пуста. Не выгорело! Шарль на это не пошел. Я думаю, он слишком любил Эдит. И главное, был слишком честен.

К счастью для всех нас, постели Эдит долго пустовать не пришлось.

Эдит выступала в «Баккара». Как-то вечером к ней в артистическую явился высокий крепкий парень, мускулы играли у него под кожей, и на совершенно немыслимой смеси из французского, английского и американского сленга объяснил ей, что написал ей английский вариант «Гимна Любви». Это было неглупо; Эдит дорожила этой песней.

У парня была симпатичная рожа, вся в крапинках. В детстве он перенес оспу, но теперь рябое лицо подчеркивало его мужественность. Приятная улыбка, открытый взгляд. Я сразу смекнула: «У этого парня есть шанс!» Загвоздка была в том, что из десяти слов, которые он произносил, мы с трудом понимали три.

— Ваша мысль,— сказала ему Эдит,— is very good.

— For you?

— No, not for me.

— I am very sorry.[46]

— Не нужно огорчаться. Все еще может получиться. Позвоните мне.

Парень прикладывает два пальца к шляпе — «закоренелый американский бродяга»!

— O.K. Tomorrow.[47]

Когда он ушел, Эдит расхохоталась от всего сердца. Уже много месяцев я не слышала, чтобы она так смеялась, тем смехом, который Анри Конте так хорошо описал в одной из своих статей: «Вдруг раздается громоподобный, великолепный, чистейший смех. Этот смех взрывается, разбрызгивается, заливает радостью все вокруг. Эдит Пиаф подходит ко мне, цепляется за меня и смеется, смеется так, что ей не хватает дыхания, кажется, она вот-вот задохнется, упадет тут же, на месте. Я вижу совсем близко ее удивительное лицо, выражение которого все время меняется. Вижу глаза, глубокие, как море, необъятный лоб, слышу этот потрясающий смех, который овладевает всем ее существом и звенит счастьем оттого, что, вырываясь наружу, проходит между ее зубами, острыми, как у маленького зверька…»

До чего же хорошо было услышать этот смех! Мы выходили из мрака. Я готова была расцеловать этого парня.

— Ну, с этим, во всяком случае, не придется разводить антимонии. Как его зовут, Момона?

— Я не поняла.

— Ничего, скоро появится.

Назавтра раздается телефонный звонок, и я говорю Эдит:

— Какой-то Эдди Константин хочет тебя видеть.

— Не знаю такого. Чего он хочет?

— Показать тебе песни.

— Пусть приходит.

Через минуту мы о нем забыли. Днем позвонили в дверь.

«Шарль, пойди открой»,— крикнула Эдит.

Шарль появился в сопровождении американца, приходившего с «Гимном Любви». Понадобилось некоторое время, чтобы разобраться, что это и есть Эдди Константин. Из-за своего акцента он побоялся, что его не поймут по телефону и попросил, чтобы вместо него позвонил приятель.

Так в жизнь Эдит вломился Эдди Константин. Под внешностью гангстера скрывалось очень чувствительное сердце. Он интуитивно угадал, как нужно ухаживать за Эдит.

— Момона, знаешь, этот парень умеет быть очень нежным. Он мне сказал, что у него ко мне страсть-дружба… Правда, мило?

— И ты сумела его понять?

— Стараюсь… Знаешь, «Гимн Любви», песни — это все уловки, чтобы встретиться со мной. Чем он, по-твоему, не похож на других?

Ничего особенного я в нем не находила. Но Эдит любила, чтобы я обнаруживала у ее мужчин исключительные качества, которых не было ни у кого. Клетки моего серого вещества закопошились, как муравьи в муравейнике. Я хотела, чтобы возле нее наконец был мужчина. Это было необходимо. Внешне этот парень ей подходил, в отношении же всего остального приходилось идти на риск! Поэтому я за словом не постояла: «У этого парня, Эдит, есть душа…»

Души у нас еще не было! Она осталась довольна.

Во всяком случае, у него было то, в чем так нуждалась Эдит: две руки, которые могли ее крепко обнять.

Переход «власти из рук в руки» происходил просто. Мужчина, как турецкий паша, возлежал на постели, а Эдит говорила горничной или уборщице, в зависимости от того, какую прислугу мы в то время имели: «Я вам представляю вашего нового патрона».

Для этого нужно было, чтобы он продержался хотя бы две недели. О том, что это не проходной эпизод, легко определялось по медальону, чаще всего со святой Терезой из Лизье, болтавшемуся у него на шее. Если он не был католиком, имел право лишь на знак зодиака. На ночном столике валялись запонки, часы и зажигалка от Картье. Брошенные на стуле шмотки были хорошего качества, но таких цветов, что на них невозможно было смотреть, не то что носить! Галстуки, как говорится, «в тон»! И покупались дюжинами…

Эдит одевала своих мужчин по своему вкусу. Их собственный

ее не интересовал. Она выбирала фасоны костюмов, ткани, цвет. И была уверена, что в ее одежде они прекрасны. Иногда так и получалось, но чаще выходило нечто ужасное.

Все же курток немыслимых расцветок у них бывало всего одна или две, а все остальное она им заказывала голубого цвета. Это был ее любимый цвет для мужчин.

Шарль Азнавур рассказывал: «Всегда легко было узнать того, кого Эдит любила в данный момент. Если они вместе куда-нибудь шли, на нем всегда был голубой костюм. Однажды она пригласила к себе нескольких «бывших». Чтобы доставить ей удовольствие, все пришли в голубом! Их было восемь! Выглядели как любительская команда! Эдит, не страдавшая отсутствием юмора, наклонилась ко мне и сказала: «Однако ! Особенно я себе голову не ломала!»

А обувь! Туфли им полагались очень красивые, всегда из крокодиловой кожи. Только носить их было невозможно, потому что у Эдит было твердое мнение: «Большие лапы — куриные мозги!» Выстояли только Сердан и Монтан, все остальные носили обувь хоть из крокодила, но на размер меньше! Своих мужиков она помучила.

Да, она была деспотична, невозможна, в жизни трудна, но только по мелочам. По большому счету они вертели ею как хотели! Она покупала себе право на мечту, в чем иногда отдавала себе отчет.

«Момона, знаешь, что больше всего обидно? Они любят не меня, не дочь папаши Гассиона. Если бы они ее встретили, головы бы не повернули! Они влюблены не в меня, а в мое имя! И в то, что я могу сделать для них!»

А пока что у нас был новый патрон. Весь дом ходил ходуном, царило безумное веселье. Как я была рада! У них с Эдит не было таких отношений, как с Ивом или с Конте, но он был приятным человеком. Он был приветлив, и от него не нужно было ждать подножек. По-своему он был даже честен.

В первый раз, когда он остался ночевать, он меня растрогал. Я вошла в ванную и увидела, что он стирает нейлоновую рубашку… Она у него была единственной. К счастью, положение скоро изменилось. В нашем хозяйстве рубашки закупались дюжинами.

У Эдди была симпатичная внешность, но кроме того, что он работал под гангстера, особого интереса из себя не представлял. Он верил в Париж, но Париж еще не поверил в него.

По происхождению австриец, Эдди родился в Лос-Анджелесе

в октябре 1915 года, в семье оперного певца. Его отец, дед, двоюродный брат, племянник — все пели. Ему не пришлось ломать голову при выборе профессии. Но его мечтой была серьезная музыка. У него был бас, и он блестяще закончил Консерваторию в Вене, даже получил премию.

Лопаясь от гордости, он вернулся в свою Калифорнию. Но там, видимо, если в чем и был недостаток, так не в басах, и ему сказали: «Подожди маленько! Чтобы у нас петь, одного желания мало. Займи-ка очередь». Видимо, у этой очереди был длинный хвост, так как только после того, как он научился продавать газеты, доставлять на дом молоко, стеречь машины на стоянке, ему удалось спеть на радио семнадцать раз в день текст, полный поэзии — о пачке сигарет. Он справился, и ему подкинули еще газированные напитки, жвачку, похоронные принадлежности. В том же жанре он обслуживал в эфире избирательную кампанию Рузвельта. А заодно и избирательную кампанию Дьюи — его соперника!

В рекламном тексте не развернешься. Все равно как в точном времени по телефону. Бесконечные повторы, никаких неожиданностей. А мальчику Эдди их хотелось! И вот он расстается со своей женой Элен и своей дочкой Таней и приезжает в Париж попытать счастья! Он считал, что после войны американцев в Париже любят. Что он американец, у него было на роже написано.

Он сунулся вначале на радио Пари-Интер, потом Люсьенна Буайе помогла ему устроиться в «Клуб де л'Опера». Он выступал недолго у Лео Маржан и у Сузи Солидор. Уж лучше, чем анонимно воспевать прелести жевательной резинки! По крайней мере он выходил на эстраду собственной персоной. Но деньги на него дождем не сыпались!

Как и для многих других, его шансом стала Эдит. У нее было поразительное чутье. Там, где еще никто ничего не замечал, она нюхом чуяла талант. Я просто руками разводила. Она судила не по внешнему вида', а смотрела в корень. Она точно предвидела, кем станут через пять-шесть лет обратившиеся к ней люди; и именно на это нацеливалась, когда начинала заниматься ими.

Ей всегда нравились мужчины, которые умели брать быка за рога. Константин — это, конечно, не Ив Монтан, но он тоже рвался в бой. С ним Эдит начала тоже с французского языка. Это было необходимо со всех точек зрения — какие уж тут беседы? Эдит терпеть не могла повторять два раза одно и то же! Ее полагалось понимать сразу, и чаще — с полуслова!

Хоть и на тарабарском языке, но Эдди все же удалось рассказать Эдит о своей жизни. Он от нее ничего не скрыл. Она

знала, что он женат, но расстался с женой Элен и что обожает свою дочь Таню. Окончательный разрыв с женой не вызывал сомнений — он никогда о ней не думал.

Эдит мне говорила: «Я рада, что он ушел от жены раньше, чем встретил меня. По крайней мере меня не будут обвинять в том, что я разбила семью! Он свободен, это уже хорошо! И вообще в Америке разводятся легко».

Вот так мужчины и обводили ее вокруг пальца. Она верила всем их россказням, заглатывала как ликер для дам: приятно, сладко и голову кружит.

Однажды к ней пришел молодой певец по имени Леклерк для прослушивания. Константин тоже присутствовал. Это были сплошные любовные серенады. Он обрушил на нас потоки любви. Мы плыли по ним всеми стилями: кролем, по-собачьи, баттерфляем — на все вкусы! Вдруг посреди песни Константин встает и выбегает со слезами на глазах. Эдит бросает все и сломя голову несется за ним, в полной уверенности, что Эдди выскочил как безумный, потому что наконец понял, как она его любит. Доказательство: он чуть не плакал!

— Догоняю его, Момона, и спрашиваю: «Что с тобой, любимый?» И представляешь, слышу в ответ: «Я вспомнил про Элен!»

Когда она вернулась, на ней лица не было: «В одно мгновенье, двумя словами! Но это мгновенье, Момона, надо было пережить!»

На ее долю выпал не один такой удар… Сколько ей причиняли боли…

За это она заставляла расплачиваться других, в частности, тем, что заставляла подчиняться собственным странностям. Например, мне она запретила есть масло. «Масло есть нельзя, потому что, когда оно касается неба, оно размягчает мозговую жилу, и человек теряет интеллект!»

Она, разумеется, не верила в эту чушь, но это ее забавляло. Ей нравилось, чтобы ей повиновались. Меня она не провела. Она сама не любила масла — вот в чем была зарыта собака! Она требовала, чтобы другие любили или не любили то же, что и она.

В ресторане она хватала меню и заказывала для всех. Иногда она этим пользовалась, чтобы отомстить. Через несколько дней после того, как душещипательные песни о любви вызвали слезы по бывшей супруге на глазах Эдди, мы большой компанией отправились в ресторан.

Эдит заказала десять порций ветчины с петрушкой. Это было ее новое гастрономическое открытие, и каждый вечер, хочешь не хочешь, все жевали одно и то же.

Константин попросил себе сосисок. Поскольку все смеялись, никто не обратил на это внимания. Когда Эдит увидела, что Эдди собирается спокойно навернуть что-то другое, вместо ветчины, она завопила: «Нужно иметь куриные мозги, чтобы жрать сосиски!» И отняла у него тарелку. «Вот, попробуйте»,— сказала она, обращаясь к другим. Каждый взял кусочек, съел и сказал: «Очень невкусно». Когда тарелка вернулась к Константину, она была пуста… И больше ничего он не получил.

Теперь в Булони нам больше не нужно было привозить танцовщиц из «Лидо» — народу толклось, как на ярмарке. Развлечений хватало. У каждого был свой сольный номер.

Эдит одновременно готовила свои четвертые гастроли в Америке и двухмесячное турне по Франции.

Пьер Рош не вернулся из Канады, и она решила до поездки в США взять с собой Шарля: «Я хочу посмотреть, как ты выглядишь один на сцене. Тебе это будет полезно». Излишне говорить, что Константин тоже вошел в состав команды.

В нашем доме в Булони работа кипела, как на заводе. Эдит, Константин и Азнавур — когда ему давали возможность — репетировали без передышки. Кроме того, здесь толклись музыканты, приятели: Лео Ферре со своей женой Мадлен, Гит, Робер Ламурё, забегавший мимоходом поухаживать за Эдит,— он не оставлял ее совсем в покое и был прав. И всякие незнакомые люди, которых я в жизни в глаза не видела и которые все говорили одно и то же: «Мадам Пиаф меня знает. Я ее друг». Я смеялась, потому что Эдит мне говорила: «Гони его в шею!»

В любой час ночи я варила кофе, жарила фриты, подавала вино, делала бутерброды. Все это было бы даже весело, совсем хорошо, если бы не мои собственные трудности. К несчастью, скоро они станут видны невооруженным глазом. Я была беременна. Мне еще повезло, что Эдит до сих пор ничего не заметила!

Это не было случайностью, я хотела ребенка, но не смела ей признаться. Однажды утром я решилась:

— Эдит, у меня скоро будет ребенок.

Я ждала гнева, но получилось хуже.

— Момона, это неправда! Ты не могла такое сделать!

Если бы у меня была настоящая мать, она произнесла бы именно эти слова.

Разумеется, она сейчас же сказала об этом Константину. Он встретил новость очень хорошо: «Но Эдит, это же very marvellous.[48] Очень. Ребенка посылает небо. Это very happy.[49] Он приносит счастье в дом. Для женщины новая жизнь в животе — это прекрасно, волнующе…»

Эдит смотрела на это по-другому. Она считала, что я обманула ее доверие. А что если я буду любить ребенка больше, чем ее?

Эдди по-мужски, терпеливо, не торопясь, разложил ей все по полочкам. Он нашел нужные слова. Две минуты назад она и слышать не хотела об ожидаемом ребенке, три минуты спустя она готова была разорвать меня за то, что я еще не родила. Все переменилось. Я всегда признательна Константину за то, что он сделал для меня в тот день. Ведь в конце концов его это не касалось!

«Твой ребенок, Момона, все равно что мой. Поэтому никаких глупостей, слышишь! Нужно быть очень осторожной. Красота и сила ребенка закладывается в животе матери. Чтобы он был красивым, ты не должна смотреть на то, что уродливо. И я сама буду следить за тем, как ты питаешься».

Она не ослабляла слежки ни на минуту. Когда мы были в кино, она брала меня за руку. И если решала, что зрелище недостаточно красиво, вредно для маленького, она мне ее сжимала. «Момона, не смотри, я тебе запрещаю!»

Все остальное было в том же духе.

«Пей пиво, будет больше молока!» — Проблема стояла остро. Я вообще не представляла себе, как буду кормить младенца — он мог бы в ротик засосать мою грудь целиком! По каплям, как из пипетки.

Все вокруг знали: Момона беременна и следует считать, что это хорошо.

Во времена Анри Конте Эдит устроила нам спектакль со своим желанием родить ребенка. Притворялась она и когда утверждала, что надо оценивать мужчину с точки зрения, хороший ли он бугай-производитель или нет! Но в этом была доля истины. Ей было горько оттого, что ее доченька умерла в нищете, а теперь, когда у нее полно денег, она не может иметь ребенка.

Она не упустила такого прекрасного повода, чтобы обратиться к столику и спросить у него, кто у меня будет: девочка или мальчик? И отважный столик ответил: «Мальчик. И нужно назвать его Марселем!»

Ввиду моего состояния Эдит навязала Шарлю еще одну обязанность: опекать меня.

«Шарль, пойди с Момоной. Я тебе ее доверяю. Береги ее как зеницу ока! Ты отвечаешь за нее и за маленького»!

И во всех кабаре, куда мы ходили, а пузо мое становилось все

больше и больше, Шарль подставлял мне стул, Шарль держал мою сумку, Шарль следил за тем, что я пью. «Ничего спиртного, ей вредно»,— приказала Эдит. Бедный Шарль, какая для него была скука — таскаться всюду с женщиной, у которой живот на нос лез! Бедняга, я связывала его по рукам. Но он все выносил.

Если, к несчастью, в присутствии Эдит Шарль забывал вдруг взять меня под руку на улице, раздавалось оглушительное: «Шарль!» Все прохожие оборачивались, как по команде, на этот знаменитый сильный голос. До последней минуты Шарль стоически нес свой крест.

За несколько дней до моих родов Эдит забеспокоилась: «Нельзя, чтобы это произошло в мое отсутствие. Если ты уверена в сроках, это должно случиться скоро. Причем роды могут начаться неожиданно. Я скажу Шарлю, чтобы всегда носил твой чемоданчик!» Теперь он должен был таскать не только меня, но и мои вещи! «Гордись!— говорила ему Эдит.— Ведешь под руку беременную женщину!» Предупредительность и ласковое внимание Шарля я никогда не забуду.

Приближение счастливого события ничего не изменило в нашей жизни. Эдит повсюду таскала меня с собой. Однажды в семь часов утра мы всей компанией весело вывалились из кабаре, как вдруг я остановилась как вкопанная.

— Все. Началось.

— Пошли,— скомандовала Эдит.

И мы отправились: я, тяжело опираясь на руку Шарля, затем Эдит с Эдди и остальные. Все вместе мы заявились в клинику. Несмотря на схватки, мне было очень смешно. Медицинская сестра обращалась к Шарлю с многозначительным «мсье», а он не мог ей сказать: «Вы ошибаетесь, мадам, я не отец!»

В жизни еще никто так не прибывал в родильный дом. Как будто ввалилась свадьба с пьяными гуляками…

Эдит величественно заявила сестре: «Мы — члены семьи». Уверена, что бедняжка никогда не видела подобного семейства!

Как только меня уложили в постель, «семья» вошла в комнату и Эдит властно сказала мне; «Мы тебя не бросим тут одну, так что поторопись — Момона, мне спать хочется».

Поторопиться… Я только этого и хотела, у меня от боли все плыло перед глазами. «А мы пока выпьем шампанского!..» — заключила Эдит.

Спасло родильный дом от погрома только то, что шампанского не оказалось… Эдит ушла, оставив на месте Шарля, чтобы он, чуть что, звонил.

Я управилась быстро. В десять часов утра (через три часа) я родила крупного мальчика, которого назвали Марселем; крестной

матерью была, разумеется, Эдит. Чертов столик не ошибся!

Я родила вовремя, Эдит уезжала в турне с Эдди и Азнавуром. Она хотела, чтобы я поехала с ней, но это было невозможно, я должна была заниматься ребенком. Каждый раз, когда я могла, я приезжала к ним на три дня.

Бедный Шарль, каким хождением по мукам было для него это турне! Я начала думать, может, у него призвание к мученичеству…

Константин все еще не избавился от своего чудовищного акцента, и о его успехах в провинции лучше было не говорить. Эдит рвала и метала, а попадало, конечно, Шарлю.

Он занимался всем: начиная от багажа Эдит и кончая ведением концерта. Вдобавок он открывал представление.

«Шарль, ты будешь выступать первым, потому что нужен за кулисами во время концерта».

И Шарль, без всякой репетиции, наспех переодевшись, бежал на всех парах на сцену, чтобы спеть свои песенки публике, которой он был нужен как прошлогодний снег. У него были провалы за провалами. И какие провалы! Можно было подумать, что его неудачи доставляли Эдит удовольствие. Если в какой-то из вечеров у него дела шли не так плохо, как обычно, назавтра Эдит ему приказывала:

— Сегодня выбросишь второй и четвертый куплеты из своей песни. Не будешь их петь.

— Но Эдит… от нее же ничего не останется,— робко протестовал Шарль.

— Мне лучше знать. Тебе нельзя долго торчать на сцене. Ты не нравишься публике.

И Шарль подчинялся, выбрасывал… Песня теряла смысл, а Шарль — почву под ногами. Эдит торжествующе провозглашала:

— Видишь, я была права. Даже в сокращенном виде твоя песня никуда не годится.

Шарль принужденно улыбался и объяснял мне: «Ничего. Я учусь ремеслу». И продолжал турне. У него был кров над головой, он был сыт и ухожен и писал песни. Ему не нужно было ломать голову, где бы перехватить бутерброд. Он именно этого и хотел. Он готовил себе будущее.

Однажды вечером, по возвращении в Париж, Шарль торжественно явился в новом черном костюме. Он считал, что выглядит шикарно, и был страшно доволен.

Эдит облила его ушатом холодной воды:

— Под меня работаешь?

— Но, Эдит…

— Замолчи. Такой же костюм я заказала Эдди. Как я появлюсь между вами двумя? Оба в черном, как из похоронного бюро! Вернись и переоденься.

И он послушался.

Разумеется, она не заказывала такого костюма для Эдди. Но она почувствовала, что в черном Шарль становится чем-то похож на нее, а этого она не могла допустить. Как певец он ее раздражал. «Стиль Пиаф хорош для меня. Для мужчины он не годится!»

Эдит была не права. Шарль никогда ни в чем не подражал ей. У всех, кого она создала, от Монтана до Сарапо, можно было найти жесты, интонации а ля Пиаф. Но не у Шарля. И тем не менее по существу он был к ней ближе всех остальных. Поэтому она лезла на стенку. Она знала, что после нее только один человек способен будет потрясать простых людей, брать их за сердце, выворачивать им душу, как умеет она. Это — Азнавур.

Я очень любила Шарля. Он был настоящим другом, одним из немногих, абсолютно честных с Эдит. Мы с ним друг друга понимали, может быть, потому, что родились под одним знаком: в первой декаде Близнецов. Во всяком случае, это нас сближало.

День отъезда в Америку приближался. Мы жили в полном трансе. Эдит метала громы и молнии. Шарль разрывался на части, но не терял бодрости и веселости. Он говорил: «Мне еще одеть шапку с колокольчиками, на ноги бубенчики, и буду я человек-оркестр!»

Я любила эту суету, неразбериху… было хорошо, радостно.

Эдит работала, пела, кричала, нападала на Гит, на Мишеля Эмера, Анри Конте, Реймона Ассо… словом, брала за грудки всех композиторов, кто ей попадался под руку. Она занималась английским с преподавателем, репетировала переведенные песни и учила наизусть маленькие тексты объявлений, которые должна была произносить по ходу спектакля. В промежутках она выступала то в ночном ресторане, то в мюзик-холле и таскала меня за собой к Жаку Эму и к Жаку Фату.

На этот раз она заказала себе двадцать семь платьев, манто, всякую ерунду и семнадцать пар туфель… Она решила, что я тоже должна быть на высоте: «Я повезу тебя к Жаку Фату, ты не должна выглядеть рядом со мной, как нищенка. Помнишь, Момона, я тебе говорила, что буду одевать тебя у лучших портных?» Я все помнила и наслаждалась тем, что смогу напялить на себя самые дорогие роскошные тряпки! Я заранее предвкушала, как прошвырнусь в них по Елисейским полям!

Предвкушать-то предвкушала, да вышло иначе. Несмотря на

то, что я уже называлась «матерью семейства», Эдит продолжала обращаться со мной как с молоденькой девушкой. По ее воле я носила сетку на волосах и не красилась. «Ты — как я, твой стиль — простота… У тебя лицо мадонны…» Раз я была как она — что могло быть лучше!

У Жака Фата, у Эма все ходили перед мадам Пиаф на задних лапках. Еще бы. Она оставляла у них миллионы за платья, которые не носила. Однажды у меня на глазах она за полчаса истратила на платья три миллиона! Когда покупки доставили на дом, она бросилась их примерять, но в другой обстановке ей показалось, что они к ней не идут: «Я не манекенщица, они на мне не сидят!» И платья остались висеть в гардеробе. В следующий раз все повторилось сначала. Эдит, всегда такая властная, твердо знающая, что ей надо, терялась, попадала под влияние продавца. «Понимаешь, Момона, великие модельеры знают свое дело».

Доказательства не заставили себя ждать.

Не успевали мы переступить порог у Фата, как начиналось кино: «Скорее, примерки для мадам Пиаф! Сообщите немедленно мсье Фату…»

Сплошные улыбки, ужимки и комплименты.

— Сегодня я выбираю не себе, а сестре. Она едет со мной в Нью-Йорк. Мы будем встречаться с людьми, ходить на приемы…

— Ну, разумеется, мадам Пиаф…— говорила продавщица.— Называйте меня мадам Ортанс.

Нам это напоминало публичный дом. Все вокруг кудахтали, щебетали, вертелись вокруг меня, присматривались, оценивали.

— Я вам ее вручаю,— величественно говорила Эдит продавщице Ортанс,— распоряжайтесь за меня. Я вам полностью доверяю!

Если кому-то и надо было доверять, то им в последнюю очередь! Они решали за меня. Я не имела права ни слова сказать.

— Это совершенно ваш стиль,— ворковали они, внутренне надрываясь от смеха, потому что не настолько потеряли чувство реального, чтобы не сознавать, что превращали меня в дрессированную собачку.

На последней примерке Эдит присутствовала сама. Когда меня вырядили как чучело, мне нужно было еще крутиться вокруг себя как манекенщице. Хор продавщиц во главе с самим Фатом — он «снизошел» прийти — распевал на все лады: «Бесподобно… Как вам идет… Это ваш цвет…»

Я не верила ни одному слову. Эдит с видом знатока давала указания. Когда она покупала для себя, она тоже не смела им возражать, но для меня — другое дело.

— Длиннее… Короче… Выше… Бант переколите…

— Как вы правы, мадам Пиаф!..— восклицали негодяйки.

Я молчала как пришибленная. На меня напал столбняк при одной мысли о том, что, выйдя из их проклятой примерочной, я в этом же виде должна пойти по улице!

Эдит сама не носила купленных платьев, но я была обязана их надевать. Она таскала меня за собой по Нью-Йорку в таком виде, как будто я собралась на маскарад. Даже добрый и тактичный Лулу смеялся надо мной. Он говорил: «Не думай, что тебя привезли даром. Проезд стоит дорого. Тебя привезли затем, чтобы ты нас смешила, как в цирке».

Так оно и было. Когда директор «Версаля» увидел меня, он минут пять не мог отвести от меня глаз. На его лице было написано: «Что это такое? На грани фантастики…»

Эдит самоуверенным тоном заявила ему: «У меня великолепная сестра. Милая, правда?»

Какое «милая»?! Пугало!

Я так и не поняла, не нарочно ли это делала «тетя Зизи»? С Эдит не всегда можно было понять, то ли она говорит всерьез, то ли разыгрывает. Меня часто подмывало ее спросить, но я не смела. Когда она покупала мне платья, украшения, она таким тоном меня спрашивала: «Тебе идет? Ты рада?» — что я боялась испортить ей удовольствие.

Перед отъездом в Соединенные Штаты Эдит решила устроить несколько званых ужинов. «Понимаешь, Момона, так полагается. Я уезжаю на два месяца. Чтобы меня не забыли». Не думаю, чтобы те, кто присутствовал на этих ужинах, смог их забыть. При всем желании это было невозможно.

Она решила пригласить Мишель Морган; отчасти из-за Анри Видаля, который ей нравился: они вместе снимались в фильме «Монмартр-на-Сене». Тогда Анри еще не был женат на Мишель.

Мебель, стол, стулья, сервизы, столовое серебро, скатерти и салфетки — мы все взяли напрокат…

«Момона, сначала я приглашу Мишель Морган, потому что это женщина высшего круга, но простая!» Главное оказалось не то, что она простая, а то, что она хорошо воспитана! Вряд ли кому-нибудь еще привелось видеть подобный ужин. Мишель Морган никогда в жизни так не смеялась, как в тот момент, когда официант вывалил лангусту ей в декольте! Слава богу, обстановка разрядилась, а то лангуста на груди — это уже слишком.

Все делалось вопреки здравому смыслу. Кофе пили не все, потому что у нас не хватало собственных чашек, а напрокат мы их забыли заказать! Еще до прихода Мишель Морган Эдит

распорядилась, кто будет пить кофе, а кто нет.

Шарлю и мне кофе не полагалось. Но по рассеянности Шарль ответил «да», когда предлагали кофе, и все услышали громкий, как раскат грома, голос Эдит: «Шарлю не подавать! Он после кофе плохо спит!»

В тот вечер я убедилась, что Мишель Морган в самом деле исключительная женщина. После ужина позвонила кормилица, у которой жил Марсель, и сообщила, что мальчик заболел. Она жила в пригороде, довольно далеко. Я звонила каждый час, узнавала о его состоянии. И вот Мишель Морган, которую я видела в первый раз в жизни, не поехала после ужина по ночным клубам вместе со всеми продолжать веселье. Она осталась и всю ночь просидела со мной. Несмотря на беспокойство, я испытывала угрызения совести: а вдруг Эдит куда-нибудь закатится вместе с Анри Видалем, я ведь знала, на что она способна!

Я была счастлива, что не одна, и была очарована этой удивительной женщиной. Она рассказывала мне о своем маленьком сыне Майке таким нежным, таким ангельским голосом…

На рассвете вернулась Эдит в сопровождении Анри Видаля. Мишель отнеслась к этому настолько естественно, что я подумала, что беспокоилась напрасно.

После ее ухода Эдит мне сказала: «Понимаешь, Момона, эту женщину я уважаю».

И можете мне поверить — что-что, а чувство уважения Эдит было внушить нелегко!

До отъезда в Америку оставалось несколько дней. И тут все пошло наперекосяк. Во-первых, впервые в жизни я наотрез отказалась сопровождать Эдит. Она начала кричать на меня. Я это предвидела и держалась твердо.

— Я не могу оставить сына на два месяца.

Константин попытался спустить дело на тормозах.

— Она приедет позднее.

— Она поедет сейчас или никогда.

Надо было вмешаться Шарлю:

— Послушайте, Эдит, она права. Мальчик еще совсем крохотный. Эдди дело говорит. Симона подъедет позже!

Как это у него с языка слетело!

— А ты что вмешиваешься? Ты вообще никуда не поедешь! Я начинаю с Канады, и у меня для тебя там ничего нет.

Гроза бушевала вовсю. Молнии сверкали со всех сторон.

Впервые Шарль возразил:

— Это не имеет значения, Эдит. Я к вам все равно приеду.

Эдит разразилась хохотом.

— В тот день, когда ты приедешь, волк в лесу сдохнет!

Но она плохо знала Шарля. Не прошло и недели после ее приезда в Канаду, как она получила телеграмму:

«Задержан Эйлис Айленде.[50] Вышлите залог пятьсот долларов. Азнавур».

Шарль сдержал-таки слово и приехал в Америку. Палубным пассажиром, как эмигрант. А так как у него не было ни контракта, ни денег иммиграционные власти ему сказали: «Пожалуйте на Эйлис Айленд, здесь дают суп бесплатно!»

Эдит была в восторге. Подобные поступки она обожала. «Он не такой лопух, каким выглядит! Сумел-таки приехать». И конечно, выслала залог.

Отказавшись сопровождать Эдит, я доказала свою независимость, но надолго она мне была не нужна. Марсель жил у кормилицы, за ним был хороший присмотр. Мне безумно хотелось к Эдит. Я говорила себе: «Черт, с нее станется — оставит меня загнивать здесь одну!»

Уезжая, Эдди меня заверял: «Не огорчайся, еще приедешь». Время шло, он мог уже забыть про меня… Но нет, вдруг присылает билет до Нью-Йорка. Это было очень хорошо с его стороны. Но как оказалось, не так уж бескорыстно.

Не прошло и трех дней с моего приезда, как я заметила, что Эдди ходит темнее тучи. Долго так продолжаться не могло.

— Что с тобой?— спрашивает Эдит.

— Ничего… Скоро Cristmas…[51] а я не увижу свою девочку. Она в Калифорнии.

— Почему?

— Жена против.

Он был хитер как черт, знал, как взяться за дело. Эдит взорвалась, наговорила кучу ужасных вещей о его жене и приказала ехать к дочери.

Утром, в день отъезда, Эдди брился и насвистывал. Проводив его до такси, Эдит бросила сухо:

— Не забудь вернуться!

Ну этого можно было не опасаться! Такси не успело завернуть за угол, как Эдит, пожав плечами, промолвила:

— Момона, мне кажется, он меня обвел вокруг пальца…

— Да нет, он же поехал к дочери.

Все прошло гладко. Эдди позвонил и сказал, что Таня без ума от радости, и тра-та-та и тра-та-та… Я чувствовала, что он перебарщивает и что Эдит не до конца ему верит.

— Момона, он ни слова не сказал о жене… Ты считаешь, что это нормально?

— А почему он должен говорить о ней? Что в ней такого? Все жены одинаковы! Для него было важно увидеть дочь.

Придраться было не к чему, Эдди регулярно звонил по телефону. К счастью, в его отсутствие нам скучать не пришлось.

Шарль хотел поехать в Канаду повидать Роша, но Эдит слышать об этом не хотела.

— Нет. С ним у тебя никогда ничего не получится. Оставь его.

Эдит как в воду глядела. Но Шарль был очень верным человеком. Он настаивал:

— Я не могу так поступить с Пьером. Мы столько пережили вместе!

— Слушай, здесь тебе нечего делать, мне ты не нужен. Я тебе обещала переделать нос, вот и займись этим. И время для размышлений будет, и мысли придут другие. Особенно когда будешь выглядеть по-другому. Пока будешь лежать в клинике, сделай для меня переложение «Иезавель».

Речь шла об американской песне, которую пел Фрэнки Лен и которая очень нравилась Эдит, Шарль сделал из нее один из самых известных шлягеров.

В который раз мы оказались без мужчины. Но у Эдит было свое мнение на этот счет, и это мнение называлось Джон Гарфильд.

Она могла влюбляться, как гимназистка, увидев кого-то на сцене или на экране. Однажды она потащила меня в театр. Давали «Гамлета». «Момона, там мне один человек нравится. Я его мимоходом видела, надо приглядеться».

Каждый вечер перед выступлением в «Версале» мы приглядывались к Джону Гарфильду в шекспировском костюме. Самое ужасное было то, что ни я, ни она не понимали ни слова. Я, правда, соглашалась с Эдит, когда она говорила: «Ах, Момона, до чего же он хорош, собака! До чего красив!» Но это не было переводом из «Гамлета»!

Не знаю, сколько раз мы отсидели эту чертову пьесу… После десяти я сбилась со счета. Шарль уже ходил с наклейкой на новом носу, а мы все еще продолжали таскаться в проклятый театр.

Эдит говорила мне на полном серьезе: «Я его изучаю. Понимаешь, если изучу, ему от меня не уйти!» Он и не ушел. Она получила то, что хотела — его жаркие объятия.

Потом она мне говорила: «Добиться добилась, но стоила ли овчинка выделки?.. А, Момона?» Кто бы ей возражал, только не я.

На следующий день после счастливой ночи Эдит прождала

Джона с утра до вечера. Ни слуху ни духу. И ни завтра, ни послезавтра. Она была в ярости. Через месяц — мы собирались уезжать из Нью-Йорка — зазвонил телефон. Мужской голос спросил:

— Алло, это кто?

Эдит ответила:

— Эдит.

И услышала:

— Говорит Джон.

— А! Ну ты даешь! Где ты набрался наглости?

— До вечера!

И повесил трубку. Но его поезд уже ушел. Давно вернулся Эдди, и Джон больше не интересовал Эдит. Поэтому когда вечером он предстал, величественный, как испанский гранд, то в вестибюль к нему вышла не Эдит, а я. Он решил, что она на него обиделась, но так и не понял, за что…

Когда Эдди вернулся, вкусив семейных радостей, у него был вид одновременно довольный и смущенный: вид человека, который ловко оставил нас в дураках. Поскольку, по словам Эдит, она со своей стороны могла себя кое в чем упрекнуть, то не стала задавать лишних вопросов. Все разговоры вертелись вокруг Шарля и его нового носа.

— Ну, как ты себе нравишься?— спросила Эдит.

— Вообще… я как-то изменился. Когда мельком вижу себя в зеркале, мне кажется, я встречаюсь с каким-то приятелем, и только через секунду осознаю, что это я.

— Как ты его находишь, Момона?

— Очень хорошо.

— А ты, Эдди?

— Совершенно другой человек.

А Шарль думал: «Заметят ли в Париже это изменение?»

Перед отъездом из Америки Эдит близко познакомилась с генералом Эйзенхауэром. Он пришел на ее концерт в «Версаль» и, как и принцесса Елизавета, пригласил ее за свой стол вместе с Эдди, который был очень горд знакомством с тем, кто вскоре должен был стать президентом его страны.

Встреча прошла почти запросто. Эдит была польщена, но не более. Генералы на нее не производили такого впечатления, как принцессы. Все держались свободно. Генерал попросил Эдит спеть его любимую песню «Autumn Leaves» («Осенние листья»). Она ее никогда не пела, я очень боялась, что она собьется, но все прошло хорошо.

Генерал знал массу французских песен и все время спрашивал Эдит: «А такую песню вы знаете? А такую?» Ему было

очень весело, и он пел вместе с ней. Американцы не то что англичане: их стиль — простота, но в этом — тоже класс!

Отъезд не предвещал осложнений. Мы забирали с собой Эдди и Шарля. С Пьером Рошем все обошлось безболезненно. Он женился на канадке Аглае, которая не захотела покинуть свою страну… Они с Шарлем расстались мирно.

Эдит была в восторге. Наконец он принадлежал ей безраздельно! «Шарль, теперь ты увидишь! Положись на меня!» Шарль уже видел. С Эдит у него был безнадежный случай: она больше не боялась, что он её покинет, и вертела им как хотела.

Сразу по приезде Эдит слетала в Касабланку повидать Маринетту и троих ребятишек Сердана: Марселя, Рене и Пополя, которых она очень любила. Но там не задержалась: ее ждала «Маленькая Лили».

С этой музыкальной комедией была целая история, разговоры о ней тянулись уже два года. «Маленькая Лили» — это триумф воли Эдит, так как каждый, от кого зависела судьба постановки, тянул в свою сторону и никто не хотел иметь дела друг с другом.

Митти Гольдин, всемогущий директор «ABC», заказал Марселю Ашару музыкальную комедию под этим названием. Марсель Ашар рассказал нам историю, лучше которой для Эдит было трудно придумать. Она захотела, чтобы ее поставил Реймон Руло. Он же разорался, что «никогда ноги его не будет на сцене, принадлежащей Митти Гольдину, и уж, во всяком случае, никогда он не станет работать над пьесой Ашара»! Автор в свою очередь требовал, чтобы художником-постановщиком была Лили де Нобили, о которой Гольдин и слышать не хотел. Единственной, кого все принимали безоговорочно, была Маргерит Монно.

Между собой они встречались по-дружески, и каждый другому клялся, что с остальными ни за что работать не будет. Поскольку вместе собираться они отказывались, Эдит пришлось взять на себя роль «связного» и встречаться со всеми по очереди. Но дело не двигалось с места. Однако, если Эдит решила, что она чего-то добьется, она не отступалась.

«Момона, морочат они мне голову! Я решила играть «Маленькую Лили» в «ABC», в постановке Реймона Руло, в декорациях Лили Нобили, и я буду ее играть! У них здоровые глотки, но я их переору!»

Я лично в этом сомневалась. Мне довелось присутствовать на нескольких их заседаниях. Я была уверена, что никогда в жизни им не договориться — так они поливали друг друга. И оказалась не права. Все это было на публику! Как только Эдит сказала: «Я

держу банк и сдаю карты!» — все тут же притихли. Но какой риск!

Когда начали распределять роли, все снова чуть не развалилось. Эдит решила, что роль Спенсера, гангстера, должен получить Эдди. По внешним данным он для нее очень подходил, по внутренним — нет. Митти о нем и слышать не хотел, он говорил: «Ходит как медведь на задних лапах, чудовищный акцент…» Тут уж ржали все, потому что после тридцати лет жизни в Париже Митти говорил так, будто только вчера приехал из Одессы!

Уговорил Митти Реймон Руло: «Сделаем купюры в тексте,— сказал он.— Гангстеры — это люди дела, говорят они мало!»

Молодого премьера Марио должен был играть шансонье Пьер Дестай, но с этим так тянули, что он оказался занятым, и тогда Эдит предложила отдать роль никому не известному Роберу Ламурё. Тут вдруг у всех оказалось единое мнение — все были против! Но Эдит обладала одним качеством: стоило ей хоть раз заметить у человека талант, она об этом не забывала. Митти и Руло рвали на себе волосы. «Два дебютанта в афише, я разорен!» — рыдал Митти, который, кстати говоря, не так уж много вложил в это предприятие. «Я двоих таких не потяну!» — вторил ему Руло. Не считая Эдит, которая как актриса не была второй Сарой Бернар!

Начало вышло многообещающим. Но самое лучшее приберег Марсель Ашар на десерт. Оказывается, два года споры шли о пьесе, которая еще не была написана! Существовало только название: «Маленькая Лили» и песни.

Марсель Ашар с большим увлечением писал тексты, к которым Маргерит Монно должна была сочинить музыку.

«В музыкальной комедии главное — это музыка и песни, остальное — «заполнитель»,— говорила Эдит, которая терпеть не могла учить наизусть драматические тексты. Марсель Ашар был в восторге от того, что она его так прекрасно понимала. Один Руло был недоволен — видите ли, он считал, что для спектакля нужна пьеса!

В день первой репетиции, очень довольный, поглядывая на окружающих хитрым глазом через свои иллюминаторы — он носил огромные очки,— Марсель принес несколько листков и раздал их актерам.

— Вот, детки, первая сцена.

— Но мне нужна вся пьеса, чтобы ставить спектакль!— вскричал Руло.

— Не беспокойтесь, она у меня в голове.

Через десять дней «Маленькая Лили» появилась на свет, и

надо сказать, она была довольно крепко сбита. Работал Ашар по ночам и каждое утро, свежий, как плотвичка, только что выскочившая из воды, приносил следующую сцену. Мы ждали с нетерпением, как роман с продолжением.

Я не пропустила ни одной репетиции. И на это была причина: Эдит дала мне роль. Я была одной из модисток, и в первом акте у меня даже была реплика. Я говорила Эдит: «В своей девственности ты никого не убедишь». Каждый раз на нас в этом месте нападал смех. Еще бы!

Когда Ашар появлялся со своими листочками в руках в сопровождении жены Жюльетты, потрясающей бабы, все опрометью бросались к нему.

— Это я — убийца?— спрашивал Эдди.

— Я женюсь на Маленькой Лили?— задавал вопрос Ламурё.

И Марсель Ашар отвечал посмеиваясь:

— В конце, ребятки… Как публика, вы все узнаете в конце!

Руло не терял времени и постепенно превращал роль Спенсера (Эдди) в немую.

Несмотря на усиленные занятия и прилагаемые старания, Эдди все еще говорил по-французски с ужасным акцентом. Руло без зазрения совести командовал: «Повторите «Страшно»… (Эдди не мог выговорить «р»). Не получается? Ничего, старина, мы это выкинем!» И он вычеркивал карандашом целую реплику. Эдит это не нравилось. «Не нужно,— успокаивал ее Реймон,— волноваться за Спенсера. Его роль: бицепсы, кулаки, рожа, шляпа. Если у него будет мало текста, пьеса только выиграет, а Константин ничего не потеряет».

У Митти были свои соображения: «Пусть он не поет, это замедляет действие…»

И однажды в кабинет Гольдина состоялось совещание, во время которого в зале «АВС» подпрыгивали кресла. Голос Эдит, рассерженной до крайности, был, вероятно, слышен на бульваре Пуассоньер! «Вы думаете, я последняя дура? Кретины! От ваших уловок меня тошнит! Пользуетесь тем, что Эдди плохо говорит по-французски, и сводите его роль к нулю! Он будет петь и будет играть, иначе я все бросаю! Я готова заплатить неустойку!»

Это — краткое содержание, все было гораздо выразительней и гораздо дольше. Они уступили Эдит. Руло пожал плечами, а Митти сказал: «Ноги моей больше не будет в этом театре, который перестал быть моим!» Целую неделю он заходил в зал и не разговаривал с Эдит.

Если бы она могла предположить, какой сюрприз ей готовит Эдди, она бы его так не отстаивала! Репетиции были в разгаре, когда однажды утром Константин взял у меня из рук поднос с

завтраком для Эдит:

«Дай мне. Я сам отнесу breakfast[52] Эдит.»

Такое случилось впервые: Эдди сам был не прочь, чтобы ему подавали завтрак в постель. То, что он хотел сказать Эдит, действительно нельзя было откладывать. Но он оказался неважным психологом. Разбудить Эдит плохой новостью! Нужно было прихватить с собой щит, чем прикрыться. «Эдит, видишь ли… я подумал… будет лучше, в общем, я вызвал в Париж жену…».

Не успел он закончить, как кофе, сахар, чашка — все, что стояло на подносе, полетело ему в лицо. И она это приправила еще текстом в стиле Пиаф лучших времен. «Так вот, значит, как ты ездил к дочери! Негодяй! Ты обманул меня с собственной женой» и т, д.

В двух словах, дело было так: Эдди, увидев свою дочь, увиделся и с женой, и они решили все начать сначала.

Эдит не хотела показать, но ее это ранило. Правда, на следующий день она уже не думала об этой истории, но у нее не было времени обеспечить тылы: на носу премьера «Маленькой Лили».

Поэтому, когда Эдди — он уже переехал от нас и считал, что прощен,— спросил, может ли он представить ей свою жену, Эдит ответила: «Ну, конечно! Приведи её завтра на репетицию».

На следующий день Эдит долго одевалась и красилась: «Ты понимаешь, Момона, нельзя мне быть в затрапезном виде рядом с его американкой».

По рассказам Эдди мы представляли ее себе одним из тех волшебных созданий, производство которых в Америке поставлено на конвейер.

Приходим в театр. Возле Эдди чуть-чуть сбоку видим изумительной красоты блондинку, элегантную, как манекенщица. Конечно, это она! Эдит устремляется к ней. Константин поворачивается — сзади него (он ее собой заслонял) маленькая, ничем не примечательная женщина, в вязаной шапочке, из-под которой торчат волосы, прямые, как палки. Ее-то он и представил Эдит. Другая была Пралин, одна из красивейших женщин Парижа.

Эдит корчилась от смеха; как любовник Константин был уничтожен, стерт, вычеркнут из ее жизни. Но они навсегда остались друзьями. В вечер генеральной Эдит за него волновалась. Основания были. Внешне он был очень хорош. Косая сажень в плечах… Но текст полностью до публики он не доносил. Понимать удавалось с пятого на десятое. Зато, когда он запел, он-таки одержал свою маленькую победу. Хотя на месте его жены я

бы особенно не радовалась! Эдди слишком правдиво и нежно обнимал Эдит, когда пел:

Маленькая и такая милая,
Своими детскими глазами
Ты переворачиваешь мою жизнь
И наполняешь ее беспокойством.
А я эгоист.

Ему бисировали, он выиграл.

Песня, которую Эдит исполняла в конце спектакля, принесла ей огромный успех. Она ее очень любила. С первого дня она говорила Ашару: «Эта песня, Марсель, как бы резюмирует мою жизнь, но она оптимистична. Если бы я когда-нибудь написала книгу о себе, я взяла бы ее эпиграфом».

Завтра будет день…
Когда все потеряно, все только начинается.
Завтра будет день…

Пресса была великолепной. Семь месяцев «Маленькая Лили» держала афишу! Это могло бы продолжаться и дольше, если бы Эдит не попала в свою первую автомобильную катастрофу, которая положила начало «черной» серии. «Маленькая Лили» вызывала особый интерес еще и тем, что, посмотрев пьесу один раз, можно было через неделю снова прийти в театр и увидеть совсем другой спектакль.

Я уже говорила, что Эдит совершенно не запоминала текстов ролей и терпеть не могла их учить. Три акта для нее были слишком длинными. А когда у нее случался провал памяти, она вставляла первое, что приходило в голову. Эдди со своей стороны с трудом вспоминал французские слова и поэтому заменял их английскими или просто пропускал. Неистощимый на выдумки Робер Ламурё спасал положение, но иногда он попадал в такой переплет, что для того, чтобы выкрутиться, ему приходилось их переплюнуть! Получалось в духе комедии дель арте, живая импровизация!

Публика много смеялась, и таким образом, благодаря музыкальной комедии Марселя Ашара, началась карьера Робера Ламурё и Эдди Константина, которой они обязаны тому, что Эдит настояла на их участии в этом спектакле. Свою благодарность Константин выразил в книге воспоминаний «Этот человек не опасен». Он пишет: «Эдит Пиаф научила меня, как и нескольких других, всему, что касается того, как должен держаться певец на

сцене. Она помогла мне поверить в себя, а я совсем в себя не верил. Внушила желание бороться, а у меня совсем не было этого желания. Напротив, я плыл по течению. Чтобы я стал кем-то, она убедила меня, что я уже кто-то. У нее был дар выявлять, усиливать чужую индивидуальность. Она не уставала повторять: «Ты из того теста, Эдди, из которого выпекают «звезды»! «Когда я слышал эти слова от нее, «звезды» первой величины, по моим жилам пробегал электрический ток».

Но Константин так и не узнал, что, желая придать ему уверенности в себе, Эдит еще и платила. Когда Митти взял Константина, он положил ему две тысячи франков. А Эдди считал, что получает пять. Разницу доплачивала Эдит. Она делала то же во время турне и гала-концертов.

В этой тайной помощи тому, в кого она верила, была вся Эдит!

Глава четырнадцатая. Начало «черной» серии

Когда Лулу привел к нам Андре Пусса, он мне понравился. Славный прощелыга, типа Бельмондо, с честным, крепким рукопожатием. Приветливая улыбка, и с первых слов ясно, что парижанин. На самом деле это был плотный, непрозрачный человек из цемента, в которого забыли вложить сердце, в прошлом известный велосипедный гонщик. В этой профессии ноги изнашиваются, увы, быстрее, чем все остальное. Теперь ему хотелось познакомиться с миром артистов. С Эдит он попал в самую точку. Лучше партнерши трудно придумать!

Андре пришел в «АВС» на «Маленькую Лили». Эдит вгляделась в него и расхохоталась:

— Да ведь я вас знаю!

— Знаете, мы встречались в Нью-Йорке. Это было… в 1948 году. Я был чемпионом в велогонке на Мэдисон Скуэр Гарден. Я приходил слушать вас в «Версаль». «Глотнуть парижского воздуха!» Как было здорово вас услышать! А какой у вас был успех! Я гордился, что американцы так принимают нашу девчонку! Я заорал: «Аккордеониста!» Вы засмеялись и сказали: «В зале есть француз!»

— Верно, а потом с Лулу и вашим приятелем мы пошли во французский ресторан…

Начало было положено, поскольку они ударились в «воспоминания детства»… С Шарлем мы обсудили шансы Андре и решили, что он не тянет! После этой встречи Пусс исчез, Эдит о нем не вспоминала. Как всегда, когда она была на распутье, через ее жизнь проходило много случайных людей… Мы с Шарлем не чаяли, когда остановится этот вальс нежных чувств. Эдит изматывалась до последней степени и изматывала нас всех, пытавшихся не отставать от нее. Она отдавалась всему со страстью, как дервиши, которые в своем безумии кружатся, пока не падают без сил. Она жила каждый день так, будто завтра должна была умереть. Даже в малом, в простых удовольствиях она стремилась насладиться до конца, исчерпать все до предела. Она объедалась блюдами, которые ей нравились, на остальное было наплевать… Нас уже с души воротило, а она испытывала такое же наслаждение, как будто проглатывала первый кусок.

Маргерит Монно научила ее любить серьезную музыку, классическую. Однажды случайно Эдит услышала по радио

Девятую симфонию Бетховена. Гит была при этом. Эдит посмотрела на нас с яростью.

— Гит, почему ты не дала мне это послушать раньше?.. Шарль, а ты знал, что есть такая музыка?

— Да.

Шарлю влетело больше всех.

— Так, значит, ты считал, что это не про меня? Ступай и сейчас же купи пластинку!

Она смотрела на нас так, будто мы ее предали. Все чувствовали себя виноватыми, даже я, которая совсем в музыке не разбиралась.

Разумеется, последующие недели мы только и слушали что Девятую симфонию. Кто бы к нам ни приходил, Эдит сразу говорила: «Я сейчас тебе поставлю потрясающую музыку». И чтобы он ее как следует прочувствовал, заводила пластинку два-три раза подряд. У нас уже болели уши, а она продолжала слушать ее в том же экстазе.

Так же обстояло дело и с книгами. Все мы должны были читать те, которые ей нравились, и часами обсуждать их с ней. Мы должны были читать ей вслух те места, которые она особенно любила. Я до сих пор помню наизусть куски из «Виа Мала», «Большой Стаи», «Сарна», «Старика и моря», «Грохота и Ярости».

Была одна книга, которая ее особенно потрясла, сложнейшая штука про «относительность»! Нужно было очень любить, чтобы читать про атомы и нейтроны. Посложнее «Мадам Бовари». Но Эдит это нравилось. «Видишь, Момона, эту галиматью понимать трудно. Когда ты читаешь, то сознаешь, что на своем земном шарике ты полное ничтожество. Но одновременно ты ощущаешь, что, чем ты меньше и ничтожней, тем ты значительней и величественней. Ты — целый мир, понимаешь?»

Я отвечала: «Да», чтобы доставить ей удовольствие. Но я больше разделяла ее мнение, когда она утверждала: «Клянусь, Андре Жид — это нечто!»

Так могло длиться днями и ночами. К счастью для нас, она читала мало. У нее быстро уставали глаза, да и работа отнимала много времени. Я имею в виду не только репетиции, она работала постоянно: на улице, в ресторане, на людях, повсюду она смотрела, слушала; все будило ее воображение и рождало новые идеи.

Она не ходила в музеи, но Жаку Буржа все же удалось познакомить ее с некоторыми картинами, и она делилась со всеми своим восторгом: «Коро, Рембрандт — до чего же были талантливые люди…»

Эдит обожала кино. Когда ей нравился какой-нибудь фильм,

она закупала целый ряд и брала с собой всех своих друзей. Мы с Шарлем знали почем фунт лиха! Все уже давно попрятались кто куда, а нас она продолжала таскать с собой. Девятнадцать раз смотрели мы фильм «Третий»![53] Шарль до сих пор вспоминает об этом, как о кошмарном сне. Он засыпал, Эдит толкала его:

— Шарль, ты дрыхнешь?.. Шарль, да пойми, это прекрасно!

— Да, да, конечно,— говорил Шарль, еле продирая глаза.

Счастье еще, что у нее был вкус, нам не приходилось смотреть дрянь. Но она не допускала жульничества: приходить нужно было к началу фильма. «Понимаешь, Момона, я с самого начала готовлюсь к моему эпизоду».

Дело в том, что она могла ходить без конца смотреть фильм только ради одного единственного фрагмента, который приводил ее в восхищение. «В «Третьем» есть место, Момона, когда Орсон Уэллс поднимает глаза… Смотри не пропусти!» На мое несчастье, это был финальный кадр!

Для большей уверенности, что я не упущу ни малейшего жеста, буду так же переживать, как и она сама, что со мной она не одна, Эдит держала меня за руку и сжимала ее в нужных местах. «Вот, Момона, смотри… Как он прекрасен!»

Перевести дыхание можно было, лишь когда в ее жизни появлялся мужчина, которым она была занята по горло.

Я чувствовала, что Шарль долго у нас не продержится. Он оставался с Эдит только из чувства преданной дружбы. Его дела шли все лучше, медленно, но верно. Каждый вечер он выступал в клубе «Карольс», платили ему немного — две тысячи франков за вечер, но у него был уверенный успех.

Тем не менее Эдит продолжала давать ему свои советы: «Шарль, ты робеешь перед публикой, а ведь ты не трусливого десятка. Много воды еще утечет, пока ты себе купишь «Роллс-Ройс»…»

Пусть так, но пока она была очень довольна, что у него появились сбережения. Однажды к нам явился слесарь, чтобы отключить газ, в доме не было ни гроша. Мы вывернули все карманы — пусто. Горничной надоело нас выручать, мадам без того была ей много должна! К концу каждого месяца Эдит обязательно занимала у нее! И тут наш Шарль взбежал через две ступеньки в свою комнатку на третий этаж, где он к тому времени обосновался, и вернулся гордый, как папа римский, неся три бумажки по тысяче франков.

Эдит оценила этот жест. Со времен Сердана ни один мужчина не раскрывал ради нее своего бумажника. Для нее важно было то, что это шло от сердца. На деньги как таковые ей было наплевать. Подумаешь, газ, электричество! Отключайте, ну и что? Переедем

в отель «Кларидж»!

В эту историю трудно поверить, особенно если знать, что в то время гонорары Эдит доходили до трехсот-четырехсот тысяч франков за выступление. Она оставалась такой, даже когда ей платили миллион двести пятьдесят тысяч франков за концерт.

Лулу приходил в отчаяние, рвал на себе волосы. Он вваливался с перевернутым лицом, падал в кресло и восклицал:

— Послушайте, Эдит, так не может продолжаться, вы разоритесь!

Эдит смеялась:

— Уже разорена! Подумаешь, какое дело, поступай, как я, смейся!

— Я не могу, Эдит. Но что вы делаете с вашими деньгами?

— Не знаю,— отвечала Эдит.— Может, ты знаешь, Момона?

Спрашивать об этом меня! Я была сделана из того же теста. Я тоже не отдавала себе отчета. Думаю, это происходило потому, что в конце концов мы всегда добывали деньги, даже в самое трудное, самое черное для нас время. Всегда у нас были деньги на еду, на вино, на развлечения. Мы знали, как зарабатывают деньги, мы видели, как они уплывают, но мы не умели их беречь, а главное, не знали зачем.

— Но, Эдит, ведь может наступить день, когда вам понадобятся сбережения!

— Ты шутишь или смеешься надо мной? Я всегда буду петь, Лулу, а в тот день, когда перестану,— сдохну, заруби себе на носу. Я бы очень хотела доставить тебе удовольствие, но откладывать деньги — никогда! Я не капиталистка. Будущее? Что о нем думать! Обойдется без меня!

Лулу мог с ней соглашаться или нет, но он за нее беспокоился. Однажды ему пришла в голову гениальная мысль, которую он ей принес еще тепленькую.

— Вот что, Эдит. Заведите два счета в банке. Каждый раз, когда у вас будут поступления, вы их будете делить на две части. Брать на расходы вы будете только с одного счета, как будто другого вообще не существует.

— А знаешь, Момона, Лулу хитро придумал! Наконец у меня всегда будет в запасе какая-то сумма, которую я смогу истратить, когда мне захочется.

С поступлениями все было четко, мадам Бижар следила за этим. Эдит радовалась. Славная Бижарша говорила:

— Господин Барье придумал прекрасный метод, мы уже накопили около трех миллионов!

Эдит посмеивалась, и было над чем: она уже все истратила. Вместо того чтобы снимать деньги с одного счета, она снимала с

обоих.

— Понимаешь, Момона, получается очень здорово: я выписываю вместо одного чека два, и тогда кажется, что денег у меня тоже вдвое больше.

Деньги в руках Эдит были как вода, как песок, они лились сквозь пальцы… Подсчитать ее расходы за день не представлялось возможным. В ресторане нас всегда было самое меньшее человек десять, а ходили мы туда каждый вечер после ее выступлений в «ABC». Потом всей компанией отправлялись в обход ночных ресторанов, и в каждом из них полагалась бутылка шампанского на нос. Если Эдит была в настроении, она угощала и всех присутствовавших в зале. Деньги текли! А подарки, профессиональные расходы, а траты на друзей, а машины и остальное… Не говоря о колоссальных налогах!

Как-то однажды друзья сказали Эдит: «Вам следовало бы купить ферму под Парижем: это приятно, приносит доходы, и вы могли бы ездить туда на уик-энды».

«Пойми, Момона, мы же задыхаемся в Париже. Деревенский воздух мне был бы полезен».

И Эдит купила ферму за пятнадцать миллионов в Алье, возле Дрё. Обставить и оборудовать ее стоило еще добрых десять кусков. За пять лет она съездила туда три раза. И продала ее за шесть миллионов.

Прошло около месяца, Пусс не появлялся. Я думала: «Ничего не вышло», как вдруг в ванной комнате Эдит меня спрашивает:

— Момона, как ты находишь Пусса?

Мне не пришлось ломать голову, ответ сам слетел с языка:

— Это настоящий мужчина!

— Не правда ли?— спросила меня Эдит, светясь от счастья, готовая снова, в который раз, вступить на крестный путь любви.— Я приглашу его на уик-энд.

Прием с уик-эндом был новым, она его еще никогда не применяла. В остальном события развивались как обычно. Обратно Пусс вместе с Эдит приехал в Булонь и остался там на год. Затянувшийся конец недели!

Сам он говорил смеясь: «Вот так все в жизни случается! Я подумал: «Проведу ночь с Пиаф — наверно, будет забавно! К чему меня это обязывает?!» Но сердце решило за меня. С любовью шутки плохи!»

Я сразу полюбила Пусса. Он был очень честным человеком, говорил и действовал всегда так, как было лучше для Эдит, а не для самого себя. Как и Лулу, он не хотел, чтобы она сорила

деньгами, даже упрекал ее за подарки, которые она ему делала:

— Ты сошла с ума! Зачем мне еще один костюм, я же не могу носить сразу два! Ты бы хоть подождала дня рождения, чтобы был какой-то повод, нельзя же дарить вещи просто так…

— Я хочу доставить тебе удовольствие — разве это не повод? Уверяю тебя, я знаю многих, кто бы не стал разводить такие церемонии.

— Вот именно, поэтому я и не хочу…

— А я тебя за это и люблю, ненаглядный дурак!

Все было очень мило, но я чувствовала, что это не было большой любовью, а главное, это чувствовала сама Эдит.

Андре был неглуп; у него были не только мышцы, но и серое вещество. Он ясно видел весь расклад и говорил мне: «Понимаешь, Эдит придумывает себе жизнь, ей нужно верить в любовь, она не может жить без нее. Она внушает себе, что любит. Но часто это не так, и тогда она начинает вытворять бог весть что».

Бог весть что… В этом он был прав — и из-за этого между ними вспыхивали крупные ссоры. Эдит не оставляла его в покое до тех пор, пока не выводила из себя настолько, что он давал волю рукам. А ведь Андре отнюдь не был грубым человеком — его, скорее, можно было назвать мягким и нежным. Но некоторые вещи мужчина не может стерпеть. Из всех ссор, при которых я присутствовала, самые дикие происходили тогда.

Например, мы вдвоем с Эдит уходили днем на какое-нибудь свидание. Возвращались в веселом настроении. Он встречал нас мрачнее тучи. Он кричал: «Я не хочу, чтобы меня считали за дурака!» Ему нельзя было заговорить зубы, как закомплексованному интеллигенту, он был человек простой и прямой и видел только одно — Эдит ему изменяла. Он мог прийти в неописуемую ярость и среди ночи вдруг выбросить в окно все, что ему было подарено.

Мы вместе с кем-нибудь из друзей спускались вниз и при свете автомобильных фар отыскивали часы, драгоценности, одежду: он не мелочился — в окно летело все, что попадало под руку. После этого они, успокоенные, мирно ложились в постель. А я на четвереньках ползала по булыжной мостовой.

Эдит вся состояла из контрастов, и они ошеломляли Андре. Ему было трудно за ней угнаться. Однажды мы принесли домой штук пятьдесят красных воздушных шариков, на которых было написано: «Андре — обувщик, умеющий хорошо обувать».[54]

«Откуда столько?» Эдит ответила: «Пойди-ка посмотри, что в машине». Она была завалена кедами. «Понимаешь, Андре, когда я была маленькой, у меня ни разу не было кедов. Я видела, как

другие дети в них вышагивали, держа в руках вот такие же шарики. Дети были кругленькие, чистенькие и сверкающие, как их шарики, а я, немытая, в лохмотьях, бродила с отцом по улицам. Они смотрели на меня, как на нищенку. Сегодня у Андре к каждой паре кед давали воздушный шарик. Я купила столько, сколько могла унести».

Весь вечер она играла ими, а Пусс следил за ней с неясностью. Он сам не знал, какое у него нежное сердце. Такие истории смягчали их неровные отношения.

Эдит все-таки дорожила Пуссом и решила взять его с собой в турне вместе с Шарлем, в обязанности которого, как обычно, входило все и еще немного больше. Но на этот раз он устоял против натиска Эдит и включил в программу пять своих песен, не позволив их обкарнать.

Поглядывая на меня своим быстрым лукавым глазом и добродушно улыбаясь, Шарль говорил: «Видишь, я «восхожу»… Еще каких-нибудь десять лет, и я стану ее «американской звездой».

Для Шарля плохие времена миновали, его звезда должна была действительно вскоре взойти. Тем не менее пока что он таскал чемоданы и водил машину.

Эдит уехала, я осталась в Булони.

Пусс хотел быть с ней наедине, а я ничего не имела против короткой передышки и спокойно ждала их возвращения. Мы с Эдит разговаривали по телефону по нескольку раз на дню. 24 июля она позвонила мне раньше чем обычно и под конец сказала:

— Момона, знаешь, я тебе сейчас расскажу анекдот: еще немного, и я позвонила бы тебе с того света. Сегодня утром я дремала в машине, Шарль был за рулем, и вдруг на повороте в Серизье машину занесло и мы врезались в дерево! Ну, что ты скажешь? Правда, забавно?..

Я задохнулась от ужаса, иначе бы, конечно, рассмеялась.

— Не беспокойся, Момона, я же тебе говорю, что я жива и здорова, все в порядке. Даже ни одного синяка. Жаль, ты нас тогда не видела! Мы лежали на земле и не смели посмотреть друг на друга: каждый из нас боялся, что другого придется собирать по частям!.. Но машина! Под деревом — груда металлолома… Ну а за мной, ты же знаешь, смотрит сестричка из Лизье. Со мной ничего не может случиться.

Я не была в этом уверена, и у меня был просто шок, Эдит впервые попала в автомобильную катастрофу. Теперь при каждом телефонном звонке я вздрагивала. Позвонив три недели спустя, она странным, далеким голосом произнесла:

— Момона, представь себе, мне выстроили маленький,

хорошенький домик на руке… Из гипса… Нет, нет, не беспокойся, все в порядке. Но я возвращаюсь. Нельзя же выступать в таком виде…

У нее была особая манера рассказывать о несчастных случаях. Никогда она не сообщала своим близким плохих известий без подготовки, никогда не жаловалась. Она всегда говорила: «Это пустяки, все хорошо».

«За рулем был Андре, и он не ранен. Это случилось возле Тараскона. Мы с Шарлем так крепко спали на заднем сиденье, что ничего не заметили! Машину занесло на вираже. Ну, до завтра».

Господи, до чего же я волновалась, ожидая ее! Но я бы волновалась гораздо сильнее, если бы предчувствовала, что эти две катастрофы, последовавшие одна за другой, означали для Эдит конец везения.

Когда Эдит доставили в машине «скорой помощи» и я увидела бледное, осунувшееся лицо, лихорадочно блестевшие глаза, я поняла, что она мне сказала неправду. У нее была сломана не только рука, но и два ребра, что мешало ей дышать. «Я должна лечь в больницу, Момона, поедем со мной».

Эдит ужасна страдала. Она, которая могла раньше выносить любую боль, часами стонала, не умолкая. Единственными светлыми моментами дня были периоды, наступавшие после укола. «Теперь мне лучше, Момона. Хорошо, что делают эти уколы. Я бы не выдержала!»

Я, как идиотка, радовалась, когда после инъекции боль отступала. Если бы я знала! Эдит привыкла к наркотикам. Она об этом не говорила, она была уверена, что как только ей станет легче, она без них обойдется. Но я начала беспокоиться:

— Слушай, Эдит, потерпи немного. Тебе же только недавно делали укол… Ты можешь втянуться.

— Мне очень больно, Момона. Ты что, с ума сошла? Я — и наркотики! Не бойся за меня! Я ведь помню, как отдала концы моя мать. Сколько я делала глупостей, сколько раз я тебе клялась, что не буду пить, но марафет, игла — этого никогда не будет!

Не прошло в больнице и двух дней, как она мне сказала:

— Момона, от их баланды меня тошнит. Пусть мне Чанг готовит.

И я каждый день приносила ей еду. Она не разрешала это делать никому другому.

Как-то вечером она мне позвонила и сказала:

— Когда понесешь еду, захвати с собой книги.

В вестибюле больницы меня ждал Пусс.

— Послушай, Симона, так дальше продолжаться не может. Возле Эдит должен быть я, а не ты.

Он стал мне растолковывать, что я должна жить своей жизнью и дать возможность Эдит жить своей. Он говорил все это очень искренне, и я подумала, что действительно ему надо побыть с Эдит одному, без меня. Это был его шанс. То, что он говорил, я уже слышала от Ассо и от многих других. Жить с двумя женщинами действительно не сладко. Я понимала, что некоторые этого не выдерживают.

— Хорошо. Я отнесу ей книги и попрощаюсь.

— Нет, не ходи. Если ты станешь с ней прощаться, она тебя не отпустит. Дай мне остаться с ней одному и помочь ей. Если ты ее любишь, ты должна уйти сейчас.

«Ну что же, может, он и прав»,— подумала я и, отдав ему книги, ушла. Самое неприятное во всем этом было то, что почти каждый раз они хотели, чтобы я уходила сама. И это выглядело так, словно я сматываюсь потихоньку, подло предаю Эдит. Я знала: пройдет время, и я снова ее увижу. Не в первый раз нас разлучал мужчина. И всегда она говорила мне: «Возвращайся».

Хоть мне и пришлось убраться, как говорится, по добру по здорову, но было бы лучше, если бы бедный Пусс меня не прогонял. Он не долго продержался после моего ухода, всего несколько недель…

Эдит вернулась в Булонь и, поскольку рассталась с Андре, позвала меня: «Возвращайся». Знакомые слова! Но я была не одна, у меня была своя жизнь, ребенок. Я по-прежнему любила Эдит, но теперь мне приходилось задумываться.

Эдит была невероятно требовательна, возле нее нужно было быть двадцать четыре часа в сутки, она не отпускала от себя ни на секунду. Она очень плохо восприняла то, что я ей сказала, наговорила мне кучу обидных слов, хотя в конце концов согласилась с тем, что я не могу быть при ней все время, поняла, что мне нужно иногда давать передышку, что мне нужна свобода.

Я была огорчена, что возле нее не было Андре. Он, может быть, остановил или хотя бы замедлил ее скольжение в бездну. Мне не нравилось, что она так быстро вернулась домой. Эта история с уколами не выходила у меня из головы. Я была уверена, что в больнице ей бы не уступили.

Рука у нее все еще была в гипсе, но дышать стало легче, однако не настолько, чтобы можно было петь, а когда Эдит не пела, она была способна на «бог весть что».

Вначале при ней была медицинская сестра, и это как-то ее сдерживало, но она вскоре отказалась от ее услуг.

— Где сестра? Кто тебе будет делать укол?

— Не беспокойся, вокруг меня достаточно людей, а уколы я теперь делаю сама.

Это мне очень не понравилось, но я подумала, что раз у нее есть морфий, значит, его прописывает врач. Откуда мне было знать, что новые физиономии, которые шмыгали вокруг нее, были так «милосердны», что продавали ей одну маленькую ампулу за большие деньги.

Моя бедная Эдит снова была одна. Какими долгими должны были ей казаться ночи в ее. прекрасном особняке!.. Шарль, мадам Бижар, Чанг — все ушли. Это был период, когда новые вытесняли старых.

Эдит не выносила одиночества. Когда вокруг царила тишина, ее охватывал страх. Она буквально сходила с ума. «Момона, поверь мне, по ночам я слышу, как в этом чертовом доме одна за другой уходят минуты, от их адского грохота у меня раскалывается сердце!» И тогда она шла на улицу, заходила в любой бар, чтобы быть среди людей, и пила.

Напрасно я ей говорила: «Эдит, это хорошо, что вокруг тебя сейчас пусто,— к тебе придет что-то новое, настоящее».— «Хватит, мне надоело ждать любви. Ее не существует. Это сказка, которой я себя тешу, чтоб не сдохнуть с тоски». И Эдит, так любившая жизнь, действительно однажды захотела умереть. В тот день я была у нее с утра. Она была в ужаснейшем настроении: завела разговор о своей матери, об отце, о дочери. Я встревожилась, последней темы мы никогда не касались, это было табу.

«Послушай, а моей доченьке Сесель сколько бы теперь было лет? Помнишь, как она на меня смотрела, как смеялась?»

Мысли ее окончательно замкнулись на дочери. Мы сели обедать. Она ничего не ела и почти не пила. Уж лучше бы выпила. Я страдала от того, что она стала говорить о малышке. Я всегда играла все роли, которые она хотела, но сейчас я не могла заменить ей ее девочки.

Эдит сказала, что скоро должны зайти Гит и Франсис Бланш. Я ждала их с нетерпением, мне было не по себе наедине с ней. Наконец они пришли. Не прошло и десяти минут после их прихода, как Эдит вышла из комнаты.

— Что с ней?— спросил Франсис.

— Не знаю, тоскует.

— Ее нельзя оставлять одну,— сказала Маргерит.

Слова эти, сказанные именно Гит, которая никогда ничего не

замечала вокруг, произвели на нас впечатление… Мы пошли разыскивать Эдит и обнаружили ее в пустой комнате на четвертом этаже. Увидев нас, она выскочила на балкон.

— Что вы за мной шпионите? Мне жарко, я хочу подышать свежим воздухом.

Мы переглянулись. Нам не нравилось, что она на балконе, но мы не смели ничего сказать. Вдруг она стала кричать на нас:

— Убирайтесь все! Мне надоели ваши шпионские рожи! Меня от вас тошнит!

Мы молчали. Франсис и Маргерит зашептали мне: «Она пила?» Я ответила: «Нет, совсем немного».

Эдит, вцепившись в перила балкона, смотрела вниз, в пустоту… как будто давала какое-то обещание. Глаза ее светились надеждой. Она абсолютно не выглядела ни пьяной, ни чокнутой, ни потерянной.

Такой беспросветной тоски у нее никогда не было. Мы не уходили и ждали, когда же это пройдет. Там был диван. Мы все втроем сели на него. Мы были как животные, которые предчувствуют грозу или затмение.

Вдруг Маргерит вскочила на ноги с криком: «Она сошла с ума! Что она делает!» Эдит занесла ногу на перила. Она» наполовину уже была в воздухе. Маргерит обхватила ее руками, стараясь удержать. Франсис также бросился на балкон. Я тоже подошла к ним, но Эдит кричала: «Оставьте меня одну с Маргерит! Убирайтесь!»

Нам пришлось уступить. Если мы к ним подходили, Эдит начинала метаться, и Маргерит с трудом удерживала ее. Мы вышли. Через полчаса Гит удалось увести Эдит в ее комнату. Вдвоем мы уложили ее в постель.

В эту ночь я осталась с ней. Я говорила ей о песнях, о ее работе, даже не зная, слушает ли она меня. Потом заговорила и она, начала строить планы, и я поняла, что все прошло.

Перед тем как заснуть, она сказала мне, как ребенок: «Прости меня, Момона, ты знаешь… я понарошку…» Но именно эти слова убедили меня в том, что все было на самом деле. В чем причина? Если бы я знала, что причина называлась морфием, я бы осталась с ней. Но еще раньше Эдит мне сказала: «Ты видишь, я прекратила уколы. У меня ничего не болит, и наркотики мне больше не нужны».

Я была настолько глупа, что поверила.

Глава пятнадцатая. Праздник любви с Жаком Пилсом

Все было сказочно чудесно.
Церковный хор пел лишь для них.
Последний нищий был счастлив.
Это было шествие любви,
А сверху во всю силу
Звонили колокола: «Да здравствует новобрачная!»

Когда Анри Конте написал для Эдит «Свадьбу», он не ошибся, именно такой она себе ее представляла. Она всегда говорила: «Момона, свадьба — это церковь, колокола… Это праздник любви!»

Уже давно она не заводила об этом речи, уже давно потеряла в это веру… Однако в жизни Эдит часто что-то случалось именно тогда, когда она решала, что уже все кончено, надеяться не на что.

И вот в то время, когда она в труднейшей схватке один на один боролась с алкоголизмом, наркоманией, страхом… когда она лгала своим друзьям — Гит, Мишелю Эме-ру, Лулу, Шарлю, мне и некоторым другим,— в это время на пароходе «Иль-де-Франс» в открытом море два человека говорили о ней. Это были Эдди Льюис, ее американский импресарио, заменивший умершего Клиффорда Фишера, и Жак Пиле. Они сидели в баре. Пароход плыл к берегам Франции. Жак напевал песенку.

— Вам нравится, Эдди?

— Превосходно. Это вы написали?

— Да, Как, по-вашему, кому я могу ее предложить?

— Эдит, of course![55]

— Как хорошо, что именно вы мне об этом говорите! Ведь я писал специально для нее, но я давно уже ее не видел. Не знаю, осмелюсь ли…

— Да почему же? По приезде в Париж я все устрою.

Жак Пиле. Эдит встречала его в 1939 году. «Здрасте — до свидания», и все. Он был уже тогда известным Жаком Пилсом из популярнейшего дуэта «Пиле и Табэ», а также мужем Люсьенны Буайе. Но в ту пору этот солидный круг был для нас недосягаем.

В 1941 году случай свел нас с Жаком в концертной программе в свободной зоне. На этот раз мы познакомились чуть ближе. Он был хорош собой, элегантен, изыскан и очень

талантлив. В нем было все, о чем только можно мечтать.

В тот период мы возили Поля Мёрисса и «Равнодушного красавца» по всей Франции. В сердечном плане на горизонте маячил Анри Конте. Эдит купалась в поклонении, но это не помешало ей заметить, что Жак в ее вкусе. «Момона, как он хорош! По всему видно, что родился не под забором!»

Что верно, то верно. Жак был сыном офицера, служившего в департаменте Ланд. Он начал учиться на фармацевта, но витрина провинциальной аптеки с глистами в банках не вдохновляла его. И он все бросил, чтобы переквалифицироваться в боя из «Казино де Пари», откуда сразу выпрыгнул со своим дуэтом. После того как у него с Люсьенной родилась дочь Жаклина, они развелись.

По приезде в Париж Льюис сдержал слово и позвонил Эдит:

— У меня есть песня, которая вам понравится. Ее написал очень талантливый чело век. Он писал ее, думая о вас. Песня очень, просто очень хороша.

— Как зовут ее автора?

— Жак Пиле.

— Приходите поскорее.

Она повесила трубку и побежала в ванную комнату. Быстро сделала себе укол, «последний», чтобы привести себя в форму. Она уже дошла до этого…

— Момона, когда я взглянула на себя в зеркало и вспомнила, какой я была в Ницце, когда Пиле впервые встретил меня, я разревелась. Сейчас я выглядела старухой, лицо отекшее, как у пьяной нищенки, волосы висят лохмами… Нет, я не могла их принять. Я позвонила и отложила встречу. «Лучше я сама приду к вам в отель…» — сказала я.— Понимаешь, Момона, это болезнь…»

И так она обманывала меня долгое время. Позднее, когда я все узнала, я поняла, как это происходило…

Эдит пришла с опозданием. Мужчины спокойно ждали и встретили ее очень приветливо.

«Знаешь, Момона, Жак совсем не изменился. Был все так же красив. Он, казалось, был рад меня видеть. Мы выпили две-три рюмки вина, это меня подбодрило.

Потом Жак приступил к делу.

— Вот в чем дело, Эдит, я написал для вас песню. Я сочинил ее во время гастролей по Южной Америке, в маленьком красивом городке Пунта дель Эсте, в Уругвае.

— Я не знала, что вы пишете песни. И музыка тоже ваша?

— Нет. Музыку написал Жильбер Беко, мой аккомпаниатор. Он невероятно талантлив. Хотите послушать? Он здесь.

Жильбер — южанин, похож на испанца, талант лезет даже из ушей. Он сел за рояль, и Жак мне спел:

Ты — одно со мной,
Ничего не поделаешь.
Ты — во мне!
Ты неразрывен со мной.
Сколько бы я ни стремилась
Отделаться от тебя,
Ты — одно со мной, ты — во мне!
Ничего не поделаешь,
Ты в каждой клеточке моего тела,
Холодно ли мне, жарко ли,
Мне все равно, что обо мне подумают,
Я не могу сдержаться, чтобы не орать:
«Ты для меня все, Я наркоманка,
Я люблю тебя, я обожаю тебя,
Я сдохну от любви».
Ты во мне, ты одно со мной,
Ничего не поделаешь.
Я чувствую твои губы на моей коже,
Ничего не поделаешь.
Ты — во мне, мы с тобой — одно.

«Ты во мне!» — это было не просто хорошее начало. Это было любовью с первого взгляда! Голова кружилась от восторга. Она влюбилась и в песню и в мужчину. Ей казалось, что теперь она выкарабкается, что кошмар иглы кончится. В объятиях Пилса морфий ей будет не нужен.

Час спустя Льюис и Пиле ужинали у нее. Эдит забегает на минутку в ванную, делает укольчик, чтобы они не заметили, что она теряет форму; потом она это бросит, соскочит с иглы! Она в это верила!

Времени они терять не стали. На следующий день Жак пришел, чтобы работать над песней, и приходил каждый день. В сердце у Эдит был Жак, но в крови — морфий, и она сгорала от стыда.

Кроме тех, кто снабжал ее марафетом — а они очень скоро стали ее шантажировать,— никто еще ничего не знал. Думали, что она выпивает, что еще не оправилась после катастрофы… Эдит была уверена, что справится с собой, что остановиться нетрудно. В течение нескольких часов, одна в своей комнате, она боролась с собой, не делая первого укола. Терпела из последних сил… Потом на четвереньках лезла под кровать, где прятала

шприц (она тогда еще скрывала, что колется), и быстро вводила наркотик.

В следующий раз она опять попыталась продержаться несколько часов, умоляя свою любимую святую помочь ей. Она обещала ей тысячи свечей, золотой алтарь (это бы ей обошлось дешевле морфия!)… Но когда Жак увидел ее, у нее был такой странный, потерянный вид, что он встревожился: «Ты заболела? Вызвать врача?» — «Нет, нет, пройдет, просто приступ ревматизма. Сейчас приму лекарство».— И она побежала колоться.

Изо всех сил, напрягая всю свою волю, Эдит хотела вылечиться сама. Ей было слишком стыдно. Но, по-моему, никому еще никогда не удавалось завязать без медицинской помощи.

Однажды вечером она мне позвонила:

— Момона, приходи сейчас же, я должна тебя видеть.

Я примчалась. Она бросилась в мои объятия, как ребенок:

— Если бы ты знала, если бы знала… Я умру от счастья: я выхожу замуж за Жака…

Мы смотрели друг на друга, слезы лились из глаз.

— Господи, какие мы дуры, какие мы дуры!

Что правда, то правда. Мы с Эдит вообще очень легко приходили в волнение. Кроме того, оно тут же передавалось от одной к другой и усиливалось. Одна раскочегаривала другую.

— Ты удивляешься, что я выхожу замуж?

— В общем, да.

Я ответила так, чтобы ее порадовать. На самом же деле меня удивлял сам выбор. Мне казалось, что Жак на должность мужа не годится. Недостаточно солиден. А впрочем, кто знает?

У него была хорошая улыбка и мягкие жесты светского танцора. И он был веселым, а Эдит так необходимо было снова научиться смеяться. Ей нужен был также мужчина, который бы взял дом в руки и разогнал всех паразитов, пиявок, притаившихся по углам, как черные тараканы. Я подумала, что с мужем посторонние будут больше считаться, чем с любовником.

«И потом, Момона, он свободен, он развелся задолго до того, как познакомился со мной. Никто не сможет меня упрекнуть, что я разбила семью, что я меняю мужчин как перчатки… На этот раз мой любимый — мой нареченный! Все-таки мне это выпало в жизни!»

Мысль о предстоящем замужестве приводила ее в неописуемый восторг. Она объявляла о нем всем и каждому, первым встречным.

Для нее замужество было очень важным событием. Ей казалось, что оно повлечет за собой некое изменение ее социального положения, что она как бы поднимется на более высокую ступень. (Несмотря на то, что она до этого без стеснения заводила любовников, причем их не скрывала, скорее, афишировала свои связи.)

У Эдит, прошедшей огонь, воду и медные трубы, на брак были взгляды, как у девушки, только что вышедшей из монастыря. Для нее муж был не просто мужчиной: он был защитником, помощником, покровителем. Изменить ему можно, но бросить — никогда! Она была убеждена, что брак меняет женщину, и хотела убедиться, верно ли это.

Ослепленная счастьем, она повторяла: «Это мой первый брак! Нет, как же я его люблю…»

Эдит непременно хотелось иметь подвенечное платье: без него для нее свадьба была бы не свадьба! «Но в белом я, разумеется, выглядела бы смешно, верно? (Я тоже находила, что не нужно перебарщивать.) И фату мне тоже уже нельзя? Понимаешь, как много упущено безвозвратно. Когда я шла к первому причастию, у меня не было платья и венка, как у всех девочек. Они похожи на маленьких невест. Как я им завидовала в детстве!»

Эта женщина, на внешность которой алкоголь и наркотики уже наложили свою печать, все еще, как десятилетняя девочка, мечтала о платье для первого причастия! Когда я вспоминаю об этом теперь, зная то, чего не знала тогда, у меня разрывается сердце.

Она нашла выход из положения:

«Послушай, я все обдумала. Цвета девы Марии — белый и голубой. Чище ее никого нет. И я решила быть в голубом. А фату заменю шляпой с вуалеткой. На фотографиях получится, будто я в белом».

Она преобразилась, сияла от счастья. Внешне она не выглядела здоровой, только стала менее нервной и раздражительной. Я не знала, что она приняла решение пока продолжать уколы. Она хотела быть в форме до свадьбы, а там будет видно. В этом проявлялся неколебимый оптимизм Эдит: раз она любила, раз с ней был любимый человек, все должно было наладиться, иначе быть не могло.

29 июля 1952 года в мэрии шестнадцатого округа Парижа Рене Виктор Эжен Дюко — сценическое имя Жак Пиле — сорока шести лет взял в законные супруги Эдит Джованну Гассион, тридцати семи лет.

«Бракосочетание в мэрии мне не понравилось. Никакого впечатления. Все как-то наспех, на скорую руку. Ну ничего, я позже отыграюсь. Мы обвенчаемся в церкви в Нью-Йорке… Пока я не постою перед кюре, я не буду чувствовать себя замужем. С Богом шутить нельзя. Видишь, я даже не ношу обручального кольца, пока его не благословят у аналоя».

Она была похожа на ребенка, который не хочет видеть заранее рождественских подарков. Месяц, оставшийся до отъезда в Америку, она провела в хлопотах по продаже дома в Булони.

«Не могу больше в нем жить. Стоит мне войти в двери, у меня мурашки по коже. Я здесь слишком много страдала… Этот дом битком набит плохими воспоминаниями. Были ночи, когда я чувствовала себя такой одинокой, что хотела стать собакой, чтобы выть на луну! Если я в нем останусь, я сойду с ума!

Лулу нашел для меня квартиру в доме 67 на бульваре Ланн, на первом этаже. Отдельный вход, девять комнат, садик. Там очень хорошо. К нашему возвращению все будет готово. Мы с моим мужем окажемся среди всего нового!»

Она с такой радостью произнесла «мой муж», что это звучало как волшебное слово, как заклинание, с которым она вступала в новую жизнь.

Это была пятая поездка Эдит в Соединенные Штаты.

В Нью-Йорке 20 сентября 1952 года в церкви Сен-Венсэн-де-Поль состоялась наконец долгожданная свадьба. Утром в апартаментах Эдит в отеле «Уолдорф Астория» Марлен Дитрих помогала ей надеть подвенечный наряд. Она подарила ей свадебный букет: бутоны белых роз, связанные прозрачным голубым бантом. Эдит дрожала от счастья. У нее отечное лицо, но это почти незаметно… Разумеется, она уже укололась, это было необходимо, чтобы быть в форме. Лулу Барье стоял возле Марлен Дитрих, они были свидетелями. Эдит посмотрела на них взглядом, от которого разрывались сердца. В нем было все: радость, страх, надежда… Она прошептала: «Этого не может быть. Это мне снится…»

Но это было наяву. Лулу вел ее под руку, они вошли в церковь». С головы до ног она была одета в голубое. Звонили колокола, играл орган, это было прекрасно… Как это было прекрасно! Жак шел за ней в темно-синем костюме с белой гвоздикой в петлице. При виде цветка у нее мелькнула мысль: «Гвоздика приносит несчастье!» Но она тотчас же забыла об этом. Она шла как по облакам. Наконец сбылись чаяния ее наивного

сердца — свадьба была именно такой, о какой она мечтала маленькой девочкой…

Священник был итальянцем, и его французский язык звучал очень мягко, слова становились легкими, как будто летели на крыльях.

«Эдит Гассион, согласны ли вы перед Богом и людьми взять в мужья Рене Дюко, чтобы разделять с ним лучшее и худшее, пока вас не разлучит смерть?» Звучный знаменитый голос под сводами церкви бросил вызов несчастьям: «Да!»

Священник благословил обручальные кольца, и Эдит надела одно на палец мужа. Ее рука дрожала не только от волнения. Уже сказывались и алкоголь и морфий. Они вышли из церкви под звуки свадебного марша. На улице, по американскому обычаю, знакомые и незнакомые осыпали их пригоршнями риса на счастье.

Все, что можно было придумать лучшего, самого роскошного для этой свадьбы, все было предусмотрено. Было два приема: дирекция «Версаля» устроила коктейль, а затем был ленч в «Павильоне», самом известном ресторане Нью-Йорка. Было очень весело. Шампанское подавали французское! Эдит, наколотая, громко смеялась — чуть-чуть громче обычного.

Потом гости разошлись, Марлен поцеловала в последний раз Эдит и пожелала ей большого счастья. Брачная церемония, которая соединила Эдит и Пилса, закончилась. Супружеская жизнь, которая должна была их разъединить,— начиналась.

Через несколько часов Эдит предстояло выступать в «Версале», Жаку — в кабаре «Жизнь в розовом свете», где он пел «Не кричите на меня» и песню, которую только что написал для Эдит, «Это потрясающе».

В течение нескольких недель у снобов было принято ходить сначала слушать Эдит в «Версаль», а затем «господина Пиаф» в «Жизнь в розовом свете». В американских справочниках против фамилии Пилса (Жака) стояла сноска: смотри Пиаф (Эдит).

Маршруту их свадебного путешествия можно было позавидовать: Голливуд, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Майами… Но для них это была работа. Не было времени предаваться мечтам, держась за руки, не было медового месяца. Никогда еще в поездке Эдит не была так одинока.

В Голливуде в первый вечер, взглянув на себя в зеркало, Эдит упала на стул. Она не может больше пудриться, кожа не держит грима, волосы потускнели. Блестят только глаза, но лихорадочным блеском. Наркотики делают свое дело. Эдит охватил испепеляющий гнев, на этот раз по отношению к себе самой.

Вдруг раздается стук в дверь. «Входите!» — кричит она. Входит директор кабаре. «Эдит, в зале Чарли Чаплин! Он пришел ради вас, он никогда не ходит в ночные клубы. Какой успех!»

«Момона, когда он мне это сказал, у меня челюсть отвисла. Представляешь, петь перед этим человеком!

Для меня Чарли Чаплин самый великий из людей. В его фильмах есть такие девушки, какими были мы, Момона. Он знает, что такое нищета больших городов; и в этом он мне близок. Но его гениальность делала его недосягаемым, между нами была пропасть! Меня охватил страх, я была в панике, казалось, мне рта не раскрыть.

Я пела только для него и выложилась до конца. Должно быть, он это почувствовал. Он пригласил меня за свой столик и сказал слова, которые я никогда не забуду: он сказал, что очень редко ходит слушать эстрадных певиц и что они никогда не вызывают у него интереса; сказал, что я — воплощение всех горестей больших городов, их темных сторон, но также их света, их поэзии; что драмы, о которых я пою, не имеют границ, потому что это истории людей и их судеб и что я, Эдит Пиаф, заставила его плакать.

Я задохнулась от этих слов. До чего же я, наверное, глупо выглядела, сидя возле него; я ничего не могла сказать, кроме «Спасибо… О, я очень счастлива!» Я даже покраснела.

Комплиментов в жизни я наслушалась, записать — библиотека получится, но он — другое дело. Говоря о моих песнях, он говорил со мной обо мне. И когда я услышала от него, какой он меня видит, я была потрясена. Я сидела перед ним дура дурой… Придя домой, подумала: «Он, наверно, решил, что я идиотка».

На следующий день Чарли Чаплин позвонил ей и пригласил к себе в Беверли Хилс, район, где жили «звезды» Голливуда.

«Момона, если бы ты видела его дом, как там хорошо! Я боялась к чему-нибудь прикоснуться. Цвета такие… как в американском фильме — как будто каждый день все красят заново. В этот раз я его лучше разглядела. У него голубые глаза, очень красивые, с густыми ресницами, серебристые волосы и улыбка, от которой сердце тает. Говорит он тихим, ровным голосом, почти без жестов. Все, что он говорит, правдиво и просто.

Он мне рассказал разные случаи из тех времен, когда он играл в комической труппе Фреда Карно. Потом сыграл мне на

скрипке сочиненные им мелодии. Это талантливо, но мне показалось, что его музыка не похожа на его фильмы, она нежнее.

Когда я уходила, он пообещал написать для меня песню — музыку и слова. Надеюсь, он забудет, но я не забуду его дом никогда. Как должно быть в нем хорошо жить!.. Но думаю, я не смогла бы, я из другого теста».

Когда Эдит возвратилась в Париж и поселилась в своей новой квартире на бульваре Ланн, каких только зароков она себе не давала! Даже ходила в наш старый Сакре-Кёр! Молилась своей покровительнице, маленькой святой из Лизье, умоляла послать ей силы справиться с собой, побороть тягу к наркотикам, перевернувшую всю ее жизнь, в которой она теперь вальсировала, как пьяная танцовщица, в обратную сторону.

Войдя в дом, она рухнула на постель в своей красивой голубой спальне в стиле Людовика XV… Почему этого Людовика, а не другого? Она не знала. Она никогда не обставляла свой дом сама. Это делали чужие люди, и, естественно, на свой вкус. Да, в сущности, ей было совершенно безразлично, в какой обстановке жить. Ей были важны лишь удобства, и они у нее теперь были.

Ее комната выходила во двор, в ней было темно и тихо. Именно так, как ей нравилось. В гостиной, огромной, как зал для танцев, не было ничего, кроме рояля и всевозможных радиоприемников, магнитофонов, электропроигрывателей и т. д. На полу, на ковре, который ей подарил Лулу, лежали груды пластинок. Мебели не было. Когда собирался народ, кресла приносили из маленькой гостиной, более или менее обставленной, без всякого, правда, стиля, зато удобно. Если кресел не хватало, приносили стулья из кухни.

Кухня была прелестной, как на картинке из журнала для домашних хозяек. Казалось, ее прямо доставили с выставки кухонного оборудования. И слава богу, потому что в ней мы проводили еще больше времени, чем на кухне в Булони. Здесь ели, Эдит вязала, сидела с друзьями, и здесь же мы бесились ночи напролет.

Эдит принимала гостей обычно после полуночи, редко раньше. Всегда у нее можно было застать Жака, его пианиста Робера Шовиньи и его аккордеониста Марка Бонеля с женой Даниэль (она пока еще не играла первой роли, но в скором времени должна была стать секретаршей Эдит), Мишеля Эмера, Гит, Лулу и разных случайных людей, мелкую рыбешку, прибившуюся к ее берегу…

А для Эдит начинался кошмар, который должен был продлиться четыре года.

Когда она вернулась из Америки, я при виде ее испугалась. На этот раз все было очень серьезно. Куда девалась моя Эдит с уличных перекрестков? Бледненькая, как все девочки Панама, но крепкая, худенькая, но всегда здоровая?..

«Это от усталости, Момона, я совершенно выдохлась. На, дерзки, я привезла тебе сувенир».— И она подарила мне на счастье розу из своего свадебного букета. Потом она описала мне свадьбу и гастроли.

— Ты счастлива?

— О да! Жак чудный!

Она произносила эти слова, но я видела, что в мыслях она была не с ним. И не со мной. Где же она была, о чем думала? Я не могла взять в толк. До меня, разумеется, доходили слухи типа того: «Хозяйка села на иглу», но я не хотела этому верить. Эдит всегда получала удовольствие от простых, естественных вещей, отвергала искусственные, сложные.

— Тебя снова мучает артрит?

В 1949 году у нее был приступ деформирующего артрита, но он быстро прошел. Как утопающий хватается за спасательный круг, так она ухватилась за мое предположение.

— Да, да. Кортизон выматывает все силы.

Эдит в данном случае говорила правду, у нее снова начались приступы. Она теперь панически боялась боли, больше не могла ее переносить. Как только чувствовала, что боль оскаливает зубы, кидала ей кость — кортизон. Врач прописал ей два укола в день, она делала четыре. Без рецепта кортизон не продавался, но находились мерзавцы, которые его доставали. Она платила за одну ампулу до пятидесяти тысяч франков (старых) — ту же цену, что и за морфий. Если бы она осталась нищенкой и корчилась от боли, ее все бросили бы на произвол судьбы… Но она была Эдит Пиаф и имела все, что хотела, потому что платила. Успех и деньги могут убить человека быстрее, чем нищета.

Ампулы с морфием? Они стоили ей целое состояние. И это было только началом. Торговцы наркотиками сняли с Эдит три шкуры. Так как я больше не жила с нею, я не очень все это себе представляла. Хотя я ее прекрасно знала, но предпочитала заглатывать то, что она мне рассказывала. Она брала меня за руку, смотрела в глаза и говорила: «Мне тебя так не хватает, у меня, кроме тебя, никого нет. Стоит мне рот открыть, Момона, а ты уже все знаешь…»

Видимо, не все. Где были мои глаза?

Все началось с несчастного случая. Если бы не авария, она бы никогда не прикоснулась к проклятому яду. Эдит не была порочной, она не представляла себе, что это такое. До этого

страшного времени она, правда, пила, но не для того, чтобы отключиться, а, наоборот, чтобы повеселиться. Мы выпивали и озорничали. Она, например, напяливала на себя чудовищное платье, повязывала на голову платок и входила в какое-нибудь питейное заведение, где было битком народу. Подходила к первому столику и говорила: «Я — Эдит Пиаф!» Все вокруг начинали хохотать. Никто ей не верил. Тогда она поворачивалась ко мне и говорила: «Эти кретины платят деньги, чтобы на меня посмотреть, а бесплатно я им не нужна. Ну ладно, сейчас увидите, Пиаф я или нет!»

И начинала петь. Она блестяще умела пародировать саму себя. Люди катались со смеху и верили ей еще меньше.

Когда мы выходили на улицу, Эдит хохотала, была очень довольна собой. «Придут домой, скажут: «Видели одну чокнутую, совсем мозги набекрень, говорила, что она Эдит Пиаф! Как будто в этом можно обмануть. Бедная дурочка!» А дураки-то — они…»

Иногда, когда мы ходили в театр, Эдит покупала эскимо, конфеты и раздавала их публике. «Берите, берите, это в знак благодарности за то, что вы пришли. От Ассоциации признательных актеров…».

Иногда она угощала в виде извинения за то, что мешала смотреть спектакль. Она говорила: «Простите, господа, прощенья просим!» Если кто-то отказывался, она с ним задиралась. Самым удивительным было то, что вне сцены ее никогда не узнавали.

Для Эдит важен был не конкретный мужчина, а сама любовь; она должна была в нее верить, это было необходимо. Без любви она не могла ни жить, ни петь. Именно поэтому ее было так легко обмануть, и все чаще она мне говорила: «Это ужасно. Ни на мгновение нельзя забыть, что ты Эдит Пиаф. С тебя все время хотят что-то урвать, а на тебя саму всем глубоко наплевать! Даже тот, кто лежит с тобой в постели, в голове крупными буквами держит: «ЭДИТ ПИАФ».

Это стало навязчивой идеей, она только об этом и говорила. Я беспокоилась, мне это не нравилось. Я замечала, что у нее менялся характер. Никогда раньше Эдит не осложняла себе жизнь подобными мыслями. Она относилась ко всему легко, не таила ни на кого зла. Даже когда над ней смеялись, она часто отдавала себе в этом отчет лишь несколько дней спустя: «Послушай, Момона, а ведь он меня тогда приложил!»

Сколько раз я видела, как она приветливо здоровалась и даже обнимала людей, которые распускали сплетни или делали гадости. После их ухода она восклицала: «Надо же, я совсем забыла, что у меня на него зуб… Что же он мне сам не напомнил?» И смеялась.

Я видела, как она давала деньги людям, которые ее презирали. На следующий день в ванной до нее доходило. Тогда она говорила:

«Как я попалась на удочку! Ну ладно, пусть только еще раз сунется, больше ничего не получит. Кончено!» Но эти люди приходили снова, и она, все забыв, опять давала и давала…

И вот теперь у нее непонятно откуда появилась горечь. Мне не нравились ее глаза, они были мутными, как грязная вода: казалось, они вас не видят; иногда, наоборот, они были слишком блестящими. Эдит всегда любила поваляться в постели, но не до такой степени — теперь она проводила целые дни, распластанная, как пустой мешок, немытая, нечесаная, с отсутствующим взглядом.

Скоро все прояснилось… Однажды утром я позвонила Эдит, и мне ответили: «Мсье Барье и хозяин повезли мадам Пиаф в Медон, в клинику».

До женитьбы Жак видел, что Эдит делает себе уколы. Сначала он думал, что это кортизон. Она ему вешала на уши ту же лапшу, что и мне. Когда он понял, что она колет себе также и морфий, она объяснила: «Мне больно, поэтому я и колюсь. Но ты не беспокойся, что я к этому привыкну».

В Америке она держалась только на уколах. О том, чтобы пройти курс дезинтоксикации от наркотиков в США, не могло быть и речи: это получило бы широкую огласку, а контракты надо было выполнять. Эдит ни за что не согласилась бы нарушить контракт. Вернувшись в Париж;, она принялась жульничать сама с собой: клялась себе, что будет делать только две инъекции в день; а те, что были разрешены врачами, не считались. Таким образом, она делала четыре укола. Но так как она боролась с собой, то кололась в последний момент, когда уже больше не могла терпеть, и, конечно, не кипятила ни шприц, ни иглу, даже не протирала их спиртом — просто вонзала в руку или в бедро прямо через платье, через чулок. Когда человек доходит до такого, он пропал.

С двойными контрактами — она и Жак в одной программе — дело шло туго, но Эдит не хотела расставаться с ним, и ей пришла мысль сыграть снова «Равнодушного красавца». В первом отделении они должны были выступать каждый со своими песнями, а во втором — играть пьесу.

Но в ее состоянии это уже было невозможно. Она согласилась пройти курс лечения. Однажды утром, вцепившись в руки Лулу и Жака, она переступила порог клиники. Она боялась, но была счастлива, что у нее хватило сил решиться.

«Можно было подумать, что меня привезли в тюрьму, только здесь было чище. На окнах решетки, а сестра, которая нас встретила, смотрела вертухаем. Я видела ее в тумане, впрочем, всех, кто меня окружал, в том числе подонков, прибегавших с марафетом, я различала сквозь дымку. Сестра устроила мне шмон, как на таможне: им всегда кажется, что у вас в трусиках слиток золота весом в десять килограммов.

По-видимому, мы, наркоманы, а я уже сознавала, до чего докатилась, наловчились водить их за нос… Она выкупала меня в ванне, уложила в постель и сделала укол. Первый дет? был рай!»

Эдит полагалось пять уколов. Каждый день их сокращали, и наступил день «без».

«Я думала, что в тот день сойду с ума. Ужасающие боли разрывали меня на части, выворачивали наизнанку мышцы, сухожилия двигались сами собой. Я вдруг то скрючивалась, как старая виноградная лоза, то вдруг распрямлялась, как пружина. Надо мной склонялись смутные призраки в белом. У них почему-то были только части лица, которые то появлялись, то исчезали. Они, как рыбы, открывали рты, но слов не вылетало. Меня привязали. Я превратилась в животное, я не знала, кто я и что я, у меня текла слюна, но я этого не замечала. Ни секунды покоя, ни секунды ясности ума. Потом мне сказали, что это длилось только сутки, мне же казалось — тысячу лет…».

Через три недели врач сказал Эдит, что курс лечения закончен, но что она еще не выздоровела, что у нее может наступить нервная депрессия. Она ни о чем не хотела слышать, она хотела домой.

Какое там пение, какой там «Равнодушный красавец»! Целые дни Эдит валялась как тряпка либо в кресле, либо забившись в уголок дивана, либо в постели. Она не хотела ни есть, ни двигаться, она не хотела жить. Эдит видела, как приходили и уходили Жак и Лулу, но они не знали, слышала ли она то, что они ей говорили. Она отказывалась слушать музыку, любой звук причинял ей боль. Она рассматривала свои руки так, будто не узнавала их.

В один прекрасный день Эдит вдруг заговорила, ожила. Но объяснилось это чудо просто: она снова тайком стала колоться.

Возобновление «Равнодушного красавца» было самой большой неудачей за всю ее карьеру и самой плохой финансовой операцией. Так как никто не хотел ставить пьесу, Эдит сказала: «Плевать. Поставлю сама».

Все были в ужасе. Она сняла театр Мариньи и решила сама быть режиссером не только пьесы, но и обеих концертных программ, своей и Жака Пилса. Она говорила: «Чудесно, я снова взлетела!»

Она летела в пропасть…

Цену этой ошибки Эдит осознала скоро. Счета приходили огромные. Декорации стоили один миллион (старых) франков, музыканты — сто тысяч франков в день; один из так называемых друзей уговорил ее выписать из Флоренции двух мандолинистов, которым она платила по три тысячи франков каждому за вечер. В семьсот тысяч франков ей обошлись сверхурочные часы рабочих сцены. И так во всем. Она назначала репетиции и приходила с опозданием в несколько часов, кололась за кулисами, чтобы продержаться, и работала всю ночь.

Жак Пиле был очень милым человеком. Он был уверен, что любит Эдит, но не тянул рядом с нею ни в жизни, ни на сцене. Американцы прозвали его «мсье Шарм», и это было очень точно. Чтобы муж не провалился, жена убрала из своей программы все сильные песни и оставила только легкие, не утомлявшие ни публику, ни ее саму. Этим она себя погубила. Хныкающая и слащавая Пиаф разочаровывала, пение, лишенное пафоса и страсти, не волновало, но лилось, как бесцветная вода из открытого крана. Что с ней стало? Эдит Пиаф больше не было.

В этот единственный раз, если говорить о ее профессии, я испугалась за Эдит. «Равнодушный красавец» — сложная пьеса, на ней можно сломать себе шею. Что и случилось с Эдит. Боже, что она перенесла! Роль Поля Мёрисса совершенно не годилась для Жака Пилса. Он был сама улыбка, само обаяние. Вынужденный молчать и играть раздражение, он сразу лишался всей своей привлекательности. Он томился на сцене, как мальчик, поставленный в угол. Ампулы искусственного счастья вызывали у Эдит провалы памяти, и она говорила свой текст с большими пропусками.

Едва выскочив из этого переплета, Эдит и Пиле отправились на гастроли. Блуждая в тумане, засасываемая болотом наркомании, она цеплялась за Пилса.

«Понимаешь, я не могу с ним расстаться, кроме него у меня никого нет, Момона. Если бы ты знала, как он со мной нежен, терпелив, ни разу не рассердился… А что я ему устраивала…».

Я молчала, но про себя думала, что было бы лучше, если бы он один раз вышел из себя и даже как следует отлупил. Но на это рассчитывать не приходилось: всю свою жизнь он только и делал,

что очаровывал, а чтобы удержать Эдит, нужна была железная рука. Эдит никогда не была легким человеком, а уж тем более теперь, когда она с головокружительной быстротой катилась под откос.

Чтобы не слишком налегать на морфий, она пила. Теперь уже не ради веселья, как раньше, а из страха перед ломкой. В этой ситуации Жак был скорее партнером, чем надсмотрщиком. Кроме того, он искренне считал, что для нее опаснее держать в руке шприц, чем бокал!

Во время этих гастролей они устраивали невероятные попойки. Однажды в Лионе они зашли в бистро в половине первого ночи, чтобы выпить пива, и в восемь утра еще были там. Как они набрались, можно себе представить, если все, кто с ними был, спали вповалку на столах.

Пьяного Бог бережет, это точно; он, вероятно, еще и садится за руль, потому что как иначе смогли они доехать до Баланса — им захотелось позавтракать именно там! Ввалившись в кафе, они потребовали: «Яичницу и белого вина!»

Им было море по колено, они выглядели свежими как огурчики. Эдит смотрела на Жака с восхищением — наконец она нашла себе собутыльника под пару. Особенно ей понравилось, как Жак с пьяным хвастовством спросил ее: «А интересно, кто нас сюда довез?» А ведь он довез!

В «Казино Руайаль», где Эдит выступала, смесь вина с морфием наконец довела ее до того, что она испугалась. Однажды она не смогла найти выхода из кулис на сцену. Как слепая, она тыкалась о косяки и кричала: «Сволочи! Они заперли выход! А где занавес? Занавес украли!..» Ее буквально вытолкнули на сцену. Лулу взмок от страха. Это было ужасно.

«Мне показалось, что я пою, а произносила слова, не имевшие никакого смысла… но мне они нравились. Люди начали свистеть, потом орать, как во времена «дела Лепле». Это меня протрезвило, и я смогла допеть до конца».

Вот когда ампула с морфием окончательно стала во главу угла.

«Не знаю, как я закончила гастроли. Добиралась до гримерной в полной отключке, кололась и пела дальше. Уходила со сцены, Лулу подхватывал меня, иначе я бы рухнула на пол. Я не хотела делать больше трех уколов, упиралась изо всех сил, но очень скоро стала делать четыре, потом пять… Когда я смотрелась в зеркало, мне хотелось выть, до того я сама себе

была противна. Однажды я сказала себе: «Нет! Я выдержу, я избавлюсь…» — и я не сделала укола.

Не помню, как я вышла на сцену. Прожектора били в лицо, в их огненном свете перед глазами кружились красные звезды. Я не услышала музыкантов и ждала, когда они заиграют, чтобы начать петь. Я чувствовала, как пот, отвратительный, липкий пот, смывая грим, течет по лицу. Я качалась, как на палубе. Схватив микрофон, я уцепилась за него и сжимала изо всех сил. Мы вместе раскачивались, как мачта во время бури… Я запела… но внезапно остановилась. Не могла произнести ни слова, ни звука. Издалека донесся смех публики, нехороший смех. До меня долетали слова, они лопались, как пузыри, о мою голову, о мои уши. Тогда я заплакала… и стала звать: «Марсель, Марсель…» Не знаю, кого я звала, свою дочку или Сердана… Потом я крикнула публике: «Простите! Я не виновата… Простите!..»

Дали занавес. Впервые в жизни Эдит не смогла петь. Пришлось вернуть деньги. Правда, на следующий день в газетах появилось сообщение, будто мадам Пиаф во время концерта стало дурно, но это не исправило положения.

Дела были плохи. Вернувшись в Париж, Эдит не могла больше раздумывать, нужно было снова ложиться в клинику. Пятьдесят четвертый год — двух лет не прошло со дня ее красивой свадьбы! Жак делал все, что мог, но его часто не бывало дома. У него была своя работа. И потом, чтобы жить с женщиной, потерявшей человеческий облик, нужно быть не певцом, а святым!

На этот раз Эдит не выдержала и четырех дней. Она сбежала из клиники до того, как сняли уколы.

«Голова моя была набита кусками льда, они впивались мне в мозг. Молотки стучали по черепу. В больнице у меня отобрали одежду, я убежала в халате. Мимо оконца сторожа я проползла на четвереньках, вскочила в такси и вернулась домой. Кинулась туда, где прятала морфий,— ампулы были на месте. И все началось сначала…

Наркомания — адский праздник, там своя карусель, свое чертово колесо… Ты кружишься, поднимаешься и опускаешься, снова поднимаешься и снова падаешь в бездну. Все всегда одно и то же, все повторяется, все серо, грязно. Но ничего не замечаешь, в голове у тебя одно — марафет…

Когда вкалываешь иглу, задыхаешься не от наслаждения, а от облегчения. Момент, когда колешься не для того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было плохо, наступает очень быстро.

Как страшно! Чем больше доза, тем сильнее страдание, и надо колоть еще больше, чтобы прекратить мучения. Разум уже давно тебя покинул. Живешь как в тумане».

И в таком состоянии Эдит решила отправиться на гастроли на девяносто дней; три летних месяца по Франции с Супер-Цирком. Никто не мог ее остановить. Она повторяла: «Если я не буду петь, я подохну…» Она не говорила о том, что ей нужны деньги, чтобы продолжать убивать себя. Она на это тратила все, что зарабатывала. Лулу был в отчаянии: «Раз она хочет, она поедет!»

И она поехала, но в каком состоянии! Ничего человеческого — тряпичная кукла…

Изо дня в день Лулу ждал, что она свалится и тогда он сможет, подхватив ее на руки, отвезти в клинику в третий раз. Он знал, что своей волей она туда не пойдет.

Эдит не отдавала себе отчета, в каком она состоянии. Ее руки, бедра были покрыты синяками, ранами и струпьями. Ее приходилось одевать, гримировать и затем выталкивать на сцену. Она не осознавала происходящего и жила только ожиданием момента, когда очередной подонок принесет ей волшебную ампулу.

Для тех, кто окружал Эдит, гастроли были сплошным кошмаром. Всех колотило от ужаса. Журналистам говорили, что Эдит больна, и они преследовали ее по пятам в надежде, что она где-нибудь свалится. Приходилось скрывать ее, тайно увозить после каждого концерта. Целыми часами она находилась в бессознательном состоянии.

«Кажется, цирк каждый день переезжал в новый город. Но я не знаю, я ничего не видела. Ничего не помню. Сплошной мрак, и в нем обрывки отдельных картин… Вот меня заталкивают в машину, потом кладут в постель, потом я выхожу на манеж… до этого я колюсь и, следовательно, могу петь. И так изо дня в день… Мне все безразлично, пропадай все пропадом…

Цирк остановился — в обоих смыслах слова — в городе Шоль. Лулу взял меня на руки, завернул в теплый плед, усадил в машину. Мы поехали в клинику… Врач сказал: «Опять вы!»

Самое удивительное было то, что Эдит, несмотря ни на что, пела. Было очень мало вечеров, когда она полностью вырубалась. Выдавались и такие, когда она снова становилась Великой Пиаф!

На этот раз курс дезинтоксикации начался с десяти уколов в день — вот до какой степени был отравлен ее организм. Когда их

число сократилось до четырех, Эдит впала в бешенство. Она вскочила с постели, поломала все вокруг, кричала, выла. Волосы лохмами падали ей на лицо, она поранилась, и пришлось ее привязать.

Как и в предыдущие разы, я все время звонила, приходила в клинику, чтобы узнать, как она. Старшая сестра хоть и твердо стояла на страже правил, но была очень доброй женщиной. Она мне объясняла, что так бывает со всеми, что это пройдет, что нет причин для волнений, состояние Эдит не тяжелее, чем у других. Но меня беспокоило главное: прекратится ли это, вылечится ли она, станет ли она прежней? «Ну, конечно. Все идет нормально. Случаются рецидивы, но бывают и выздоровления».

Рядом с ней никого не было, входить в палату было запрещено. Но и возле ее двери в коридоре тоже было пусто. Иногда мелькал силуэт Лулу… и все. Я понимала, что Эдит ничем нельзя помочь, что она даже не знает, здесь ли мы, но мне было больно, когда я видела, как она одинока.

Наступило время отмены уколов. В этот день я пришла, как обычно, ни о чем не подозревая, и поднялась на первый этаж. Но уже внизу до меня донеслись какие-то крики. Когда я вышла из лифта, мне показалось, что я узнаю голос Эдит. Я не поверила своим ушам: так рычит перед смертью раненый зверь. Нечеловеческий вопль пронзал мозги и парализовывал волю. Я стояла пригвожденная перед дверью палаты. Кто-то вышел, и я увидела привязанный к постели корчащийся комок мяса. Вены на лбу набухли так, что готовы были лопнуть, пот катился градом. Дикий крик не замолкал ни на секунду. Вокруг стояли люди в белых халатах. Они смотрели как на неодушевленный предмет на это существо, которое когда-то было женщиной. Пена пузырилась на ее губах. Я не могла даже плакать. Я шептала: «Это не она…» Старшая сестра взяла меня за руку:

— Пойдемте, вам нельзя оставаться здесь. Это очень тяжело для близких, но так и надо. Завтра ей будет лучше. Вы пришли в день «без»…

— Но она страдает…

— Да, ужасно. Но это необходимо, через это надо пройти.

Прошло время, Эдит вышла из больницы.

«Понимаешь, Момона, я кричала, потому что не могла иначе, но я хотела выздороветь. По-моему, на этот раз я выскочила. Врачи меня предупредили: «Будьте осторожны, жажда наркотиков будет мучить вас в конце третьего, шестого, двенадцатого и восемнадцатого месяцев».

И в течение восьми месяцев Эдит в ужасе от одной мысли, что это может вернуться, жила на бульваре Ланн, запершись в своей комнате, в темноте, не желая никого видеть.

А вокруг нее продолжали сновать всякие гады. Продавцы наркотиков прорывались через все преграды, чтобы предложить свой товар: «Попробуйте кокаин, мадам Пиаф, это не морфий, он не опасен». Она отвечала: «Нет». Тогда появлялись другие: «Раскошеливайтесь, иначе мы расскажем журналистам, что вы наркоманка». Даже один из шоферов — они часто менялись — шантажировал ее. За молчание он требовал миллион, и она заплатила…

Когда Жак бывал дома, Эдит чувствовала себя спокойнее. Он не раздумывая выгонял всех. Однажды он даже дал по морде вымогателю денег. Но он часто отсутствовал, и тогда она оставалась совсем одна. Прислуге было на все наплевать, лишь бы с них много не требовали.

Лечение от наркомании, наркотики, шантаж — все это стоило дорого… а Эдит не работала. Она продала ферму в Алье, несколько картин, которые когда-то купила, горстку драгоценностей, она ими не дорожила. Она мне говорила: «Жемчуг и бриллианты на мне не смотрятся. Я как ворона в павлиньих перьях». Но что для нее было десять миллионов? Капля в море. Лулу был в отчаянии.

И все-таки потихоньку Эдит возвращалась к жизни. Снова она могла видеть свет. Когда я узнала, что она открыла ставни в своей комнате, я послала ей дюжину роз, таких, какие она любила. Она тотчас же мне позвонила по телефону. Голос у нее был нормальный, почти веселый.

— Ничего, не настал еще последний час, Момона.

Все вздохнули. И было самое время: Лулу снова получил для нее контракт в Америку, в «Версаль».

— Лулу, ты думаешь, мне можно туда ехать?

— Они вас ждут. Они ничего не знают.

Нужно соглашаться.

Работа вновь приняла ее в свои объятия. Эдит выздоровела. Вернулось все, кроме любви. Она продолжала любить Пилса, но, пожалуй, меньше, чем давних друзей, таких, как Лулу, Шарль Азнавур, Гит; во всяком случае, не больше. Она осознавала, что брак не удался.

«Момона, в этом никто не виноват, это наркотики! Жак нежный, ласковый. Он создан для веселья, а не для драмы. И так как он не может в ней участвовать, он где-то сбоку… А я одна… Понимаешь?»

Эдит уехала в Нью-Йорк, Жак — в Лондон на репетиции музыкальной комедии. В Штатах Эдит возродилась, Америка всегда поддерживала ее, там была ее публика.

Она воспринимала янки как крепких, здоровых людей. Если они любят, то всерьез, это настоящие мужчины; в отличие от французов, у них не бывает женских причуд. С другой стороны, она все про себя скрывала от них. Она держала себя не так, как во Франции, где окружающие были для нее родная семья: в Америке она вела себя сдержанней.

В Штатах у нее всегда была хорошая пресса. Один критик писал: «Эдит Пиаф, маленькая французская Изольда, по-прежнему мужественно умирает от любви. Пятьсот раз во время первого ужина, пятьсот раз во время второго, а голос все так же прекрасен… Самый сильный в мире голос в самом маленьком теле!»

Статьи о ней появлялись каждый день. Каждый день на постели вырастала гора газет. Но эту статью она запомнила навсегда, она ее поразила.

«Видишь, Момона, этот человек прав: «Я умираю от любви пятьсот раз за вечер». Знать бы ему мою жизнь, вот бы расписался дружок! Но когда я не умираю от любви, когда мне не от чего умирать,— вот тогда я готова издохнуть! Да, Момона, брак — не выход из положения».

В Париже она не работает, ждет. Так продолжается около года. Ей трудно снова набрать дыхание для разбега. Не знаю, второе ли это дыхание, но оно не спешит наполнить ее легкие свежим воздухом.

И вдруг все меняется. Лулу приносит известие, что у него есть для нее контракт. По три тысячи долларов за вечер в «Карнеги Холл». Впервые в самом знаменитом концертном зале Соединенных Штатов будет выступать «звезда» варьете.

Снова начинается рабочая лихорадка. На бульваре Ланн сутолока, мельканье Лиц. Она репетирует как всегда, выкладываясь до конца. Все вокруг выдыхаются, не выдерживая ритма. Слабаки! Она смеется, она счастлива, она в полной форме.

В 1956 году Эдит в седьмой раз приземляется в Нью-Йорке. Ее принимают, как королеву. Холодно, мороз. Когда она сходит по трапу самолета, Лулу боится, что она простудится на ледяном ветру. Эдит кутается в норковое манто, подарок Марселя,, уцелевшее каким-то чудом. Журналисты просят позировать еще и еще. «Оставь, Лулу. Я же теперь здорова. Пусть они получат от

меня то, что им нужно. Я сейчас принадлежу им…».

Она говорит правду. Вот уже несколько дней, чтобы услышать Эдит, люди стоят в очереди, несмотря на холод (-15°).

В ее комнате в отеле «Уолдорф Астория» полно цветов, их все несут и несут, ставят уже в коридоре. Эдди Льюис, как преданный пес, прыгает вокруг Эдит: «Вы в прекрасной форме, лучше, чем в первый раз. Как поживает ваш муж? Подумать только, ведь можно сказать, это я поженил вас!»

Он не замечает выражения глаз Эдит. Она отмечена, как все те, кто побывал в преисподней. Но он чувствует, что с таким лицом, такими глазами ее ждет еще больший успех.

В тот вечер Эдит впервые исполнила песню Пьера Деланэ «Старая гвардия».

Слушай, парижский народ,
Слушай, как грохочут в ночи сапоги.
Смотри, парижский народ, на вечные тени,
Которые с песнями проносятся в твоем небе!

Это потрясало до глубины души, Казалось, вы видели небо Парижа, трехцветное знамя, развевающееся над Триумфальной аркой, Елисейские поля!.. Пьер Деланэ, как и многие другие, приехавший с Эдит, чтобы услышать ее выступление в «Карнеги Холле», сделал запись прямо в зале. Это уникальный документ. Когда она кончила петь «Старую гвардию», раздались крики, аплодисменты, свист — шквал, продолжавшийся почти столько же, сколько песня.

Публика безумствует. Эдит поет двадцать семь песен. Когда занавес опускается в последний раз, зрители стоя аплодируют в течение семи минут этой маленькой женщине, такой одинокой на огромной сцене, но только что вызвавшей у них желание кричать и умереть от любви вместе с ней.

Лулу хронометрировал.

«Знаешь, семь минут это очень долго. Есть время подумать. Я их слушала… это было прекрасно… Мне было так хорошо, что сделалось больно! Все было слишком сильно! Кто-кто, а ты, Момона, поймешь меня. В течение этих семи минут, когда сердце, казалось, разорвется от радости, я поняла, с кем я навсегда обручена. С моей публикой. С Жаком все кончено. Никто ни в чем не виноват. Ему не повезло… Я подала на развод. Не гожусь я для семейной жизни. Она продолжалась четыре года, не так уж и мало! Теперь с замужеством раз и навсегда покончено. В следующий раз церковные колокола зазвонят по мне на

похоронах…».

Глава шестнадцатая. В омуте наркомании

Для Эдит концерты в «Карнеги Холл» были не просто успехом, это был полный триумф.

— Момона, наконец-то я выскочила из дерьма. Мои приятели-американцы хорошо на меня действуют. Они ничего из себя не строят, не ломают комедию. Если они кого любят, так прямо об этом говорят. Тебе признаюсь: когда я туда ехала, дрожала мелкой дрожью, а теперь набралась мужества, я прежняя. Буду готовиться к концерту в «Олимпии».

— Будь осторожна, Эдит, не форсируй. А вдруг не хватит сил?

— Не морочь голову! Надоело это от всех слушать! Знаешь, что генерал Эйзенхауэр ответил врагам, которые просили его поберечь силы?— «Better live than vegetate»[56] Мне нужно наверстать упущенное!

И снова на бульваре Ланн начались наши прекрасные ночные бдения. Участников было много. К Шовиньи, Марку Бонелю и Даниэль прибавились шофер Робер Бюрне с женой Элен, незаметно ставшей у Эдит секретаршей на посылках; горничная Кристина с матерью, кухаркой Сюзанной. Это был фон, они служили у мадам Пиаф и жили в доме. Приходили навестить Эдит разные люди, временами бывавшие не только на вторых, но и на первых ролях, верные друзья: Лулу, Мишель Эмер, Гит, Конте, Шарль… и многие, многие другие.

Эдит не зазнавалась. Она так же просто могла привести в дом любого бродягу, ночующего на решетке метро, как Андре Люге или Франсиса Бланша.

«В бане все равны! Все слеплены на один фасон! Почему же я не могу посадить их рядом за мой стол?»

Кто же заходил еще? Старые «патроны», которых всегда хорошо принимали,— они забегали мимоходом поздороваться; и новые — в фаворе на денек. Но главную партию никто не пел; отсутствие тенора начинало чувствоваться в воздухе.

Тех, кто хоть раз окунулся в своеобразную атмосферу ночных посиделок на бульваре Ланн, постоянно туда тянуло. Они уже не могли без этого обходиться. Пили там обычно простое красное вино или пиво, в зависимости от настроения хозяйки. Икру ели

ложками. Стоило кому-нибудь сказать, что он любит икру, как Эдит закупала ее килограммами. (Не для себя, она ее не очень любила, с нее хватало кофейной ложечки.)

Слушали пластинки, часами вели разговоры о работе… В комнатах было тепло, все располагались, как кому нравилось… Окружающий мир существовал где-то вокруг, но он никого не интересовал, нам было достаточно общения друг с другом.

Когда Эдит была в форме, она пела, пробовала новые песни, устраивая нечто вроде маленького прогона, это было чудесно! Ночь продолжалась до одиннадцати часов утра! Когда я там бывала, а приходила я часто, мы с Эдит веселились от души.

«Момона, посмотри на них! Как набрались! Хоть бы один держался на ногах».

Развалившись в креслах, на всем, что могло служить постелями, вповалку спали гости. У меня тоже слипались глаза, но я стойко держалась. Результат долгих тренировок! Эдит бы мне не простила, если б я ей изменила! Солдатик не сдается!

«Пойдем посидим в ванной, как в добрые старые времена…».

Но это не было как прежде. Даже наедине со мной Эдит уже не выходила из образа. Ее часто мучили боли. Суставы рук начинали деформироваться. И вот она, всегда прямо смотревшая жизни в глаза, начинала партию в покер со своим телом. Она не могла допустить, чтобы оно одержало верх. Ни козыри имела право только она. И когда ее изнемогающая плоть надрывалась от крика о помощи, она ей не внимала: вместо того, чтобы лечиться, глушила вопль страдания болеутоляющими лекарствами.

Самое трудное было уложить Эдит в постель. «Я не хочу спать, Момона, я не хочу ложиться». У нее совершенно не было терпения: требовалось, чтобы сон приходил немедленно, сваливал ее с ног. Она не хотела его ждать, лежа в постели, и, чтобы заснуть, глотала разные пилюли. Но часто это не давало результата, уже сказывалась привычка.

Когда мне наконец удавалось уложить ее с черной повязкой на глазах и с затычками в ушах, я на цыпочках прокрадывалась из комнаты. Ускользнуть удавалось не всегда. Часто, едва я бралась за ручку двери, раздавался окрик: «Момона!»

Даже с приближением премьер Эдит не меняла образа жизни. Только плюс ко всему она еще и работала!

Концертная программа для «Олимпии» была для Эдит очень важна — почти два года она не пела в Париже! Брюно Кокатрикс, и без того недоверчивый и осторожный, наслушавшись злых сплетен, пригласил ее лишь на месяц. Вообще говоря, это было

совсем неплохо: месячные контракты он заключал со «звездами», остальные выступали по две недели.

В вечер генеральной мы все были как на горячих угольях. Если Эдит пройдет в «Олимпии» плохо, вся ее дальнейшая карьера окажется под вопросом. До Парижа дошли слухи о гастролях с Пилсом, о выступлениях с Супер-Цирком: «Знаете, с Пиаф все кончено. Она срывает контракты».— «Хорошо бы, разбила себе морду!» Хищники в зале оскалили клыки, но после пятой песни заблеяли как ягнята. В тот вечер Эдит впервые спела «Француженку Мари», «Даму», «Человека на мотоцикле», «Ты знаешь», «Любовники на один день», «Браво, клоун!».

Я довольно давно не слышала ее выступлений. Первая же песня меня захватила, потрясла, перевернула душу. Никогда еще она так не пела.

Голос прилетал как дальний ветер… Когда дует сирокко, он несет с собой горячий песок, обжигающий легкие; он сметает все на своем пути и бросает вам в лицо, как пощечину, раскаленное дыхание пустыни. Голос Эдит был ветром города, он кружился на площадях, прополаскивался в бистро. Он кричал о том, что всюду люди любят: в пригородах, на перекрестках улиц во время случайных встреч, на праздничных гуляньях… Эдит выплескивала на вас жизнь улицы. Протягивая вам на ладони свое сердце, она раздирала вам душу. Ее одинаково воспринимали и напыщенные снобы и простой народ, они не успевали задуматься… В сущности, им было наплевать на слова. Если бы она пела просто «ла-ла-ла» или страницы из телефонного справочника, у вас подкатывал бы такой же комок к горлу.

Никто никогда не обращал внимания на то, как она причесана, во что одета, точно ли поет или фальшивит. Это не имело никакого значения. Более того, если она ошибалась или останавливалась, публике это нравилось. Это было доказательством искренности и правды, совершающегося на глазах творчества, а не штампа, вам не продавали позавчерашние котлеты. Все рождалось в ней и исходило от нее: и любовь и страдание. Наркотики, будь они прокляты, чуть-чуть не убившие ее, как бы очистили ее изнутри, обнажили нервы, и она пела о любви с такой силой, как никто и никогда до нее.

Занавес невозможно было закрыть — ее вызывали двадцать два раза, и она спела на бис больше десяти песен. У меня пересохло в горле и болели от аплодисментов руки.

Брюно расторг следующие контракты и дважды, трижды продлевал ее выступления. Она пела в «Олимпии» двенадцать недель.

Каждый вечер зал был переполнен. Спекулянты

перепродавали даже откидные места! Сборы достигли рекордных цифр: три миллиона (старых) франков в день. Еще три миллиона было выручено за продажу пластинок: за четыре месяца их продали триста тысяч, а диск концерта в «Олимпии» только за две недели разошелся в количестве двадцати тысяч штук. За год фирма звукозаписи перевела на ее счет тридцать миллионов старых франков. Ее гонорар за вечер составлял один миллион двести пятьдесят тысяч франков. Люди, конечно, говорили: «Вот уж у кого денег куры не клюют! Сколько же она себе отложит на черный день!» Ничего она опять не отложила…

За деньги Эдит платила собственной жизнью.

Когда она начала выступать в «Олимпии», врачи ее предупреждали: «Каждый раз, когда вы поете, вы сокращаете свою жизнь на несколько минут!..» Они хотели ее напугать. «Мне плевать! Если я не буду петь, сдохну еще скорее!» Поэтому она имела право ради своего удовольствия сорить деньгами. Сбережений как не было раньше, так не было и теперь.

В своей книге «Мой путь и мои песни» Морис Шевалье предупреждал Эдит: «Пиаф — маленький чемпион в весе пера. Она болезненно расточительна. Она не бережет ни денег, ни сил. Наблюдая с нежностью и тревогой за ее клокочущей гениальностью, я предвижу, что ее стремления увлекут ее в пропасть, подстерегающую с обочин дороги. Она хочет все успеть, все объять… И обнимает все, не признавая законов осторожности, предписанных профессией кумира…»

«Ну и что он выиграет,— сказала Эдит, прочитав эти строки, — если после смерти у него останутся деньги на золотой гроб? С меня лично хватит деревянного костюма, в который одевают нищих бродяг. И потом, я хочу умереть молодой. Какая гадость — старость, какая мерзость — болезни…».

В «Олимпии» мы вновь встретили Клода Фигюса, одного из самых верных поклонников Эдит, сыгравшего в ее жизни очень важную роль.

Впервые я увидела его мальчишкой. В тринадцать лет он с ума сходил по Эдит, вот от чего не помог бы никакой курс лечения! Началась эта история году в 1947-м. Эдит выступала тогда в «АВС». В тот вечер шел проливной дождь, а у Эдит кончился аспирин. Я побежала за ним. Даже если не было необходимости его принимать, он всегда должен был быть у нее под рукой. У служебного выхода на улице натыкаюсь на мальчишечку, мокрого как мышь. Через пять минут пробегаю обратно, и мышонок хватает меня за рукав.

— Мадемуазель, я вас видел с мадам Пиаф, вы не могли бы провести меня?

Тут я его разглядела: мягкий взгляд, на лбу темная прядка вьющихся волос, бледные щеки, как у всех подростков с окраин, одет дешево, но прилично. Он мне понравился.

— Ты откуда?

— Из Коломба.

— А я из Менильмонтана.

Я следила за ним краем глаза. Он напоминал мне о тех годах, когда мне было столько же лет, сколько ему.

— Будьте добры,— говорит он, пристраиваясь за мною.

— Ладно, давай, я и так задержалась.

Я бежала сломя голову, но он не отставал. Я влетела за кулисы, когда Эдит уже выходила на сцену.

— Это еще что за явление? Ты теперь подбираешь их в детском саду?

— При чем тут я, он твой поклонник.

Он смотрел на Эдит так, словно она — Жанна д'Арк и сошла к нему с витража на пару слов.

— Можешь остаться, но только чтобы тебя никто не видел!

Он прослушал весь концерт, прижавшись к кулисе; рабочие сцены могли бы убрать его вместе с ней, не заметив.

На следующий день он ухитрился пробраться за кулисы, сказав, что он мой знакомый. Его восхищение Эдит было таким полным, таким искренним и простодушным, что она подарила ему свою фотографию с автографом.

— Как тебя зовут?

— Клод Фипос.

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать, мадам Пиаф, но я вас люблю.

Эдит рассмеялась.

— Я знаю, что возраст любви не помеха, но до женитьбы на мне все-таки придется лет десять подождать!

Клод таскался за Эдит повсюду. На премьерах он покупал себе билеты на галерку, а потом пробирался за кулисы. Это был прелестный человечек. Эдит говорила ему: «Давай-ка, Клод, постучу по твоей головешке! Дерево приносит счастье!»

Мы привыкли, что он всегда где-то рядом, и не замечали, что он растет и взрослеет, превращается в мужчину. Он крутился у нас под ногами несколько лет, а потом вдруг исчез.

В вечер премьеры «Олимпия-5-6» (премьеры различались по годам, как марочные вина) я стояла за кулисами с Шарлем. Мы смотрели на очередь перед гримерной Эдит, когда я услышала голос Кокатрикса:

— А ну сматывайся, ты никого здесь не знаешь.

— Знаю, мсье. Вот мадам Симона и мсье Азнавур.

Я смотрю: передо мной красивый молодой человек. Шарль, знавший Фигюса, как все мы, и всегда к нему хорошо относившийся, воскликнул: «Это же маленький Клод!»

— Каким ты стал взрослым! Где ты пропадал?

— Меня призвали в армию.

— Знаю, что тебе нужно: увидеть Эдит. Приходи завтра, будет поспокойней.

По тому, как он сказал: «Она, конечно, не помнит меня…» — я поняла, что он-то ее не забыл.

— Знаете, а вы ведь живете на моей улице.

— Почему же ты не зашел ко мне?

— Боялся.

Он выглядел мужчиной, но сохранил сердце ребенка. Это было видно невооруженным глазом.

На следующий день он пришел к Эдит за кулисы. Так как ей нужно было, чтобы кто-нибудь поклонялся ей и дома, она в тот же вечер привела его на бульвар Ланн, окрестила своим секретарем, и несколько лет, около восьми примерно, он оставался возле нее. Это был славный юноша, очень честный, открытый.

Он по-прежнему боготворил Эдит и был ей предан душой и телом. Попроси она у него кусок кожи со спины на абажур, он предложил бы ободрать себя с ног до головы. Эдит его не пощадила. Он подвернулся ей под руку в подходящий момент. Она могла вертеть им как хотела. Хоть он и был намного выше ростом, силенок противостоять у него не хватило, и бедняга был проглочен с потрохами.

В течение долгих месяцев наркотики заменяли Эдит все. Схваченная за горло их мертвой хваткой, она не могла думать ни о чем другом. Теперь все изменилось. Ей снова хотелось любви, но в душе была пустота, на которой не расцвести чувству, нужному ей, чтобы жить, Я была уверена, что без любви она может пуститься во все тяжкие.

Каждый вечер была «Олимпия», но между моментом, когда она покидала сцену, и моментом, когда снова выходила на нее, проходило много времени, слишком много. И Эдит пила. Но не так, как мы когда-то пили, ради веселья и озорства; она пила, чтобы забыться, свалиться как подкошенная и наконец уснуть! Она решила, что пиво менее вредно, чем вино… и в стельку набиралась пивом.

Клод не знал, что для нее алкоголь так же опасен, как морфий. А Эдит внушила ему, что разыгрывает нас, и он прятал для нее бутылки пива в спальне, в ванной, где только мог… Она превратила его в своего сообщника.

Лулу и несколько верных друзей пытались бороться с

пьянством. Но эту борьбу можно было вести, лишь живя вместе с ней. Достаточно было отпустить ее одну в туалет, как все усилия шли насмарку! Лулу пытался ее урезонить, она либо посылала его к черту, либо клялась, что с пьянством покончено, она дает слово и завязывает навсегда.

Она настолько была пропитана алкоголем, что ей достаточно было трех стаканов пива, чтобы быть в стельку пьяной. А Клод, невинный младенец, говорил: «Честное слово, она много не пьет, я за ней слежу!»

Эдит предстояло отправиться в одиннадцатимесячное турне по Соединенным Штатам, самое важное, самое длительное за всю ее карьеру. Ей там платили очень много. На первом месте в мире по гонорарам стоял Бинг Кросби, на втором Фрэнк Синатра, а за ними она. Лулу снова, уже в который раз, приходил в отчаяние.

— Что делать? В Соединенных Штатах ей будет еще труднее бороться с собой, чем здесь. Почти год, это слишком долго! Момона, сделай что-нибудь, она тебя слушает.

— Я бы очень хотела, чтобы так было, но ты прекрасно знаешь, что уже давно никто на нее не имеет влияния. Что ты хочешь, Эдит живет без любви, она, как корабль без экипажа, плывет по течению. Нужно найти ей мужчину.

Ей не хватало мужчины в доме. Тем, кто жил возле нее, было на все наплевать: обслуживали ее, и все. Они боялись потерять такое хорошее место, где мадам ничем не занималась, ничего не замечала, где деньги текли как вода… А это питает маленькие ручейки, и они превращаются в большие реки. У этих же было стремление стать широкими потоками.

Когда Лулу объявил охоту на бутылки, когда каждый закуток был досконально обыскан: под двуспальной кроватью, в аптечке, в гардеробе, в комоде, в туалете, в рояле — всюду, где можно спрятать бутылку, включая мусорный ящик,— Эдит, видя, что выпить нечего, впадала в дикую ярость и крушила все вокруг или в ночной рубашке и шлепанцах, накинув только пальто, убегала в ночную тьму, чтобы приземлиться за первой попавшейся стойкой бара.

Утром раздавался телефонный звонок, и снимавшая трубку Элен, жена шофера, слышала голос неизвестного бармена: «Приезжайте за своей мадам, за Эдит Пиаф. Уже шесть часов, и мы закрываемся, а она не хочет уходить и орет: «Я твоя!» Нам пора спать. Захватите, кстати, чековую книжку, за ней порядочно записано».

Шофер с женой, Марк Бонель и Клод, как группа захвата, отправлялись доставлять на дом хозяйку, которая, в зависимости от настроения, пыталась иногда прихватить с собой то игральный

аппарат, то электрический бильярд, то оконные занавески.

В теперешних запоях Эдит не было ничего веселого.

Как-то вечером, незадолго до отъезда в Америку, она решила репетировать, начала петь и вдруг остановилась на полуслове.

— Я забыла в ванной одну вещь.

— Я вам принесу, Эдит,— сказал Клод.

— Нет, пойдем вместе.

После пребывания в больнице Эдит не выносила одиночества ни на минуту. Ее надо было сопровождать повсюду, и особенно в туалет, причем ей было не важно, кто в данный момент был рядом, мужчина или женщина,— она оставляла дверь приоткрытой и была спокойна.

Вскоре она вернулась. Глаза ее блестели. Она запела, но тут же стала хохотать:

— Я не могу… Слова толкаются у меня в горле, хотят выскочить все одновременно. Не толкайтесь!.. Они меня не слушают! Во рту их слишком много… пойду выплюну…

Она снова ушла. Вернулась бледная, с запавшими ноздрями, каплями пота на лбу.

— Эдит, тебе плохо?

— Плохо. Снова мешают говорить. Сейчас приду…

Через несколько секунд раздался ее вопль и звон разбитого стекла.

Все бросились к ней. Клод — первый. Она стояла в своей комнате на кровати и с криком швыряла в угол пустые и полные бутылки с пивом, где они разбивались о стену. Это был приступ белой горячки. «Пауки, мыши,— кричала она,— убейте их, они лезут сюда! Их лапы… их лапы царапают меня…». Эдит срывала с себя одежду, раздирала ногтями лицо, руки и кричала, кричала.

«Это невозможно было вынести,— рассказывал потом Клод.— Симона, Симона! Она талантливая, она великая, как же с ней может быть такое?!» У него на глазах были слезы.

Ночью приехала «скорая», и ее увезли. С ней едва могли справиться двое мужчин. Эдит ужасно мучилась. Снова ее заперли в клинике. Через месяц она оттуда вышла, обессиленная, но выздоровевшая.

«Момона, родная, что я вынесла — хуже быть не может! Как они надо мной издевались! Это лечение, как любовь, начало хорошее, но конец — врагу не пожелаешь.

В первый день ко мне явилась сестра, здоровенная бабища с мощными бицепсами, там полно таких, как в полиции, и приняла у меня заказ на еду. Я, разумеется, не растерялась: для начала заказала белое вино, в течение дня — пиво, к обеду простое

красное и под конец виски.

«Сестричка» четко выполнила заказ и следила за тем, чтобы я все выпивала. Ты ж понимаешь, меня не пришлось уговаривать, и к вечеру я была совсем косая: пела, хохотала, жалела только, что никого со мной не было.

Знаешь, врачи себе особенно головы не ломают. Методы здесь такие же, как при наркомании. Каждый день уменьшают дозу, но одновременно подмешивают рвотное лекарство. Поэтому, когда тебе подают бокал с вином и ты знаешь, что если выпьешь, то будет рвать, тебя уже от одного вида начинает тошнить. Подлее пытки не придумать! Я не знала, на каком я свете. Как больная собака, я выла на своей кровати: «Довольно! Довольно!» Несколько раз у меня повторялись приступы, и я видела отвратительных, скользких, волосатых сороконожек. Клянусь тебе, в это время розовые слоны не появляются! Невыносимые мучения!

В жизни не могла себе представить, что наши веселые выпивки затянут меня в эту бездну. Курс лечения от алкоголизма отвратителен до омерзения. Но, клянусь, Момона, те, у кого хватает воли пойти на это,— настоящие люди!»

У нее оставалось только десять дней, чтобы подготовить программу для Америки, но тем не менее она уехала в полной форме.

Одиннадцать месяцев — долгий срок: из Нью-Йорка в Голливуд, из Лас-Вегаса в Чикаго, из Рио в Буэнос-Айрес… Особенно, если не пить ничего, кроме молока и фруктового сока! Эдит вымоталась до предела, но вернулась счастливая.

«Ты не можешь себе представить, что это была за поездка! Длинновато, правда, но великолепно.

Во Фриско[57] меня ждал сюрприз. На рейде стоял французский военный корабль «Жанна д'Арк». Командир пригласил меня. Ты ведь знаешь, я никогда не могла моряку сказать «нет»! Я отправилась с друзьями и с американскими журналистами.

Командир прислал за мной катер, и когда мы поднялись на борт, знаешь, что я увидела? Мои любимые матросики стояли по стойке «смирно», как для встречи адмирала. Мало того, команда у трапа салютовала мне оружием — мне, Эдит Пиаф!

Видела бы ты, какие лица были у янки! Поняли, как мы умеем делать по большому счету!

Как я жалела, что тебя не было со мной! Как бы ты смеялась, что я принимаю военно-морской парад! Между нами говоря, флот

у меня в долгу. В свое время скольких парней с красными помпонами мы осчастливили, а, Момона?

Молодые ребята там придумывают такое,, хоть стой, хоть падай. В день Нового года студенты Колумбийского университета уговорили меня спеть им «Аккордеониста» перед статуей Свободы. На открытом воздухе, да еще в такой мороз, я, наверно, хрипела немного, но петь для них было прекрасно. От их криков «Гип, гип, гип, урра!» «Свобода» могла пошатнуться на пьедестале.

Вполне понятно, что потом всех одолела жажда. Кажется, я произвожу на американцев такое действие. Один журналист даже писал: «Для шампанского в США Эдит Пиаф — лучше всякой рекламы. Как только она начинает петь в ночных ресторанах, у всех от волнения пересыхает в горле».

Да, вот еще что было забавное: один парижанин решил прислать мне новогоднее поздравление в большом конверте. Адреса он не знал и написал: «Эдит Пиаф. Соединенные Штаты». Уже в Париже на конверте приписали: «Парижские почтовые служащие». Можешь себе представить, сколько этому письму пришлось гоняться за мной! В каждом городе на почте что-нибудь прибавляли: «Присоединяемся», «Почтовики из Чикаго вас любят», «Лос-Анджелес не отстанет от других»… Когда я его наконец получила, на конверте не осталось ни одного свободного местечка! В конце концов почтовики, наверно, испугались, что письмо может потеряться, и доставили мне его с нарочным. Так он, вместо того чтобы постучать в дверь, просвистел «Жизнь в розовом свете». Разве не прелесть?

Подумай, целый год я не дышала воздухом парижских улиц, не видела друзей! Это же бесконечно долго! Я была в сетке гастролей, как муха в паутине. Никакой возможности вырваться. Но все прошло хорошо. Американцы хотели бы, чтобы я повторила такое турне. Они меня удивительно хорошо принимали. Я их очень люблю, но пока с ответом подожду!»

Я смотрю на Эдит, которая ходит по гостиной и осматривает все так критически, как будто в ее отсутствие могли подменить стены. Я нахожу, что она хорошо выглядит, не отечна, руки почти нормальные. Но я знаю, что теперь никогда не буду спокойна, всегда буду в страхе, что все может повториться сначала.

В гостиную вносят чемоданы, Эдит присаживается на один из них.

— Знаешь, сидеть довольно удобно. Пусть они тут так и остаются. В этом чертовом сарае всегда не хватает стульев. Кстати, я ведь теперь до полудня пью только воду, за обедом

маленький бокал вина, днем только молоко (я его не очень люблю), а вечером две-три рюмки красного.

— Чувствуешь себя хорошо?

— Неплохо. Но до чего же скучна примерная жизнь! Видишь эту стопку нот на рояле? Работы навалом!

Она не глядя берет с рояля листок, читает, наигрывает и звонит по телефону Гит.

— Гит, я вернулась. Что ты делала, пока меня не было?.. Написала музыку к «Ласковой Ирме»?.. Довольна?.. Хорошо. А еще что написала для меня?.. Да? Тогда давай быстро сюда. Твое место здесь. Где ты болтаешься? Я не могу жить без тебя. До чего же мне тебя не хватало!

В течение дня эта фраза повторялась неоднократно. И каждый раз Эдит была искренна. Ей действительно не хватало всех нас.

Не успела Маргерит усесться за рояль, как Эдит протянула ей какой-то текст.

— Вот прочти. Это «Зал ожидания» Мишеля Ривгоша. У него талант лезет из ушей. Я его пригласила.

Маргерит еще не дочитала текст, как Эдит уже говорила:

— Прослушай эту пластинку. Я откопала эту вещь в Южной Америке, когда мы были в Перу. Ее пела испанка.

— О, Эдит, как это прекрасно!— восклицала Гит,— поставь еще раз…

— Но мне нужны слова. Кто их напишет?

Их написал Мишель Ривгош, и песня стала называться «Толпа».

Толпа нас уносит,
Влечет за собой,
Кружит, привлекает друг к другу,
И мы уже — единое целое.

Мишель был последней находкой Эдит. Изящный, с маленькими усиками, брови как нарисованные, волосы в лирическом беспорядке — типаж рокового соблазнителя-аргентинца из немых фильмов. Очень приятный, умный, необыкновенно талантливый человек, немного отстающий от ритма событий. Он написал «Толпу», но жизнь на бульваре Ланн — это вихрь.

Великая Пиаф вернулась. Она готовит свою «Олимпию-58», которая станет одной из лучших ее программ. Авторы новых песен — Пьер Деланэ и Мишель Ривгош. Но если Мишель втягивается в образ жизни Эдит, принимает ее манеру работать,

становится одним из ее ночных друзей, то в Пьере Деланэ навсегда остается что-то от чиновника, которым он был прежде. Для него ночью полагается спать или, если нужно, работать. Он недоволен, ему кажется, что время тратится впустую. Он не знает, что к Эдит нужно приноравливаться, что она работает, только когда на нее накатывает, но тогда все должны «ложиться костьми». Тем не менее он написал для нее «Старую гвардию», «Дьявол на площади Бастилии» и «Ты ее не слышишь».

Все снова стянулись к Эдит. Здесь и Клод, добрый, расторопный, преданный,— он не опоздал к моменту возвращения своей хозяйки.

Сольный концерт в «Олимпии» был подготовлен за несколько недель. Весь дом был в радостном оживлении. Мы, ее старые спутники, снова обрели свою прежнюю Эдит. Атмосфера почти такая, как в момент появления нового мужчины. И он в самом деле появляется: это Феликс Мартэн.

Перед выступлением в «Олимпии» Эдит решила обкатать свою программу в провинции. Как обычно, Лулу все организовал. Хорошо зная хозяйку, он ее предупредил:

— В вашей программе выступает новичок: некто Феликс Мартэн.

— Я тебе доверяю,— ответила Эдит.

В первый вечер гастролей в Туре Эдит, как обычно, перед выступлением тряслась от страха — неподходящий момент для визита вежливости. Сидя перед зеркалом, она гримировалась (что тоже всегда ее раздражало), когда в дверь постучали.

Вошел довольно красивый молодой человек, метр восемьдесят семь роста, независимого вида.

— Добрый вечер, Эдит. Я Феликс Мартэн.

Может, Эдит и не всосала хороших манер с молоком матери, но этот тип, по-видимому, не понимал, что она — «Эдит Пиаф», и представился так, будто он был сыном Господа Бога… «Знаете, я Иисус, сын Бога-отца…». Это ей не понравилось. Только она собралась поставить его на место, как он добавил — оказывается, он не кончил:

— Очень рад, что буду работать с вами, большое спасибо.

— Не за что…

Может быть, ему и недоставало хороших манер, но способности у него были.

Эдит приходит его слушать один раз, другой, третий. На сцене он циник, но она задумывается: а не скрывается ли за этим нежное сердце? Он исполняет: «У тебя красивый галстук», «Выпиши мне чек», «Музыка для…» Она слушает его и никак не может решиться. Однако она уверена: в нем есть

индивидуальность. Чем больше она на него смотрит, тем красивее ей кажется его фигура, и она начинает думать, что, если этот парень скажет: «Я люблю тебя», сердце замрет настолько, насколько это нужно.

Некоторое время спустя Эдит мне звонит:

— Момона, свершилось, я обручилась с любовью.

И все началось по новой…

Но на этот раз не она, а я задала вопрос:

— Что ты в нем нашла?

— Для меня он — коктейль. В нем есть что-то от Монтана: метр восемьдесят семь роста и тоже был докером; от Мёрисса: холоден, в жанре «ты меня из себя не выведешь»; от Пусеа — красивый прощелыга.

— Ну, знаешь, это не мужчина, а клоун!

Но больше всего ей нравится собственное принятое решение: переделать Феликса Мартэна, сделать из него настоящего артиста. Уже давно ее руки никого не лепили. Не теряя времени, она заявляет Лулу: «Звони Кокатриксу, я хочу, чтобы Мартэн пел в моей программе в «Олимпии».

Раз Пиаф так хочет, Брюно ей доверяет. Он возьмет немого петь в «Тоске», если Эдит этого пожелает. Впрочем, чем меньше ему стоят другие исполнители, тем выгодней, а имя Феликса Мартэна недостаточно известно, чтобы предъявлять особые претензии. Все складывается к лучшему. Хуже обстоит дело со сроками: у Эдит только полтора месяца для изготовления нового Мартэна. Такой, какой он есть, Феликс ей не нравится. Его нужно всему научить, нужно, чтобы он прошел школу Пиаф.

Эдит не теряет ни минуты. Она звонит Маргерит, Анри Конте и своему последнему открытию, Мишелю Ривгошу: «Я завтра еду в Невер, встретимся в поезде, мне нужно показать вам новичка. Он будет выступать со мной в «Олимпии», и я хочу сменить ему репертуар». И вот все трое сопровождают ее в Невер. Она их хорошо знает, никто из них не может ей отказать…

В тот же вечер она усаживает их за работу. Через два дня они возвращаются в Париж выжатые как лимоны, с пустой головой, мечтающие только о том, чтобы проспать двадцать четыре часа кряду. Но к возвращению из гастролей песни готовы.

В течение примерно месяца она весело нахлестывает свою упряжку. Готовит собственное выступление, работает над новым Мартэном. Феликс неподатлив, у него свои взгляды, редко совпадающие со взглядами Эдит. Они часто и всерьез ссорятся, что напоминает до некоторой степени стычки, которые у нее бывали с Ивом и «Компаньонами».

— Ты будешь петь о любви.

— Я для этого не гожусь.

— Годишься! Секрет успеха в любви.

— Но я не шлюха.

— Вот именно. Шлюхи не поют о любви, они ею занимаются…

Разумеется, права окажется Эдит, и Феликс Мартэн будет петь: «Я люблю тебя, любовь моя».

Из Феликса не вышло настоящего патрона, но он все-таки получил свой голубой костюм. Он встал в ряды «Piaf's boys»[58] , как их называл Шарль Азнавур. У него было слишком мало времени, чтобы узнать Эдит; я вообще не понимала, как им удавалось оставаться вдвоем.

Вернувшись из турне, перед выступлением в «Олимпии» Эдит еще сумела сняться в «Любовниках завтрашнего дня». «Понимаешь, Момона, если я не снимусь сейчас, потом на фильм у меня уже не будет времени».

А у нас не было времени перевести дух. Эдит снова была прежней — Эдит грандиозных периодов. Чтобы встретиться с ней, мне приходилось обегать несколько мест. Например, она мне звонит: «Приезжай!» Приезжаю домой — она на студии. Мчусь туда. «Мадам Пиаф заезжала на минутку, она поехала в «Олимпию». Но когда она зовет, являться нужно немедленно, поэтому мне, разумеется, попадает: «Интересно, где тебя носило? Если тебя зовут сегодня, это значит сегодня, а не завтра!»

У фильма «Любовники завтрашнего дня» была долгая история. Пьер Брассёр, с которым Эдит любила посидеть за рюмочкой, придумал как-то удачный сюжет и написал сценарий. Он понравился Эдит. Она рассказала о нем Марселю Блистэну, потом, как это часто бывает в кино, замешенное тесто отставили. Но надо думать, дрожжи были крепкие, потому что не успела Эдит возвратиться из Америки, как Марсель позвонил ей: «Ты свободна? Через два месяца мы начинаем съемки «Любовников завтрашнего дня».

Вместе с Эдит снимались Мишель Оклер, Арман Местраль, ее давняя подруга Мона Гуайа (это был ее последний фильм), Реймон Суплекс и Франсис Бланш. С Франсисом Эдит всегда было весело. Оба любили розыгрыши, хохмы, хорошие шутки. Съемки шли быстро и гладко.

Пьер Брассёр написал не только сценарий, но и песню для Эдит: «И, однако…» Отношения между ними складывались Очень» забавно. Вначале они не сумели понять друг друга. Пьер был бы очень непротив нырнуть хотя бы раз в постель Эдит; она тоже была «за». Но это не произошло, потому что в день, когда он собрался ей это предложить, с ней был какой-то спутник; ни она,

ни я не могли потом вспомнить кто. Пьер вздохнул: «Не повезло…»

Спустя несколько лет на киносъемках он, смеясь, заявил Эдит: «Ты тогда упустила свой шанс!» — «Сам виноват, надо было на меня насесть, ты мне очень нравился, а тот, с кем я была, не имел никакого значения».

Мне очень нравился Пьер, но я была рада, что в роли патрона он не выступил. С трудом я могла себе представить соединение этих двух индивидуальностей. В доме и без того было мало посуды…

О том, как они познакомились, у каждого была своя версия. Он был уверен, что встретил ее у Луи Лепле, но Эдит не упускала случая, чтобы освежить в его памяти другое: «Ты со мной познакомился совсем не у Луи, а на танцульке в «Турбийоне». Я еще не была Пиаф и пела в рупор куплеты под оркестр. Ты пришел в группе спортсменов и, когда я спустилась в зал после выступления, сказал мне: «Ах, это вы та малютка, которая только что пела в рупор!»

Если он и не очень хорошо помнил встречу, то саму Эдит он помнил прекрасно, потому что всегда мечтал написать для нее песни. Однажды он позвонил Эдит и сказал:

«Я написал песню. Вчера вечером я перечитывал «Дикарку» Ануя, и одна из последних реплик меня поразила, это как раз для тебя: «Всегда где-нибудь будет бродить потерявшая хозяина собака, и это помешает мне чувствовать себя счастливой». Я нашел, что это прекрасно, и попросил у Ануя разрешения сделать из этой реплики песню. Он сначала заколебался, но когда я сказал: «Это для Пиаф, ей понравится», он ответил: «Если для нее, тогда согласен».

Так была написана песня «И, однако…»

И, однако…
Всегда где-нибудь будет бродить потерявшая хозяина собака,
И это помешает мне чувствовать себя счастливой.

По окончании съемок Марсель Блистэн устроил коктейль. Франсис Бланш с философским видом, сидя в уголке, посасывал трубку, но ему было скучно. Он ждал свою сообщницу — Эдит. Она вошла, заразительно смеясь.

— Франсис, послушай. Гит мне сегодня рассказала поразительную вещь, это вам полезно знать. Оказывается, злиться нельзя, это вредно для здоровья! Именно поэтому на свете столько больных. Нет, нет, не смейся… Когда ты ревнуешь, или сердишься, или дуешься, ты посылаешь заряд адреналина в

надпочечники и у тебя начинают болеть почки. Так вот, я кончаю с этим, больше не буду злиться!

Она не успевает закончить фразу, как замечает одну из своих лучших подруг… Эдит открывает рот. Франсис смотрит на нее, Эдит сгибается пополам, кладет руки на поясницу и восклицает:

— Аи, мои почки!

Весь вечер она играла в эту игру. Никогда мы так не смеялись. Если за спину хваталась не она, то хватался Франсис.

Такой Эдит всегда бывала раньше.

Ночи на бульваре Ланн становятся все короче. Темп репетиций убыстряется. Все куда-то бегут, суетятся. Клод старается всюду поспеть. Эдит кричит, шутит. Эта музыка всем нам хорошо знакома!

Плюс ко всему — Мартэн. Мне о нем просто нечего сказать, прошел как сквозняк в доме, не продержался и четырех месяцев. Самый короткий срок из всех, получивших голубой костюм!

Эдит полна идей. Давно уже она не была в такой форме. Хочется верить, что это воскрешение, что так будет продолжаться годы. Но это солнце Аустерлица; никогда больше оно не взойдет.

Пока же мы счастливы, полны надежд. Да и как не обманываться! Все внушает нам веру. Мы все вместе перекусываем на кухне. Среди нас какая-то случайная женщина, которой не объяснили, что она не «У Максима», и она продолжает оставаться в шляпе… Мишель Ривгош, новый потрясающий поэт-песенник, и верная Гит тоже здесь. Разговор идет о песнях. Эдит прерывает всех; «Я вспоминаю одну песню…» — и вдруг замирает на месте: «Я вспоминаю одну песню…», но это же здорово! С мелодией в таком духе…» — и она напевает мотив, который звучит у нее в ушах уже несколько дней.

Мартэн говорит, что напишет слова с ней вместе.

— Вот видишь, ты все-таки пришел к песне о любви!— смеется Эдит.

Среди ее друзей композитор Ж.-П.Мулен. Эдит говорит ему: «Живо за рояль!»

Ее творческий порыв увлекает всех. Еда забыта. Всю ночь кипит работа. Феликс во весь свой огромный рост вытянулся в кресле, сон свалил его с ног… Эдит призывает его к порядку.

— Эй, здесь сначала все вместе работают. Спят потом!

— Я этого не знал,— отвечает Феликс.

Эдит взрывается. Меня разбирает смех.

Возвратились добрые старые времена. К утру песня готова. Она принесет успех Феликсу Мартэну в «Олимпии». Эдит, свежая, как зяблик на заре, презрительно бросает: «Момона, свари им кофе, они на ногах не держатся!»

Я смотрю на них. Глаза у всех слипаются. Придется их будить, чтобы они его выпили!

— Слабаки! Пойдем с тобой в ванную, поболтаем!

На этот раз Брюно Кокатрикс перестраховывается: с самого начала приглашает Эдит на четыре месяца. И снова она побивает все рекорды: и по срокам и по сборам. Больше, чем когда-либо, она — Великая Пиаф. Эдит счастлива? Не совсем: любовь к Феликсу Мартэну едва теплится в ее сердце.

«Момона, на время контракта в «Олимпии» его хватит!» — Прогноз звучал не слишком обнадеживающе, но и он оказался чересчур оптимистичным. Феликс Мартэн выдохся через два месяца.

«Я не знал, что такое Эдит Пиаф! Вот это класс!»

А мне она сказала: «Видишь ли, Момона, у него широкие плечи, но на него нельзя опереться!»

Я знаю, что она несправедлива, что дело не в плечах. Ее надо любить ради нее самой, не ожидая вознаграждения. С ней часто трудно, приступы ее гнева не всегда легко выносить, она язвительна, иногда до жестокости, деспотична, ревнива, требовательна, и, однако, к ней можно обратиться с любой просьбой, она всегда готова все отдать. Такова Эдит. Но для Феликса Мартэна она никогда не была большой любовью. Поэтому его можно понять. Кроме того, властность и уверенность Эдит подкреплялись славой и деньгами. Сколько подонков твердили ей, что она самая великая, самая красивая, самая лучшая. Но когда неоновый фасад Эдит Пиаф гас, оставалась женщина с лицом наркоманки и алкоголички, с сердцем, покрытым рубцами, ранами, следами множества ударов. Ни один мужчина не пощадил ее. Каждый отметил своим шрамом.

Чтобы выстоять, Эдит снова стала прикладываться к рюмке. Немного, но вспышки гнева окрашиваются в тона злости и ненависти. Тогда Мартэн переходит в атаку: он считает, что крепко стоит на ногах: он — «американская звезда» Пиаф, после нее он не останется без контрактов… он ей не прислуга и, вообще, достаточно самостоятелен, чтобы плыть на своих парусах.

Это разрыв. Сердце Эдит по-настоящему не задето, ему нанесли царапину, но оно кровоточит!

«Понимаешь, этот был первым после периода пустоты, периода безумия. Я думала, он вытащит меня из ямы, а он, сам того не понимая, толкает меня в нее головой вперед».

Задета гордость Эдит, ее самолюбие. Мужчина ее оставил.

Она пала так низко, что ее можно бросить, плюнуть ей в душу!.. Каждый день в течение двух месяцев ей придется встречаться с Мартэном, чья гримерная — рядом, придется выносить его самодовольную улыбку! Правда, это продлится недолго. У дверей «Олимпии» ее уже ждет Жорж Мустаки. Он молод, красив, талантлив. Для нее он будет той первой катастрофой, которая повлечет за собой лавину всех остальных.

Жорж Мустаки каждый вечер поет в «Колледж Инн» на Монпарнасе. Ловкости ему не занимать. Он ставит на туза червей, разыгрывая восхищенное обожание. С Эдит это козырная карта. Не проходит и двух дней после разрыва с Мартэном, как в ее гримерной раздается стук в дверь.

«Когда он вошел, Момона, меня словно током ударило. Давно я этого не испытывала. Изящный, глаза ласковые, улыбка мальчишки, который пришел на праздник. Весело и просто он рассказал мне, что пишет песни и исполняет их в одном ночном ресторанчике на Монпарнасе и что хотел бы просить меня приехать его послушать, потому что мое мнение для него очень важно. Представляешь картину?»

Я представляла, как если бы видела своими глазами.

«Я ответила: «Хорошо, поедем сегодня». На моем месте ты бы умерла со смеху, если бы видела, как я выходила из «Олимпии» после концерта. Робер (мой шофер) ждет меня с машиной. Я качаю головой и сажусь в драндулет Мустаки: стиральная машина на колесах. Говорю ему: «А с места она тронется?» — на всякий случаи делаю знак Роберу, чтобы он ехал за нами. А вдруг и песни его такие же, как тачка!

Не можешь себе представить, как я радовалась при мысли, что, встретив нас, Феликс поймет, что я еще не ухожу в монастырь по нем плакать и что мне не приходится долго искать, чтобы найти замену.

Сказать тебе, чем меня купил Мустаки? Откровенно признался, что поджидал разрыва с Мартэном. Каждый вечер забегал в «Олимпию» узнать, как идут мои любовные дела. Правда, трогательно, а, Момона?»

Когда речь шла о мужчинах, простодушие и доверчивость Эдит лишали меня дара речи.

Спустя четыре дня согласно установившемуся протоколу, Эдит представила на бульваре Ланн нового «хозяина» — Жоржа Мустаки. Он получил большой джентльменский набор: костюмы,

часы и все прочее. Для него, первого патрона после Эдди Константина, не было ничего слишком дорогого. Зажигалка была не золотая, а платиновая — пустячок стоимостью в четыреста тысяч франков. На третий день Мустаки, богема, потерял ее. На следующий день Эдит купила ему такую же другую.

Эдит уверена, что в лице Жоржа нашла достойного партнера. Он весел, любит, чтобы вечер длился до утра. В еде не привередлив. Готов дружить со всеми. Он привык жить как бог на душу положит, и беспорядочность Эдит ему не мешает. Он никому не читает проповедей: для него благое дело — это жить день за днем, час за часом так, как хочется. И уж, конечно, не ему сдерживать Эдит и говорить ей: «Ложись в постель… Спи… Хватит пить… Не трави себя лекарствами, ни чтобы спать, ни чтобы работать…»

С ним Эдит в который раз начинает новую жизнь. А новую жизнь что беречь? Зачем над ней трястись, как над старой, изношенной? Жги ее с двух концов!

Для нее Жорж пишет одну из своих лучших песен «Милорд».

А ну, сюда, Милорд!
Садитесь за мой стол!
На улице так холодно,
А здесь уютно.
Дайте мне поухаживать за вами, Милорд.
Устраивайтесь поудобнее,
Перекладывайте ваше горе на мое сердце,
А ваши ноги кладите на стул.
Я вас знаю, Милорд,
А вы меня никогда не видели,
Я портовая девка,
Уличная тень.
Так идите сюда, Милорд…

Жорж берет ее не только талантом. С ним к Эдит возвращается вкус к скандалам. У него не всегда хватает выдержки. На гастролях Эдит нередко приходится накладывать грим, как штукатурку: ночные следы — не обязательно следы любви! Но ничего, ей это всегда нравилось. Когда она мне звонит, у нее счастливый голос: «Мы сегодня ночью с Жоржем сцепились! Чего только не наговорили… Я его обожаю!»

Для Эдит это никогда не было плохим признаком. То, что она спускала с мужика три шкуры, означало лишь, что она крепко держится за него; а если он выходил из себя и всыпал ей по первое число, также значило, что она ему дорога. Доказательство

от противного — самое верное!

Она делает Жоржа своим гитаристом и решает взять его в Нью-Йорк. Ее девятая поездка в Америку должна начаться 18 сентября 1959 года. Лулу устроил ей контракт на четыре сезона в «Уолдорф Асторию». Она проведет там только один. На этом она простится с Соединенными Штатами и никогда туда больше не вернется.

Чтобы сменить обстановку после возвращения из турне и отдохнуть немного, Эдит сняла загородный дом в Конде-сюр-Вегр, в департаменте Сена-и-Уаза. «Понимаешь, Момона, перед отъездом в Нью-Йорк я должна немножко запастись кислородом. Это всем будет полезно».

Полезней было бы, если бы она отказалась от дыни в портвейне и клубники в вине, ее последних кулинарных рецептов, которые следовало бы, скорее, назвать портвейном с дыней и вином с клубникой…

После смерти Марселя Эдит много внимания уделяла его троим сыновьям. Любимцем ее был Марсель, вероятно, потому, что он был похож на отца и хотел стать боксером. Она пригласила его провести месяц в деревне, куда переехал весь табор. Сама Эдит, которая не умела сидеть на одном месте, все время торчала в Париже.

Однажды она позвонила мне утром: «Я смываюсь в деревню на несколько дней. Приезжай. Позвони Шарлю, если он в городе, он тебя захватит; я его давно не видела. Ты же познакомишься с Жоржем поближе и скажешь мне, как он тебе нравится. В субботу я возвращаюсь в Париж и ты вернешься с нами; Марсель летит в Касабланку, я отвезу его в Орли».

Я должна была согласиться, но почему-то отказалась. Может быть, это еще раз спасло мне жизнь.

Седьмого сентября Эдит в третий раз попадает в автомобильную катастрофу. За рулем ее «D.S.-19» был Мустаки, она сидела рядом, сзади Марсель Сердан и одна молодая девушка. Шел дождь. Жорж слишком поздно заметил разворачивавшийся грузовик. Он намертво затормозил, и машина полетела в кювет. Все бросились к Эдит, помогли ей выйти. Лицо ее исцарапано, по нему стекают ручейки крови, похожие на красную вуалетку. Оглушенный Сердан, спотыкаясь, сам выбирается из машины, он тоже в крови, Жорж, который совсем не пострадал, кричит: «Это Эдит Пиаф! Ей нужно немедленно помочь!»

Вокруг них водители дальних рейсов. Для них Эдит — не просто Эдит Пиаф, знаменитость, для них она женщина, каких они любят. Они поднимают ее, вытирают кровь своими большими

грубыми руками. Несмотря на контузию, Эдит им улыбается, успокаивает их.

— Кажется, у меня ничего не сломано. А что с моей головой?

— Большой порез, мадам Пиаф. Голова, знаете, это либо все, либо ничего. Крови много, но это пройдет. Пока не приедет «скорая», вы не двигайтесь. Вот выпейте лучше стаканчик вина, это вас поддержит.

Когда Эдит увезли, один из них сказал другому:

— Посмотри-ка на свой свитер, он весь в крови, нужно его замыть.

— Ты что! Это же кровь Эдит Пиаф! Все равно как автограф! На обратном пути заеду в больницу узнать о ее здоровье.

Когда в больнице его спросили: «Как передать, кто справлялся?» — он ответил: «Скажите, шоферы Божьей Милости».

В Рамбуйе Эдит немедленно положили на операционный стол. Хирург зашил ей рану в десять сантиметров на лбу, рассеченную верхнюю губу и разорванные на правой руке два сухожилия. Лицо было покрыто ссадинами.

В итоге все оказалось не так уж страшно, и я должна была бы считать, что ей повезло. Но как ни старалась, не могла себя в этом убедить.

«Момона, ты знаешь, где это со мной случилось? В местечке, которое называется «У Божьей Милости»… Ты теперь видишь, судьба меня хранит. Посмотри на машину, станешь того же мнения!

До чего же я перепугалась за Марселя! У него все лицо было в крови. В тот момент он выглядел настоящим боксером! Самое неприятное в этой истории то, что придется немного отложить отъезд в Америку».

Как она ни старается быть в хорошем настроении, я знаю, что ей больно. Рука в гипсе очень мешает.

Вернувшись на бульвар Ланн, она смотрит на нас с видом виноватого ребенка и, усмехаясь, говорит: «Плохи мои дела… Куда мне ехать с такой мордой… Американцы скажут: «мисс Франкенштейн»! Правда, Момона?»

На лбу у нее огромный, опухший рубец, концы которого с каждой стороны уходят под волосы. Верхняя губа изуродована. Трудно уверить ее в том, что она похожа на Джоконду! Единственное, что я смогла сказать:

— Конечно, на вид это так, но ведь это только вид…

— Ты что, принимаешь меня за идиотку? Дело не в виде. Эта штука на губе мешает мне петь. Это как заячья губа, у меня

появился дефект в произношении. Чтобы так не повезло… В больнице мне посоветовали делать массаж лица. Я, пожалуй, начну.

Те, кто присутствовал на этих сеансах, до сих пор помнят о них. Сначала ей массировали кожу черепа, потом непосредственно рубец, затем лоб и, наконец, все лицо, особенно нажимая на швы. Эдит становилась красной, было видно, как под кожей пульсирует кровь. На нее было страшно смотреть, и ей было ужасно больно.

— Сделаем перерыв?— спрашивал массажист.

— Вы уверены, что благодаря вашей пытке я смогу скоро уехать в Америку и буду петь?

— Абсолютно уверен.

— Тогда продолжайте. И не бойтесь за меня, я выдержу.

Эдит нервничала. Она согласна была терпеть боль, но хотела, чтобы дело шло быстрее. У каждого, кому она показывалась на глаза, она спрашивала: «Ну, как я выгляжу? Есть улучшение?»

Ее успокаивали как могли. Больше всего ее волновал дефект артикуляции.

Единственным, кто вышел сухим из воды, был Мустаки. Эдит, часто несправедливая и зловредная, была способна на самые деликатные движения души. Когда Жорж сказал ей: «Эдит, это я во всем виноват… Я прошу у тебя прощения!» — она ответила: «Твоей вины тут нет. Кто бы ни сидел за рулем, мне, видно, так на роду написано. И не приставай ко мне больше со своими угрызениями. Сожаления — куда ни шло! Угрызения — ни за что!»

Месяц спустя в США ее встречали как родного человека, который возвращается домой: цветы, коктейли, речи, радио, телевидение. Пресса была великолепной. «Самую маленькую из великих актрис» встречали так, как это умеют делать только американцы. С соответствующим Эдит размахом, то есть выходя за всякие пределы.

Впервые в жизни Эдит чувствует себя бесконечно усталой. А ведь она любит эту публику, эту страну, здесь ей все благоприятствует. С Жоржем у них происходят бесконечные сцены, но теперь они уже не развлекают Эдит, а огорчают. Она боится, что снова ошиблась в выборе. В течение нескольких дней она ничего не ест. Она пьет, алкоголь обжигает ее, начинаются боли, сгибающие ее пополам.

И вот 20 февраля на сцене «Уолдорф Астории» у Эдит все завертелось перед глазами… потом наступил мрак… Она упала. Ее унесли за кулисы, началась ужасающая кровавая рвота. В «скорой помощи», которая ее везла в «Пресбитериэн Хоспиталь»,

Эдит потеряла сознание. Сирена выла, прокладывая ей путь в городе, который она после Парижа любила больше остальных.

Врачи поставили диагноз: прободение язвы желудка с внутренним кровотечением. Положение очень серьезное. Когда она приходит в себя, ее начинают готовить к операции, делают переливание крови. Эдит смотрит на чужую кровь, которая вливается в ее вены, она зовет Жоржа. Его приводят. Из палаты он выходит в ярости. У дверей ждут музыканты Эдит.

— Это серьезно?

— Готовятся к операции,— отвечает Мустаки.

В палате Эдит плачет. Позднее она мне скажет:

«Я попросила его: «Поцелуй меня… Скажи, что ты меня еще немного любишь…» Он мне ответил: «Потом, Эдит, видно будет!»

Времени терять нельзя, впервые в ее жизни смерть стоит на пороге. Четыре часа остается Эдит на операционном столе. Трижды ей делают переливание крови.

К ней в Нью-Йорк вылетел Лулу. Он мне звонил оттуда, сообщал новости:

— Не беспокойся, она спасена. Но на этот раз было очень горячо. Позвони ей дня через четыре, пять, ей будет приятно.

— Она хоть не одна?

— Нет, нет, с ней я.

— А ее тип?

— Не волнуйся, все в порядке.

У Лулу всегда все в порядке!

Американцы не могут опомниться: они всегда считали Эдит самой здоровой маленькой женщиной в мире. Нью-Йорк охвачен беспокойством, газеты публикуют бюллетени о состоянии ее здоровья, люди желают ей выздоровления. В больницу непрерывно поступают телеграммы. Коридор перед ее дверью заставлен цветами… Никогда еще Эдит не была так одинока.

Когда я ей позвонила, я нашла ее менее подавленной, чем ожидала. Поскольку она мне ничего не говорила, я ее все-таки спросила: «Жорж с тобой?» Она взорвалась: «Момона, никогда не говори мне об этом человеке! Я хочу вычеркнуть его из моей жизни. Когда я проснулась после наркоза, его не было. Он уехал в Майами, во Флориду. Я почувствовала себя такой брошенной, как в больнице Тенон, когда у меня родилась девочка. У него хватило подлости позвонить мне и сказать, что в Майами солнце. Он прекрасно знал, что я не такая дура, чтобы думать, что в Майами живут одни монашки! Я ничего не смогла ему ответить. Все, кто был вокруг меня, забеспокоились. Сестры мне говорили: «Мисс Эдит, вы не должны плакать, это плохо для настроения». Настроение! Можешь себе представить, что оно было ниже нуля!

Но ты не волнуйся. С сегодняшнего утра я чувствую себя лучше: какой-то человек, я его не знаю, прислал мне огромный букет фиалок! Мне сразу стало лучше. Он американец. Зовут его Дуглас Дэвис».

Глава семнадцатая. «Нет, я не жалею ни о чем»

Когда Лулу пришел к Эдит в больницу, она сидела, уютно устроившись в подушках, причесанная, подкрашенная. Он смотрел на нее, как на привидение, как на выходца с того света.

— Что ты так вытаращился? Думал, со мной все кончено?

Она расхохоталась, готовая обругать его, разорвать на куски — словом, готовая снова жить. Лулу от радости не мог сказать двух слов.

— Вам лучше! Господи, не может быть, вам лучше!.. Как же я рад, Эдит!

Он был так счастлив, что совершенно растерялся.

— Повторяешься, Лулу. По звуку плохо! Стоп, мотор!

Да, это действительно была та Эдит. Он даже не мог себе представить, насколько она стала прежней.

— Я чувствую себя даже слишком хорошо, и мне нужно, чтобы меня навещали. В больнице хорошее настроение не создается само собой. Белый цвет еще печальней, чем черный. Я хочу ярких красок, и чтобы вокруг все пело и кричало! Ты знаешь, кто такой Дуглас Дэвис?

Лулу схватывал с лету. Он давно понимал с полуслова, ему не надо было разжевывать.

— Сейчас приведу его.

— Я тебя не просила приводить, я тебя спросила, кто он?

— Молодой художник.

— Прислать такой букет фиалок такой женщине, как я,— это уже талант! Интересно, как он выглядит… А вдруг косой…

Не ожидая продолжения, Лулу бросился к двери.

— Постой, не горит. Нью-Йорк — не деревня, откуда ты его знаешь? Он так знаменит?

— О нет! Пока еще нет…

Эдит сразу погасла, будто задули свечку. Как ни безоглядна была ее вера в людей, за последнее время она дала трещину. С последними патронами ей не везло.

— Это по твоей просьбе он прислал мне букет? Если да, брось его на помойку и сам ступай следом!

— Ничего подобного, Эдит. Я его знаю только с тех пор, как вы выступаете в «Уолдорф Астории». Он приходит каждый вечер. Когда вы заболели, он каждый день тратит два часа на метро, проезжает через весь город, чтобы узнать о вашем здоровье.

— Бедняга! Ему не подсказали, что существует телефон? Или у него нет даже двадцати пяти центов?

— Он предпочитает узнавать лично.

— Если ты все это высосал из пальца, у меня снова будет приступ. Если же нет, я завтра встану. Беги за ним, что ты копаешься? Нет! Подожди! Дай мне зеркало. Ах, черт! На кого я похожа! Он будет разочарован…

— Может, это вы будете разочарованы.

— В таком случае, выясним это поскорее. Давай, Лулу, одна нога здесь, другая там! А вдруг мне это принесет больше пользы, чем переливание крови?

Пользы оказалось не просто больше, а гораздо больше.

Дугласу Дэвису было двадцать три года, это был мягкий и чистый американский юноша, высокий и красивый. Но самым главным было то, что, когда он вошел в палату «мисс Эдит», он продолжал видеть ее такой, какой видел на сцене. Чары театра не развеялись. Он не замечал осунувшегося, уже изможденного лица, худых рук, огромного лба, поредевших волос, нездоровой кожи: он видел только смотревшие на него фиалковые глаза и улыбавшиеся ему губы.

Он пробормотал:

— Мисс Эдит, вы very marvelous… Thank you very much![59]

Эдит была на седьмом небе. Жизнь снова стала прекрасной. Сама любовь приняла облик этого юноши с ослепительной улыбкой. Все начиналось сначала!

Ей купили спицы и шерсть, и она немедленно связала ему один из тех немыслимых свитеров, которые были ее коронным блюдом. После Марселя Сердана она их никому не вязала. Эдит вернулась к этому занятию в Нью-Йорке! Нет, она не ошибается — эти приметы не лгут! К ней пришла большая любовь…

Находившийся в Штатах Жак Пиле навестил ее и нашел такой сияющей, что, не колеблясь, воскликнул:

— Невероятно! Ты влюблена! Знаешь, сейчас ты прекрасна!

— Жак, я была уже так далеко, что вернуть меня к жизни могла только любовь.

Каждый день Дуглас приходил заниматься с Эдит французским языком. Этот период был для нее восхитительным временем. Она чувствовала и вела себя как невеста — имела право быть наивной, верить в чудеса, строить планы, причем никто не говорил ей: «Не морочь голову!» — не называл ее сумасшедшей. Она могла говорить и делать что угодно, Дуглас от всего приходил в восторг. Никогда он не встречал такой женщины! Что верно, то верно!

Эдит уверена: черная полоса ее жизни, фильм ужасов

окончился… Но нет, терпению ее было суждено еще одно испытание. 25 марта, когда она уже выздоравливала и .готовилась под руку с Дугги покинуть больницу, произошел рецидив. Но теперь она не одна, Дуглас идет за каталкой, когда Эдит во второй раз увозят на операцию.

Она такая легонькая (тридцать пять кило), такая маленькая, что один больной, видевший, как Дуглас провожал Эдит на операцию, спросил у него: «Как себя чувствует ваша дочь?»

Нет, Дугги, «ее американская мечта», не покинул ее. Когда она пришла в себя, он был рядом. Два месяца спустя, опираясь на руки Дугласа и Лулу, она в дверях больницы вдохнула полной грудью свежий воздух.

«Когда я попала сюда, была зима… а сейчас весна. (Она взглянула на Дугги.) Я счастлива, в моем сердце тоже весна…».

В ее номере в отеле «Уолдорф Астория» обстановка, однако, далеко не радостная. Несмотря на выздоровление хозяйки, музыканты выглядят подавленными. В ее более чем трехмесячное отсутствие они вынуждены были зарабатывать себе на хлеб чем придется. Им пришлось нелегко. В Соединенных Штатах в музыкантах нет недостатка, своих девать некуда! Ребятам часто приходилось класть зубы на полку.

Увидев их лица, Эдит расхохоталась.

— Ну и ну! Кажется, пьеса, которую вы приготовили к моему возвращению, не веселая оперетта!

— Эдит, больница стоила больше трех миллионов. Нужно расплатиться за отель, купить билеты на обратную дорогу, а у нас нет ни гроша!

Эдит на все было наплевать, когда речь шла о себе самой, но не тогда, когда дело касалось тех, кто с ней работал. Она едва стояла на ногах, но не колебалась ни секунды.

— Не вешать нос! Лулу, объяви, что в течение недели я буду петь в «Уолдорф Астории».

— Но, Эдит, вы не можете. Вы не должны, это безумие!

— Нет, должна. Мне это пойдет на пользу. И потом, я хочу, чтобы у американцев осталось хорошее воспоминание обо мне, я им стольким обязана.

Никогда еще она не была более хрупкой, а исполнение — более патетичным. Однако на этот раз в ее голосе звучало не только отчаяние любви, но и ее торжество. Дугги в зале не сводил с нее глаз.

Эдит не ошиблась. Во всем, что касалось ее профессии, она всегда принимала верное решение. В США ценят мужество.

Пресса была восторженной: «Мисс Мужество…», «Храбрая маленькая француженка», «В этой маленькой женщине — львиная сила…», «Никогда еще она так не пела…», «Ее голос по-прежнему чарует…» и т. д.

Однако Эдит исключила из своей программы «Аккордеониста». Тесситура этой песни слишком растянута, она тяжела для нее. Это еще не окончательно, но Эдит будет петь ее все реже и реже, пока совсем от нее не откажется.

В течение недели это маленькое черное пламя, пожирающее самое себя, пылало в «Уолдорф Астории». Эдит выстояла. Она не только заработала сумму, которая ей была необходима, у нее еще остались деньги на всякие безумства.

На самое рискованное денег не понадобилось. Она сказала Дугласу: «Поедем со мной!» Вывезти этот продукт «Made in USA»[60] было роковой ошибкой, он был предназначен для внутреннего потребления. Во Франции он мог испортиться, потерять вид и аромат.

21 июня 1960 года, когда она опускалась по трапу самолета в Орли, вся пресса была в сборе. Эдит очень гордилась своим американским «медвежонком» и представила его публике. Дуглас не отходил от нее, был счастлив, но чувствовалось, что он сбоку припека, что он не врубается. Он еще не знал, что значит быть «господином Пиаф», но скоро это ему предстояло!

Завсегдатаи бульвара Ланн смотрели на Дугласа как на пустое место. У него не было хозяйской хватки. Он был жертвой, святым Даниилом, попавшим в ров со львами. Все знали, что титул «патрон» ничего не значит. Командует все равно не он, а она. Поэтому им наплевать на любого, а тем более на мальчишку, свалившегося из Америки! Давно всем ясно, что любовники приходят и уходят, а они остаются. Его дружески похлопали по плечу, стали называть Дугги и вернулись к своим делам. Даже в пустыне он был бы менее одинок!..

Мне Дуглас очень понравился. От него хорошо пахло мылом, он казался чистым не только снаружи, но и внутри. Он радовался тому, что приехал в Париж. Для него это был своего рода рай, полный художников, выставок, музеев… Он сможет здесь работать. Такой он представлял себе жизнь с Эдит.

Первое столкновение произошло в день приезда.

— Дугги, darling[61], вот наша комната.

Он посмотрел на постель, как будто увидел на ней морскую змею.

— Ты не понимаешь? Это наша спальня.

— I am sorry[62], Эдит. Это невозможно… Я не привык. В Америке у каждого своя постель.

Эдит захлопнула дверь. Она покраснела от гнева. Ни один мужчина не говорил ей ничего подобного. В ее жизни он не первый американец. И до него никто не осмелился возражать!

«Момона, представляешь, как он мне вмазал! Ведь если я завожу мужчину, то для того, чтобы он всегда был под рукой! Я не собираюсь бегать за ним по всей квартире! Еще не хватало звонить ему, как прислуге! Все желание пройдет, пока его отыщешь!

А Дуглас был не из той породы, что свертывается калачиком у ног хозяйки. Он считал, что мужчина не должен быть круглые сутки приклеен к своей жене.

В его стране мужчины живут своей жизнью. Они работают, а возвращаясь домой, приносят женщине цветы и сердце. И тогда все о'кей!

Назавтра мальчик взял свой этюдник под мышку и весело собрался в поход. Но знаменитый голос пригвоздил его к месту:

— Дугги, куда это ты?

— Пойду порисую. Посмотрю Париж, зайду в Лувр…

— Ты с ума сошел? Пожалей свои ноги. Ты не знаешь Парижа. Хочешь куда-нибудь пойти — в твоем распоряжении шофер и машина. А сейчас ты мне нужен, останься, любовь моя…

Он уступил с доброй улыбкой, подумав, что в первый день действительно следует остаться с ней, что он пойдет бродить по Парижу завтра.

Он не знал, что любить «мисс Пиаф» — значит жить на привязи. Этот славный юноша, начиненный добрыми американскими принципами: уважением к женщине и к свободе — был не способен противостоять Эдит. Кроме того, понять, что, «если тебе выпало счастье быть избранным ею, ты не должен стремиться ни к чему иному…».

Один единственный раз она позволила ему открыть этюдник, чтобы написать ее портрет. Эдит им очень гордилась.

«Красиво, а, Момона? Вот такой он меня видит!»

Это была не Пиаф — эстрадная певица, а образ Пиаф, который простой народ носил в своем сердце.

Я сразу поняла, что их отношения будут недолгими, что грязь испачкает голубую мечту этого мальчика. Вся обстановка бульвара Ланн с людьми, кишевшими вокруг Эдит, как паразиты, присосавшиеся к ее больному телу, могла его только оскорблять. Слишком все это было ему чуждо.

Мой тридцатилетний опыт подсказывал, что эта любовь пошла не с той ноги, да и не шла, а ковыляла.

Эдит на этот раз не выручило ни мужество, ни воля к жизни — она была очень больна. Для подготовки летнего турне оставалось меньше недели. Она с головой ушла в работу, не дав себе ни секунды передышки. Но без допингов, наркотиков и алкоголя ей трудно было выдерживать такие нагрузки. Американские врачи прописали ей, может быть, и хорошую, но очень жесткую диету: молоко, бифштексы… да вроде и все… «Сдохну я от этого жокейского режима. С него не запоешь».

Ей взбрела в голову новая мысль! «Скажи, Момона, ты что-нибудь слышала об инъекциях зародышевых клеток? Говорят, врачи делают чудеса… Римский папа и Аденауэр прошли такой курс лечения в Швейцарии. А не рискнуть ли мне?»

Естественно, она рискнула. Но если бы для успеха лечения было достаточно одной веры!..

День отъезда приближался. Разумеется, она везла с собой Дугги и, чтобы доставить ему удовольствие — он не любил водить французские машины,— купила большой автомобиль марки «Шевроле». С ними поехал Мишель Ривгош.

Вечером накануне отъезда Эдит была в великолепной форме, такой, в какой она била рекорды. Лулу мне говорил: «Я смотрю на нее, И хочется ущипнуть себя: уж не привиделось ли мне в кошмарном сне все, что было в Нью-Йорке?»

В полночь Эдит отказалась ложиться спать. Она решила, что отоспится на следующий день в машине.

— Мы покажем нашему американцу «Paris by night».[63] Бедный котенок, с самого моего возвращения я не уделяю ему внимания.

Лулу пытался вмешаться:

— Да мальчику через минуту нужно будет бросать спасательный круг! А Эдит должна отдохнуть… Не забывайте о своем режиме.

— Отстань, надоел! Я буду пить молоко. Не морочь мне голову! Давно я не чувствовала себя такой счастливой!

Тут включились все те, кто заполучил наконец вместе со своей хозяйкой свое жалование и маленькие привилегии, которые были, впрочем, достаточно большими. «Это будет ей полезно!..» — восклицали они хором; «Вдохнуть воздух Парижа — что может быть лучше!..»; «Мы так счастливы видеть вас прежней, Эдит…»; «Веселье никогда еще никому не приносило вреда…». Их номер был хорошо отработан! И всю ночь они провели между Пигаль и Елисейскими полями.

На рассвете Эдит села в машину и отправилась в турне.

Дуглас уже несколько часов сидел за рулем большой американской машины. Эдит приоткрыла глаза и взглянула на него. Она увидела чистый профиль, округлость щеки, слегка вздернутый нос, забавный маленький темный локон, нежные губы и красивые руки художника. Она снова закрыла глаза. Сколько времени продержится этот? Она не хочет знать.

Перед отъездом она мне сказала: «Свое счастье я теперь покупаю на ходу, как салат или лимон к обеду. Бегу, плачу, уношу. Прихожу домой, салат оказывается недозрелым, от лимона — резь в желудке. Ну и что? Пока я их держала в руках, несла домой, я в них верила!»

На секунду Дуглас заснул за рулем: огромная новая машина вынесла нас на обочину и врезалась в бочки с гудроном. За ними в машине Эдит ехали шофер Робер с женой Элен. Когда они подъехали к месту происшествия, то увидели Дугласа, плакавшего навзрыд, как ребенок, возле лежавшей в обмороке Эдит. Мишель Ривгош никак не мог прийти в себя: из рассеченного лба обильно лилась кровь.

Эдит очень быстро пришла в сознание. Она обвела взглядом всех по очереди и, будто подводя итог, сказала: «Не везет мне, а? Ну, поехали!»

Итог действительно был невеселым: сломаны три ребра, все тело в синяках и ссадинах… Как после хорошей драки!

Диалог с врачом можно было предвидеть заранее:

— Доктор, сегодня вечером я пою в Дивонне.

— Мадам, это безумие! У вас сломаны ребра. При каждом вздохе вы будете кричать от боли.

— Доктор, я буду петь. Введите мне морфий.

Ее старый враг, наркотик, снова впускает в нее свои когти! При каждом несчастном случае острая боль заставляла Эдит прибегать к нему, иначе она не могла петь. Убивающий спаситель!

— Я буду петь. Хватит с меня несчастных случаев, болезней, больниц! Я сыта ими по горло! Либо я пою, либо подыхаю. Вызывайте моего врача из Парижа, пусть он сопровождает меня во время турне…

Больничный врач, выполняя свой долг, настаивает:

— Мадам, вы играете своей жизнью.

— Ну и черт с ней. Нужно же чем-то играть, мне больше нечем!

Ей накладывают гипс. Она требует морфия. Как же иначе петь? На этот раз наркотики не ради наркотиков, а ради контракта.

Так началось это безумное турне. Стояла жара. Гипсовая

повязка превратилась в настоящую пытку. Вдыхая воздух, наполняя ими легкие, она испытывала невыносимую боль. Чтобы иметь возможность петь, она сняла гипс и заменила его плотным бинтом.

На этот раз она окажется сильнее морфия, он не подчинит ее себе. Врач делает ей один укол перед самым выходом на сцену. После десятой песни она на секунду забегает за кулисы, и ей делают вторую инъекцию. Днем она держится, но понемногу снова начинает пить.

В Каннах она остается на несколько дней. На пляже все, кто жарится на солнце, спешат насладиться зрелищем четы Пиаф—Дэвис. Он прекрасно сложен, мускулист, в плавках, девушки не сводят с него глаз. Она — это Эдит Пиаф, поэтому ей прощают (ей всегда все прощали) бесформенную курточку, простую блузку, головной платок, некрасивую фигуру. У нее худые ноги и толстые колени. Ей на все наплевать, она всем бросает вызов: с ней под руку красивый парень двадцати трех лет… Но никто не знает, что под блузкой у нее проклятая повязка, стягивающая, не дающая дышать. Солнце жжет невыносимо. Ничего, она остается возле Дугги. Она его не бросит. Эдит терпеть не может солнца, кишащих людьми пляжей, но сопровождает Дугги, думая, что купанье доставит ему удовольствие. По крайней мере она уверена, что делает для него все, что возможно.

Дугги же хочется иного… Неподалеку от Канн живет Пикассо и много других художников… Вся современная живопись бурлит здесь на нескольких квадратных километрах. В США он об этом мог только мечтать. Теперь он во Франции, но не увидит ничего, к чему стремился… Ничего, кроме этой маленькой женщины, которая однажды в обманчивом свете прожекторов пронзила его юное сердце: она пела о правде жизни, которую он не знал и которая перевернула ему душу… Он не знал, что мир, который привлек его, жесток, жизнь в нем трудна, законы безжалостны…

Эдит боролась с болезнью всеми возможными средствами. Ей сказали, что при ревматизме очень помогает чеснок: она постоянно его ела. Дугги чуть не тошнило. Чтобы снять боли, она снова стала применять кортизон — и от него отекала. Для поднятия духа — алкоголь. Все вместе — медленное самоубийство.

Дуглас не поспевал за ней, он выдыхался. Эта женщина, державшаяся только на уколах, выходившая из себя по любому пустяку, требовавшая постоянного присутствия, высосала все его силы… И не у него одного! Вокруг нее все еле держались на ногах! Даже самые сильные, закаленные были на пределе. А Эдит напоминала заведенный механизм, пружина которого еще не

перестала раскручиваться. Она продолжала в том же темпе, рискуя лопнуть в любую минуту.

В Бордо, предпоследнем городе турне перед Бьярриццем, ночью между Эдит и Дугласом произошла сцена. Они бросили друг другу в лицо несколько горьких истин, похожих на помои. Эдит, напичканная снотворными, уснула. Дуглас воспользовался этим и помчался на вокзал, как заяц, за которым гонится собака. Остаток ночи он провел в зале ожидания второго класса, как бродяга, с узелком под мышкой, небритый и нечесаный.

Когда Эдит очнулась от тяжелого сна, Дугги рядом не оказалось. И тогда Великая Пиаф, как безумная, растрепанная, в накинутом на ночную рубашку пальто, вскочила в такси.

— Скорей на вокзал!

— К какому поезду?

— Не знаю. Скорей!

— Я вас спрашиваю, потому что вряд ли успеете к парижскому. Считайте, поезд ушел.

Таксист попал в точку!

«Пойми меня, Момона, мне нельзя было его упускать. Ни в коем случае, это был мой последний шанс. Я металась как сумасшедшая по вокзалу, полному отдыхающих, мне было все равно, что на меня смотрят. Мне надо было его догнать во что бы то ни стало. В дверях контролер остановил меня: «Ваш билет!» Я сказала: «К черту!» — и прорвалась.

Я выбежала на перрон. И как в плохом фильме, передо мной поезд тронулся с места… Представляю, какой у меня был жалкий и несчастный вид. Одна на этом проклятом вокзале… Все было так глупо, что я и плакала и смеялась одновременно, как настоящая сумасшедшая…».

Да, гастроли заканчивались не на веселой ноте…

«Но, Момона, он меня не забыл. Он мне позвонил в Париж и сказал, что вернется ко мне. Пообещал…».

Я подумала, что обреченным всегда дают много обещаний…

«Момона, этого я любила, а он меня покинул! Как у меня болит сердце!»

Но сердце у нее болело только в переносном смысле, физически это был самый здоровый орган ее тела. Врачи всегда говорили: «У нее сердце атлета! Оно бьется медленнее, чем у

нормальных людей. Все в ее теле сдаст, а сердце еще будет держаться!»

У нее ужасно болели руки, суставы начинали деформироваться. В периоды обострений она не могла ни причесываться, ни держать стакан, приходилось резать ей мясо на тарелке.

В таком состоянии она уехала в Стокгольм, где должна была выступать в «Бернсби», самом крупном шведском мюзик-холле. Перед пятью тысячами зрителей, пропев слова: «У меня от тебя кружится голова», она повернулась как бы вокруг своей оси и мягкой черной тряпочкой осела на пол у микрофона. Публика зааплодировала, думая, что это актерская игра. Опустили занавес, и Эдит унесли.

Тогда в первый раз в жизни ее охватил суеверный ужас.

— Не хочу подыхать в Швеции, хочу вернуться!

— Самолета нет!

— Достаньте! Я тут загнусь!

Она оплатила спецрейс — ДС-4, 80 мест. Страх обошелся ей в полтора миллиона франков… Момент был неподходящий; она зарабатывала меньше, чем тратила.

Несчастья преследовали ее. 22 сентября ее кладут в американский госпиталь в Нейи и срочно оперируют по поводу панкреатита. Когда я спросила знакомого врача, что это такое, он ответил, что, если время для операции упущено, смерть наступает через двадцать четыре или сорок восемь часов и что даже в случае успешной операции выживают три человека из десяти. К Эдит никого не пускали. В который раз она боролась один на один со смертью в слишком чистой и слишком пустой больничной палате.

Я знала, что скрывалось за разными названиями болезней. Когда Эдит оперировали в Нью-Йорке, уже тогда обнаружили рак, уже тогда установили, что он неизлечим. Если бы она вела себя разумно, то продлила бы жизнь на несколько лет, но все равно была обречена.

С тех пор жизнь ее состояла из передышек между пребываниями в больницах. И тем не менее вершины своего творчества ей суждено было достигнуть год спустя.

По выходе из больницы она должна была записать «Милорда»: Мы все умоляли ее отказаться. Но она все же сделала эту запись. В одиннадцать часов она выписалась, в два уже репетировала. Она простояла перед микрофоном восемь часов, говоря звукооператорам: «Не останавливайтесь, если я прервусь, снова начать не смогу». Лулу не выдержал:

— Эдит, хватит! Кончайте!

— Не мешай мне петь. У меня больше ничего не осталось в

жизни!..

Эти слова мы слышали теперь постоянно. Стоило нам ей возразить, как она произносила эту фразу, и мы умолкали.

На этот раз — как, впрочем, и во многие другие разы — она снова заходит слишком далеко. Лулу использует ситуацию. Он укутывает ее, как ребенка, сажает в свою машину и увозит в Ритбурн, в свой загородный дом. «Эдит, вы отсюда не уедете, пока не поправитесь».

Ей все равно, что он говорит. У нее одно желание: заснуть, забыться… Около нее никого нет, кроме медицинской сестры и Клода Фигюса.

К Клоду она настолько привыкла, что даже не замечает. Но для него она всегда остается самой Великой. Он настолько ее боготворит, что готов сносить все. Лишь бы она возвращалась домой, лишь бы она его не прогоняла, он уже счастлив.

Представляя его, она часто говорила: «Мой секретарь». Это ничего не означало. С тех пор как она его «впустила в дом», он был чаще всего мальчиком на побегушках.

Но на этот раз счастье ему улыбнулось. Рядом с Эдит нет никого, кто мог бы сказать ей те слова любви, которые ей так нужно услышать. И вот в один прекрасный вечер, когда ей лучше, Клод выложил ей все, что у него на сердце, все, что у него скопилось за тринадцать лет… Эдит слушает. Это его звездный час. Кто мог бы устоять перед такой любовью, таким самопожертвованием? Эдит обнимает его. И Клод по праву получает медальон.

На этом для него джентльменский набор исчерпывается. Да его это и не волнует. Его счастье длилось, пока Эдит выздоравливала.

В течение почти целого года она заново учится петь. Искореженная деформирующим артритом, она не может даже ходить. Каждый день приходит костоправ Вимбер. Он терпеливо массирует ее, выправляет позвоночник, разминает по одному сведенные болезнью мускулы и нервы. Сердце щемило, когда я смотрела, с какой покорностью Эдит слушала этого человека, учившего ее ходить, как ребенка. «Правую ногу вперед. Так. Теперь левую. Еще три шага, Эдит. На сегодня достаточно». Впоследствии он сопровождал Эдит во всех ее поездках: она больше не могла обходиться без его помощи.

Когда я снова увиделась с ней на бульваре Ланн, в доме было примерно так же весело, как на кладбище. Еще немного, и все бы стали ходить на цыпочках. Никакой музыки… ничего! Подобной мертвой тишины я никогда не слышала. У Эдит было такое отекшее лицо, что казалось, она играла в мяч с роем пчел.

— Момона, скажи, я страшная?

— Немножко щечки округлились, но это тебе даже идет!

Жестом она показывает, что ей наплевать.

— Ты что же, думаешь, я могу с такой рожей выйти на сцену?

Нет, это было невозможно. Когда Лулу мне позвонил, чтобы сообщить о ее возвращении, он сказал: «Все в порядке, она выкрутилась. Ей нужно совсем немного времени, чтобы снова войти в колею. Скоро она тронется в путь!»

Как в воду глядел! Спутал только направление! Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы снова… попасть в больницу. Но уже получалось слишком много болезней, клиник, врачей, операций… Хотелось крикнуть: «Перебор!»

Гепатическая кома. В девяноста случаях из ста это конец. Но не для Эдит. Она снова выжила. Газетчики убрали в столы заготовленные некрологи.

Не успела она вернуться на бульвар Ланн, как ей предложили гастроли по французским городам с 14 октября по 13 декабря. Она решила ехать. Напрасно кричал Лулу, умоляли Фигюс и я, она решила ехать. Напрасно кричал Лулу, умоляли Фигюс и я, она посылала нас ко всем чертям.

«У меня два месяца для подготовки, этого вполне достаточно. И потом, на что мне жить? Продавать больше нечего, я на нуле. Что прикажете делать? Я даже звонила Мишелю Эмеру (он был ее последним шансом, когда она оставалась совсем на мели). Он пошел в SACEM от моего имени, но ему ответили, что не дадут и ломаного гроша под мои авторские права… Усекли? Выход один — петь!»

Пока она на одном, дыхании все это выкладывала, я думала: «Господи, неужели никто не появится, чтобы ей помочь, чтобы изменить ее настроение!» Всегда, когда я об этом думала, такой человек появлялся. Так случилось и на этот раз. Звали его Шарль Дюмон.

Эдит назначила мне свидание в Булонском лесу. Ей хотелось погулять. Как только я ее увидела, я заметила какую-то перемену. Конечно, на нее не следовало смотреть, сравнивая с той, какой она была еще два года назад,— сердце кровью обливалось, но в ней появилась какая-то мягкость, что-то счастливое, что-то живое в глазах.

— А ты ведь влюблена!

— Неужели уже заметно? Сама-то я еще не очень уверена.

— Все же расскажи! Потом посмотрим, на всю это жизнь или нет!

— Знаешь, мне сейчас много не нужно. Все меня раздражает. А было так: мне позвонил Мишель Вокер[64]: «Я посылаю тебе одного парня. Его зовут Шарль Дюмон. Послушай, пожалуйста, песню, которую он написал для тебя на мои слова. О них я говорить воздержусь, но музыка потрясающая…»

Я ему отвечаю: «Ладно» — и назначаю встречу, но без особого интереса. Мало того, в день, когда он должен был прийти, я вообще о нем забыла. Раздались два робких звонка в дверь. Меня сразу охватило раздражение. Вошел Клод: «Это Шарль Дюмон, Эдит, ты ему назначила встречу».— «Пошел он к …»

Не успела я договорить, как он вошел. Совсем не в моем вкусе: высокий, в теле, одет, как чиновник. Не смеет поднять на меня глаза и смотрит на свои ботинки. Если бы он продавал пылесосы, вряд ли бы за год уговорил одного покупателя!

Начало не предвещало ничего хорошего.

Эдит бросила сухо:

— Садитесь за рояль, раз вы принесли мне песню.

Несчастный Шарль Дюмон! Крупные капли пота выступили на его лице, но он не осмеливался вытирать их, и они стекали за воротник.

Эдит уколола:

— Дать вам мой платок?

— Нет, у меня есть свой… спасибо…

Наконец он решился сыграть «Нет, я не жалею ни о чем!»

Нет! Ничего…
Нет, я не жалею ни о чем!
Ни о добре, которое мне сделали,
Ни о зле, которое причинили.
Мне все равно!
Нет! Ничего…
Нет, я не жалею ни о чем.
Все оплачено, выметено, забыто.
Мне плевать на прошлое!
Из моих воспоминаний
Я разожгла костер…
Мои горести, мои удовольствия
Мне больше не нужны!
Потому что моя жизнь, потому что мои радости
Сегодня
Начинаются с тобой!

Мгновенно все изменилось. Эдит поражена как молнией.

— Потрясающе! Невероятно! Вы волшебник! Это же я! То, что

я чувствую, то, что думаю! Более того, это мое завещание…

— Вам нравится?— бормочет Дюмон, не в силах собраться с мыслями.

— Поразительная песня! Это будет мой самый большой триумф! Я уже хочу стоять на сцене и петь ее!

И тут же спела. Дюмон был потрясен.

— В вашем исполнении душа переворачивается…

Каждый, кто появлялся у Эдит в тот день, мог услышать новую песню. На пятый раз она знает ее наизусть. На десятый все уже настолько прочно, что она почти ничего не изменит на сцене.

Шарль Дюмон все еще не может прийти в себя. По лицу Эдит он видит, что его шансы растут на глазах. От счастья он теряет дар речи.

— Приходите завтра, будем работать.

«Вот уже неделя, Момона, как он приходит, как служащий на работу. В четырнадцать тридцать, минута в минуту, он уже за роялем, и мы начинаем вкалывать. Он мне нравится, потому что это мужчина. Он сильный. Мне хочется опереться на его руку… Он не упадет, он все выдержит. У него есть одна черта, которая меня трогает: он обожает свою мать. Этот здоровый детина — робкий и мягкий человек. В нем много сердечной доброты».

Она замолкает и смотрит на меня.

«Я знаю, о чем ты думаешь. У Дугги она тоже была. Но он был мальчик. Ему не хватало не доброты, а ощущения реальности. Он меня видел в голубом и розовом, в цветах «американской детской»… Наполовину сестрой, наполовину матерью… Для женщины в его выдуманном мире места не оставалось…».

Меня всегда поражала трезвость суждений Эдит. Все было предельно ясно, было выявлено все существенное, все было точно, как в аптеке, не требовало поправок и дополнений.

«Знаешь, Момона, ведь Дугги мне снова звонил. У него была выставка в Америке. Он сказал, что вернется, когда немного «подрастет»! Но я не в том возрасте, чтобы возиться с мальчиками. Уже не молода и еще не стара. Его я действительно любила, только он жил в стерильном мире, в то время как мой кишел микробами. Чтобы выжить в нем, в детстве ему не сделали прививок!»

В тот день мы много разговаривали. Эдит очень хорошо себя

чувствовала.

«Это правда, Момона: «Я не жалею ни о чем…». Но очень боюсь наркотиков, а вынуждена продолжать. Теперь, когда мне колют морфий, я дрожу от страха. Не хочу снова пройти через все, что было. Больше я этого не выдержу…

Я впервые испытала чувство, которое валит с ног,— стыд. Как подумаю, что есть люди, которые видели меня, когда я вела себя хуже животного, мне становится тошно! А когда тошнит от самой себя — это очень мучительно!»

Как я и ожидала, Шарль Дюмон, в отличие от других, занял в жизни Эдит особое место. Терпеливый, мягкий и ласковый, он не командовал ею, но и не подчинялся. Он был с ней на одной ноге. Это было ново для нее и очень полезно.

Клод Фигюс снова отодвинулся в тень. Мне было обидно видеть его преданность, его любовь, в которой Эдит не нуждалась. Чувство ревности ему было незнакомо. Эдит выглядела лучше, большего он не желал. Когда ей взбрело в голову, она начала заниматься с ним. Он неплохо играл на гитаре, и Эдит решила, что он может стать певцом. Когда она с ним работала, казалось, Клод держит в руках ключ от рая — настолько он был на седьмом небе от счастья.

Шарль Дюмон не жил на бульваре Ланн. Это было плохо для Эдит, она была очень одинока.

Для нее Шарль написал около тридцати песен, некоторые из них стали впоследствии ее классикой: «Слова любви», «Прекрасная история любви» (текст написала Эдит), «Незнакомый город», «Любовники», «Господи»:

Господи, Господи, Господи,
Оставь мне его, еще немного,
Моего любимого…
На день, на два, на неделю
Оставь его мне, еще немного
Оставь мне…

Морально она чувствовала себя лучше. Физически по-настоящему еще не окрепла. По окончании гастролей она должна была выступать в «Олимпии». Я была в панике. Эдит не пела почти год. Она очень тревожилась. Ужас, гораздо более сильный, чем обычный актерский страх перед сценой, перехватывал ей горло, сводил руки и ноги. Я как в воду глядела: эти гастроли получили название «турне-самоубийство».

В первый день в Реймсе, когда она вышла на сцену, публика устроила ей нескончаемую овацию. Музыканты несколько раз начинали первую песню, но каждый раз аплодисменты и возгласы возобновлялись. Наконец Эдит запела, но у нее так пересохло в горле, что посреди песни она остановилась. За кулисами всех бросило в дрожь. Катастрофа?.. Но нет, она продолжала. Когда она исполнила «Нет, я не жалею ни о чем», ее три раза вызывали на бис. Это был триумф!

Но она рассчитывала на те силы, которых у нее больше не было. На следующий день от усталости она пела почти механически, и публика это почувствовала: зал был холоден. И аплодировал тоже машинально.

Перед Эдит длинная череда городов, обвивающих ее, как змея, и готовых задушить. Она должна выдержать. И она накачивается допингами. У нее хватает сил отказываться от морфия, который ей предлагают на этот раз, чтобы помочь. Она стискивает зубы и цедит: «Я продержусь до конца».

Но директора концертных залов знают, чем рискуют: она может свалиться на сцене. И впервые за всю карьеру Эдит города Нанси, Метц, Тионвиль аннулируют контракты.

В Мобеже чуть не произошла катастрофа. Пришлось дать занавес и объявить волнующейся публике: «Мадам Пиаф почувствовала себя плохо, но это не опасно. Мы просим вас потерпеть несколько минут». Кто-то крикнул: «В больницу! В Дом инвалидов!» Эдит услышала и выпрямилась: «Колите, я выхожу!» Снова морфий одержал верх.

Музыканты, рабочие сцены взбунтовались: «Нет, мы не будем в этом участвовать. Помогать ей петь — значит помогать ей убивать себя!» — «Если вы не хотите, я буду петь без вас».

Она раздвигает занавес.

Тогда все занимают свои места.

Она выходит на сцену и выдерживает до конца. Но какой ценой!

Пение превратилось для нее в пытку. Каждый сантиметр тела причинял нестерпимую боль, от которой хотелось кричать. Она продержалась до последнего города, им был Дрё. Репортеры следовали за ней по пятам в ожидании срыва. Они знали, что он неизбежен. Питаться мертвечиной — их ремесло. И Эдит знала, чего они ждут. У нее хватило сил крикнуть им: «Еще не сегодня!»

Когда занавес поднялся, маленькая черная фигурка, с отекшим от антибиотиков лицом, была похожа на карнавальную марионетку с головой Эдит Пиаф. Трагический гротеск. Умирающая женщина, но одержимая певица.

Лулу, Шарль Дюмон, музыканты — все умоляли ее не петь.

Директор предложил отменить концерт, Эдит, проглотив горсть таблеток-стимуляторов (лошадиную дозу), кричит: «Если вы это сделаете, я выпью пачку снотворного!» Потом стала их упрашивать: «Разрешите мне… Позвольте мне петь…»

Чтобы не упасть, она прислонилась к роялю. По спине течет холодный пот. Она поет и кричит потрясенным зрителям: «Я люблю вас, вы моя жизнь…» Это настолько искренне, что публика устраивает ей овацию. Ей кричат, как боксеру: «Давай, Эдит… Ну давай же!.. Держись!..»

Все понимают: происходит чудовищный бой — маленькая обессиленная женщина борется с болезнью. Она хочет отдать публике свою жизнь до последнего, и публика это знает. За кулисами у всех на глазах слезы. Но исход борьбы предрешен. Эдит не выдерживает. На восьмой песне она падает в нокаут. Падает и остается лежать.

Зрители расходились молча. Никто не потребовал возврата денег. Все уносили с собой горе и боль за женщину, стремившуюся исчерпать себя до конца, отдав им самое дорогое, что у нее было: свои песни и свою жизнь.

В черном лимузине Лулу и Шарль Дюмон сидят с двух сторон Эдит. Закутанное в норковую шубу крошечное тело бьется в лихорадке. Ее везут в клинику в Медоне.

Через шестнадцать дней перед ней должен подняться занавес «Олимпии». Лулу Барье и Брюно Кокатрикс собираются отменить концерты. Врачи говорят: «Она не сможет петь». Но прежде чем погрузиться в лечебный сон, который должен наконец дать ей покой, возможность отдохнуть, отключиться, Эдит запрещает Лулу отменять «Олимпию».

Врач протестует:

— Мадам, для вас выступление на сцене равносильно самоубийству!

Эдит пристально смотрит на него:

— Такое самоубийство мне нравится. Оно в моем жанре.

Через шесть дней ее переводят из больницы в Медоне в клинику Амбруаза-Паре в Нейи. Ей лучше. Главное, в чем она нуждается,— это отдых и покой. Рождество она проводит в клинике. 29 декабря выписывается и начинает репетировать в «Олимпии». Эдит Пиаф создает программу «Олимпия-61», вершину своего мастерства. Так как времени для репетиций не хватает, премьера назначается на первые числа января 1961 года.

Эдит победила все: болезнь, алкоголь, наркотики, «все забыто, сметено». Она очистилась в муках. Она осталась и навсегда останется самой Великой. И это притом, что, исполняя «Старину Люсьена», сбивается, останавливается, засмеявшись,

говорит: «Не сердитесь!..» — и начинает снова.

В тот вечер Эдит впервые исполнила одну из самых тяжелых песен своего репертуара — «Белые халаты» Маргерит Монно и Мишеля Ривгоша.

Ее голос звучал очень тихо, как бы издалека:

Скоро три года,
Как ее сюда поместили,
К сумасшедшим,
Вместе с сумасшедшими…

Потом начинается бред, и Эдит поет, раскачиваясь из стороны в сторону.

«И каждый раз появляются белые халаты…».

В песне она снова видит человека, которого когда-то любила, ей грезится…

«Но возвращаются белые халаты…».

В конце Эдит кричит:

«Я не сошла с ума, я не сошла с ума…»

Невозможно было слушать, как она кричала о своем безумии. Хотелось, чтобы она замолчала, чтобы все исчезло. Не было сил выдержать, когда эта маленькая женщина в черном, раскачиваясь, кричала о своей муке! Никогда она не достигала такого величия, как в эту минуту.

Когда она умолкла, несколько секунд стояла мертвая тишина, а потом весь Париж взорвался громом аплодисментов. Ничего подобного никогда не было. На сцену к ногам Эдит летели букеты цветов. Я сидела в глубине зала, но бросилась в туалет, чтобы не сдерживать рыданий.

О ней пишут: «Она опрокидывает все представления…», «Она — Пиаф, иначе говоря, феномен, до сих пор неизвестный…»

У критиков не хватает слов достаточной красоты и силы, и тогда, говоря о ней, они начинают употреблять выражения, до сих пор применявшиеся только к оперным примадоннам, только к таким великим, как Мария Каллас.

Тринадцатого апреля Эдит заканчивает концерты в «Олимпии» и снова едет в турне. Только теперь у нее больше не будет нормальной жизни: она зашла слишком далеко.

Она выступает в Брюсселе и еще нескольких городах, но 25 мая ее кладут в американский госпиталь в Нейи и делают операцию по поводу спаек в кишечнике. Ее спасают и на этот раз. Лулу увозит ее к себе в Риннбург на поправку. На следующий день после приезда, 9 июня, сильнейшая боль сгибает ее пополам. Эдит возвращается в американский госпиталь, где ее снова оперируют: кишечная непроходимость. И она снова выскакивает.

В течение нескольких месяцев Эдит живет как бы замедленной жизнью. Шарль Дюмон все время с ней. Может быть, именно эта прочная привязанность и помогала ей снова и снова выплывать на поверхность.

Но тот, кто вскоре появится на пороге, сметет все. Эдит предстояло пережить последнюю и самую прекрасную в ее жизни любовь.

Позднее она мне признается: «Я много раз встречала любовь, Момона, но любила по-настоящему только Марселя Сердана. И всю свою жизнь ждала только Тео Сарапо…»

Глава восемнадцатая. «Вот зачем нужна любовь!»

За несколько месяцев до того как выйти замуж за Тео, Эдит мне сказала: «Рассказ о Тео мне хочется начать словами: «Жил-был однажды…» И она права. Это была не повесть, а сказка. Сказка о самой прекрасной и самой чистой любви.

Когда Эдит хотела, она очень ясно читала и в себе самой и в других.

«Понимаешь, Момона, мы с Марселем очень любили друг друга, но я знаю, если бы он не умер, он бы меня бросил. Не потому, что мало любил, а потому, что был глубоко честен! У него была жена и трое сыновей, он вернулся бы к ним. Если бы я не встретила Тео, что-то в моей жизни не состоялось бы».

Тео пришлось тяжелее всех. Эдит сорок семь лет, она вся изрезана, но знаменита. Тео — двадцать семь, он неизвестен, но прекрасен, как солнце Греции. Говорили, что он беден. Это неправда. Его родители — обеспеченные люди. Эдит же, которую считали богатой, совершенно разорена. В это невозможно поверить, особенно если учесть, что Лулу Барье заключил для нее контрактов на общую сумму полтора миллиарда франков! После смерти Эдит оставила мужу сорок пять миллионов долга! Чтобы зарабатывать на жизнь, ему пришлось уехать петь за границу; во Франции на все его заработки накладывался арест так же, как и на десять миллионов авторских, которые SACEM еще до сих пор ежегодно собирает с произведений Эдит.

Деньги и любовь редко уживаются вместе. Лишь приняв как неоспоримую данность это исключение, можно перейти к истории Эдит и Тео, начав ее — как она того хотела — со слов: «Жил-был однажды…»

Для Эдит зима 1962 года была тяжелой. Холод леденил не только ее тело, но и душу. Дни тянулись бесконечно.

«Я не живу. Мне запрещено все: есть, что я люблю, пить, ходить, петь… Плакать нельзя, падает тонус. Я имею право только смеяться, а этого как раз и не хочется. Нельзя смеяться и любить по заказу. И вот я жду. Чего? Не знаю».

Шарль Дюмон, Лулу и Гит строят планы, как помочь ей жить,

но они из месяца в месяц откладываются. Вокруг нее пусто и тихо. У Пиаф больше не веселятся, у нее нет денег, и ходить к ней стало тяжелой повинностью. Не все способны на благотворительность! Самыми верными оказались ее мужчины. Ив ей звонил, Пиле, Анри Конте заходили проведать, заскакивал Азнавур, но у него всегда было очень мало времени. Не забывал ее и Реймон Ассо, только в нем сохранилось слишком много желчи. Он звонил, чтобы критиковать, бранить. Реймон — единственный, кто не простил Эдит за то, что она оставила его. Константин был очень нежен.

Хранила ей верность и «старая гвардия», приятели, друзья прежних лет: Пьер Брассёр, Робер Ламурё, Сюзанна Флон, Жан Кокто, Жак Буржа, а также ее музыканты и поэты: Фрэнсис Лей, Ноэль Коммаре, Норбер Шовиньи, Мишель Ривгош, Пьер Деланэ, Мишель Эмер. Целый мирок… Но эти люди как бы и были — и как бы их и не было…

В периоды, когда Эдит выныривала на поверхность, у нее еще устраивались вечера и ночи в стиле «бульвара Ланн», похожие — только в бледном варианте — на прежние, давние. Как только ей становилось лучше, она отбрасывала запреты. Лулу остерегал ее, но она возражала: «Кому нужно мое примерное поведение? И для чего? Я никогда такой не была! И мне так хочется жить!»

В один из вечеров, когда она более или менее хорошо себя чувствовала, Клод Фигюс привел приятеля, высокого парня, одетого во все черное, с темными волосами и такими же глазами, — Теофаниса Ламбукаса. Он сел на ковер в углу — красивое, породистое животное, большая черная гончая — и не проронил за весь вечер ни одного слова.

«Момона, как он меня раздражал! Правда, не люблю молчунов! Если человеку скучно, может убираться на все четыре стороны! Я работала с Клодом, мы готовили к записи его песни «Когда любовь кончается» и «Голубое платье». Он же, Тео, молча слушал…».

Он сидел так тихо, что Эдит позабыла о нем. Но он ее не забыл. Пиаф не забывали, даже если видели мельком.

В феврале 1962 года Эдит попала в клинику Амбруаза-Паре в Нейи с двусторонней бронхопневмонией. Ее где-то продул сквозняк, искавший легкую добычу.

«В больнице, Момона, я теперь чувствую себя как дома! Я знаю, как там себя ведут, как разговаривают, а главное, как там смертельно скучают. Разумеется, я обрадовалась, когда мне

сказали, что меня пришел навестить некий Теофанис Ламбукас. Больше всего мне понравилось то, что с этим человеком я не была знакома раньше, но я ошиблась, это был тот самый товарищ Клода, промолчавший весь вечер в углу. Он принес мне не цветы, а куколку… чем и подкупил меня! Значит, он обдумывал подарок! Я ему сказала: «Знаете, я уже вышла из этого возраста!»

Он улыбнулся. Только он так умеет улыбаться. Тебя сразу озаряет луч света! Хочется стать красивой, еще более красивой, чем возможно, хочется улыбаться, как он, даже веселее… Он похож на большого черного кота… При взгляде на него возникает желание делать все еще лучше, чем это делает он. А ведь какой я была маленькой и беспомощной на больничной койке…

«Знаете, Эдит,— вы позволите называть вас Эдит?— эта кукла особенная. Она с моей родины, из Греции».

Они поболтали приветливо и непринужденно о простых вещах. Потом Тео пообещал: «Я приду завтра».

На следующий день он пришел с цветами. И снова сказал: «До завтра». Каждый раз он ей что-нибудь приносил. Это были недорогие подарки, но они всегда имели смысл. Чувствовалось, что он их выбирал. И Эдит, растратившая целые состояния, чтобы угодить людям, училась понимать, что ценно только внимание.

Так прошло несколько дней, и Эдит спросила у него: «Вы что же, ничем не заняты, раз приходите каждый день?» — «Занят, но устраиваюсь».

«Мне так хотелось, чтобы он рассказал о себе! Но, ты удивишься, я не смела задавать ему вопросов. Казалось, он ничего не скрывает от меня, но в то же время закрыт, как несгораемый шкаф, на три оборота. У него есть какая-то тайна.

Однажды днем, как бы между прочим, он спросил:

— Хотите, я вас причешу?

— Вы разве парикмахер?

Он покраснел. Мне стало тепло на душе. Этот рослый малый вспыхнул, как девчонка! Вот он, его секрет: он парикмахер. Как мне захотелось стать молодой и красивой!.. У меня сжалось сердце, и я поняла, что готова к новому вальсу. Но в моем состоянии я рисковала закружиться в нем одна. Такую развалину, какой я стала, такой парень, как он, не мог заключить в свои объятия…».

Эдит отвернулась и сказала: «Нет, не нужно!» — «Вы боитесь, что я не сумею?»

Дело было не в этом, ей было стыдно, чтобы он прикоснулся

к тому, что оставалось у нее на голове.

«Представляешь? Руки Тео созданы для шелковых блестящих волос, а не для моих трех сожженных клочков…».

Он не послушался и причесал ее.

И было еще много завтрашних дней. Эдит жила, затаив дыхание, она не смела сказать ему: «До завтра…» О счастье никому не нужно говорить, его нужно хранить про себя, оно хрупко, его легко разбить. А вдруг он скажет: «Нет»… Счастье боится этого слова… и может растаять.

Это чудо не было игрой случая. Оно было предопределено и записано в книгу судеб во всех деталях.

Эдит чувствовала себя лучше, и Тео стал оставаться у нее дольше. Он приносил ей книги.

«Вы не хотите почитать?» — «Хотела бы, но меня это утомляет».

Тогда он стал ей читать.

«Мне хотелось говорить ему «ты». «Ты» — это как ласка. Но я не смела. «Вы» нам подходило больше. «Вы» — как обручение, «ты» — почти замужество».

Она вышла из клиники, и ничего не изменилось. Прошло много времени, прежде чем Тео признался ей, что мечтает петь.

«Ты не можешь себе представить, Момона, как меня это обрадовало. Наконец я смогу что-то сделать для него. Я тотчас же прослушала его. У него есть все, что нужно: внешние данные, голос, эмоциональность».

Неожиданно у Эдит появилась вторая причина стремиться к жизни: желание создать певца. В ней снова заговорил творец.

«Твое имя — Теофанис Ламбукас — не годится для сцены. Простой народ никогда его не запомнит. Для французов оно звучит по-иностранному, они будут думать, что ты поешь по-гречески. «Тео» — это хорошо. Тео, а как дальше? (И тут она рассмеялась своим прежним смехом…) «Сарапо»! Вот так дальше. Тебя будут звать Тео Сарапо, и это имя дам тебе я. Тео Сарапо! Я люблю тебя, Тео! («Сарапо» — «Я люблю тебя» — немногие греческие слова, которые Эдит выучила когда-то в Афинах с Такисом Менеласом. Она его не забыла.)

Эдит никогда особенно не занималась своими туалетами. Она сделала над собой усилие ради Марселя Сердана. Потом она

раздала те платья, которые он любил: она не могла их ни носить, ни выбросить. У нее был приступ «портновской горячки» в период подготовки поездки в Америку, но он быстро прошел. Обычно она носила, как в дни нашей молодости, свитер и юбку, изредка брюки. Платья она носила по пятнадцать лет. А теперь уже много месяцев не снимала старый голубой халат, на который не позарилась бы последняя нищенка.

Спокойно и мягко Тео сказал ей: «Вы должны хорошо одеваться. Вам очень пойдут брюки». Со свойственными ему нежностью и деликатностью он понял, что она не хочет показывать свое тело, свои ноги. И для него она снова стала следить за собой.

Впервые в жизни Эдит не трубила на всех перекрестках: «Я его люблю! Он меня любит!» Она хранила тайну в глубине сердца. Но это бросалось в глаза, она светилась изнутри. Она так сияла, что вы переставали замечать, во что она превратилась.

Да, они любили друг друга необыкновенной любовью, той, о которой пишут в романах, о которой говорят: такого не бывает, это слишком прекрасно, чтобы могло быть на самом деле. Он не замечал, что руки Эдит скрючены, что она выглядит столетней старухой.

Вместе они поехали в Бьярриц, в город, где три года назад Эдит пережила душевную травму после разрыва со слишком юным Дугласом Дэвисом. В отеле «Дк> Пале», где она остановилась, ее не обступили призраки прошлого. Никогда они больше не предстанут перед ней. Тео смог их разогнать. Эдит никогда не любила солнце, воду, жизнь при свете дня. Но Тео не пришлось настаивать. Она надела купальный костюм и загорала на пляже, как все. Она не побоялась обнажать свое тело, как его обнажали другие женщины, и Тео никого не видел, кроме нее. Ей не приходилось ему говорить: «Не уходи… Возвращайся поскорей!» Он никогда не оставлял ее.

«Момона, когда я смотрела на него, на сына солнца, прекраснейшего из всех, я говорила себе, что я эгоистка, что не способна любить его, что не имею права держать его на привязи, что это не может продолжаться, что я уже в который раз схожу с ума. И впервые в жизни мне захотелось быть расчетливой, экономной, не разбрасываться теми минутами, часами, неделями, которые он мне подарит.

Они возвращаются в Париж, и Лулу заводит разговор о контрактах.

Первым будет «Олимпия». Он называет время: сентябрь.

«Согласна,— отвечает Эдит,— но вместе с ним!»

Тео еще ничего не умеет. Он только начинает петь. Лулу хотел бы сказать «нет», но говорит «да». Как все мы, глядя на них, он уступает. Невозможное становится возможным. Эдит начинает репетировать. Тео говорит ей: «Когда я слушаю, как ты поешь,— это для меня лучший урок!»

В конце апреля Дуглас, проездом в Париже, заходит к Эдит. Бульвар Ланн ожил, но это другая жизнь, отличная от прежней. Меньше бутылок, меньше слуг и больше молодых людей, друзей Тео.

«Я хочу, чтобы у Тео были друзья, его сверстники!»

Эдит рада видеть Дугласа, но рядом с Тео он выглядит ребенком, не выдерживает никакого сравнения. Никогда больше для нее никто не выдержит сравнения с ним.

Дугги проводит с ними несколько дней. Желая сделать сюрприз Эдит, Дугги пишет портрет Тео.

— Это для тебя, Эдит, ты повесишь его рядом со своим.

Когда он сообщает Эдит о своем отъезде, она говорит:

— Уже?

— Я же приезжал ненадолго…

3 июня 1962 года Дуглас Дэвис садится в Орли на самолет. Через несколько минут после взлета самолет разбивается…

От Эдит прячут газеты, выводят из строя радиоприемники, телевизор. Кто осмелится сообщить ей о катастрофе? Никто.

«Что это у вас такой похоронный вид?»

Язык не поворачивается ни у кого, но бывают смерти, которые нельзя скрыть. Эдит узнает. Она кричит: «Нет, нет! Неправда! Этого не может быть! Он погиб, как Марсель!..»

Страшный удар выбивает ее из колеи. Целыми днями она в состоянии помрачения. По-видимому, только желание взять с Тео клятву, что он никогда не будет летать самолетом, возвращает ее к жизни.

Эдит снова в постели. Помогает ей встать на ноги Мишель Эмер. У нее нет денег. Как и раньше, она звонит ему,

— Ты догадываешься, зачем я звоню?

Он догадывается.

— Пожалуйста, устрой мне аванс. Болезни достаются даром, а чтобы вырваться из их когтей, надо платить.

— Не беспокойся, я тебе помогу.

Он делает невозможное и добивается от ОПМВ[65] и

Общества авторов довольно круглой суммы. Когда он сообщает Эдит эту радостную новость, она у него спрашивает:

— А как насчет песни?

— Ты же знаешь, я не могу для тебя писать, пока тебя не увижу.

— Я ведь бог знает на кого стала похожа. Если не боишься, приходи!

Мишель примчался в мгновение ока.

— Ну?— спрашивает Эдит.

— Пока не услышу, как ты поешь…

Эдит поднимается с постели и поет свои песни: старые и новые. Поет и не может остановиться. Тео счастлив, такой он никогда ее еще не видел.

— Ну, Мишель? Доволен?

— Да, я зарядил свои аккумуляторы.

И на следующий день он приносит Эдит «Зачем нужна любовь?»

Зачем нужна любовь?
Любовь необъяснима.
Это что-то такое,
Что приходит неизвестно откуда
И вдруг охватывает вас.
Зачем нужна любовь?

Она нужна также и для того, чтобы выходить замуж. 26 июля Тео спросил Эдит:

— Хочешь быть моей женой?

Он не принял торжественного вида, он сказал ей об этом просто и очень мягко, как будто боялся ее испугать.

— О! Тео, это невозможно!

— Почему?

— У меня была очень сложная жизнь… Мое прошлое тянется за мной, как тяжелый груз… Я намного старше тебя…

— Для меня ты родилась в тот день, когда я тебя увидел.

— А твои родители? Разве они мечтали о такой жене для своего сына?

— Мы их увидим завтра. Они ждут нас к обеду.

— Это невозможно, я очень боюсь!

Эдит не спала всю ночь.

«Момона, только Ив представил меня своим родителям. Но тогда речи не было о замужестве. Помнишь, в какой восторг мы приходили, читая в наших дешевых книжках: «Он представил ее

своим родителям…» Как это было прекрасно! Это был серьезный шаг, преддверие свадьбы! Я не заслужила такого счастья. Это слишком…».

Все эти мысли не давали ей покоя. Она снова и снова возвращалась к ним, лежа в постели, в то время как в противоположном конце квартиры Тео мирно спал. Теперь Эдит спит одна, она больна. Она, которая так любила спать вместе и считала оскорблением, если мужчина не хотел делить с ней постель, больше этого не выносит.

Горит ночник. Эдит бодрствует, она почти спокойна. Она любит голубые стены своей спальни, они успокаивают ее. Она начинает потихоньку перебирать в памяти свою жизнь, но сегодня призраки прошлого не упрекают ее. Они смотрят на нее с улыбкой прощения…

При свете ночника она видит свои руки, лежащие поверх одеяла. Впервые она смотрит на них, думая о том, что ей предстоит завтра. Неужели это те руки, с которых Саша Гитри заказал слепок, чтобы хранить его в своем кабинете рядом с руками Жана Кокто?.. Руки, о которых столько писали…

Поэты говорили: цветы, птицы… их называли крылатыми, взлетающими, летящими… Неужели это они, скрюченные култышки со вспухшими суставами, вздувшимися венами. Она не может разогнуть пальцев даже для самых простых движений: чтобы пить, чтобы есть. Ей нужны другие руки, живые!.. Она думает: «Я сама виновата в том, во что превратила свои руки! Я должна была предвидеть сегодняшний день!»

Как будто маленький воробышек может что-то предусмотреть!

Крупные, слишком соленые слезы обжигают ей кожу. Вот оно, приданое, которое она приносит своему прекрасному и юному жениху. Нет, невозможно, она не имеет права. Как она будет выглядеть завтра рядом с ним за семейным столом?.. Жалкая калека!

Это одна из самых тяжелых ночей в жизни Эдит. Но сказать «нет» она тоже не в состоянии…

«Господи, оставь мне его еще, хоть ненадолго».

Утром, когда входит Тео, она молчит. Она красится, он причесывает ее. Она надевает шелковое голубое платье. В ответственные моменты личной жизни она всегда одевалась в голубое, считая, что ей этот цвет приносит счастье.

В тот день Эдит не опаздывает. Вместе с Тео она садится в

свой белый «Мерседес» и едет навстречу судьбе. У нее больше нет сил бороться, пусть все идет, как идет, там будет видно… Она, кстати, всегда все заранее предчувствовала, всегда за все расплачивалась… и даже авансом! Так что же?..

Она дрожит в старенькой норковой шубке. Ее правая рука лежит в руке Тео, а другая сжимает верный талисман — заячью лапку. И это тоже Эдит: одна рука в руке человека, полного жизни, а в другой — фетиш; на ней манто из норки — но мех давно вытерся…

В парижском предместье Фретт сегодня рано закрыли парикмахерскую. В выходных костюмах папа, мама и сестры Тео, Кристина и Кати, сидят в гостиной и ждут Эдит Пиаф, невесту единственного сына и брата.

Нет, ни с кем другим это было бы невозможно, но с Эдит все становится возможным, когда на ее лице нет ничего, кроме глаз заблудившегося ребенка.

Все друг другу понравились с первого взгляда, расцеловались. Хозяева находят Эдит простой, она их — симпатичными.

Обед, который казался ей кошмаром, проходит хорошо. Как будто невзначай, за разговором, Тео разрезает мясо в тарелке Эдит, вкладывает ей в руку вилку.

За десертом всем весело. Эдит открывает для себя, какое это счастье, когда вокруг стола, под лампой, собирается настоящая семья. У нее теперь будет свекор, свекровь. Потом она скажет смеясь: «У меня все не как у других, впервые в жизни у меня — свекровь! Впервые в жизни я называю другую женщину — «мамой». У нее также есть две золовки.

«Момона, сердце у меня в груди билось от счастья, как набатный колокол. Никогда еще он не звонил так сильно, кроме него, я ничего не слышала!»

Второй раз Эдит празднует официальное обручение в Сен-Жан-Кап-Ферра, куда приезжает отдохнуть перед премьерой «Олимпия-62». Родителей нет, присутствует только Лулу. Свадьба назначена на 9 октября.

В последний раз в жизни она зовет Реймона Ассо. Она посылает ему телеграмму и просит приехать.

«Момона, если бы ты знала, как все грустно. Он состарился. Но все еще по-прежнему, оказывается, ревнует; когда слишком любят, это не лучше, чем когда любят недостаточно!»

На бульваре Ланн все закружилось в творческом вихре, с той разницей, что Эдит кружится теперь не так быстро, как прежде. Все силы она отдает Тео, отрабатывает с ним голос, интонации, жесты. Ставит на нем свой гриф, как знаменитый модельер на созданном платье. Эдит хочет, чтобы в нем тоже все было совершенно.

Последний гала-концерт был самым многолюдным. 25 сентября 1962 года, за два дня до премьеры в «Олимпии», она пела с высоты Эйфелевой башни по случаю премьеры фильма «Самый длинный день».

В саду Дворца Шайо состоялся обед, на котором присутствовали Эйзенхауэр, Черчилль, Монтгомери, Маунтбаттен, Бредли, шах и шахиня Ирана, король Марокко, принц и принцесса Льежские, Дон Хуан Испанский, София Греческая, принц Ренье Монакский, София Лорен, Ава Гарднер, Робер Вагнер, Пауль Анка, Одри Хэпбёрн, Мел Феррер, Курд Юргенс, Ричард Бартон и еще более 2700 зрителей, которые платили от 30 до 350 франков (новых) за место. Для них Эдит Пиаф — тень ее была спроецирована на огромный экран и стала гигантской — спела «Нет, я не жалею ни о чем», «Толпу» «Милорда», «Ты не слышишь», «Право любить», «Унеси меня» и «Зачем нужна любовь?» с Тео Сарапо.

На мне в тот вечер не было вечернего платья, я не покупала свой билет на вес золота, но я никогда не забуду этой ночи. Из окна своей кухни я видела Эйфелеву башню — для нас с Эдит кухня всегда была любимым местом,— я распахнула окно в это небо, в эту ночь, непохожую на другие, и я слушала, как над Парижем рокочет голос Эдит.

Это было настолько прекрасно, что внушало трепет, как все великое, как все, выходящее за обычные рамки.

Сентябрь. Премьера «Олимпия-62». Как всегда, здесь снобы, профессионалы и все остальные. Они вострят когти, зубы и языки. Они пришли посмотреть, как Эдит — без страховки под куполом цирка — покажет им свою последнюю находку и своего будущего мужа Тео Сарапо.

Когда она выходит на сцену, зал взрывается криками: «Браво, браво!.. Эдит! Эдит!» И вдруг общий «гип, гип, гип ура, Эдит!» поднимается, все сметает и затихает у ее ног. Публика, которую она так любит, так уважает, еще до того как Эдит успевает что-либо сделать, кричит ей о своей любви. Целых полторы минуты Эдит не может начать петь. Потом одним движением маленькой руки успокаивает зрителей, укрощает их страсть. Оркестр начинает вступление к первой песне, и в зале становится тихо, как в церкви. Люди впитывают сердцем каждое слово, каждый

жест. В течение всего концерта, после каждой песни возобновляются овации. Так зрители выражают ей свою благодарность.

И снова происходит «чудо Пиаф». Когда вместе с Тео Сарапо она поет «Зачем нужна любовь?», публика благословляет их брак триумфальной овацией.

Снова Эдит побеждает.

Чудо и то, что на сцене Эдит удается разжать пальцы и прижать руки ладонями к своему черному платью — ее постоянный жест, тот, который она нашла когда-то у Лепле, потому что ей было очень страшно и она не знала, куда деть руки.

Вечером, покидая «Олимпию» и прижимаясь к Тео в белом «Мерседесе», Эдит чувствует себя счастливой. «Видишь, Тео, мы их победили».

Тео считает, что это в первую очередь ее победа, что его приняли как довесок к программе. Он понимает также, насколько резок переход от репетиций на бульваре Ланн к выступлениям на сцене «Олимпии», понимает, что у него нет никакого мастерства и что без нее он ничего бы не добился.

Машина останавливается перед отелем «Георг V». Это идея Эдит.

«Понимаешь, Момона, я собираюсь выйти замуж, и мне не хочется каждый вечер возвращаться в квартиру, где у меня столько воспоминаний, где мне бывало плохо, где слишком часто я умывалась кровавыми слезами. Когда я выйду замуж, все изменится. Я схожу с ума от нетерпения. 9 октября кажется мне таким далеким! Бывают даты, которые как бы отдаляются по мере того, как к ним приближаешься…».

Ежевечерние выступления ее изматывают, но она не хочет в этом признаваться.

4 октября, ночью, у Эдит начинаются страшные боли в запястьях рук, щиколотках и ногах. Она кусает простыню, но ничего не говорит Тео. Она обращается к своему врачу и умоляет его: «Доктор, 9 октября я выхожу замуж, мне нужно до этого дня продержаться!»

За два дня кортизон снимает приступ. Но этим не кончается!

Эдит схватывает простуду. Температура поднимается до 40°. Она не может дышать, и все-таки она поет! И 9 октября Эдит, как она решила, выходит замуж за Тео в мэрии шестнадцатого округа, самого фешенебельного района Парижа.

«Меня разбирал смех, когда я слушала разглагольствования мэра… Я, девчонка из Бельвиля-Менильмонтана, регистрировалась в этой мэрии, в зале, где снобы из шестнадцатого присаживаются на край стула! Только потому, что я снимаю квартиру на бульваре Ланн! Но все же когда Тео сказал «да» и я ему ответила, мое сердце зашлось от радости… Как я была счастлива!»

Во второй раз в своей жизни Эдит слышала звон колоколов, вдыхала запах ладана. Венчание состоялось в православной церкви, к которой принадлежал ее муж, среди блеска золота и песнопений. Ее «да» прозвучало еще громче, чем в Нью-Йорке. Она была счастлива, как никогда прежде.

«Я подумала, что можно умереть от счастья. Я от него задыхалась. Оно билось у меня в крови, кружилось перед глазами…».

Вот когда нужно было бы остановить время. Когда она выходила из церкви под руку с мужем…

Жизнь не часто делала подарки Эдит, но, как она мне сказала: «Момона, жизнь предъявит мне к оплате огромный счет. Но сколько бы это ни стоило, я предпочитаю оплатить теперь. Там, наверху, у меня не будет долгов, я буду чиста душой».

В тот же вечер она поет со своим мужем в «Олимпии». Успех невероятный! Публика вызывает Тео. Она хочет видеть и знать, будет ли наконец счастлива Эдит. Потом они возвращаются домой, где ее ждет сюрприз. Тео обставил комнаты, стоявшие пустыми. Стало уютно, тепло, исчез временный дух жилья. Тео счастлив: «Видишь, ты входишь в новый дом! Не в твой, а в наш!»

Этот человек дал ей счастье, которое казалось невозможным.

Что касается меня, то я всегда считала его чистым, порядочным и думаю, что он любил Эдит так, как ее никто не любил. Он от нее ничего не ждал, кроме горя и долгов. Перед свадьбой врачи ему все рассказали, он знал, что Эдит обречена. Он знал правду и все-таки женился. Это было высшим доказательством любви, его чувство к ней было гораздо выше физического влечения. До самого конца благодаря ему Эдит верила, что остается женщиной, желанной и любимой,— в то время как на самом деле едва выносила бесконечные муки. Он сумел до последнего ее вздоха дарить ей то, ради чего она жила: любовь.

В конце января 1963 года Эдит показалось, что она вошла в форму. И маленькая черная искореженная тень с несоразмерно

большой головой стала жить так же напряженно, как раньше. Очертя голову тратила она последние силы. Только благодаря воле ей удавалось держать голову над водой. Все вокруг были в ужасе. Мы знали, что одна единственная, чуть более сильная волна может накрыть ее и мы будем свидетелями ее гибели и ничего не сможем сделать, чтобы спасти. Этот месяц она живет, как жила всегда, с полной отдачей. Она одновременно готовит концерт для «Старой Бельгии» в Брюсселе, свое выступление в «Бобино» и турне по Западной Германии. Она уверена в победе.

Мишель Эмер и Рене Рузо написали для нее прекрасную песню — «Я столько видела, столько видела…».

Я слишком верила, слишком верила, слишком верила
Всему тому, что мне вешали на уши на разных углах и перекрестках,
Мне столько раз говорили, я столько раз слышала
Слова: «Я тебя обожаю!» и «На всю жизнь!»
Все это ради чего? Все это ради кого?
Я решила, что все уже в жизни видела,
Все сделала, все сказала, все слышала,
Что сказала себе: «Больше не поймаюсь!» И тогда он пришел!

Тексты, которые для нее теперь пишут, звучат как завещание.

Молодые, в возрасте между двадцатью и двадцатью пятью годами, Фрэнсис Лей, Мишель Вандом и Флоранс Веран одновременно создают для нее три песни: «Люди», «Человек из Берлина», «Марго — Нежное сердце».

«Понимаешь, Момона, пока молодые любят тебя и пишут для тебя, никакие болезни ничего не изменят!»

В «Старой Бельгии» Эдит впервые поет «Марго — Нежное сердце».

Чтобы вызвать слезы у Марго,
Марго — Нежное сердце,
Марго — на сердце тяжесть,
Достаточно какого-нибудь припева,
Мелодии гитары,
Слез клоуна!

Ее приняли так хорошо, что в ту же ночь, перед тем, как заснуть, она звонит Мишели Вандом: «Твоя песня прозвучала прекрасно. Я рада за тебя. Приезжай ко мне в Брюссель!»

В феврале 1963 года Эдит выступает с Тео в «Бобино». Еще раз перед ней распахивается красный занавес, она ощущает кожей свет прожекторов, вдыхает теплый запах зрительного зала и слышит крики «браво». В тот вечер она впервые поет две песни Фрэнсиса Лея и Мишеля Вандом — «Люди»:

Как все люди потупились, опустили глаза,
Когда мы с тобой обнялись,
Когда мы поцеловались
Со словами: «Я тебя люблю»…—

и «Человек из Берлина»:

Я уже представляла себе, что буду любить его всю жизнь.
Я начинала все с начала, я была с ним,
С ним, человеком из Берлина!
Не говорите мне о случае,
О небесах, о фатальности,
О будущих возвращениях, о надежде,
О судьбе, о вечности…
Под мерзким, грязным небом, которое плакало от скуки.
Под мелким дождем, который сыпался на него,
На него, человека из Берлина!
Я приняла его за любовь, а это был прохожий…
Вечность на несколько мгновений…
Он, человек из Берлина!

18 марта 1963 года в оперном театре в Лилле Эдит в последний раз в жизни поет на сцене…

Несмотря на рецидив, снова вызвавший тревогу у близких, она хочет записать дома на пленку «Человека из Берлина», чтобы отослать ее в Германию для перевода. На гастролях она собирается петь ее по-немецки. Все окружающие против. Чтобы петь, Эдит нужны силы, а их у нее больше нет. На этот раз резервы исчерпаны. Но она посылает всех к чертям, никто не может ей помешать. 7 апреля со своим аккомпаниатором Ноэлем Коммаре и Фрэнсисом Лейем она поет «Человека из Берлина».

Через пять лет после смерти Эдит из этой записи была сделана пластинка: это душераздирающий документ. От Великой Пиаф осталась только аура. Голоса почти нет, на каждом слове ей не хватает дыхания, она ловит ртом воздух. Это и не пение и не речь, это приходит откуда-то издалека и переворачивает душу… никто другой никогда не смог бы этого сделать.

Она пригласила Мишель Вандом и, когда та прослушала

запись, Эдит сказала: «Бедная моя Вандом, я очень огорчена за твою песню. Она заслуживала лучшего исполнения!» Это великодушие, эта честность на пороге смерти — это тоже Пиаф!

Десятого апреля у Эдит начинается отек легкого. Ее кладут в клинику Амбруаза-Паре в Нейи. Пять дней длится кома; когда она выходит из нее, то впадает в приступ безумия, продолжающийся пятнадцать дней, в течение которых Тео не отходит от нее. Он живет в палате Эдит, которая его не узнает; он стирает пот с ее лба, разводит сведенные судорогой пальцы, которыми она стискивает воображаемый микрофон. В безумии Эдит кажется, что она на сцене, и она поет день и ночь, как другие кричат. Потом она приходит в себя и первое, что она говорит Тео: «Ты такого не заслужил!»

И на этот раз Эдит выходит из больницы. Тео увозит ее для реабилитации на Лазурный берег. Как будто чувствуя, что она обратно больше не вернется, Эдит не хочет покидать бульвар Ланн.

С 1951 по 1963 год Эдит пережила четыре автомобильных катастрофы, одну попытку самоубийства, четыре курса дезинтоксикации, один курс лечения сном, три гепатических комы, один приступ безумия, два приступа белой горячки, семь операций, две бронхопневмонии и один отек легкого.

Уже около двух лет я живу не в Париже, а в Бошане, в департаменте Уазы. Все меня отделяет от Эдит. Наши жизни идут параллельно, как рельсы. Я тоже часто лежу по больницам, была оперирована, чуть не умерла. Я вешу немногим более, чем Эдит, тридцать семь кило. Мы движемся нога в ногу, но встречаемся не часто. К счастью, есть телефон!

Перед отъездом Эдит звонит мне:

«Момона, ты меня всегда понимала».— Такое начало меня сразу насторожило. Каждый раз, когда она так говорила, это означало, что от меня требовалось одобрить очередную причуду. — «Мне не хочется уезжать… Моя родная земля — пустыри Менильмонтана, остатки земляного вала… Я бы и в Париже очень хорошо отдохнула. И потом, я не могу сорвать поездку в Америку. Там друзья у меня! Я должна петь в Белом Доме для Джона Кеннеди. Этот случай нельзя упустить! Познакомиться с таким человеком!.. У него есть все: мужество, ум… и вдобавок как красив! Нет, до чего же он хорош!»

Мы болтаем в таком духе некоторое время, потом Эдит говорит мне: «Когда тебе станет лучше, приезжай повидаться со мной. И в любом случае после моего возвращения — если я уеду — я хотела бы, чтобы ты снова была со мной!»

Эдит все же позволила Тео уговорить себя уехать из Парижа;

он снял на два месяца за пять миллионов виллу «Серано» в Кап-Ферра. Это было ошибкой. Морской воздух утомляет Эдит, он для нее слишком тяжел. Ее нервы, легкие не выносят его. Тогда Тео увозит ее в горы, в Мужэн.

В июне — снова гепатическая кома, ей делают несколько переливаний крови. В июле второй рецидив и 20 августа — третий. В Каннах в клинике «Меридьен» врачи считают ее безнадежной. В течение недели ее убаюкивает колыбельная смерти. Эдит вот-вот уснет навсегда.

Днем и ночью Тео не отходит от Эдит. С первой встречи он с ней не расставался. Ничто не вызывает у него брезгливости, ничто не отдаляет от нее. Он ухаживает за ней, как за матерью, ребенком, женой. Забрав Эдит из клиники, Тео устраивает ее в Пласкасье, над Грассом.

И вот в сентябре эта умирающая, которая почти не ходит — ее катают в кресле на колесиках,— снова и снова слушает «Человека из Берлина»; она решает продолжать над ней работу.

Несчастную Эдит даже нельзя назвать карикатурой на ту, какой она была: в ней тридцать три кило, лицо вздуто, это рыба-луна. От «Малютки Пиаф» остался лишь взгляд фиалковых глаз.

Интеллектуально, морально она ни в чем не изменилась. Остался прежним и характер: такой же трудный, как всегда. Она отказывается вести себя разумно; не соблюдает диеты, времени сна. Каждый вечер хочет смотреть новый фильм. Так как она не может уже ходить в кино, Тео еще на бульваре Ланн купил кинопроектор. Он привез его с собой и каждый вечер показывает ей фильмы в Пласкасье. Ее смех, знаменитый «смех Пиаф», продолжает звучать по-прежнему: в нем не появилось ни капли горечи.

Я переношу страшный удар. К счастью, это известие не дошло до Эдит, его от нее скрыли. 5 сентября 1963 года я прочла в газете о смерти Клода Фигюса. Ему было двадцать девять лет…

Наш маленький Клод, как верный слуга, первым распахнул двери смерти перед своей хозяйкой, перед той, которую любил всю жизнь. Газетные фразы пронзают мое сердце:

«Он покончил с собой. В отеле, в его комнате, подле кровати нашли два тюбика снотворного. Несколько раз Клод говорил о своем намерении покончить счеты с жизнью, не принесшей ему ничего, кроме душевных разочарований…»

Бедный мальчик! А ведь это случилось накануне выхода в свет его первой пластинки. И там была запись его собственной песни «Юбочки».

«В субботу вечером он сорвал с шеи медальон, который всегда носил, и отдал его друзьям, воскликнув: «Больше он мне не понадобится…».

Это был медальон, который подарила ему Эдит, когда он сделался, как он говорил смеясь, «полупатроном». Он был не из того теста, чтобы стать для нее чем-то большим, но на какой-то момент это сделало его счастливым… Он верил!

Рядом с этой заметкой была помещена другая под заголовком: «В своем убежище в Пласкасье Эдит Пиаф еще не знает о трагической кончине своего бывшего секретаря».

«Она не должна слышать то, о чем вы говорите. Ей еще ничего не известно. Мы от нее все скрыли. Ее нужно подготовить очень осторожно» — этими словами нас встретили вчера днем на вилле в Пласкасье, куда Эдит Пиаф удалилась со своим мужем Тео Сарапо».

Статья кончалась так:

«Что нового в состоянии здоровья Эдит Пиаф?» — спросили мы у сестры милосердия. «Прогноз обнадеживающий,— сказали нам,— мадам Пиаф завершает свое выздоровление».

Сколько времени сумеет она еще продержаться? Она строит планы об «Олимпии», о Германии, о Соединенных Штатах…

Глава девятнадцатая. «Теперь я могу умереть, я прожила две жизни»

Этот день я никогда не забуду. Была среда. Пасмурно. Грязно. Париж казался плохо вымытым. Настроение у меня было убийственное. Болело все, даже кожа, казалось, мне в ней тесно. Об Эдит доходили тревожные известия: «Она не может подойти к телефону»… «Она не может взять трубку»… «Больших изменений нет»… «Состояние прежнее»…

Было 9 октября 1963 года, годовщина ее свадьбы с Тео. Я подумала: «Позвоню-ка я, это доставит ей удовольствие». Она ценила такие знаки внимания. Вызываю Пласкасье, трубку берет Эдит. Какая удача! Я была так уверена, что ответит кто-нибудь другой, что в первый момент не узнала ее. Наш разговор был недолгим, но я была так взволнована, что не обратила на это внимания. Меня это поразило позднее.

Она мне сказала:

— Момона, приезжай!

Я ответила:

— Хорошо, приеду в понедельник.

Ей это не понравилось. Она любила, чтобы все происходило немедленно. Она всегда говорила: «В этой говенной жизни я слишком много ждала, поэтому у меня кончилось терпение». Голос у нее был чистым, но невыразительным. В нем не было «красок Пиаф».

— В понедельник, Момона, поздно… Ты не можешь постараться приехать поскорее? Устройся как-нибудь…

— Нет, Эдит, честно, раньше понедельника никак не смогу.

Она больше не настаивала. В ее голосе звучало смирение. Но смирение и Эдит — это как-то не вязалось… или, скорее, плохо вязалось! Она вдруг заговорила голоском обиженного ребенка:

— Ну, хорошо, я дождусь тебя до понедельника, но чтобы непременно!

Я положила трубку. У меня был словно туман в голове и такое ощущение, будто я чего-то не уловила, что обязательно должна была бы понять; так обычно бывает с сыщиками в детективных романах, когда они уверены, что открыли нечто важное, но это ускользает от их понимания. И вдруг я поняла: Эдит меня звала! Нужно было немедленно ехать к ней, не теряя ни секунды…

Я позвонила в транспортное агентство. У меня не было ни

гроша в кармане, но это ни ей, ни мне никогда не было помехой. Я прошла «школу Пиаф», так за чем же дело?! Я заказала билет до Ниццы и обратно, заняла тридцать тысяч франков у бакалейщицы с моей улицы, которая не задумываясь мне их одолжила, и отправилась в Орли в чем была, без багажа, с одной лишь сумочкой в руках.

В самолете у меня было ощущение, что он не летит, а неподвижно висит в небе. До того момента, пока я не оказалась возле Эдит, я как бы раздвоилась. Была Симона, перед которой прокручивали фильм, в котором играла другая Симона…

На аэродроме в Ницце было холодно, дул ледяной ветер, ничто не напоминало Лазурного берега. В аэропорту посреди металла и стекла я начала дрожать. Мне казалось, что меня посадили в холодильник. Настроение становилось все хуже и хуже. Вокруг никого не было. Я прилетела с последним рейсом. В свете неоновых ламп попадавшиеся изредка люди походили на восковые фигуры из музея Гревэн. От этого также продирал мороз по коже.

Я села в автобус авиакомпании «Эр-Франс». Нас было всего пятеро пассажиров! Шоферу, наверное, все осточертело: он так газовал, будто хотел превратить свой автобус в ракету. Я подумала: «Выходим на орбиту».

Мне хотелось с кем-нибудь поговорить. В этом уголке у нас с Эдит было что вспомнить. Я узнавала огоньки, мигавшие во мраке бухты дез Анж. Сколько воспоминаний… Голова раскалывалась, к горлу подступал комок. За грязными окнами автобуса мелькали наши прекрасные годы!..

В Ницце я села в такси, чтобы доехать до Грасса. Не могло быть и речи о том, чтобы дожидаться утра и тащиться на автобусе. Эдит сказала: «Приезжай!» Теперь я поняла, я знала, что нельзя терять ни секунды…

До Грасса доехать было просто, но где этот Пласкасье, никто не знал. К тому же мне не повезло с шофером такси. Попался не веселый житель Ниццы, а мрачный неразговорчивый сухарь. Он не знал округи, что не мешало ему, скорее наоборот, нагонять километры. Он знакомился с окрестностями вместе со мной. Наконец он остановился в какой-то деревушке. Вокруг было темно и пустынно, только одно окно то ли бистро, то ли лавки было освещено. Шофер сказал мне не церемонясь:

— Идите узнайте, там горит свет.

Толстая обрюзгшая хозяйка воскликнула:

— Дом Эдит Пиаф! Но, бедняжка моя, она вас не примет в эту пору! Она тяжело больна. Мы с ней очень хорошо знакомы, ведь это мы поставляем мсье Тео продукты. По правде говоря, я

считаю, она долго не протянет. Вам не удастся ее увидеть и завтра. Она никого больше не принимает, даже журналистов…

— Я ее сестра!

Мне доставило облегчение выкрикнуть это.

— Тогда другое дело! Не сердитесь, у вас на лице не написано… Впрочем, если присмотреться, в вас есть что-то родственное… Пойду позову мужа. Он вас проводит.

Мы снова отправились в путь. Мужу хотелось поскорее отделаться от нас, он обращался только к шоферу, показывая ему дорогу.

— Мимо Пласкасье не проедешь. Это в Рурском парке, там вроде как плоскогорье.

Становилось все холоднее, ветер усиливался. В свете фар не видно было никаких признаков жилья. Я подумала: «Мы заблудились». Когда у мужа кончилось терпенье, он сказал:

— Дом там, выше по дороге…

Шофер тут же высадил меня из машины.

— Дальше не проехать. Эта дорога не проезжая. Дойдете сами…

Я расплатилась, и они укатили. Разумеется, они ошиблись. Я шлепала по грязи. Прошел дождь, и луна прыгала в воде, а я — по лужам. Я еле шла, переставляя ноги механически, как заводная игрушка. В эту ночь я шла бы до конца. Конец… Я не очень себе представляла, где он, но я знала, что он где-то, куда я должна дойти. Наконец я увидела низкое строение… казалось, придавленное к земле. В окне горел огонек, я подошла и заглянула.

Это было как в кино. Я увидела кухню, чувствовалось, что там тепло и должно вкусно пахнуть.

За столом сидели муж и жена Бонели. Я их хорошо знала. Они были на службе у Эдит уже более десяти лет. Она, Даниэль, стала чем-то вроде секретарши на посылках; он, Марк, был аккордеонистом Эдит, помогал жене и тоже понемножку занимался всем. Между нами никогда не было особой дружбы. Я находила их не злыми, но пиявками; они же думали, что я им мешаю. Это правда: мы прожили вместе немало времени, но не сблизились. И все же должна сказать, что они по-своему были преданны Эдит. Только у нас о преданности было разное представление.

Я постучала в окно. Они подняли головы. Потом она сделала знак мужу, чтобы он открыл окно. Нехотя он встал.

— Что вы тут делаете?— спросил он.

— Я приехала повидать Эдит.

Он открыл мне дверь. Они готовили себе на ужин кролика…

За целый день у меня не было во рту ни крошки… и хотя это был их кролик, мне очень захотелось, чтобы мне его предложили.

— Нужно предупредить мсье Тео,— сказали они мне, соблюдая протокол.

Тео был наверху у Эдит. Он спустился ко мне.

Увидев его в проеме двери, я улыбнулась ему совершенно непроизвольно. А прошло уже много часов, как я не улыбалась. С ним в комнату проникло дуновение иного воздуха, воздуха Эдит; я его почувствовала, узнала. Было очевидно: он добр, он любит Эдит. Мы не были знакомы.

Я не была на их свадьбе, так как в ту пору болела. Я видела его в «Олимпии» и в «Бобино». И потом, Эдит мне столько о нем говорила… Она мне сказала: «Этого я люблю, Момона. Он будет последним, но останется первым!»

Тео был весь в черном, на нем был свитер с высоким воротником. На белой стене его силуэт вырисовывался, как фотография. У него были красивые, выразительные руки, такие, какие нравились Эдит, на шее медальон, на запястье цепочка, на пальце обручальное кольцо.

«Момона, если у мужчины красивые руки, по-настоящему красивые, он не может быть уродливым внутри. Руки не лгут, как лица. Особенно если они жестикулируют…».

Все это промелькнуло в голове за три секунды, но очень четко.

«Вы Симона? Вы ее сестра?» — И он мне улыбнулся теплой, нежной, немного робкой улыбкой. Это нас сразу сблизило.

Даже если бы Эдит мне не рассказывала о нем, я бы поняла, почему и как она его любила. Его повадки большого изящного черного кота, его руки, улыбка — все не только было во вкусе Эдит, но свидетельствовало о доброте, честности, искренности.

— Боюсь, вы не сможете увидеть теперь Эдит. Она готовится ко сну.

Позади него появилась женщина в белом. Это была медицинская сестра Симона Маргантэн. Непримечательная, ровная, она держалась немного суховато, но я знала, что Эдит ее любила, эта женщина была ей очень преданна и прекрасно за ней ухаживала. Во время ее последней гепатической комы она очень помогла врачам. Она пользовалась также полным доверием Тео.

Она сказала:

— Эдит сегодня чувствовала себя значительно лучше, настоящее воскрешение, но сейчас ей необходим отдых. Не думаю, что вы сможете ее увидеть, я собираюсь сделать ей инъекцию. Приходите завтра.

Я ее понимала, она охраняла свою больную. Эдит трудно было уложить спать. Начиналась всегда настоящая коррида. Но я приехала повидать Эдит, и я ее увижу. Я была как щепка, но мне показалось, что я заполнила всю комнату. Ах, она хочет, чтобы я ушла! Как, пешком?

Очень мягко я заметила:

— Я отпустила такси… Но может быть, у вас есть палатка? Я могла бы разбить ее под окнами Эдит; я бы ее не обеспокоила.— И продолжила еще мягче:

— Может быть, вам не известно, что сегодня утром Эдит позвала меня. Она сказала мне: «Приезжай, Момона!»

Тогда Тео произнес в своей обычной спокойной манере в стиле «Вы, кажется, забыли, что муж — я»:

— Если Эдит хотела вас видеть, Симона, я пойду скажу ей, что вы здесь.

В наступившей тишине было слышно, как Бонели скребли по дну кастрюльки, в которой тушился их кролик.

Тео вернулся радостный.

— Пойдемте скорее, она вас ждет.

Все удивились, хотя удивляться было нечему. Все было нормально, как должно было быть. Трудность состояла лишь в том, чтобы сообщить Эдит, что я приехала.

Я не помню, как выглядела лестница, но на дверь я посмотрела и запомнила руку Тео, когда он взялся за ручку двери: он не поворачивал ее… хотел мне что-то сказать. Очень тихо он спросил:

— Вы, кажется, не видели ее несколько месяцев?

— В последний раз незадолго до вашей свадьбы. Я была больна. Мы перезванивались.

— Она очень изменилась, Симона. Не покажите ей этого.

Когда он толкнул дверь, я поняла.

У нее почти не осталось волос. На слишком круглом лице не было ничего, кроме огромных глаз и рта, который казался разбитым…

Я улыбнулась. Точнее, постаралась улыбнуться, как делала всегда в течение нашей жизни; в ответ на эту улыбку Эдит мне всегда говорила: «Ты стойкий солдатик».

— О, моя Момона, как я рада! Я ждала тебя только в понедельник!

Я не моргнула глазом.

— Выяснилось, что в понедельник у меня другие дела, вот я и приехала раньше.

— Ты хорошо сделала.

Тео вышел. Он еще и тактичен! Этот парень обладал всеми

достоинствами!

— Момона, как ты его находишь? Хорош, а!

— Не то слово, Эдит.

Не для этого ли она меня вызвала? Я знала их всех, она еще раз захотела узнать мое мнение.

— Ты меня понимаешь, правда?

— Ода!

— Я изменилась? Нет, нет, не стоит притворяться. Знаешь, быть тряпичной куклой в чужих руках — даже ласковых — очень тяжело. Дни и ночи тянутся долго, у меня достаточно времени для размышлений. Я делала в жизни не просто глупости, я часто многое губила: свою любовь, здоровье. Тео я не заслужила, но я его получила, так вот я думаю, это знак прощения. Правда, Момона?

К горлу у меня подступили рыдания, это было ужасно. К счастью, она переменила тему. Она улыбалась, она была рада моему приезду. Я была единственной, с кем она могла говорить о своей молодости, об отце, о дочери, о Луи-Малыше… Я была свидетелем ее жизни. «А помнишь?..»

Вдруг перед нами предстала вся наша молодость. Живые, нетерпеливые воспоминания теснились, кишели, как мышата в гнезде.

Эдит больше не выглядела жалкой больной, которой все безразлично. Она жила. Она уже не походила на умирающую, продолжающую дышать только потому, что сердце еще бьется. Она снова стала Эдит Пиаф, которой была всегда. Уютно устроившись в подушках, почти сидя, с порозовевшими щеками, блестящими глазами, Эдит смеялась!

Лишь ее бедные изуродованные руки, без конца перебиравшие простыню, напоминали о том, что конец близок.

Я не могла на них смотреть.

— Момона, как хорошо, что ты здесь. Мою сестру милосердия зовут так же, как тебя. Когда я ее зову, мне иногда кажется, что ты здесь и сейчас войдешь ко мне…

Я подумала: «Сейчас, в который раз, она обвинит меня в том, что я от нее сбегаю». Я как в воду глядела.

— Сейчас, конечно, не время об этом говорить, но я так никогда, видно, не пойму, почему ты меня бросила.

Я расхохоталась, Эдит также. Как приятно было слышать ее смех! Но она смеялась не так, как прежде, громовыми раскатами; теперь ее смех больше соответствовал ее облику — надтреснутый и слабый.

«Не больше десяти минут»,— сказала сестра. Они уже давно прошли. В комнату вошел Тео. Он посмотрел на Эдит, потом на

меня. Я обрадовалась, увидев, как озарилось его лицо.

— Я уже давно не видел Эдит такой…

Он смотрел на нас, пытаясь понять наши отношения.

— Можно мне остаться с вами?

— Конечно,— ответила Эдит. Ты никогда не будешь лишним. А если начнешь надоедать, мы перейдем в ванную! Правда, Момона?

Этого он не понял. Откуда ему было знать…

— Но, Эдит, тебе ведь нельзя вставать!

Эдит продолжала смеяться.

— Тебе не понять… Момона, объясни ему. Расскажи ему нашу жизнь.

Как верная собака он вытянулся на полу возле ее кровати. Так он и останется навсегда в моей памяти: преданный пес с глазами, полными любви, которые отказывались видеть очевидное, то, что я поняла сразу: наступал конец… Занавес опускался. Эдит настолько приучила его к чудесам, что он перестал воспринимать реальность. Эдит могла не спать эту ночь, если это ей доставляло удовольствие, ничто больше не имело значения…

И мы с головокружительной быстротой начали вновь проживать забытое прошлое. Воспоминания детства, юности — мы выкладывали все перед Тео без стеснения, до того ли нам было! Перебивая друг друга, мы нагромождали все в кучу. Сами для себя отбирали нужное, Тео не мог за нами поспеть. Минувшее воскресло, все кружилось и кипело, как во время гулянья на Пигаль.

Она говорила: «А помнишь наших морячков, наших котов, легионера, Луи-Малыша, папу Лепле?..»

«А помнишь?..» Все наши фразы начинались так. Только в эту ночь Эдит была предельно искренна. Она не стеснялась говорить: «В тот день я тебя обманула…» или «Я не должна была этого делать…» Она видела все так ясно, что мне становилось страшно.

Мысли летели, как в вихре кружилось наше прошлое и настоящее, и перед моим неотрывным взглядом вместо лица больной женщины для меня одной и, быть может, еще для Тео возникло лицо Великой Пиаф, каким оно было на вершине славы.

Ей хотелось говорить, она порозовела, сна не было ни в одном глазу.

— Такую ночь, дети мои, забыть нельзя! Я буду помнить о ней и в раю!

Слушая нас, Тео открывал для себя незнакомую ему до сих пор Эдит. Меня порадовало, что она говорила только о своем детстве, юности и о настоящем времени. В эту ночь Эдит

связывала начало и конец своей жизни прочно, навсегда…

Ей хотелось объяснить Тео, какой была ее молодость, прожитая со мной. Он тем временем протирал ей одеколоном лицо, причесывал ее, обмывал руки. Ему уже не удавалось разогнуть ее скрюченных пальцев.

При одном воспоминании о том, как эти руки жили в ее песнях, в свете прожекторов, слезы наворачивались на глаза. Ее основная, привычная поза — руки, прижатые к бедрам, почти к животу, выделяющиеся на черном платье: казалось, они одновременно ласкают и просят прощения. Этот жест, повторенный тысячи раз, она теперь пыталась повторить на простыне. Ее руки искали свое место.

Она позволяла Тео ухаживать за собой и понемногу снова превращалась в больную. Она смотрела на него, и в ее глазах читалась радость, которую он ей приносил.

— Правда, он чудо, Момона?

О да! Это так и было, и на этот раз я не притворялась. Эдит хотелось поговорить о своей профессии, о работе, но я чувствовала, что она отдаляется.

— Знаешь, теперь уже все. Я решила лечиться всерьез. Я ведь готовлю премьеру в «Олимпии». Это очень ответственно.

В этот день — позднее Тео и все окружающие это подтверждали — в последний раз создалось впечатление, что она сможет выкарабкаться. Отдавала ли она себе отчет о своем состоянии? Была ли у нее надежда на то, что все еще наладится? Не думаю. Может быть, ей снова хотелось в это верить, но ее призыв ко мне, «своему прошлому», был последним криком утопающего.

Вдруг она сказала тихим голосом, как говорила, когда ей было шестнадцать лет: «Мне хотелось бы петь»; только теперь она сказала: «Мне бы хотелось еще петь…»

Сестра сделала ей укол. Эдит еще продолжала говорить, продолжала переживать свое прошлое, но мысли ее начали путаться.

Властно, как в былые времена, она распорядилась: «Ты будешь спать внизу, в гостиной. Завтра увидимся».

И она взяла меня за руку. Ее пальцы сомкнулись на моих, как лапка воробышка. Между нами прошел сильный, горячий ток. При ее прикосновении это происходило всегда. Я бы сделала что угодно, чтобы сохранить этот контакт. Я не знала, что хранить больше было нечего…

Она снова открыла глаза. Они уже мутнели. Вдруг она произнесла, очень громко, как выкрикнула: «Теперь можно и умереть, я прожила две жизни!— Она сделала паузу, потом,

собравшись с силами, выдохнула: — Берегись, Момона, не делай глупостей в жизни, за каждую приходится расплачиваться…»

Я знала, что она хотела сказать. Слишком хорошо знала. Я поцеловала ее и простилась с ней.

Я поняла. Как не отказывалась поверить, но поняла: все было кончено!

И не ошиблась. На рассвете Эдит впала в полубессознательное состояние, из которого так и не вышла.

Тео сказал мне:

— Я вас оставлю, Симона. Все было очень хорошо. Я рад, что вы приехали. Все, что вы сделали, было прекрасно. Но теперь я пойду к Эдит, я не хочу ее покидать.

И он вернулся к жене.

В кухне я снова застала Бонелей в аромате их кролика. Чтобы не заснуть, они сварили кофе. Мне они ничего не предложили. Тем более никто не сказал: «Оставайтесь ночевать, ваш самолет летит только завтра в полдень». Они это знали. Даниэль подняла голову, посмотрела на меня через стекла очков и спросила: «Вы уезжаете?»

Эдит мне приказала: «Ложись внизу в гостиной», только этот приказ не дошел до кухни. Вчера еще она могла отдавать любые распоряжения, и они отвечали: «Конечно, мадам Эдит… Ну, разумеется, какая прекрасная мысль!.. Черное — это белое, белое — это черное…» Но в это раннее утро — было четыре часа — Эдит уже перестала быть хозяйкой. Они поняли, что я не стану беспокоить Тео, что я не вернусь к Эдит… Кто-то из них сказал: «Шофер отвезет вас в аэропорт».

Было около пяти, когда мы туда приехали. Подонок даже не спросил меня, не хочу ли я выпить кофе. Выкручивайся сама! В этот час аэровокзал выглядел так, как футуристы изображают пустыню после конца света. Ни живой души. Наконец мне попался служащий, более или менее любезный. Я спросила:

— Мне нужно в Париж, а мой самолет летит только в полдень. Нет ли возможности улететь раньше?

— Я постараюсь это устроить,— ответил он.— Приходите к половине восьмого, место наверняка будет.

Я села в такси и поехала по Ницце. Этот город не из тех, что просыпаются на рассвете! Он долго потягивается! Не так-то легко в этот час найти открытое бистро, где можно выпить кофе. Да я и не сумела бы облатку проглотить, у меня стоял комок в горле. Я думала о том, что никто никогда не сможет прожить такую жизнь, как наша… Я проехала мимо «Буат а витэс», мимо отеля «Джиофредо», где мы жили, мимо пассажа «Негрэ»…

Я вернулась в аэропорт, села в самолет. Ноги подо мной

подкашивались.

Вернувшись домой, я легла, но не смогла уснуть, и без конца ворочалась, сбивая простыни. Картины из нашей прошлой жизни, воспоминания нахлынули на меня, закружились в голове, трещавшей от их шума и гама… Наконец я провалилась в сон…

На следующий день ко мне поднялся сосед снизу, мальчик шестнадцати лет. Он был так возбужден, что по его лицу я не могла догадаться, какие вести он принес, хорошие или плохие. Наконец он сказал: «Твоя сестра умерла».

Я это предчувствовала, но не хотела верить. Мальчик пошел купить мне газету. Это оказалось правдой. Эдит умерла. Она заснула и не проснулась. Удар был тяжелым. Если бы я не поехала в Пласкасье, я бы ее больше не увидела… Хорошо, что она мне сказала: «В понедельник будет поздно!»

Эдит привезли на бульвар Ланн. Она всегда говорила: «Я хочу умереть в Париже». Свое последнее путешествие она совершила в больничном фургоне. Тео взял большой букет мимоз, стоявший в ее комнате в Пласкасье, и положил на ее тело. Букет этот до сих пор существует на бульваре Ланн, с тех пор прошло шесть лет; все его шарики, все листья целы, но он стал серым. В нем не осталось солнца…

Никто не знал, что Эдит умерла на юге. Удобнее было говорить, что случилось это на бульваре Ланн, для того, чтобы люди приходили прощаться. Пришли все, даже те, кто ее не любил, те, кому она была безразлична… даже те, кому ни разу в жизни не пожала руки. Много фотографов — престижное событие!.. Все входили к ней в дом и выходили с соответствующим случаю выражением лица.

Простой парижский народ тоже толпился у решетки перед ее домом, он начал свое великое бдение. Женщины с продуктовыми сумками в руках, мужчины в рабочей одежде, проехав час на метро, пришли после трудового дня проститься с Эдит. Весь вечер, большую половину ночи и снова с раннего утра мимо ее гроба проходили те, кто был ей так дорог. Женщины приносили букетики скромных цветов, единственных, которые любила Эдит. (Она никогда не привозила домой корзины цветов после выступлений, она их раздавала.) Простые женщины, извиняясь, говорили служанке: «Передайте ее мужу, что я не смогу прийти завтра на похороны… Эти цветы пустяк, конечно, но они от сердца…»

Женщины эти, сестры Эдит, думали о Тео. Забившись где-то в угол, он, как ребенок, оплакивал ту, которую ему дано было любить немногим более года. Он повторял: «Я не верил… Она меня приучила к чудесам!»

В комнате Эдит стоят ее домашние туфли, лежат шерстяная кофточка, которую она надевала в постели, и новое кожаное пальто, недавний подарок Тео… (Оно так ей нравилось, и она его ни разу не надела.) Шкафы полны ее старыми платьями, и среди них висит знаменитое черное, мертвая тряпка, до которой никто не осмеливается дотронуться… На рояле разбросаны рукописи, партитуры… И если бы не бездыханное тело Эдит, можно было бы вообразить, что она сейчас войдет и крикнет: «Эй. вы, жалкие людишки! Что это у вас такие похоронные физиономии?..»

Около Тео его мать и сестры — последняя семья Эдит.

14 октября 1963 года Париж оплакивал Эдит. На кладбище Пер-Лашез собралось сорок тысяч человек… Похороны Эдит были такими же из ряда вон выходящими, как и ее жизнь, также перешли пределы обычного! Был теплый солнечный день. Черный цвет траура тонул в разноцветии толпы. Здесь были солдаты в мундирах, одетые в форму Иностранного легиона; они никогда не видели Эдит, но все были в нее влюблены. Одиннадцать машин с цветами следовало за катафалком; возле маленького тела, затерявшегося в большом гробу, лежала заячья лапка — ее талисман.

Ее провожали все, кто был частью ее жизни, все, кто ее любил, все, кого любила она… Только ее мужчины были уже не в голубом, а в черном…

Простые женщины в косынках оплакивали Эдит. Лишенная в жизни матери, в этот день она обрела их тысячи… Мужчины всех возрастов, даже один старый матрос в синей форменке с красной розой в руках, не стыдились слез…

Когда гроб с телом Эдит понесли по аллеям кладбища, толпа обезумела, ринулась вперед, опрокидывая заграждения. Огромная людская волна захлестнула все вокруг, выплеснулась на окружающие могилы и замерла у склепа с надписью «Гассион» в секторе номер 97, поперечной аллее номер 3. Марлен Дитрих, в трауре, с черным платком на белокурых волосах, бледная под косметикой, произнесла, глядя на этих людей: «Как они ее любили!»

Гул толпы походил на ропот разгулявшегося моря, на его рокочущее дыхание. Но вдруг все замерло, наступила тишина. Отряд легионеров застыл по стойке «смирно», флажок легиона развевался в воздухе, когда преподобный отец Леклер стал читать «Отче наш».

Та, кто всю жизнь любила Бога, молилась Иисусу, пела песню, в которой обращалась к апостолу Петру, поклонялась маленькой святой Терезе из Лизье, часто искала прибежище в церкви, не имела права на заупокойную мессу… Рим отказал, заявив, что

«она жила во грехе». Однако как частные лица епископ Мартэн и преподобный отец Тувенэн пришли помолиться на ее могиле.

Земли уже не было видно под цветами, а народ все продолжал идти.

На следующий день хоронили Жана Кок-то. Он умер в один день с Эдит, своим большим другом, в момент, когда готовился произнести по радио речь, посвященную ее памяти.

В тот вечер, 14 октября, Тео захотел остаться один. Он вернулся в перевернутую вверх дном квартиру, где пахло кладбищем от забытых цветов. На комоде лежал вырезанный из дерева лист с девизом Эдит: «Любовь все побеждает!»

Все первые страницы газет были посвящены Эдит: в течение многих дней они рассказывали о ее жизни. На кладбище поверх уже увядших венков лежал большой букет сиреневых полевых цветов, перевязанный трехцветной лентой: «Малютке Пиаф от легиона».

Последняя премьера Эдит Пиаф тоже была триумфом…

Вернувшись с кладбища, я бросилась на кровать. Я не плакала, я не могла больше плакать. Мое горе было сильнее слез, сильнее всех бед, которые со мной случались. От меня ушла не только сестра, но и вся та жизнь, которую мы прожили вместе.

Эдит всегда обещала не бросать меня одну. Когда она говорила: «Я хочу умереть молодой», я спрашивала: «А как же я?» — «Ты? Вместе со мной…» Для нее это было в логике вещей, и кончилось тем, что я тоже в это поверила. Но я еще оставалась в живых, эта мысль билась в моем мозгу, голова кружилась… Можно сойти с ума…

Для меня Эдит не умерла, она уехала в турне, в один прекрасный день она вернется и позовет меня…

Тихонько, только для меня она поет стихи, посвященные ей Мишелем Эмером*:

Песня на три такта
Была ее жизнью, а жизнь ее текла,
Полная страданий, и, однако, ей
не было тяжело нести эту ношу.
Прохожий, остановись,
Помолись за нее.
Человек, как бы ни был велик,
Обращается в прах…
Но оставит после себя
Песню, которую будут всегда петь,
Потому что история забывается,
А помнится только мелодия
Песни на три такта,

Чисто парижской песни…

* Здесь Симона Берто допускает неточность. Дело в том, что автор музыки и слов песни «Une chanson a trois temps» 1947 г . («Песня на три такта») – Анна Марли (Anna Marly). (прим. ред.)

перевод с французского — С.А.Володина и А.О.Малинина

Фото

RANI
FIGLI

Примечания

[1] На парижском арго «Панам» — это Париж. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

[2] Намек на фразу из песни «Солдат идет на войну с цветком в ружье».

[3] То есть абсентом.

[4] Тексты песен даются в подстрочном переводе. — Ред.

[5] Иностранный легион.

[6] «Ами дю пепль» — «Друг народа».

[7] «Добрый пастор» — исправительный дом.

[8] Авенир — будущее (фр.)

[9] Один из самых шикарных районов Парижа.

[10] На площади Тертр всегда работало много художников, и ремесленники, и настоящие мастера.

[11] Известный дорогой ресторан в Париже.

[12] На парижском арго «пиаф» — это воробышек.

[13] Знаменитый французский летчик, осуществивший в 1930 года первый перелет из Франции в Южную Америку.

[14] «Белые кроватки» — ежегодное благотворительное мероприятие, сбор средств от которого поступает в пользу детей-инвалидов.

[15] Спаги — части легкой кавалерии во французских колониальных войсках; формировались в Северной Африке.

[16] Ларусс — французский энциклопедический словарь.

[17] «Американская звезда» — главный и по времени самый длинный номер первого отделения программы; во втором отделении солирует основной исполнитель.

[18] Мистенгет выдающаяся французская эстрадная певица.

[19] «Мышьяк и старые кружева» — известный фильм Альфреда Хичкока.

[20] «Странная война» — так французы называли военные действия во Франции во время второй мировой войны.

[21] «Achtung! Achtung! Verboten!» — «Внимание! Запрещено!» (нем.).

[22] Мадлен Робэнсон и Мона Гуайа — известные драматические актрисы.

[23] Фирма, организующая проведение церемонии похорон.

[24] Отряды Балилла — фашистская молодежная воспитательная организация, созданная в 1926 г .

[25] «Альказар» — старейший французский мюзик-холл; он был основан в 1852 году.

[26] Monta (итал.) — поднимайся.

[27] «Компаньон де ла Шансон» — «Друзья песни» (фр.).

[28] Pin-up — звезда (англ.)

[29] Дитрих.

[30] Gay Paris — веселый Париж (англ.)

[31] French boys — французские солдаты (англ.)

[32] G.J.'S — американские солдаты (англ.)

[33] «…it's good for you» — «для вас это хорошо» (англ.)

[34] Cheap — дешево (англ.)

[35] «It's Cerdan!» — «Это Сердан!» (англ.)

[36] «Five minutes, miss Piaf!» — «Через пять минут Ваш выход, мисс Пиаф!» (англ.)

[37] На Кэ д'Орсэ помещается министерство иностранных дел Франции.

[38] «Yes, Buffalo Bill come back with his horse!» — «Да, Буффало Билл возвращается верхом на лошади!» (англ.)

[39] «marcel Cerdan is champion in the world!» — «Марсель Сердан — чемпион мира!» (англ.)

[40] «French, french girls!..» — «Французские, французские девушки!» (англ.)

[41] Булонь — один из фешенебельных районов Парижа.

[42] Слова одной из песен Э.Пиаф.

[43] «Лидо» — одно из самых роскошных кабаре в Париже.

[44] «i am a dog» — «Я собака…» (англ.)

[45] Роже Пьер и Жан-Мари Тибо — известные французские комические актеры, часто выступавшие в дуэте.

[46] …is very good. — Очень хороша.

— For you? — Для вас?

— No, not for me. — Нет, не для меня.

— I am very sorry — Я очень огорчен (англ.)

[47] «O.K. Tomorrow» — «О'кэй, до завтра» (англ.)

[48] Very marvellous — чудесно (англ.)

[49] Very happy — большое счастье (англ.)

[50] Элис Айленд — остров, на котором расположены иммиграционные службы.

[51] Cristmas — Рождество (англ.)

[52] Breakfast — завтрак (англ.)

[53] «Третий» — фильм, сделанный по сценарию Грэма Грина, признан одной из вершин киноискусства.

[54] «Андре» — известная обувная фирма во Франции.

[55] «Of course!» — «разумеется!» (англ.)

[56] «Better live than vegetate» — «Лучше жить, чем прозябать» (англ.)

[57] Сан-Франциско.

[58] «Piaf's boys» — «мальчики Пиаф» (англ.)

[59] «…very marvelous… thank you very much!» — «Вы замечательны. Я вам очень благодарен!» (англ.)

[60] «Made in USA» — «Сделано в США» (англ.)

[61] Darling — дорогой (англ.)

[62] «I am sorry» — «прости» (англ.)

[63] «Paris by night» — «Ночной Париж» (англ.)

[64] Мишель Вокер писал для Эдит слова песен.

[65] ОПМВ — Общество по управлению правом механического воспроизведения работ авторов, композиторов и издателей.